

Л. Тихомиров
Критика демократии

Приложение к журналу “Москва”

ОГЛАВЛЕНИЕ

О ДЕМОКРАТИИ И О КРИТИКЕ ЕЕ ЛЬВОМ ТИХОМИРОВЫМ	2
КРИТИКА ДЕМОКРАТИИ	12
ПОЧЕМУ Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ	12
ПОЧЕМУ Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ	
Исправленный текст 1888 года	14
НАЧАЛА И КОНЦЫ. ЛИБЕРАЛЫ И ТЕРРОРИСТЫ	34
ДЕМОКРАТИЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ	56
ПРЕДИСЛОВИЕ	56
СОЦИАЛЬНЫЕ МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ	58
ПАНАМА И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ	78
КОММУНИЗМ И ПАРТИКУЛЯРИЗМ	90
БОРЬБА ВЕКА	97
КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ В ЭПОХУ 1881 ГОДА	111
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ	132
ГРАЖДАНИН И ПРОЛЕТАРИЙ	132
ЗАСЛУГИ И ОШИБКИ СОЦИАЛИЗМА	139
ПЛОДЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ИДЕИ	148
СОЦИАЛИЗМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ	161
КОММЕНТАРИИ	184

О ДЕМОКРАТИИ И О КРИТИКЕ ЕЕ ЛЬВОМ ТИХОМИРОВЫМ

*“Если нам суждено жить, мы должны искать иных
путей”*

Демократия, принеся с момента своего появления в новое время, в XVIII веке, столько крови и всевозможных потрясений христианскому миру, требует объяснения своего феномена. Можно оставаться при пессимистическом взгляде, что человечество в области государственности не изобрело ничего лучше демократии. Можно и стараться вообще не поднимать этого вопроса и считать демократию в России неприкосновенной “священной коровой”. Но все это “консервативное”, застывшее на идеях французской революции мировоззрение устарело и не может развивать русское общество. Оно лишь способно подрывать национальные силы и ослаблять государственное единство, что умело делает по сей день.

“Демократия, — писал один русский монархист в начале XX столетия, — где бы она ни появлялась, представляет собой разрушающий государства **психологический** яд, действующий более или менее быстро, в зависимости от присутствия или отсутствия в государстве **психологического противоядия** — сильно развитого **национального самосознания**”. Не имея такого крепкого национального самосознания, наша страна с торжеством демократии оказалась сразу же отравлена ее ядом, свободно, почти без сопротивления разрушающим и государственность, и нацию. Сформировавшиеся в XIX столетии в русском обществе две антинациональные, антиобщественные группы населения — **интеллигенция и пролетариат** — стали носителями соответственно двух разрушительных теорий — демократии либеральной и демократии социальной, неся в себе “начала и концы” системы разрушения империи. Если интеллигенция пестовала из всех принципов французской революции принцип политической свободы, то пролетариат к свободе потребовал еще и всеобщего равенства. Эти идеи стали так

популярны, что их считалось совершенно излишним доказывать, хотя эти два принципа могут пониматься людьми по-разному.

Где и когда впервые возникло народовластие?

Некоторые исследователи отвечают на этот вопрос с полной определенностью, называя 510 год до Р. Х. В этом году в Риме был изгнан последний царь Тарквиний, а в Афинах — царь Пизистрат, и в обоих городах была учреждена республика. “Историки, — писал В. А. Грингмут, — восхваляющие “процветание демократических государств”, всегда упускают из виду, что этим процветанием государства обязаны не своему демократизму, который сам по себе всегда и безусловно вреден, а подъему **национального** духа, вызванного тем или другим выдающимся национальным вождем — будь он король, император или президент республики” (История народовластия. М., 1908 — С. 17). Так, после смерти знаменитого Перикла (429 г.), сохранявшего и поддерживавшего патриотизм нации, афинское государство стало развращаться демагогами, терпеть одно за другим поражение от спартанцев и македонян и было окончательно завоевано Римом. Республика в Риме существовала дольше без таких разрушительных результатов вследствие более крепкого природного характера римского народа, в котором идеи законности и справедливости не поддавались быстрому разложению. Этому в немалой степени способствовала постоянная внешняя опасность, при которой сильным фактором сдерживания народных масс был сенат и периодически вводимые диктатуры.

Но и великий Рим не смог долго противостоять внутреннему разложению своей республики; демагоги и кровавые междоусобия подвели силы римской нации к грани истощения. Только при Императоре Августе узкая идея римской республики была заменена империей как всемирным римским государством, где внутренние гражданские войны прекратились. Август дал почти на тысячу восемьсот лет возможность государствам развиваться на основе монархического принципа верховной власти, за время господства которого было создано все, чем гордятся эти государства.

Появление идеи естественного права и идея революции

В Древнем Риме право не отождествляли с законом, понимая под правом все справедливое и доброе. Появившись еще в древнегреческой философии, “естественное право” выделилось в особое учение о римском праве. “По основной мысли этого учения, есть область обязательных правил, которая не зависит от положительных установлений отдельных

законодательств и вытекает из велений природы и воли Божества. Этими правилами регулируются те действия и инстинкты, которые присущи всем людям и даже всем живым существам, вне человеческого рода” (Башмаков А. А. Народовластие и Государева воля. СПб., 1908. С. 17).

В средневековой Европе по мере ослабления Византийской империи, получившей от нее в наследство книги античных авторов, идеи естественного права попали в богословие. Вероятнее всего, эти идеи классической древности проникали в средневековый мир через изучение древнегреческих и древнеримских писателей в католических монастырях. Следующим этапом введения в европейскую мысль идеи о естественном праве была деятельность так называемой школы естественного права.

Социальную эволюцию школа естественного права видела следующим образом: после своего появления человечество находилось в состоянии, которое они называли “естественным”, то есть без всяких правовых установлений и без какого бы то ни было общественного устройства; человек как индивид не был ничем скован, не имел ни общественных обязанностей, ни общественных прав и не был подчинен ничьей воле. В этом положении, характеризующем дообщественное бытие, школа естественного права почему-то приписывала человеку счастливое и беззаботное состояние. Единственной скрепой первобытной жизни человечества полагалось естественное право, идущее, по мысли этой школы, от самого Бога. Такой взгляд на социальную эволюцию был сущей логической схоластикой, перенесенной из католического богословия в социальную философию.

Далее в рассуждении по необходимости шло следующее предположение: для образования общества люди добровольно отказались от своего свободного и безмятежного первобытного состояния и, составив “социальный договор”, согласились иметь верховную власть над собой. Этой новой появившейся власти было поручено управлять создавшимся человеческим обществом. Таким образом, получалось, по теории школы естественного права, что свободные люди по своей воле и совершенно свободно решили подчиниться власти.

Локк и вслед за ним Руссо¹, признавая за подобным “социальным договором” возможность его разрыва, начали утверждать идею народовластия. Рассуждение шло таким путем: если власть начала существовать в человеческом обществе через добровольное согласие всех граждан ее основать и если в “творении власти” участвовали все люди, то естественно в случае неудовлетворения властью для каждого человека “отозвать” свой голос, санкционировавший создание этой власти. Верховная власть, по этой теории, становилась делегированной народом.

Сувереном полагался народ, самодержавный в своих правах и способный когда захочет вернуть себе свою делегацию. Так сначала в умах мыслителей, а затем и в жизни Европы утвердилась идея народовластия. Со временем оказалось, что “его величество большинство голосов, — как писал Николай Черняев, — далеко не непогрешимо, отличается изумительной слепотой и сплошь и рядом служит послушным орудием людей тупых, злобных и ничтожных” (Из записной книжки русского монархиста. Харьков, 1907. С. 133-134).

Известный исследователь французской революции Ипполит Тэн в своем труде “О происхождении современной Франции” (V том) описал на материале якобинской диктатуры появление демократии в момент крайнего помутнения национального сознания в новое время:

“Можно еще понять, что народ, обремененный налогами, нищий, голодный, распропагандированный витиями и софистами, мог приветствовать и принять такое учение: в чрезмерном страдании человек прибегает к первому попавшему орудию и для угнетенного всякое учение правдиво, коль скоро оно помогает отделаться от угнетателя. Но чтобы политические деятели и законодатели, государственные люди, министры и главы правительства могли привязаться к ней все теснее, по мере того как она становилась более разрушительной, и затем ежегодно в течение трех лет видели гибель от нее же общественного строя и не сумели признать ее виновницей; чтобы на этих фразах о всеобщей свободе они бы согласились учредить деспотизм, достойный Дагомеи, судилище, подобное инквизиции, и человеческие жертвоприношения как в древней Мексике; чтобы они среди своих тюрем и казней не переставая верить в свою правоту и даже во время собственного падения и гибели на себя самих смотрели как на мучеников — это, конечно, странно; такое затемнение ума и такой избыток гордости редко могут случиться, и для того, чтобы подобное дело могло совершиться, нужно было такое стечение обстоятельств, которое только раз и могло случиться”.

Две идеи по преимуществу являются основанием для народовластия. Первая: государственная власть должна быть вненациональна, потому как существует для блага всех; и вторая: власть может существовать только в случае, когда население готово ей подчиниться.

Вненациональная власть, особенно в разноплеменных империях, подрывает ее государственный организм, сложенный всегда из одной нации-основательницы. Всякое небрежение подобным господством разрушает имперскую государственность. Создатели же демократических теорий не признавали важности нации для государственного

строительства, их операционным базисом были интернационализм и политическая свобода, поэтому для больших национальных государств демократия противопоказана.

Разрушительность второго утверждения для государства не меньшая. Власть есть прежде всего сама по себе сила, которая не является производной от силы народа. Она вносит в социальную среду нечто большее, “нежели каждый обыватель и сумма обывателей, вместе взятых. Если бы этого не было, то не было бы никакой надобности делать серьезные затраты на государственный механизм и терпеть тяжесть его прикосновения. В этом-то и дело, что государство содержит в себе сумму той энергии или тех интересов, которые присущи всей сумме граждан, **плюс** нечто.

Все разновидности учения о народовластии как **необходимом** элементе государственности вращаются вокруг этой капитальной, непростительной ошибки: **в них отрицается именно этот плюс**, который составляет **главный отличительный признак государственной идеи**.

Не мудрено по этой причине, что практика идеи абсолютного народовластия в обширном государстве приводит к постепенному вымиранию самой идеи государственности. Происходит как бы **политический склероз**, старческий подмен веществ. Постепенно одни заменяются другими, похожими, но не теми же. Попечение о **народном** благе заменяется соблюдением **своего** интереса; гордость Родины — ее комфортом, а потом **своим** собственным разбогатением; защита Отечества — устройением его путей по линии наименьшего сопротивления; расовое и национальное величие — стремлением заслужить у соседей благоволение за добронравие и филантропические помыслы. И над всем этим хаосом разлагающейся исторической души великих народов парит идеал манящего социализма, в котором не будет **никакого плюса** к нуждам и желаниям человеческих индивидов, прикованных к своим хлевам и стойлам, но вместе с тем испарится и та лесь, которой пока что, до поры до времени, заманивают этот вожделеющий индивидуализм; добывание и насыщение будет отдано всецело в руки верхнего коллективизма, который поглотит индивида, уступив ему то, о чем вопит его утроба; но идеальный "плюс" исчезнет навсегда. И тогда наступит давно возвещенное Гербертом Спенсером "грядущее рабство"” (Башмаков А. А. Народовластие и Государева воля. С. 35-36).

Критика демократии Львом Тихомировым

Долго замалчиваемый Лев Александрович Тихомиров (1852 — 1923) в период новой Смуты конца XIX века все более привлекает к себе и к своим трудам внимание читающей русской публики. К нему обращаются как к человеку, самому испытывавшему соблазн революционного делания. Его судьба потрясает воображение. Человек, в молодости бывший, по выражению его товарищей по партии, “головой организации”², ее лучшим писателем, лучшим выразителем ее идей и делавший “для ниспровержения существующего правительственного строя всё”³ возможное, просидевший за свою деятельность более четырех лет в тюрьме, скрывавшийся по всей России от преследования, он смог, уже будучи в эмиграции во Франции, прийти к кардинальному пересмотру своего мировоззрения, став из гонителя монархии ее апологетом.

Почему Л. А. Тихомиров перестал быть революционером? Что с ним произошло? Его бывшие товарищи по партии и советские историки единодушно называют его ренегатом, давая свои объяснения. Они указывают на трудности эмиграции, на скудное материальное положение Льва Тихомирова во Франции, на некое “психическое расстройство”, выразившееся в обращении к религии, на соблазн занять в правительственном лагере место умершего М. Н. Каткова. Иначе говоря, исходными пунктами преобразования “из Савла в Павла” Льва Тихомирова, по мнению этих людей, становятся его “низменные желания” и “больное” состояние ума и психики. Вся дальнейшая жизнь Л. А. Тихомирова опровергает подобную клевету. Искренность его новых убеждений, их формирование легко проследить по его дневнику и воспоминаниям. Написание брошюры “Почему я перестал быть революционером”, окончательно порывавшей все связи с революционным миром, не является неожиданным фактом его жизни. Этому рубежному событию предшествовали годы борьбы с самим собою, с социальными миражами своей молодости.

Еще до отъезда за границу Л. А. Тихомиров, находясь в подполье, начинал считать дело “Народной волн” не своим, не соглашаясь с курсом на терроризм. Народоволие, бывшее основанием его политико-теоретических убеждений, во Франции, куда он уехал, произвело на него печальнейшее впечатление своими бесконечными политическими скандалами, коррупцией и безнравственностью. Ломка его старых убеждений в обстановке эмиграции пошла значительно быстрее. Уже 8 марта 1886 года в его дневнике находим такую запись: “Я окончательно убедился, что революционная Россия в смысле серьезной сознательной

силы не существует... Отныне нужно ждать всего лишь от России, русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров... Сообразно с этим я начал перестраивать и свою жизнь. Я должен ее строить так, чтобы иметь возможность служить России так, как мне подсказывает мое чутье, независимо ни от каких партий” (Воспоминания Льва Тихомирова. М., 1927. С. 189).

Эмиграция, рождение сына Александра, расспросы подрастающего мальчика о Родине навевали ностальгические воспоминания об утраченной России. Дневник наполняется тоской по Отечеству, для которого он был государственным преступником. Все, что он любил, явственно всплывало в его памяти, тревожа особенно чувствительно из-за невозможности свободного возвращения домой. А ведь он и будучи революционером искренне хотел быть полезным России, служить ей всеми своими силами. Но, оставаясь в политической эмиграции, будучи еще номинально врагом русского государства, он понимал, что не может реализовать это желание.

“Я, безусловно, — делает он запись в дневнике от 1 мая 1888 года, — ничего общего с ними не имею и просто начинаю ненавидеть то бунтовское направление и настроение, которые составляют существеннейшую подкладку нашего революционного движения. Вообще меня теперь очень ругают, и я этим горжусь: это положительно делает мне честь”.

Разорвав с революционерами и испрашивая у Государя прощение, Лев Александрович готов был понести наказание, искупив прошлые заблуждения. Так, 24 октября 1888 года он записывает в своем дневнике: “Признавая себя подданным, я не могу не подчиниться воле царя” (Воспоминания Льва Тихомирова, с. 259). Разве это настроение умалишенного или человека, желающего выгадать что-либо? Нет, конечно, это яркий пример покаяния человека, готового принять любое наказание, лишь бы очиститься от вины.

Будучи многие годы приверженцем идеи народовластия и осознанно порвав с ней, Лев Тихомиров стал одним из лучших критиков демократического принципа власти, построив цельную систему его опровержения. Перестав быть революционером, пережив грандиозную переоценку ценностей, он старался донести всем, кто хотел слушать, выстраданные им новые убеждения. Духовная и политическая лживость идеи народовластия, наиболее живо осознанная в результате его внутренней борьбы, стала первой темой, к которой Лев Тихомиров обратился по прибытии на Родину.

Призывая задуматься над, казалось бы, бесспорными теориями народовластия, Лев Тихомиров указывает на истинные корни демократии, опровергая ни на чем не основанную социальную веру в ее идеалы.

Основоположения власти

Одним из характернейших и основных свойств человека Лев Александрович полагал его стремление к взаимоотношениям с другими людьми. Человек вступает в союзы с себе подобными для своей защиты, своего пропитания, продолжения рода и прочих жизненно необходимых вещей. Кооперируясь в общество, люди объединяют свои чувства, представления и желания. Общественность — такой же естественный человеческий инстинкт, как инстинкт борьбы за свое существование; оба они исходят из природы самого человека.

Общественность эволюционирует от союзов семейных и родовых к союзам сословным, а с развитием высшей силы объединяет все сословные группы общества в государство. По мнению Л. А. Тихомирова, государство является высшей формой общественности. Всякая кооперация предполагает власть как регулятор социальных отношений, или, иначе говоря, союз предполагает направляющую силу. Власть является как бы следствием общественного развития, одновременно будучи необходимым условием этого развития.

Тут возникает вопрос о свободе, которую часто противопоставляют власти. По Л. А. Тихомирову, и власть, и свобода составляют проявления самостоятельности человеческой личности. Состояние свободы внешне бездеятельно, это состояние, когда человек не подчиняется никому и не подчиняет никого. Для общественности это состояние почти невозможное, так как свобода не требует общения, кооперации, при которых только и появляются власть и подчинение, которыми только и строится общество человеческое. Свобода в обществе играет гораздо меньшую роль, нежели в личной жизни человека, где она необходима для выработки крупной личности.

Будучи политическим мыслителем, Л. А. Тихомиров являлся апологетом государства — естественного союза нации. Он утверждал, что “единственное учреждение, способное совместить и **свободу, и порядок, есть государство**” (Рабочие и государство. СПб., 1908. С. 34). Власть возникает для поддержания порядка, который регулирует отношения между людьми в обществе. Власть становится силой, осуществляющей в обществе и государстве высшие начала правды. Для Льва Тихомирова

неизбежность государства — политическая аксиома. Государство появляется как высший этап развития общественности для охраны внутриобщественной свободы и порядка. Государство определяется Л. А. Тихомировым как “союз членов социальных групп, основанный на общечеловеческом принципе справедливости, под соответствующей ему верховной властью” (Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 31).

Предостерегая от объединения воедино верховной власти с властью управления, он утверждал, что из подобного смещения родились в XIX веке две ложные идеи: о “сочетанной верховной власти” и о “разделении властей”, переносимом на саму верховную власть. Эти конституционные учения в юридической науке сложились под сильным политическим воздействием революционной эпохи XVIII-XIX веков. Требование свободы в юридической науке вылилось в идею контроля над правительством, под которым стали понимать верховную власть. Между тем такое смещение не правомерно и между верховной властью и властью управительной существует принципиальное различие.

Верховная власть по своему принципу должна быть едина и неподконтрольна какой бы то ни было власти, иначе она была бы не верховной, а делегированной от настоящей верховной власти. Не бывает сложных или сочетанных верховных властей, всякая верховная власть основана на одном из трех существующих принципов: монархическом, аристократическом или демократическом. Также верховная власть неразделима и в своем троюм проявлении: законодательном, судебном и исполнительном. Все эти три проявления истекают из единой верховной власти.

Разделение же властей управительных совершенно неизбежно из-за необходимости для них специализации, и чем более она специализирована, тем более она совершенна. Единение управительные власти находят в верховной власти, которая и направляет их деятельность. Необходимость управительных властей состоит в ограниченности прямого действия верховной власти, при усложнении государственной системы требующей делегирования власти управительным учреждениям. Будучи юридически неограниченной, верховная власть фактически ограничена своим количественным содержанием. Делегируя управительным властям свою центральную силу, верховная власть получает возможность действовать далеко за пределами своих физических возможностей. Прямое действие верховной власти в развитом государстве специализируется по преимуществу на

контроле и направлении всех передаточных властей при сохранении своей неограниченности и самодержавности.

В зависимости от того, что понимает нация под общечеловеческим принципом справедливости в общественных отношениях, верховная власть представляет тот или иной принцип власти, на которых и осуществляются все три образа правления: власть единоличная, власть влиятельного меньшинства или власть всего населения. Все эти три формы власти суть типы, а не фазисы эволюции власти. Они не возникают один из другого эволюционно, а если и сменяют друг друга, то вследствие государственного переворота или революции. Все три принципа верховной власти неуничтожимы в человеческом обществе, разница между ними может быть лишь в их положении. Один принцип всегда бывает верховным, а два других имеют подчиненные функции в управительных учреждениях.

Выбор принципа верховной власти зависит от религиозного, нравственно-психологического состояния нации, от тех идеалов, которые сформировали мировоззрение нации. В выборе нацией того или иного принципа власти “проявляется, — пишет Л. А. Тихомиров, — нечто иное, как степень напряженности и ясности идеальных стремлений нации. В различных формах верховной власти выражается то, какого рода силе нация, по нравственному состоянию своему, наиболее доверяет” (Монархическая государственность, с. 68): силе ли количественной, на которой строится демократия, разумности ли силы аристократии или силе нравственной, олицетворением которой является монархия.

Любой из этих принципов неограничен и самодержавен как наивысший принцип в государстве. Единственное ограничение составляет содержание собственного идеала принципа.

Если, развивая далее свою мысль о принципах власти Л. А. Тихомиров, “в нации жив и силен некоторый всеобъемлющий идеал нравственности, всех во всем приводящий к готовности добровольного себе подчинения, то появляется монархия, ибо при этом для верховного господства нравственного идеала не требуется действие силы физической (демократической), не требуется искание и истолкование этого идеала (аристократия), а нужно только наилучшее постоянное выражение его, к чему способнее всего отдельная личность, как существо нравственно разумное, и эта личность должна лишь быть поставлена в полную независимость от всяких влияний, способных нарушить равновесие ее суждений с чисто идеальной точки зрения” (Монархическая государственность, с. 69).

Высокое понимание личности, ее нравственную и разумную сущность демократия своим появлением поставила под сомнение. При демократии уже нет доверия к личности, ее стараются заменить бездушным законом и безличным учреждением, желая этими несовершенными в принципе (в отличие от личности) институтами обезопаситься от свободы личности.

Демократия в новое время и социальная религиозность

“Накануне 1789 года новые люди кричали, что они задыхаются”, что дальше так жить невозможно и никакого примирения со старым монархическим режимом быть не может. “Без сомнения, — пишет Л. А. Тихомиров, — субъективно они были правы, как субъективно прав и сумасшедший, воображающий, что его преследуют чудовища.

Но существовали ли эти чудовища в действительности?” (Борьба века. М., 1896. С. 11-12)

Старый строй отрицался не из-за недостатков или жестокости, а во имя **мечты** о новом будущем строе, что доказала последующая история. Как только революция не смогла дать этого несбыточного будущего, сразу же строй, данный революцией, был атакован еще более радикальными реформаторами. На протяжении многих поколений новые демократические идеологи открывали каждый свой “совершенный” строй для всех времен и народов. Все они искали гармонии, которой не было в душах, надеясь найти ее во внешних условиях. Следовали бесконечные смены одних социальных утопистов другими. Революционность бытоулучшителей носила и носит характер болезненной перманентности.

Источник этой духовной болезни, говорил Лев Тихомиров, крылся в идее автономности личности, результатом которой был бунт против Творца. Об этом он много и интересно рассуждает в книге “Религиозно-философские основы истории”, изданной в нашей серии.

“Новая эра” отказалась от старых христианских “предрассудков”: от веры в Бога, от монархического государства, от сословного общества и т. д. Однако, по Льву Тихомирову, душа человеческая оставалась хоть и искаженной, но все же душой христианской, то есть воспитанной христианскими идеалами. Люди не могли окончательно отрешиться от христианской нравственности, стремившейся к своей реализации в общественной и государственной жизни.

Вся кажущаяся оригинальность демократического движения XVIII века состояла в попытке слить идеалы христианства с материалистическим пониманием жизни. Либеральная демократия

отбросила веру в Бога, но попыталась оставить христианские нравственные понятия. Это было ошибкой. Оставляя лишь высокие христианские нравственные идеалы — без веры в Личного Бога, без духовной жизни и без упования на спасение в загробной жизни, человек оставался со своими нереальными требованиями перед крайне ограниченными возможностями материального мира.

Социальная религиозность явственно ощутима и в идее счастливого “будущего строя”, выросшего из той же психологии заблуждающегося религиозного чувства, что и древнейшая ересь хилиазм. То, что древний хилиазм стоял на религиозной почве, а новый ее покидает, еще не означает принципиальной разницы между ними. Психология религиозного хилиазма усваивалась, утверждал Л. А. Тихомиров, еще со времен учебы, из которой выносилось убеждение, что мир устроен плохо и требует переделки. Люди с подобной психологией убеждены, что в мире противостоят “с одной стороны — суеверие, мрак, деспотизм, бедствия, с другой — наука, разум, свобода и земной рай”.

Такое религиозное представление об абсолютном есть достояние иного мира, а не земной действительности. В земном мире нет абсолютного, безусловного, все состоит из оттенков. Перенесение “религиозных понятий, — писал Лев Тихомиров, — в область материальных социальных отношений приводит к революции вечной, бесконечной, потому что **всякое** общество, как бы его ни переделывать, будет столь же мало представлять абсолютное начало, как и общества современные или прошлых веков” (Начала и концы. Либералы и террористы. М., 1890).

Религиозное чувство не терпит компромисса в вопросах веры. Такое же религиозное чувство выработалось и у нового революционного хилиазма, не терпящего никаких уступок, когда речь шла о его социальной вере. Лев Тихомиров был глубоко убежден, что при всей разрушительности революционных “преобразований” социальный мистицизм, практикуемый революционным демократизмом, не может в действительности упразднить основы, существующие в обществах во все времена и у любых народов. Более того, Л. А. Тихомиров считает принципиально невозможным создание чего-то нового, никогда не бывшего на службе в человеческом обществе. Он утверждал, что растративание сил на утопические эксперименты отвлекает человека от реального усовершенствования общества.

Идеология и практика либеральной демократии

Сравнивая фактические основы либеральной демократии с тем, что декларировалось при ее возникновении, Л. А. Тихомиров видел практически полную их несоответственность. Практика, как правило, оказывалась абсолютно противоположна теории.

Так, один из столпов политической философии демократии Руссо учил, что зачастую разница между “волей всех” (волей большинства) и “общей волей” (общей волей всего народа) огромна, считая совершенным правление, основанное на **общей воле**. Призывая к уничтожению в государстве всех частных обществ и партий, Руссо требовал от гражданина выражать только его личное мнение.

Обычно самих демократов не устраивают ни волеизъявления граждан страны, ни представительные учреждения, и они не стесняются руководить и направлять (создавать) волю своего самодержавного народа-суверена. Полученная таким способом “народная воля” становится истинной, имея за собой силу большинства избирателей. Народ при этом выступает лишь как множество отдельных обывателей, проживающих на территории государства, а не как единая нация. Дух нации, ее лицо, формировавшееся веками, не принимается во внимание. Такой взгляд на нацию освобождает власть от всякой ответственности. Народная воля как верховная власть в государстве призвана решать все вопросы управления. Практика же показывает, что выявить эту волю невозможно, так как обыватели в подавляющем большинстве ничего не смыслят в управлении государством. Здесь имеет значение только воля правящего слоя, специализирующегося на вопросах управления государством. Всеобщая народная воля определенно проявляется лишь в редких случаях, когда решение лежит на поверхности: “война до победы”, “долгой узурпатора”, “мир во что бы то ни стало” и т. п. Но эти проявления народной воли настолько ясны и очевидны, что не требуют никакого голосования.

Заменяя общее мнение **мнением большинства**, демократия заставляет население говорить только “да” или “нет”. Этот принцип механически выводит страну из состояния бесконечного поиска народной воли. Далее встает вопрос: как же заставить народ голосовать? “Поклонники демократического строя, — писал Николай Черняев, — ссылаются на древнегреческие демократии; но они всецело держались на рабстве и не могут быть названы чистыми демократиями. Гражданину, который имел возможность с утра до вечера слушать философов и ораторов и посвящать труду лишь немногие часы, можно было ориентироваться среди кипевших вокруг форума политических споров.

Несмотря на то история древней Атики представляет ряд эпизодов, свидетельствующих о непостоянстве и легкомыслии толпы. Чего же ждать от новейших демократий, граждане которых, поглощенные заботами о хлебе насущном, не могут уделять государственным делам и сотой доли того внимания, которое уделяли ему афиняне!” (Необходимость самодержавия для России. Харьков, 1901. С. 57)

Увидев бесполезность своего “волеизъявления”, подавляющее большинство народа вообще перестало бы голосовать, если бы либеральный демократизм настаивал на требовании прямой подачи голосов по всем вопросам. Сознавая это, либералы идут на дальнейшее искажение теории, дополняя демократические учреждения **представительством и партиями**. Эти учреждения и являются местом возникновения нового **правящего сословия — политиканов**. Политиканы нужны для организации “народной воли”, а также для того, чтобы чисто социальные проблемы связывать с политикой, возбуждая своей пропагандой население. Парламент, состоящий из партийных фракций, являет собой вариант замены сословного строя монархического государства, разрушенного революцией. И в этих условиях уже никакая сила не может удержать социальные группы от объединения в партии. Деятельность государства везде и всюду ограничивается, что является главной идеей либеральной демократии.

Таким образом, мы имеем дело уже не с народоправством, а с **парламентаризмом** и господством **партий**. Господство партий проявляется прежде всего во внушении народу своей частной воли, своего мнения. Партии пытаются поймать избирателей на слове, окончательно подавив их собственную волю партийной агитацией. После выборов народ вообще исчезает с политической арены, его уже не ублажают, а игнорируют. Теперь главное — это соотношение сил, дающих возможность формировать правительство. Партии становятся властными суверенами, а народ продолжает быть безгласным и безвластным до нового “Юрьева дня” подачи бюллетеней. “Нет ни одной формы правления, — говорил Лев Тихомиров, резюмируя свой взгляд на демократию, — в которой воздействие народных желаний на текущие дела было бы так безнадежно пресечено, как в этом создании теории, пытавшейся все построить на народной воле” (Демократия либеральная и социальная. М., 1896. С. 44-45).

До появления нового строя история знала общества, состоящие из различных слоев, каждый из которых специализировался на важном для всего общества деле. Слои эти, в зависимости от своего служения обществу, получали от последнего права для исполнения перед ним своих

обязанностей. Сословия, корпорации вели к расслоению общества, создавали ситуацию социального неравенства, признаваемого нормой общественной жизни. Такое неравенство признавалось даже теми, кто считал себя обделенным привилегиями. Новое же общество, по идее, в него заложенной, должно было быть основано на свободе и равенстве, иными словами — на всеобщей одинаковости.

Идея нового общества, по Льву Тихомирову, наиболее сильно применяется в трех областях жизни человека: умственная безответственная свобода создает подчинение посредственным авторитетам; экономическая свобода создает чрезмерное господство капитализма и такое же чрезмерное подчинение пролетариата; политическая свобода вместо народоправства порождает правящее партийное сословие политиканов с учреждениями, помогающими им существовать.

Начала и концы. Гипертрофированный коллективизм

В одной из своих работ Лев Тихомиров писал, что “смиранные” либералы являются началами того движения, которого концами становятся революционные социалисты. Этот процесс очень выпукло реализовался у нас в России: несколько поколений либералов говорили о свободолюбии, а затем более последовательные решили сделать революцию. Из **“общего миросозерцания”** демократической общественности путем либеральной пропаганды появляется целый революционный слой, замыкающийся в “партию” и создающий особый мир отщепенцев, готовых к борьбе с остальной нацией. Либерал, почти всегда имевший возможность открыто и легально высказывать свои суждения, готовил себе страшного ученика в социализме, не останавливающегося на личности, на том, что не преодолено либералами по своей непоследовательности в разрушении “старого” мира. Социалисты уже не строят свое общество на чисто психологической основе, что делали либералы, видевшие в государстве только комбинацию человеческой воли и свободы. На смену **индивидуалистическому либерализму** шла следующая фаза развития демократического принципа — **социализм со своим сверхколлективизмом.**

Большинство исследователей либеральной и социальной демократии, да и сами либералы и социалисты, считают себя противоположными друг Другу. И, как пишет Лев Тихомиров, “до известных пределов они правы. лягушка очень отлична от головастика. Но тем не менее это все-таки дети одной матери, это различные фазы

одной и той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демократизма социализм, немного раньше или немного позже, должен явиться на свет. С другой стороны — без предварительной фазы либеральной демократии социализм — каков он есть — был совершенно немислим и невозможен” (Демократия либеральная и социальная, с. 56-57). На смену гипертрофированному индивидуализму либерализма как реакция на него пришел социализм со своим всепоглощающим коллективизмом.

Особенность социализма, как утверждает Лев Тихомиров, состоит в неверии в свободную социальную солидарность и в мысли, что кооперация возможна только при полном коллективизме, не допускающем никакого индивидуализма. Эта суть социализма входит в противоречие с естественными законами человеческой общественности, которая представляет собой неразрывную связь индивидуализма и коллективизма и не терпит ущемления одного другим на долгое время. Считая социализм учением ошибочным, Лев Тихомиров одновременно полагал его появление в XIX веке закономерным. Сила же, с которой появился на свет социализм, говорила о том, насколько было придавлено чувство коллективизма в либеральном обществе. “Маятник нарушенного равновесия, — по определению Льва Тихомирова, — качнулся в противоположную сторону и вследствие благоприятных для этого причин размахнулся еще гораздо дальше, чем было сделано индивидуализмом первой революции” (Социализм в государственном и общественном отношении. М., 1907. С. 6).

Для личности социализм не оставляет ничего самостоятельного, ничего, что бы не было коллективизировано. Успех социалистического движения Льву Тихомирову виделся вполне реальным. Сильная организация с начальствующими и подчиненными, с партийной дисциплиной приводила его к мысли о возможности социалистического переворота. Многое из намеченного социализмом после прихода к власти через диктатуру рабочего класса он считал осуществимым. Непреодолимой трудностью для социализма он считал **личность**. Власть социалистического государства так огромна, а классовая диктатура пролетариата так жестка, что личность будет отчаянно сопротивляться этой системе. Это социальное провидение Льва Тихомирова на удивление точно сбылось в советском государстве. Не веря в возможность массы долго выносить деспотизм социалистического общества, он предсказывал, что его дни кончатся бунтом, требующим уничтожения государства ради свободы личности. Но такое бесплодное, анархическое стремление демократии к первобытному состоянию общества, к распаденню его на отдельные группы, борющиеся друг с другом за свое существование,

фактически невозможно. Это движение лишь истощит нравственные и материальные силы в бесплодных революционных предприятиях, ведущих к уничтожению лучших представителей “всех направлений и разложению всех основ общества”. Такое падение культурного мира Л. А. Тихомиров называет “собачьей старостью” — истерпанностью.

Социальный демократизм и его борьба с основами общества

Теоретики социализма пренебрежительно относились к личности, проецируя это отношение и на все порождаемое личностью. Отрицались семья, частная собственность, всякая религия, групповая и корпоративная самостоятельность. Все большее развитие материализма приводило к отрицанию исторических форм общественности и революционному преобразованию мира. Иначе говоря, “чем более заканчивал социализм свое мирозерцание и истекающие из него планы общественного устройства, тем глубже становилась пропасть между ним и тем, чем было создано и чем живет человеческое общество” (Социализм в государственном и общественном отношении, с. 9).

Оставляемое Львом Тихомировым первенство в ряду общественных основ за религией отрицается социализмом, переходя в борьбу с религией, в которой социалистов, кроме всего прочего, не устраивает особое существование верующих, объединенных в Церкви. Разрешив церковную деятельность, социализм получает в лице Церкви общество в обществе, требующее от своих членов следовать другому образу жизни и деятельности. Социализм же не может допустить другой, “посторонней” силы в своем обществе, так как исповедует полный коллективизм и полное огосударствление всех общественных и личных отношений. Церковь, проповедуя жизнь по закону Божьему, просто мешает делать социалистическому обществу нужного ему гражданина.

Государство отрицалось социализмом на основании утверждения, что оно существует лишь для того, чтобы один класс эксплуатировал и подавлял другой. Это Л. А. Тихомиров считал полнейшей клеветой на государство, являвшееся, по сути дела, учреждением общенациональным. Социализм отбирает у человека идею Отечества и закрывает глаза на существенный признак явления, определяя его на основании побочного, тем самым утверждая примерно следующее: огонь есть “способ сожигания жилищ и произведения опасных обжогов самим людям” (Что такое Отечество? М., 1907. С. 32). Данное определение совершенно адекватно социалистическому пониманию Отечества как системы

эксплуатации одних классов другими. В отношении этих основ общественности социализм создает нечто неизвестное и прямо противоположное тому, чем жило человечество на протяжении всей своей истории.

Рассматривая эволюцию демократического принципа, Лев Тихомиров пришел к заключению, что “серии” социальных опытов XVIII — XIX веков приходит конец. Он считал, что иллюзии, которыми можно было бы еще увлечь людей, заканчиваются и что “из волшебного ящика” осталось достать еще две-три идеи, и тогда человечество столкнется с необходимостью вновь серьезно задуматься над дальнейшим социальным путем своего развития.

Но как бы ни пошло дальнейшее развитие истории, одно уже ясно: идеи революции XVIII века, повернувшие мир на ложный путь, на котором человечество за две сотни лет видело много крови и деспотизма, угнетения и закрепощения, ненависти и подавления, так никогда и не выведут людей к свободе, равенству и братству.

История России оправдала достаточно явственно критику демократического принципа Львом Тихомировым. Пройдя все или почти все стадии эволюции демократических иллюзий, Россия пришла к конечному пункту этого пути — анархии. Как можно иначе назвать постперестроечные времена?.. Анархия — это последняя степень развития идеи автономности личности, когда уничтожаются всяческие союзы людей друг с другом, от самых простых, семейных, до самых сложных, государственных.

Еще несколько лет назад мы сами слышали то, о чем писал Лев Тихомиров. Нас убеждали, что не нужны общество и государство: пускай каждый человек живет сам по себе, ведя свободную конкуренцию или борьбу (что все равно) с себе подобными. Разве это не анархия чистой воды, отказывающаяся от всяких общественных союзов, прикрытая лишь либеральной фразеологией? Разве не анархичны были призывы начала 90-х годов нашего века, в которых от государства требовалось уйти из экономики, перестать покровительствовать слабым, то есть призывы к лишению государства функций контроля и регулирования жизни нации. Ведь это все те же попытки в который раз изобрести какие-то новые, неведомые человечеству основы для общества. У демократии остается ограниченный круг идей, уже сильно скомпрометированных ее практикой. Народы уже давно думают, чем можно заменить демократические принципы. **“Если пала корона, удержится ли фригийский колпак?”** — вопрошает Лев Тихомиров.

Всегда, когда это было возможно и нужно, Л. А. Тихомиров возводил высказанный государственный или социологический принцип к объяснению его с религиозной точки зрения. Это придавало дополнительную весомость и законченность его произведениям. Определяя демократию как принцип богоборческий, Л. А. Тихомиров писал, что “воля Бога и вечного Его нравственного закона здесь заменяется временной и случайной, притом фиктивной и фальсифицированной со стороны "представителей", волей народа”. В демократиях народ — “божество”, которому подчиняются и служат. Это “божество” непредсказуемо и кровожадно, как древние языческие божки. “Религиозное” неязыческое поклонение ему Лев Тихомиров считал вторичным одичанием человечества. При демократии толпа всегда выберет Варавву и разбойников, а Христа отправит на распятие.

“Если нам суждено жить, — заключал свою критику демократии Л. А. Тихомиров, **— мы должны искать иных путей,** с сознанием той великой истины, которая так ярко доказывается отрицательным опытом “новой эры”: что правильное устройство социальной жизни возможно лишь при сохранении духовного равновесия человека, а оно для современного, христианством выработанного человека дается только живой религиозной идеей”.

Михаил СМОЛИН

КРИТИКА ДЕМОКРАТИИ

ПОЧЕМУ Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижепомещаемое объяснение мое по вопросу, почему я перестал быть революционером, было не только написано, но даже опубликовано уже довольно давно, в 1888 году⁴.

К сожалению, это издание имело весьма печальную судьбу. Некоторые отдельные места брошюры вызвали недопущение ее продажи в России. Личные обстоятельства, чрезвычайно затруднившие для меня почти на два года литературную деятельность, помешали мне принять своевременно какие-либо меры для исправления брошюры, а потом мне казалось уже поздно хлопотать о ней... Так она и осталась неизвестной русской публике. Я даже не предполагал чтобы она, вызвав против меня целую бурю за границей, могла остаться до такой степени неизвестной, как в этом мне пришлось убедиться через 2-3 года.

Однако несколько сторонних запросов, и особенно любезное предложение редактора “Московских ведомостей”⁵, побуждают меня теперь сделать то, чего обстоятельства не допустили несколько лет назад, то есть опубликовать в пересмотренном виде это объяснение, которое, будучи моим личным, кажется, далеко не лишено общего значения. Само собою разумеется, что я исправляю все места, признанные в 1888 году неудобными. Но засим все остальное, то есть, другими словами, все существо моего объяснения, я оставляю в подлинности, как оно было. Конечно, в интересах проповеди своих идей я мог бы многое здесь дополнить и развить. Но мое объяснение имело личное, документальное для меня значение, и я не хочу какими-нибудь дополнениями давать повод к упреку, будто бы я выставляю себя теперь хотя бы несколько иным, нежели был. В действительности, конечно, ничего подобного и нет. Не говорю уже о том, что меня трудно обвинить в боязни быть самим собой. Но, сверх того, 1888 год был моментом, когда окончательно созрело миросозерцание, определившее всю мою последующую литературную деятельность и потом более развитое мною в “Началах и концах” (1890), “Социальных миражах” (1892), “Борьбе века” (1895) и ряде других статей.

Все основы этого миросозерцания нетрудно видеть в нижеследующем объяснении 1888 года. Но я могу без ложного стыда сознаться, что выработка этого миросозерцания нелегко мне далась. Немало времени потребовалось для того, чтобы предо мной уяснились его частности. Это было неизбежно по самой истории его развития.

С ранней юности я усвоил себе совсем иное миросозерцание, которое тогда господствовало в “прогрессивных” слоях русского общества. Как и все, я воспринял эти взгляды еще тогда, когда не имел никаких самостоятельных наблюдений жизни, никакой самостоятельной критики, да не имел еще и достаточно созревшего для работы ума. Имея некоторую способность писать, я, как огромное большинство и поныне действующих либеральных и радикальных писателей, много лет оставался компилятором чужих мыслей, воспринятых на веру, усвоенных потому, что *все* так думают, все так пишут в целой массе исторических, экономических и т. п. сочинений. Как и все зараженные этим “прогрессивным” миросозерцанием, я узнал жизнь сначала по книгам. Ненормальное господство книги, нужно сознаться, составляет нынче большое зло. Количество фактов, лично наблюдаемых, количество ощущений, непосредственно переживаемых, почти у всех теперь ничтожно мало в сравнении с тем, что воспринимается из ненормально раздутого чтения. Эти книжные “знания” и “ощущения” держали много лет и меня в своей власти.

Лишь благодаря особым условиям своей жизни, чуть не насильно заставившей меня непосредственно наблюдать факты человеческих отношений, а потому непосредственно переживать и те действительные ощущения, которые ими порождаются, я начал мало-помалу критически относиться к ходячим взглядам прогрессистов.

Моя критика, будучи как бы невольной уступкой явно кричащему факту, шла, таким образом, от *конкрета* к общему выводу. Это был путь медленный и тяжелый; каждая ступень его обходилась мне дорого, тем более что я работал в одиночку, и не скоро засветилась передо мной *общая* идея, вознаградившая мое сознание за ряд потерь и разочарований. Развиваясь от частного к общему, моя мысль прежде всего принуждена была отбросить явную ничтожность идей чисто революционных, захватывая потом все более широкими радиусами все большую область “прогрессивного” миросозерцания. Но где остановиться? До каких пределов простирается в этой области несомненная ложь и где, быть может, начинается хотя бы относительная правда — это не сразу уяснилось мне. В этом отношении 1888 год для меня составляет эпоху, момент окончательного переворота.

Причины, по которым я выпустил в 1888 году настоящую брошюру, излагались в ее предисловии, но для современной публики требуют уже более подробного изложения. Дело в том, что мои давние старания уничтожить в среде революционеров “террористическую” идею оставались совершенно неуспешными. Напротив, к 1888 году эта безнравственная и нелепая идея стала проявляться с усиленной настойчивостью. Ввиду этого я счел необходимым выступить против нее возможно более решительно. Первый случай для этого дало мне новое издание книги моей “La Russie politique et sociale”, очень замеченной за границей и — как мне было известно — среди русских радикальных элементов. Собственно говоря, книга эта, по моим тогдашним взглядам, требовала большой переделки. Но на это я не имел возможности. Издатель, заказавший клише, не соглашался на новый набор и предоставил в мое распоряжение только *предисловие*.

Предисловием я и воспользовался, чтобы обрисовать слабость революционной идеи. Кстати, мне требовалось ответить на некоторые замечания критики, и, кажется, некоторые стороны моего ответа поныне не утратили своего значения для известной доли нашей интеллигенции.

Вот что писал я в этом месте предисловия, начав с замечания лондонского журнала “Atheneum”:

“Английский журнал в статье, столь, впрочем, лестной для меня, выражает мысль, что преувеличенные требования ⁶ русской интеллигенции лишь замедляют развитие свободы. Мне кажется, что это мнение основано на неясном понимании действительности.

Я полагаю, что вовсе не широта или узость требований приводят к бессилию русское либеральное движение. Настоящая причина бессилия наших политических программ состоит в том, что они слишком теоретичны, слишком мало национальны, слишком мало сообразованы с условиями нашей страны. Неокрепшая культура нашего отечества еще не имела времени накопить достаточное количество политических и социальных наблюдений, почерпнутых из жизни самой страны.

Человек нашей интеллигенции формирует свой ум преимущественно по иностранным книгам. Он, таким образом, создает себе мировоззрение чисто дедуктивное, построение чисто логическое, где все очень стройно, кроме основания — совершенно слабого. Благодаря мирозерцанию такого происхождения у нас люди становятся способны упорно требовать осуществления неосуществимого или даже не имеющего серьезного значения, а в то же время оставлять в пренебрежении условия капитальной важности.

При Императоре Николае I правительство предприняло переустройство государственных крестьян. Император очень удачно выбрал исполнителя своей мысли, графа Киселева, одного из величайших государственных людей, каких когда-либо рождала Россия. Таким образом, создана была одна из замечательнейших социальных организаций нашей истории. Земли пространством в целую Европу были объединены в руках государства, крестьяне обильно наделены, система переселений давала исход новым поколениям земледельческого класса; создана замечательная система народного продовольствия для борьбы с неурожаями; улучшение земледельческой культуры у 20 миллионов крестьян стало предметом обязательной и сознательной работы министерства. Сверх того, крестьяне лично были свободны, а их общины управлялись их же избранниками. Через два десятка лет усилий эта обширная организация была наконец поставлена на ноги.

Наступает 1861 год. Александр II предпринимает освобождение крепостных. Положение государственных крестьян было тогда более чем удовлетворительно. Их культура делала успехи, они правильно вносили подати, их прежняя склонность к бунтам исчезла или заглохла. Что было проще, как подражать столь счастливому примеру и только расширить рамки уже созданной организации? Но что же выбрали в действительности? С 1858 по 1861 год наговорено было бесчисленное множество фраз, начиная от свободы и кончая социализмом, и для чего же? Чтобы кончить дезорганизаторской реформой 19 февраля”.

После этого исторического образчика того, что наши предприятия далеко не всегда страдают от чрезмерной *широты* требований, так как в данном случае люди 1856-1861 годов оказались именно неспособными охватить широту идеи “николаевских” времен, я продолжаю:

“Итак, не сужение точек зрения нужно нам, а приобретение большей зрелости. Нужно отделаться от того детского примитивного воображения, которое наслаждается фейерверками трескучих фраз. Нужно приобрести воображение зрелого, развитого человека, которое любит прочное сооружение из незыблемых фактов действительности. Другими словами, это значит, что нужно возможно скорее и шире развить цивилизацию и науку, особенно же изучение своей страны и народа. Нужно стать способными самостоятельно пролагать свою дорогу, и тогда никакая широта желаний не повредит”.

После этого общего рассуждения я перешел к вопросу о “революционных крайностях”, в которых основная узость мысли доходит до последних пределов, особенно в *терроризм*.

“Не буду, — говорю я, — касаться нравственной стороны подобной системы действий, хотя предвижу серьезные опасности, которые в нравственном отношении может породить привычка решать вопрос о жизни человеческого существа, основываясь только на собственном, личном усмотрении. Но дело не в том. Ограничиваясь даже разбором вопроса *политического*, и с этой точки зрения террористическую идею должно признать абсолютно ложной.

Одно из двух: или имеются силы ниспровергнуть данный режим, или нет. В первом случае нет надобности в политических убийствах, во втором они ни к чему не приведут. Мысль запугать какое-нибудь правительство, не имея силы его низвергнуть, — совершенно химерична: правительств, настолько несообразительных, не бывает на свете. Что касается страха смерти, то личной безопасности нет и на войне, а много ли генералов сдавались собственно из-за этого?

Или не нужен, или бессилён — вот единственная дилемма для терроризма как системы политической борьбы. Не говорю уже об опасности, порождаемой воспитанием ума, для которого великие социальные вопросы постоянно заслоняются принижающими стычками с сыщиками...

Боюсь, что уже и сказываются последствия этого принижения. Как много вижу я людей, не ожидающих ничего великого от будущего России, ничего, кроме какого-нибудь парламента, кое-каких вольностей, и для достижения этих пустячков они возлагают свои надежды на убийства да меры насилия...

На мой взгляд, все ложно в этой прискорбной оценке положения вещей. Ложен, во-первых, ее пессимизм, потому что если есть страна, от которой можно ожидать пышного развития своеобразной культуры, — то это, конечно, Россия. Во-вторых, надежды на политические убийства обличают полное непонимание законов общественности. Кинжал и динамит способны только запутывать всякое положение. Распутать его способны лишь идеи — здоровые, положительные, умеющие указать России дорогу не для пролития крови, а для развития силы. Нужно иметь идею созидательную, идею социального творчества. Только тогда стоит толковать о политических вольностях”.

Вот, собственно, каков был краткий ряд размышлений, который вызвал против меня страстный поход революционеров, не стеснявшихся ничем, чтобы меня уничтожить. Их особенно возмущало, как я осмелился открыто заявить об изменении своих взглядов. “Разве вы не могли молчать”, — слышал я со всех сторон. Я отвечал брошюрой “Почему я

перестал быть революционером”, которую и воспроизвожу в подлинности на нижеследующих страницах.

Эта брошюра имела два приложения, которых содержание, с дополнительными объяснениями, я излагаю теперь в *приложении № 1*.

Сверх того, помещаю в *приложении № 2* свой ответ на возбужденную против меня полемику эмигрантов, так как этот ответ составляет естественное дополнение к брошюре 1888 года. Он был напечатан в “Московских ведомостях” в 1889 году.

2 сентября 1895 г.

ПОЧЕМУ Я ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

Исправленный текст 1888 года

I

Если бы мой скептицизм в отношении различных основ нашего революционного мирозерцания не пробудился уже давно, то он, конечно, был бы пробужден теперь, когда я в таких резких формах наблюдаю легкость и быстроту, с которой революционные направления закостеневают до полного староверия. Всякое явление, разумеется, кончает смертью, а перед тем переживает период старчества, минерализации. Но доходит до него так быстро, еще ничего не сделавши, даже не выйдя из хаоса внутренних противоречий, словом, не сложившись еще даже, — это, без сомнения, показывает крайнюю скудость жизненных сил в самом зародыше явления. Я наблюдаю такую картину на отдельных примерах, но они мне напоминают многочисленные аналогии.

Моя уверенность, что я стою теперь на верном пути, только возрастает, когда я прислушиваюсь к упрекам, раздающимся против меня, и наблюдаю действия, о которых полезнее будет поговорить когда-нибудь посмертно, на страницах тогдашней “Русской старины”.

Меня упрекают в тысяче вещей: почему я не говорил, почему не молчал, почему не подождал, почему бросил партию и т. д. Отвечать на большинство этих упреков не имеет смысла, потому что в них сказывается просто различие точек зрения на нравственные права и обязанности человека. Замечу только, что в этом отношении я,

собственно, нисколько не изменился и смотрю так же, как смотрел всегда. Есть, однако, кое-что, требующее ответа.

Меня упрекают: почему я не молчал? Мне говорят: вы должны молчать... Я знаю, это обычное явление: многие, достигшие некоторого опыта и возраста, перестают верить в свои прежние основы и мечты — но молчат! Они не делятся опытом с молодежью, замечая: “Зачем разочаровывать? Сам ничего не делаешь — не мешай другим!” Есть и такие, у которых причина верности старому заключается во внутреннем крике сожаления о погибшей жизни: “Как, неужели эти пять или десять лет были ошибкой? За что же положил я столько сил, за что отказался от того-то и того-то... Не может быть!” Глубоко трагично это положение, оно не может не возбуждать жалости. Но, сознавая причины малодушия и даже лично прощая его, нельзя забывать и того, что оно несет тяжелую ответственность за гибель молодых сил, за бесплодность наших “движений”. Я считаю обязанностью поступить иначе. Когда я верил, что да, я говорил — “да”; когда думаю, что нет, я и говорю — “нет”. Я писал программы в двадцать лет; теперь, когда мне почти сорок, я был бы весьма плохого о себе мнения, если бы побоялся своих двадцатилетних сочинений или не умел сказать ничего умнее их. Послушает ли кто-нибудь меня — это вопрос иной, но обязанность моя совершенно ясна.

По поводу упреков за мое отношение к так называемой “Партии народной воли” я также желаю раз навсегда установить факты, чтобы не оставлять места ни клевете, ни ошибке⁷.

Есть два рода обязанностей: нравственные, предписывающие делать то, что указывает наша совесть, и формальные, предписывающие исполнять то, что обаялся исполнять. Подчиняя их, конечно, нравственным, тем не менее я вполне признаю и формальные обязанности. Но дело в том, что по отношению к бывшей “Партии народной воли” меня нельзя упрекнуть в нарушении даже формальных обязанностей. Я поддерживал ее гораздо дольше, чем позволял здравый смысл, мои убеждения и мои обязанности перед родиной.

Когда-то я приветствовал появление этой партии, я ей отдал все силы. Я тогда еще был революционером, но уже понимал необходимость созидания, без которого не бывает здоровых движений. В новом движении мне чудилось нечто созидательное, элементы которого я старался к нему прививать по мере своего понимания. Так, верой и правдой, по совести и убеждению, прослужил я почти до конца 1880 года. Тут я — и не я один — стал чувствовать, что в этом движении нет творческой силы. 1881 год я пережил весь уже с чисто формальной “верностью знамени”. Я в это время чувствовал себя в недоумении.

Россия здорова — таково было мое впечатление; страна полна жизненной силы — но почему же чахнет революционное движение, это, как мне говорили мои теории, высшее проявление роста страны?

Мне это казалось невероятным противоречием, которое я не мог разрешить и которое меня приводило к какому-то холодному отчаянию. Так уехал я за границу с единственным желанием написать свои воспоминания о пережитом.

Замечу мимоходом, что я уехал с согласия товарищей, но без всяких поручений и вообще совершенно свободный, предупредив, что еду на неопределенно долгое время. Во время этого-то “бессрочного отпуска” моего там, в России, рухнули все остатки старой организации, погибли все, по отношению к кому можно было бы говорить с каким-нибудь правом о моих *обязательствах*.

Было бы долго, да и едва ли я имею всегда на то право, говорить об обстоятельствах, которые определили такое, а не иное поведение мое за границей. Скажу одно: это самое отвратительное время моей жизни.

Это единственная эпоха, когда кружковщина, заедающая вообще всю живую силу в наших quasипартиях, могла меня связать и полонить. Конечно, на то были свои причины, и именно долг, рутинный партийный долг, который животворит человека в живом деле, но, сказываясь по отношению к делу умирающему, напоминает грехи, наказуемые до седьмого поколения. Действительность мне давала потрясающие указания. Но чтобы ими пользоваться, нужно иметь ум и совесть свободно функционирующими, нужно позволять себе думать и чувствовать, а этого-то и не было, как нет нигде в партиях, а уж особенно в наших. Я утешал себя мыслью, что, находясь в рядах партии, буду лучше способствовать ее пересозданию. Какое самообольщение! Выходило, конечно, лишь то, что я себя подчинял, сам молчал, да и думал гораздо меньше, чем следовало бы, мешая думать и другим.

Несмотря, однако, на полную добросовестность, с которой я кастрировал свои умственные способности, я мог достигнуть лишь замедления своего развития, но не полного его уничтожения. Жизнь действовала слишком вразумительно. Я не мог не замечать ее указаний. Деятельность Германа Лопатина [2] с товарищами дала мне новое предостережение. Я увидел, что они делают не то, что нужно. Что нужно — этого я не мог почуять из-за границы, но настоятельно советовал Г. Лопатину искать новых путей, так как старые, на которых он стоял, очевидно негодны. Когда я увидал, что он и его товарищи не умеют или не хотят сойти со старых путей, я (летом 1884 года, числа не помню)

письменно отнял у Г. Лопатина право считать меня членом их кружка и просил больше не пользоваться моим именем.

С тех пор я отстранился от всяких кружков или организаций. Иногда у меня были порывы что-нибудь начать — но уже вне всякого подчинения каким-нибудь партиям.

Вот, если позволят читатели, несколько выдержек из моего дневника за 1886 год. В марте 1886 года я отмечаю, что по таким-то обстоятельствам (имевшим место, прошу заметить, в январе 1885 года) “я окончательно убедился, что революционная Россия — в смысле серьезной, созидательной силы — не существует... Революционеры есть, они шевелятся и будут шевелиться, но это не буря, а рябь на поверхности моря... Они способны только рабски повторять примеры... Они не перенимают даже и у стариков ничего, кроме внешности, техники”. Далее: “В моих глазах уже более года несомненно, что отныне нужно всего ждать лишь от России, от русского народа, почти ничего не ожидая от революционеров”. Я делал отсюда вывод, что “жизнь свою должен устроить так, чтобы иметь возможность служить России так, как подскажет мне мое чутье, независимо ни от каких партий”.

Таковы факты. Читатели видят, что у меня давно нет решительно никаких обязательств по отношению к “Партии народной воли”. Если же находятся люди, которые вздумали бы ее воскресить⁸, — что мне за дело? Это меня ровно ни к чему не обязывает. Я этой попытки не затевал, напротив, всегда советовал ее не делать, я ее не одобряю, я предвижу от нее только вред для России. Вопрос же, как бы отнеслись теперь к попытке те или другие из погибших представителей старого движения, для меня интересен в историческом и психологическом смысле, но не может иметь никакого влияния на мой выбор пути. Я мог позволить своему рассудку и воле дремать, но раз они проснулись и заговорили, я слушаюсь только их. Если бы теперь восстали из каких угодно могил и какие угодно люди, как бы близки они мне ни были — я мог бы сделать одно:

употребить все силы, все знание, все доводы, чтобы убедить этих людей пойти со мной. А затем, с ними или один, я все-таки пошел бы своей дорогой, той, которую считаю истинной⁹.

II

Есть много моих сверстников, которые также получили немало уроков от жизни и тем не менее продолжают пассивно “держаться знамя”, с ужасом отгоняя от себя мысль о каких-либо переменах, особенно в

сторону “умеренности”. Отбросить же привычки стольких лет и так далеко, чтобы совсем перестать быть революционером, им представляется чем-то вне человеческого разума. Я поступил иначе. Почему? Причин, конечно, много. Между прочим, я, например, чрезвычайно обязан наблюдению французской жизни, которая показала мне и действительно драгоценные стороны культуры, и ничтожную цену революционных идеалов. Но самое главное вот что: в мечтах о революции есть две стороны. Одного прельщает больше сторона разрушительная, другого — построение нового. Эта вторая задача издавна преобладала во мне над первой. Вообще, меня лично очень бы интересовала задача проследить *теперешнего* себя в моем революционном прошлом, сквозь которое я с благодарностью смотрю на мои дореволюционные годы. Эти годы воспитания умели все-таки подарить мне некоторую индивидуальность, которую потом не мог вполне стереть даже поток передовых идей, затопивший наше поколение. Само собою, я не думаю угостить читателя своей автобиографией. Напомню только просто, что вполне сложившиеся идеи общественного порядка и твердой государственной власти издавна отличали меня в революционной среде; никогда я не забывал русских национальных интересов и всегда бы сложил голову за единство и целостность России. В своем социализме я никогда не мог примкнуть ни к одной определенной школе. В отношении бунтовском я мечтал то о баррикадах, то о заговоре, но никогда не был “террористом”.

Некоторый отпечаток положительности лежал на моем революционизме.

Вообще, я разделил бы революционный период моей жизни на три фазиса:

мечты о поднятии народных масс (эпоха “Земли и воли”), причем я, однако, никогда не допускал мысли о самозванщине и тому подобном лганье, а думал, так сказать, о “честном бунте”;

мечты о государственном перевороте посредством заговора, причем я, так сказать, терпел террор, стараясь, однако, обуздывать его и подчинить созидательным идеям (эпоха “Народной воли”);

мечтания о государственном перевороте путем заговора с резким отрицанием террора и с требованием усиления культурной работы (эпоха кончины “Народной воли”).

После этого я отбросил и самую революцию вообще. Третий фазис для меня теперь такое же прошлое, как первые два. Но он менее известен публике (то есть судящей обо мне), так как я в это время почти ничего не писал. Нелишним будет несколько восстановить его физиономию. У меня

для этого есть совершенно объективный документ: статья, которую не допустили до напечатания в № 5 “Вестника “Народной воли””.

Жалею, что недостаток места не позволяет мне напечатать ее целиком. Суть ее в следующем.

Россия, говорю я там, находится в самом обыкновенном, так сказать, нормальном состоянии, а революционные партии — в расстройстве. Такое несоответствие должно объясняться лишь ошибками программы партии.

“Программа “Народной воли” была лишь попыткой, — говорю я там. — Для того чтобы превратиться в действительную русскую революционную программу, она должна бы быть двадцать раз пересмотрена и исправлена при помощи того культурно-революционного движения, которое она должна бы возбудить... Не уединяться, не отстаивать свое должна бы партия, а, напротив, сливаться с Россией”.

Все это оказалось, однако, выше понимания революционеров. Уже сразу “Народная воля” допустила такую громадную ошибку, как включение в программу деятельности разрушительной и террористической. Последующие годы еще более развили ошибку. Эту мысль я доказываю в статье подробно, с точки зрения заговорщика. Мое отрицание террора в высшей степени резко. “Если бы мне сказали, что в той или другой стране ничего не остается делать, как пускать в ход террор, я бы сильно усомнился в способности этой страны к жизни”. Однако же терроризм именно все больше развивался в партии, совершенно подрывая ее собственные силы, ее подготовительную работу, а между тем “роль настоящих революционеров — это роль не только бунтовская, но и культурная”. Идея террора, таким образом, со всех сторон сузила и обесплодила идею революции, замкнула ее дело в небольшом слое “своих” людей (слишком часто нелегальных), а потому помешала партии превратиться в широкое общественное движение. Я заключаю статью напоминанием, что все разочарования имеют место собственно в среде партии. “Россия в более широком смысле идет своим путем”. Должно, стало быть, надеяться, что “Россия и ее интеллигенция сумеют понять друг друга”, а потому я смело говорил еще читателям: “До лучшего будущего”.

Так хотел я обратиться к читателям “Вестника” в его прощальном номере, летом 1886 года. Однако же товарищи по редакции и изданию единогласно и с некоторым ужасом нашли мою статью неподходящей, высказав, что я не имею права печатать ее в “Вестнике “Народной воли””. Так она и погибла ¹⁰.

Я тогда был по этому поводу в большом негодовании: мне казалось невероятным, как люди могут не понимать, что я им показываю единственный серьезный, разумный способ действия, который притом, как мне казалось, лишь развивает лучшие мечты старого времени, только более возмужалые и окрепшие.

Это было совершенно законное чувство. Но, с другой стороны, не могу теперь не сознаться, что именно разумность действия и дух жизненности, проявившиеся в нем, должны были в логическом развитии сделать еще шаг вперед и совершенно отбросить “революционные способы действия”. Я сам ведь утверждаю в статье, что “только известная эволюция в народной жизни может создавать почву для революционной деятельности”. Я требую единения партии со страной. Я требую уничтожения террора и выработки “великой национальной партии”... Но тогда для чего же самые заговоры, восстания, перевороты?

Такая партия, о создании которой я помышлял, очевидно, сумела бы выработать систему улучшений вполне возможных и явно плодотворных, а стало быть — нашла бы силы и способность показать это и правительству, которое не потребовало бы ничего лучшего, как стать самому во главе реформы.

Поэтому моя точка зрения действительно являлась опасной и еретичной для тех, кто хочет во что бы то ни стало быть революционером. Она опасна потому, что в конце концов отклоняет от революции (хотя начинает с нее). Она еретична потому, что — сознательно или бессознательно — проникнута духом отрицания множества основ революционной религии.

У нас действительно (да и не только у нас) глубоко укоренилась мысль, будто мы живем в каком-то “периоде разрушения”, который, как веруют, кончится страшным переворотом с реками крови, треском динамита и т. п. Засим — предполагается — начнется “период созидательный”. Эта социальная концепция, составляющая нечто вроде политического отражения старых идей Кювье [3] и школы внезапных геологических катастроф, совершенно ошибочна. На самом деле, в действительной жизни, разрушение и созидание идут рука об руку и даже немислимы одно без другого. Разрушение одного явления происходит, собственно, оттого, что в нем, на его месте, создается нечто другое, и, наоборот, формирование нового есть не что иное, как разрушение старого. Кто имеет силу разрушить, бессильный, однако, немедленно воссоздать новое, производит только омертвление части общественного организма. Но в большинстве случаев при таких условиях и самое разрушение чисто фиктивно: уничтожат, например, личность, а идея, или

сословие, или учреждение, ею представляемые, продолжают оставаться в полной силе и здравье.

У нас же это революционное разрушение составляет веру, надежду, обязанность каждого доброго радикала. Все, что есть бунт, протест, ниспровержение, рассматривается как нечто полезное, содержащее зерно прогресса. Тем более полезным считается разрушение, если оно направлено против администрации или правительства, то есть против самого центра охраны существующего порядка. Мысль о возбуждении бунтов, восстаний, заговоров всякого рода пыталась у нас воплотиться в каких угодно формах — и ни в одной не могла этого достигнуть: ни для баррикад, ни для ирландщины, ни для заговора не оказывается в России “материала”, то есть сочувствия, желаний народа и общества.

При таких условиях для реального проявления восстания, если не считать злополучных студенческих волнений, остается только, так сказать, единоличный бунт, то есть именно терроризм. Для такого способа действий нет нужды ни в поддержке, ни в сочувствии страны. Достаточно своего убеждения, своего отчаяния, своей решимости погибнуть. Чем меньше страна хочет революции, тем натуральнее должны прийти к террору те, кто хочет во что бы то ни стало оставаться на революционной почве, при своем культе революционного разрушения. Защитники политических убийств очень редко, полагаю, сознают, что настоящую силу терроризма в России составляет безнадежность революции; но в действительности они только поэтому и стремятся так упорно к террору, хотя бы вопреки даже усилиям наиболее способных людей своего же лагеря.

Терроризм исчезнет у нас тогда, когда исчезнет мысль действовать революционным путем. К несчастью, мысль о революционном пути воспитывается всеми слабыми сторонами русской образованности. Требование усиленной культурной работы, падавшее прямо на этот слабый пункт, независимо от моей воли являлось, в сущности, антиреволюционным. Самый же факт его постановки является указанием на то, что в моем уме революция была уже бессознательно погребена.

Итак, воздаю полную справедливость лицам, забравшим мою статью. Как революционеры, они были правы. Но я — я тоже был прав, как человек, мысль которого пошла дальше и глубже. У меня была тогда только одна ошибка: я не решился расстаться с некоторыми остатками бунта и с самим словом “революция”, которое слишком переувачено бунтовщиками, для того чтобы служить с пользой в какой-либо рациональной программе¹¹. Скоро я исправил и эту ошибку.

Революционный период моей мысли кончился и отошел в вечность. Я не отказался от своих идеалов общественной справедливости. Они стали только стройней, ясней. Но я увидел также, что насильственные перевороты, бунты, разрушение — все это болезненное создание кризиса, переживаемого Европой, — не только не неизбежно в России, но даже маловозможно. Это не наша болезнь. У нас это нечто книжное, привитое, порожденное отсутствием русской национальной интеллигенции. Но не придавать ему значения тоже не следует. Конечно, наше революционное движение не имеет силы своротить Россию с исторического пути развития, но оно все-таки очень вредно, замедляя и отчасти искажая это развитие.

Я не могу входить подробно в критический разбор множества переплетающихся, часто противоположных точек зрения, составляющих в сложности теоретический багаж революционного движения. Мне нужно, собственно, определить лишь свое отношение к нему. А потому я посвящаю нижеследующее изложение только трем вопросам, практически наиболее важным:

- терроризму,
- студенческим волнениям,
- оценкам формы государственного правления.

III

Идея *террора* сама по себе до такой степени слаба, что о ней не испытываешь даже желания говорить. То, что я сказал о нем в предисловии к “La Russie politique et sociale”, совершенно верно:

терроризм как система политической борьбы или бессилен, или излишен: он бессилен, если у революционеров нет средств низвергнуть правительство; он излишен, если эти средства есть. А между тем он вреден в нравственном и умственном смысле. Об этом я сказал в предисловии очень слегка. Составители протеста¹², однако, нападают на меня особенно горячо на этом пункте, и слабые аргументы “старых язычников”, как они себя называют, именно здесь могут оказать влияние на молодежь, так как льстят ее привычным точкам зрения. Поэтому и я выскажу полнее свою мысль.

“Старые язычники” вспоминают в пользу террора истрепанный аргумент, будто бы это “дезорганизует правительство”. Я еще в вышеприведенной статье (не пропущенной для “Вестника “Народной воли””) доказывал, что он прежде всего “дезорганизует самих революционеров”. Что касается правительства, я бы желал видеть точнее

формулировку, в чем именно выражается его “дезорганизация”. Я сам это говорил когда-то вместе с другими, но то, что могло казаться признаком дезорганизации до 1884 года, по-моему, совершенно исчезло потом.

Вообще, вывод моего наблюдения таков, что политические убийства приводили правительство в некоторое расстройство лишь до тех пор, пока оно думало, будто перед ним какая-то грозная сила;

раз убедившись, что это ничтожная горсть, которая потому и занимается политическими убийствами, что не имеет силы на что-нибудь серьезно опасное, правительство, по-моему, не обнаруживало более никаких признаков расстройства. Оно усвоило твердую систему и пошло своим путем совершенно без колебаний. Без сомнения, личная жизнь правительственных лиц, способных навлечь ненависть террористов, чрезвычайно испорчена постоянным ожиданием покушений. Но как бы ни была неприятна такая жизнь — уступать из-за этого, конечно, никто не станет. Во-первых, это было бы слишком малодушно, во-вторых, подготовляло бы слишком много опасности в будущем. Сегодня из-за страха смерти изволь уступать социалистам, а завтра, видя это, крепостники с такими же угрозами потребуют уступок им, а послезавтра — крупные капиталисты и т. д. Это было бы слишком бессмысленно...

С этой стороны, то есть в смысле политических изменений, значение террора равно приблизительно нулю. Но зато он отражается самым вредным образом внизу, на самих революционерах, и повсюду, куда доносится его влияние. Он воспитывает полное презрение к обществу, к народу, к стране, воспитывает дух своеволия, не совместимый ни с каким общественным строем. В чисто нравственном смысле какая власть может быть безмернее власти одного человека над жизнью другого? Это власть, в которой многие (и не худшие, конечно) отказывают даже самому обществу. И вот эту-то власть присваивает сама себе горсть людей, и убивает она даже не за какие-нибудь зверства, не за что-нибудь такое, что выводило бы ее жертвы за пределы человеческого рода, — она убивает, так сказать, за политическое преступление. И в чем же состоит это политическое преступление? В том, что признанное народом, законное правительство не желает исполнять самозванных требований горсти людей, которая до такой степени глубоко сознает себя ничтожным меньшинством, что даже не пытается начать открытую борьбу с правительством.

Конечно, со стороны этих людей можно услышать множество фраз о “возвращении власти народу”. Но это не более как пустые слова. Ведь народ об этом нисколько не просит, а, напротив, обнаруживает постоянно готовность проломить за это голову “освободителям”. Только отчаянный

романтизм революционеров позволяет им жить такими фикциями и третировать русскую власть, как позволительно третировать власть какого-нибудь узурпатора. Русский Царь не похищает власти; он получил ее от торжественно избранных предков, и до сих пор народ, всею своею массой, при всяком случае показывает готовность поддержать всеми силами дело своих прадедов.

Кто же оказывается тираном? Не сами ли революционеры, которые, сознавая себя ничтожным меньшинством, позволили себе поднять руку на Монарха, представляющего собою весь народ и не подлежащего никакой ответственности, а Церковь освященного званием ее светского главы?

Мне могут возразить, что вопрос о праве не всегда уместен, что иногда самозванные бунтовщики нравственно более представляют народ, нежели его законные представители. Случается. Но чтобы воображать это о себе — нужны *факты*, а факты истории нашего злополучного движения таковы, что теперь иллюзию “нравственного представительства” я уже не могу объяснить даже живостью воображения, а разве его косностью и невосприимчивостью ни к каким впечатлениям. Неужели все сословия страны еще недостаточно кричат, что революционеры для них “отщепенцы”?

Анархисты любят ссылаться еще на теорию “естественных”, прирожденных прав человека. Нельзя, однако, не заметить, что вопрос об естественных правах человека по малой мере спорен; теоретически он уяснится только тогда, когда вполне установлена будет природа общества. Практически он становится ясен только тогда, когда “естественные права” признаются законодательством (как, например, американское или французское объявление прав человека и гражданина). У нас не было ничего подобного, и сами революционеры в своей программе исходят вовсе не из “естественных прав” и “народной воли”. Но “народная воля” — за правительство и требует подчинения ему. А засим, если бы “естественные права” и легли в основу программы какой-либо партии, они не дадут ей никакого разрешения на политические убийства, что составляет, несомненно, посягательство на свободу личности и права общества.

В общей сложности терроризм, практика политических убийств есть система борьбы, которая сама не выяснила себе ни своего права на существование, ни даже своей идеи. В действительности такой идеей может быть только анархическое всевластие личности и презрение ко власти общества. Но, воспитывая целые поколения в таких идеях, терроризм не имеет даже логичности анархизма, умудряется гласно

отречься от анархии, требует централизации, дисциплины... Не есть ли в целом это настоящая школа хаотизирования мысли, школа, приучающая людей к деятельности, не осмысленной никаким общим социологическим мирозерцанием?

Принижающее действие терроризма, стало быть, неизбежно, даже если не считать того, что фактически он приходит к “борьбе” уличных разбойников. Составители протеста обижаются, что я назвал эту “борьбу” *abaissante* — принижающей. Но еще бы! Я понимаю еще эти стычки в виде мелкого эпизода. Но когда борьба с полицией и покушения на жизнь правительственных лиц делаются базисом — это, несомненно, заставляет борющихся мало-помалу становиться всецело ниже роли реформатора. Реформатор, если он не самозванец, должен быть умственно и нравственно выше среды, в которую приносит свет, а стало быть, он имеет силу и пересоздать ее, повлиять на нее. В этом его гордость и могущество. Что же сказать, если такое влияние, эта “культурная работа”, начинает казаться *quasireформаторам* даже вовсе невозможной¹³ и они сами без зазрения совести сознают, что могут действовать только кинжалами да фальшивыми паспортами?

Влияние самого образа жизни террориста-заговорщика чрезвычайно отупляющее. Это жизнь травленого волка. Господствующее над всем сознание — это сознание того, что не только нынче или завтра, но каждую секунду он должен быть готов погибнуть. Единственная возможность жить при таком сознании — это не думать о множестве вещей, о которых, однако, нужно думать, если хочешь остаться человеком развитым. Привязанность сколько-нибудь серьезная и какого бы то ни было рода есть в этом состоянии истинное несчастье. Изучение какого бы то ни было вопроса, общественного явления и т. п. немислимо. План действия мало-мальски сложный, мало-мальски обширный не смеет прийти даже в голову. Всех поголовно (исключая 5-10 единомышленников) нужно обманывать с утра до ночи, от всех скрываться, во всяком человеке подозревать врага... Нужны особо выдающиеся силы, чтобы хоть немножко думать и работать при такой противоестественной жизни. Да и такие люди, если не вырываются из засасывающего болота своей обстановки, быстро понижаются. Для людей же меньшего калибра эта непрерывная возня со шпионами, фальшивыми паспортами, конспиративными квартирами, динамитами, засадами, мечтами об убийствах, бегствами — еще гораздо фатальнее.

IV

Второе проявление нашей “революции” составляют *волнения молодежи*, уничтожающие огромный процент ее лучших сил.

Я знал в России среди тех, которые сами гибнут, немало революционеров, шадивших молодежь. Еще недавно один из таких людей, которому я высказал свои взгляды столь же откровенно, как в настоящей брошюре, просил меня обратиться к молодежи с товарищеским увещанием — учиться и готовиться к жизни, а не бросаться преждевременно в политику.

Составители заграничного протеста чувствуют и думают иначе. Они боятся, чтобы я не произвел “охлаждающего” действия на молодежь. “Сколько молодых, формирующихся сил, — говорят они, — обрекаются на нравственную смерть, на внутреннее разложение в смутную эпоху, когда всякая (!) эволюция (??) человека, по-видимому уже установившегося (то есть меня, грешного. — *Л. Т.*), служит для нерешительных и колеблющихся поощрением и призывом быть переметною сумой”.

Я нарочно цитирую эти строки. Это яркое знамение упадка, указывающее, что пора господам “передовым” одуматься, пора снова приняться за выработку своей личности, своего ума и совести. Пусть читатели вдумаются только в узкий, катальный дух, пропитывающий обращенные ко мне упреки.

“Всякая” эволюция страшит авторов “протеста”; нравственная жизнь состоит для них в том, чтобы быть “как наши”; критика, самостоятельный выбор составляют “внутреннее разложение”; “колеблющихся и нерешительных” они желали бы захватить к себе, не заботясь об отсутствии убеждений, а довольствуясь пассивным послушанием и подражанием. Хороши, нечего сказать, нравственные идеалы!

Нет, не так я смотрю! В такую смутную эпоху, столь бедную умственной работой, столь приниженную нравственно, пример смелого искания правды, пример честного отказа от ошибки без трепета пред преследованием, клеветой, бранью — это, я думаю, именно и есть то, что наиболее нужно для “колеблющихся и нерешительных”.

Колеблющиеся и нерешительные! Вы, которые имели счастье еще не оцепенеть в пассивном следовании за “нашими”, выслушайте меня, одного из немногих, кто не побоялся дать себе отчет в своем опыте и своих ощущениях. Можно со мною не соглашаться, но только обратите внимание на мою “эволюцию”. Вы от этого только выиграете. Я могу

дать только полезную для вас работу мысли. Если проявление умственной работы невыгодно для какой-нибудь программы, если для служения какой-либо партии нужны умы гипнотизированные, нужна пассивная совесть старовера — это доказывает лишь ложность программы. Нравственная смерть именно и состоит в окостенении совести, которая жива лишь тогда, когда действует, оценивает и выбирает.

Мой совет молодежи: думайте, наблюдайте, учитесь, не верьте на слово, не поддавайтесь громким фразам, не позволяйте себя стращать ни “великими могилами”¹⁴, ни “переметными сумами”. Примерьте двадцать раз, прежде чем отрежете.

Я говорю это не только потому, что мне жаль видеть, как погибает молодежь. Конечно, есть и это. Меня возмущает, когда я слышу рассуждения: “Пусть бунтуют; это, конечно, пустяки, но из этих людей все равно ничего серьезного не может выйти, а тут все-таки — протест”¹⁵.

Я — сознаюсь охотно — предпочитаю видеть, что маленький, обыкновенный человек, “не годный ни к чему серьезному”, живет как умеет, счастливо, а не гниет где-нибудь в ссылке или в каземате. Но дело не только в этом, не в личной судьбе сотен молодых людей. Тут замешаны очень и очень близко величайшие интересы России.

Учащаяся молодежь — это слой, из которого вырастает впоследствии государственная и умственная жизнь страны, слой драгоценный, который подготавливает родине неоценимые блага, если готовится осмысленно к своей будущей миссии, но который также может принести много зла уж одним тем, что не умеет выполнить как следует добра. Это налагает на учащуюся молодежь серьезные обязанности — добросовестно подготовиться к будущей роли. Недостаточно иметь добрые намерения, недостаточно иметь горячее чувство — нужны знания, нужно уменье и *особенно выработка умственной самостоятельности*. Русская учащаяся молодежь должна помнить, что все будущие “учители”, все способные руководить политикой или давать направление народной мысли — все они могут выйти только из ее среды. Какое банкротство готовит своей стране поколение, которое не выработает к своему времени достаточного количества людей мужественных, крепких духом, способных всегда отыскать свой собственный путь, не поддаваясь первому впечатлению или влиянию политической моды, а тем более пустым фразам, посредством которых шарлатаны повсюду эксплуатируют доверчивые сердца!

Россия — страна с великим прошлым и дает надежды на еще более великое будущее. Но она имеет свои недостатки, из которых один, очень важный, особенно близко касается учащейся молодежи: это крайняя

незначительность серьезно образованного, мыслящего слоя, способного к серьезной умственной работе. Опасность такого недостатка очевидна, так как этот слой дает тон всей работе каждой страны, касается ли дело политики, промышленности, воспитания и т. д.

Слабость этого “мозга страны” отражается на всей массе образованного слоя двояко: во-первых, в виде плохого качества ходячих понятий, распространенных в публике и прививаемых мало-помалу к массе народа; во-вторых, самая манера мыслить, уменье мыслить, способ выработки понятий остаются весьма неудовлетворительными.

Низкое качество политических и социальных понятий, находящихся у нас в обращении, зависит от того, что, по незначительности серьезных умственных сил, социальная наука не разрабатывается на изучении нашей собственной страны и представляемых ею общественных явлений. В этом значительно виновата и прежняя цензура, но влияния ее не следует преувеличивать. Главная причина заключается в нас самих, в нашей манере мыслить.

В русском способе мышления (говорю об *интеллигенции*) характеристичны две стороны: отсутствие вкуса и уважения к факту и, наоборот, безграничное доверие к теории, к гипотезе, мало-мальски освящающей наши желания. Это должно происходить, очевидно, от малой способности мозга к напряженной умственной работе. Голова, слишком быстро устающая, не может справиться с мириадами фактов, наполняющих жизнь, и получает к ним нечто вроде отвращения. Гипотеза, напротив, ее радует, давая кажущееся понимание явлений без утомительного напряжения. Эти явления естественны в народе, так недавно начавшем учиться. Но их нужно сознавать, понимать и исправлять. Среда учащейся молодежи особенно должна подумать об этом, так как она именно и занимается специально выработкой своей мысли.

Наша общественная мысль переполнена всевозможными предвзятостями, гипотезами, теориями одна другой всеобъемлющее и воздушнее. Воспитание ума совершается до того на общих местах, общих соображениях, что я боюсь, не понижает ли оно скорее способности к правильному мышлению. “Русская смекалка” проявляется у интеллигенции гораздо слабее, нежели у крестьян; о практичности же нечего и говорить...

И в связи с такой выработкой ума как часто нравственная жизнь образованного человека представляет только две крайности! Сначала безумный жар фанатика, не допускающего скептицизма, видящего в обсуждении только подлость или трусость. Но — увы! — жизнь идет

своим чередом, не по теории: она безжалостно бьет мечтателя; а он, не имея в уме другого содержания, кроме логических построений, начинает сердиться на жизнь: ему кажется, что она бессовестно обманывает его. Наступает второй период — озлобленное разочарование, а иногда и мщение жизни, не умевшей оценить столь великого человека. Так появляются и самые отчаянные революционеры, так появляются и самые бессердечные карьеристы.

V

Фантазерское состояние ума, обычное во всем среднем образованном кругу нашем, достигает высшего выражения у революционеров. Тут романтизм¹⁶ миросозерцания доходит до последних пределов. Действительность всецело рассматривается сквозь призму теории. Нет ничего, что отражалось бы в этом миросозерцании в своих действительных размерах. Можно было бы написать целые тома критических этюдов по поводу отсутствия художественной правды в революционных представлениях, где непропорциональность частей и раздутость образов составляет общее правило. Мне, конечно, этим заниматься, по крайней мере теперь, невозможно. Но есть несколько точек зрения, о которых я должен сказать два-три слова, чтобы обратить в эту сторону внимание молодежи.

До сих пор, сталкиваясь с революционной молодежью, я слышу то, что когда-то говорил и сам. Многих толкает в преждевременную политику то соображение, будто бы Россия находится на краю гибели и погибнет чуть не завтра, если не будет спасена чрезвычайными революционными мерами. Иногда это говорится не о России, а об общине и т. д. Из диагноза одинаково следует вывод, что ждать — преступно и всякий должен идти немедленно на спасение родины с тем оружием, которое имеет сейчас.

Что может быть, однако, фантастичнее такого диагноза? Каково бы ни было положение России или какого-нибудь общественного явления, несомненно одно: они не могут ни погибнуть так скоро, ни быть так легко спасены. Я верю в значение личности в истории; я верю во влияние идей: разрушающие или созидательные, выработанные местной жизнью или занесенные извне — они не менее реальная сила, чем материальные условия. Я враг теории, будто все делается “само собой”. Но всему есть также мера. Зачем этот фальшивый склад ума, при котором мы способны понимать личность или полным нулем, или уж если не нуль, то

Ступит на горы — горы трещат...

На самом деле существует нечто иное. В обществе, как повсюду в природе, идет вечное взаимодействие сил, закономерное и пропорциональное. Личность есть для истории нечто, но нечто лишь известной величины. Она влияет на общество. Но для быстроты ли роста или разрушения в обществе есть известный предел, обуславливаемый взаимодействием поколений, и этого предела не перейдет ни злонамеренность, ни благонамеренность. Разница в быстротечности жизни личности и общества такова, что личность всегда имеет время обсудить и изучить положение. Очень быстро погибает только то, что уже совсем подгнило и не может быть спасено никакими средствами. Стало быть, как говорят французы, *il faut prendre tout au sérieux et rien au tragique*¹⁷. Незачем нервничать и бросаться очертя голову неизвестно куда. Россия может только выиграть, если бы молодежь дала зарок не мешаться в политику, не посвятив по крайней мере пять-шесть лет на окончание курса и некоторое ознакомление с Россией, ее историей, ее настоящим положением.

Студенческое вмешательство в политику дает наиболее вредные последствия в форме разных демонстраций, когда чуть не в 24 часа из-за грошового протеста против какого-нибудь пустячного “притеснения” погибает для будущего несколько сотен молодых, незаменимых сил. “Лучше что-нибудь, чем ничего, — повторяют подстрекатели, — лишь бы не спячка”. И такое рассуждение, к сожалению, действует и продолжает в зародыше истреблять русскую цивилизацию!

Я спрашиваю, однако: есть ли это спячка, когда студенты готовятся к служению России с тем религиозным трепетом, который описывается в воспоминаниях о кружках сороковых годов? Есть ли это момент спячки, когда Белинский на приглашение идти обедать отвечает с укором: “Мы еще не решили, существует ли Бог, а вы — “обедать””? Есть ли состояние спячки, когда молодежь честно старается понять историю своей страны, ее учреждения, общие законы социальных явлений, выбирает себе наилучшие, наиболее для каждого подходящие пути будущей деятельности и готовится к ним?

С другой стороны, велика ли нравственная сила, велико ли развитие самообладания, способности действовать по расчету и плану в таких рефлексивных вспышках, когда сотни и тысячи молодых людей, хотя бы и вызываемые на то чем-нибудь неприятным или ненормальным, отнимают у России все, чем они, студенты, могут иметь для нее действительную ценность? Рядом с честным порывом я здесь вижу огромную дозу легкомыслия. Я нисколько не защищаю никаких “уставов”, никакой “администрации”, а только спрашиваю: такое ли

поведение наиболее прилично для молодежи, достойной своих будущих гражданских обязанностей? не должна ли она быть выше этих ничтожных волнений, не должна ли понимать, что не имеет права губить силу, которая несколько лет спустя выросла бы в огромный капитал для России?

Мне уже возражали на это: “Вы ставите для молодежи невозможные требования; она не может иметь такой выдержки и так серьезно относиться к жизни”. Я не принимаю такого возражения. Более выдающаяся часть студенчества была бы к этому совершенно способна *сама по себе* и сумела бы дать тон остальной массе товарищей, если бы не была постоянно шпигуема разными бунтовскими точками зрения. Разве не факт, что стоит университету не бунтовать восемь месяцев, как со стороны разных “передовых” начинают раздаваться обвинения, что “студенчество опошлилось, измелчало, развратилось” и не знаю еще что? Оставляя даже в стороне то, что имеет характер прямого подстрекательства, — как действуют на молодежь такие, например, рассуждения: “Да, хорошо бы основательно подготовиться, приобрести общественное положение. Тогда можно бы иметь серьезное, глубокое влияние... Но ведь пока будешь служить, пробиваться — неизбежно *испортишься*, пропадешь в смысле силы живой, желающей действовать”? Я упоминаю об этом рассуждении потому, что оно чрезвычайно распространено, и в подтверждение его справедливости можно нередко услышать ссылки на несомненные *факты*. Я сам знаю такие факты; но дело в том, что они, по-моему, объясняются совершенно иначе.

Человек, отказывающийся от бунтовской деятельности, сплошь и рядом у нас действительно *портится*, становится своекорыстным карьеристом и загребалой-кулаком. Но это есть следствие тех воистину превратных идей, по которым значит, что будто бы, только бунтуя, уничтожая направо и налево, человек остается *честным*. Эта точка зрения так укоренена в наших понятиях, что человек редко покидает бунтовство *по убеждению*, а большею частию — *против убеждения*, под давлением инстинктов созревшего организма. Наш умиротворяющий бунтовщик не умеет понять истины, не умеет стать выше привитых идей бунтовства, а только начинает чувствовать, что ему хочется жить получше. Усмиряясь, он сам смотрит на это как на уступку, как на *падение*. Но такая перемена и выходит падением, а раз павши, бросив идею, которой нелепости он нисколько не сознает, человек, разумеется, машет на все рукой и опускается все ниже...

Но ведь я и обращаюсь не к слабости, не к аппетитам, не к эгоизму, а к совести и разуму... Когда человек полагает, что его долг — рвать и метать, я ему только говорю, что это ошибка, и, рассудив, он часто согласится со мной не в виде уступки, а по сознательному убеждению. А тогда — какая может быть *порча*? Человек с годами делается, конечно, спокойнее, осмотрительнее — это неизбежно, и в этом нет ничего плохого, ибо каждому поколению осмотрительность необходима не менее, чем предприимчивость. Но странно даже доказывать, что более спокойное и обдуманное служение стране нимало не препятствует быть искренним и честным. Достаточно, наконец, взглянуть на факты. В тех случаях, когда человек служит мирному развитию не по трусости, а по убеждению, он у нас нередко проявляет высокие достоинства. Думаю, что, порывшись в воспоминаниях, каждый читатель сумеет найти один-два таких примера. Если их мало до сих пор — вина в том падает на господствующие у нас теории, а не на плохое воспитательное значение обдуманной деятельности.

VI

Вопрос о культурной деятельности приводит нас прямо к вопросу о *самодержавии*, о котором, впрочем, и без того необходимо объясниться. В настоящее время ¹⁸ отношение к образу правления составляет чуть ли не самую характеристическую черту революционеров. Раз человек против “абсолютизма” — он “свой”, и даже социалисты не особенно присматриваются к остальным взглядам его. Что касается культурной деятельности — о ней хоть не упоминай: “Какая может быть культурная деятельность при неограниченной власти!”

Я, к несчастью, верю в искренность этих слов, потому что и сам их произносил, но теперь зато вдвойне стыдно их вспоминать. Нет в России большего доказательства нашей некультурности, как это непонимание силы ума и знания и эта неспособность сколько-нибудь самостоятельно оценить достоинства политических форм. Во-первых, каково бы ни было правительство — оно может отнять у народа все, что угодно представить, но не возможность культурной работы (предполагая, что народ к ней способен). Во-вторых, можно ли до такой степени забывать собственную историю, чтобы восклицать: “Какая культурная работа при абсолютизме!”? Да разве Петр не Царь? А есть ли во всемирной истории эпоха более быстрой и широкой культурной работы? Разве не Царица Екатерина II? Разве не при Николае I развились все общественные идеи, какими до сих пор живет русское общество? Наконец, много ли республик, которые в течение двадцати пяти лет сделали бы столько

преобразований, как сделал Император Александр II? На все такие факты у нас только и находятся жалкие фразы вроде того, что это сделано “вопреки самодержавию”¹⁹.

Но если бы даже и так — не все ли равно, “благодаря” или “вопреки”, коль скоро прогреет, и очень быстрый, оказывается возможен?

Я смотрю на вопрос о самодержавной власти так. Прежде всего, это такой результат русской истории, который не нуждается ни в чьем признании и никем не может быть уничтожен, пока существуют в стране десятки и десятки миллионов, которые в политике не знают и не хотят знать ничего другого. Непозволительно было бы не уважать исторической воли народа, не говоря уже о том, что факт, очень прочный в жизни его, всегда имеет за себя какие-нибудь веские основания. Поэтому всякий русский должен признать установленную в России власть и, думая об улучшениях, должен думать о том, как их сделать с самодержавием, при самодержавии.

Один революционер пишет мне, что такое действие только вредно, так как люди вроде Киселевых и Милютиных [5], вводя кое-какие улучшения, “замедляют разрушение существующего строя”. Я никак не могу согласиться с этой точкой зрения.

Во-первых, придерживаясь ее, можно сделать упреки не одним Киселевым и Милютиным, а всем, кто способствует развитию России. Разве Пушкин, Гоголь, Толстой не составляют доказательства, что величайший прогресс литературы совместим с самодержавной монархией? Не вредны ли они, стало быть? Не полезнее ли в этом случае для России автор “Английского милорда Георга”? Не вредный ли человек Муравьев-Амурский, давший самодержавию славу укрепления России на Тихом океане? Не полезнее ли деятельность интендантских воров, губящих все усилия наших войск? Рассуждающие так забывают, что форма правления не исчерпывает еще жизни страны. Каковы бы ни были чьи-либо личные политические идеалы, обязанность перед страной заставляет извлекать для нее наибольшую пользу из всякого положения, в каком она находится. Что было бы, если бы мы, повторяя: “Чем хуже, тем лучше”, позволили себе нарочно исказить и портить действие существующего правительственного механизма и привели бы его к полному распаденю, а между тем в то же время оказалось бы, что страна никакой другой формы не вмещает? Как назвать тогда наш образ действий? Как оценить его результаты?

Впрочем, толкуя об этом вопросе, необходимо условиться в исходном пункте: чего мы желаем, куда хотим прийти?

Есть на свете две концепции общества и два связанных с ними идеала. Все люди согласны в том, что должны быть обеспечены материально, иметь средства для духовного и физического развития, должны быть обеспечены в своих правах, в своей, как принято говорить, “свободе”. Тут спорить не о чем. Но между воззрениями на тип общества существует целая пропасть.

Социальный организм или социальный аморфизм? Вот эти две точки зрения. Для одних — всякая работа, всякая функция общества отправляется и должна отправляться правильно организованным способом, то есть посредством специально к тому приспособленных учреждений, вооруженных, конечно, необходимой для действия компетенцией и властью. Таким путем совершается человеческий прогресс и развивается общество, строение которого постоянно все усложняется.

Другим кажется, будто общество идет к какому-то упрощению, к равномерному разлитию всех специальностей и всех форм власти в массе граждан. Функции учреждений переносятся на личности, и каждая личность включает в себе некоторую долю всех социальных компетенции.

Я человек первой концепции, и для меня общество как некоторый процесс органический, создающий нечто целое, все усложняющееся в своей организованности, — это не есть идеал, это просто факт. Свои идеалы общежития я могу строить, только применяясь к этому коренному социологическому факту.

Возвращаясь к предыдущему рассуждению, я прежде всего замечу, что всякое изменение в организации центральной власти может быть желательно лишь тогда, когда одно, худшее, заменяется (и действительно заменяется, а не на словах только) чем-нибудь лучшим. Разрушение же, ничего не создающее, я считаю вредным, так как оно лишь ослабляет общественный организм.

Чем же критики политических основ русского строя заменят их? Прежде всего, у врагов нашего строя есть силы разве только на то, чтобы его тревожить и мешать ему в правильном отправлении функций. Уже по одному этому критика выходит совершенно бесплодной. Если бы предположить, что какой-нибудь император согласился или минутно был вынужден на ограничение своего самодержавия, это ограничение было бы чисто фиктивно, так как огромное большинство народа всегда готово было бы по первому слову Государя разогнать людей, его якобы “ограничивающих”; стало быть, власть Государя была бы, в сущности,

ограничена лишь его собственным попусением. Что же может быть достигнуто таким “ограничением”?

Я скажу, однако, больше. Если бы какие-либо изменения в нашей системе государственного управления и оказывались возможны, о них следует думать с величайшей осторожностью. Всякая страна нуждается прежде всего в правительстве прочном, то есть не боящемся за свое существование, и сильном, то есть способном осуществлять свои предначертания. Тем более нуждается в нем Россия с ее далеко не законченными национальными задачами и с множеством внутренних неудовлетворенных запросов. Сильная монархическая власть нам необходима, и, думая о каких-либо усовершенствованиях, нужно прежде всего быть уверенным, что не повредишь ее существенным достоинствам. У нас многие мечтают о парламентаризме, но в нем есть только одна ценная черта — постоянное обнаружение²⁰ народных желаний и мнений, а засим парламентаризм, собственно как система государственного управления, именно в высшей степени неудовлетворителен.

Третье замечание, которое я должен сделать, — это что *всякое* правительство, если только оно не поставлено в невозможность действовать, действует приблизительно в том направлении, которое определяется материальными условиями страны и обращающимися в ней идеями. Вот где нужно искать действительный источник многих неустойчив в России.

При всякой форме правления откуда можно брать людей и мероприятия, если не из среды образованного класса? Самый способный и благонамеренный правитель может лишь удачно или неудачно *выбирать людей*, но не может самолично решать все вопросы администрации, социологии, политической экономии. Если слой народа, сосредоточивающий в себе знания страны, имеет идеи легкомысленные, или хаотические, или полные ни к чему не приложимого теоретизма — кто виноват?

У нас же *политическая* роль образованного класса в течение всего XIX века, а особенно за наше время, далеко не всегда заслуживает аттестата зрелости и нередко могла только отнимать у правительства возможность пользоваться образованными силами страны. Не говорю об исключениях. Общее же правило состоит в том, что молодежь и вообще наиболее передовой слой в теории витает в областях совершенно заоблачных, на практике же — кидается в предприятия, способные привести в отчаяние государственного человека: то, смотришь, русские участвуют в польском мятеже, то идут в народ с мечтами о *федерации независимых общин* и планами повсеместных восстаний, то создают идею

и практику *террористической борьбы*. Все это делается с убеждением фанатика, со страстной энергией — хоть плачь! Старшие же поколения или более умеренные чем заняты в это время? Они проявляют, как правило, полнейшую неспособность к самостоятельной умственной работе и не могут создать ничего способного сколько-нибудь дисциплинировать умы молодежи и подчинить ее влиянию каких-либо серьезных, научно выработанных доктрин. Во-вторых, эти старшие поколения настолько робки, что даже боятся противоречить передовым, а иногда и прямо подпадают под их влияние. Короче — этот более умеренный слой в общем оказывается совершенно неспособным руководить движением умом и давать ему направление. А между тем он когда и не мечтает об ограничении верховной власти, то по крайней мере держит себя столь нетактично, что возбуждает в этом отношении подозрения и недоверие. Не имея силы ни взять, ни удержать конституцию, он, однако, постоянно надоедает правительству стопами об “увенчании здания” и, чтобы доказать необходимость этого увенчания, прибегает к самой тенденциозной, пристрастной критике всех мер, какие бы ни были предприняты правительством. Это вызывает понятные неудовольствия и еще более обостряет взаимные отношения.

При таких условиях прогрессивные элементы, можно сказать, сами себя вытесняют из участия в управлении страной. Если они там еще удерживаются, то благодаря личным рабочим качествам либералов, которые столь же часто высоки, сколько слабы их партийные отличительные черты. Кто же виноват, что правительство принуждено было брать людей, а стало быть и системы, там, где могло это сделать без опасения за целостность трона, то есть, например, у Каткова? [7]

Но Катков, который, как практический политик, обладал проницательностью необыкновенной и самостоятельностью мысли, поразительной для России, далеко не был творческим умом в отношении социальных вопросов²¹.

Испуганный интенсивностью революционного движения и бессилием либералов, оставаясь весь век на аванпостах, “против течения”, он весь ушел в заботу о развитии чисто внешней силы правительства. В смысле устройства он ничего не создал и если предохранил правительство от некоторых ошибок, то, с другой стороны, немало их и подсказал²².

Недостатки систем, принимавшихся правительством, падают виной прежде всего на образованный класс, как в лице его консервативной части, так и особенно в лице его прогрессивных элементов. Но пусть эти элементы потрудятся выработать свои собственные планы, собственным

умом, пусть эти планы, стало быть, будут более сообразны с действительной жизнью страны — и они, конечно, получат у нас такой же отзвук, как и при всяком другом образе правления.

Таково мое мнение.

VII

Этими строками я и мог бы закончить свое объяснение, так как изложение моей, так сказать, программы не входит в мои цели. Но для того чтоб окончательно определить мое отрицание революционных идей, я хочу обрисовать в двух-трех словах хоть некоторые стороны того направления, торжество которого желал бы видеть в России.

Революционное движение есть не причина, а только признак зла, от которого главнейше страдает современная Россия. Зло это, как я уже сказал, — недостаток серьезно выработанных умов в образованном классе, вследствие чего вся умственная работа этого класса отличается очень невысоким качеством. Клеймо недостатков, которые создаются *полуобразованием*²³, лежит нередко на работе даже самых выдающихся талантов наших. Вот зло, губящее лучшие свойства русской природы, помогшие когда-то нашим предкам создать великую страну, которую мы по мере сил расшатываем теперь.

Борьба с этим злом и есть, по моему мнению, главнейшая задача настоящего времени. Судьбы России существенно зависят от того, сумеет ли она наконец выработать ядро зрелых умов, достаточно сильное для того, чтобы дать тон остальной массе образованного класса и наметить *собственной* работой, собственной мыслью и исследованием главнейшие пункты устройства России.

Для этого нужна прежде всего сильная встряска умов, нужен общий пересмотр наших социальных и политических взглядов.

Говоря это, я, разумеется, не подумал бы обращаться к молодежи. Эта задача не в ее силах. Обращаться нужно к старшим, верхним слоям, которые должны понимать справедливость высказанных мною соображений. На их обязанности лежит создание нового направления. Обязанность сделать что-нибудь для выработки положительного и созидательного мирозерцания лежит особенно на моих сверстниках, намутивших, как и я, столько “революций”, как и я, многое испытавших и, конечно, продумавших. Их опыт и возраст, конечно, научили их многому и пробудили в них стремление к трезвости мысли²⁴.

Те же обязанности лежат на другой части нашего поколения, людях достаточно скептических когда-то, чтобы не позволить “движению”

увлечь себя, и теперь состоящих полноправными, нередко почетными членами русского общества. Средства мирного развития страны — в их руках. Найдется, наконец, немало пионеров, давно пролагавших путь, о котором я говорю, но действовавших в одиночку, не пытаясь поднять голову и смело заявить, что они и есть настоящая соль, предохраняющая от разложения страну, раздираемую борьбой революционеров и реакционеров.

Развитие русской мысли, науки, особенно в столь отставших областях — социальной и политической, изучение страны, обновление русского образования, развитие и упорядочение прессы — это главнейшие задачи. Рядом с ними стоит развитие *производительности* труда, техники, улучшение форм труда и т. п. Наконец, улучшение в организации разных слоев населения, во главе чего стоит, конечно, придание серьезного и строго практического характера местному самоуправлению. Я не останавливаюсь на обрисовке всей этой громадной работы. Отмечу только одно обстоятельство.

Для правильного хода культурного развития страны необходимо, конечно, содействие правительственных мер. Невозможно, например, надеяться, чтобы при слабости нашего культурного развития студенческие волнения прекратились без упорядочения обстановки студенческой жизни. Подавляя беспорядки и вмешательство молодежи в несвойственную ей политическую деятельность, следует, однако, удовлетворить законным потребностям молодости, подобно тому как это имеет место в Германии, Франции и т. д. Нужно, чтобы молодежь могла учиться, рассуждать, нужно, чтобы она жила веселее и полнее, и т. д. Без соответственных мер правительства или, по малой мере, без величайшей осторожности в выборе попечителей, инспекторов — усилия наиболее благонамеренных людей будут разбиваться о раздраженное состояние умов студенчества. Точно также недостаточная свобода научного исследования мешает созреванию русской мысли. Конечно, жалобы на цензуру чрезвычайно преувеличены и в общей сложности работа русского ума находит возможность проявляться в нашей литературе. Однако русская наука так еще слаба, что даже малейшая помеха ее развитию была бы, несомненно, вредна²⁵.

Устранить эти помехи властно одно правительство. Точно также земство, например. Его современная организация явно неудовлетворительна и ставит его в неизбежную оппозицию с администрацией. Слияние земства с администрацией, то есть расширение области его ведения, с подчинением необходимому контролю и ответственности, вообще придание ему значения некоторого органа

правительства устранило бы много недоразумений и много источников недовольства²⁶.

Но как сделать это без посредства правительства? Таким образом, сам собою выдвигается на сцену вопрос, так сказать, политический: как быть с ним?

Я именно по этому поводу и хочу сказать несколько слов. Мы в этом отношении настоящие *faiscus d'embaras*²⁷ и сами себе создаем страхи и препятствия. Везде, во всех странах, при всех формах правления, задача довести своевременно до сведения центрального правительства нужды страны и побудить его принять необходимые преобразования — одна из самых трудных. Напомню, однако, что мы имеем в своей истории несколько блестящих реформационных эпох. Если в современном положении России, по мнению ее граждан, есть действительно место серьезным реформам — нужно стараться их получить, как это делают во всякой другой стране, то есть сообразно с существующими законными путями политического действия.

Источник власти законодательной и исполнительной — по русским законам — есть Государь страны. В странах республиканских этим источником являются избиратели. В обоих случаях политическое действие, из какого бы источника ни исходило, проявляется не иначе как посредством известных учреждений. Эти учреждения в России представляют не менее способов к деятельности, чем в другой стране. У нас есть Государственный совет, Сенат, министерства с разными добавочными органами и целым рядом постоянно существующих комиссий. Не говорю уже об общественной деятельности неофициального характера, как, например, публицистика, работа при посредстве разных ученых обществ и т. п. Партия законного прогресса представляется очень широкое поле действия. Пусть ее люди служат, работают, пусть они имеют всегда годовую систему, приспособленную к нуждам положения, практичность которой может быть доказана Государю. В минуту, когда Император решит призвать ко власти прогрессивную партию (что он непременно будет делать от времени до времени, раз только убедится, что эта партия искренно признает его верховные права), партия прогресса должна быть готова оправдать призыв и сделать по устройению России действительно все, что можно. Разве мы не видали, к сожалению, как лица, призванные ко власти, оказывались, несмотря на свою всероссийскую репутацию, совершенно без системы и сами не знали, что делать? Я не хочу никого в отдельности обвинять за то, в чем виноваты все, а отмечаю лишь факт, каких бы не должно случаться. Министерства существуют не для обучения кого-нибудь политической грамоте, а для

удовлетворения нужд страны. К делу нужно подготавливаться заранее. А затем если верховная власть — по каким бы ни было соображениям — считает более удобным обратиться к другим людям — что делать? Остается только покориться и воспользоваться временем свободы от власти — для серьезного приготовления к следующему разу. Не так ли поступает Гладстон [8], потерявший большинство в палате? При всяком источнике власти есть моменты движения вперед, моменты застоя, моменты реакции. Тут нечего ни унывать, ни возмущаться, а нужно просто работать, приняв за правило искать причины своей неудачи сначала в самих себе, а уж потом в других²⁸.

Приложение № 1

Таково было содержание брошюры моей, которое я перепечатаваю буквально, за исключением немногих мест, требовавших, как я пояснил выше, изменения.

Она имела, сверх того, два приложения, которые были бы непонятны читателям без больших дополнений. Дело в следующем. Эмигранты, с Лавровым во главе, пытаюсь охранить свое стадо от моего “вредного” влияния, всеми силами старались подорвать меня *лично*. Старая, обычная тактика, с которой мне пришлось впоследствии столкнуться и в России. Однако против меня, человека, пользовавшегося в своей среде едва ли не наиболее безукоризненной репутацией, трудно было что-либо выдвинуть. Поэтому господа эмигранты прибегли к разным темным инсинуациям на тему о якобы *внезапности* изменения моих взглядов. Это была с их стороны ложь вполне сознательная. Еще посторонняя публика могла не знать моего перелома и даже прежних моих взглядов в их действительной полноте. Но собственно эмигрантам, особенно Лаврову и его ближайшим друзьям, мое все более нараставшее отречение от революции было так прекрасно известно, что они уже давно старались даже не допускать ко мне приезжей молодежи. Говорить прямо, что я уже не *их* человек, было для них невыгодно, конечно, потому что, за исключением, может быть, самого Лаврова, не было ни одного человека, кому “радикальная” молодежь верила более, нежели мне. Мое отречение от революции могло многих заставить также покинуть ее. Поэтому Лавров с К°, продолжая выставлять меня “своим”, говорили только, что я человек больной, нуждаюсь в спокойствии, охраняю свое уединение и не люблю посетителей. Я в это время жил далеко от Парижа, в глухой местности, и действительно не любил видиться с эмигрантами, погруженный в свои занятия и размышления. Да и здоровье мое было сильно расшатано. Но *русских* из России я всегда принимал охотно и

постоянно отговаривал их от участия в революции, а многим эмигрантам советовал подавать прошения о возвращении на родину. Слушая мои рассуждения, давно уже мои русские собеседники с удивлением говорили: “Да он ярый монархист”. Таким образом, и о “внезапности” изменения моих взглядов трудно было говорить. Поэтому Лавров не постыдился прибегнуть к подтасовке “документов”. Он именно ссылаясь, в доказательство моего якобы недавнего яро революционного настроения в 1886 году, на одно мое “письмо” ему и на одну статью “мою” в заграничном журнале... В действительности “письмо” было вовсе не письмо, а беглая записка в пять-шесть строк, содержащая вовсе не выражение моих взглядов, а просто упрек пустомелям “революции”, которые не читают даже собственных партийных изданий. Конечно, пять-шесть строк, бегло набросанных, и не для публики, а для человека, который с полуслова понимает вашу мысль, всегда могут подвергнуться, при желании, недобросовестному истолкованию. Это и сделал Лавров. Еще замечательнее указание его на “мою” статью. В действительности ее писал *сам Лавров*... Я же ее и увидел только уже в печати. Мою вину составляло лишь то, что я понадеялся на добросовестность Лаврова. Дело в следующем. Последний номер издания, в котором я участвовал вместе с Лавровым, замедлил выходом вследствие одного скандального происшествия, о котором неудобно входить в подробные объяснения. Нужно было, конечно, сообщить об этом читателям. Лавров пристал ко мне, чтоб это сделал непременно *я*. Я сказывал, что безразлично, кто ни напишет, но лукавый старик настойчиво просил под тем предлогом, что ведь и я был участником предприятия. Между тем у меня дома, по случаю разных болезней, был такой хаос, что мне было совсем не до писания. А написать нужно было *немедленно*. Тогда он предложил, что напишет несколько строк сам, за меня. Неловко было мне выказать отказом явное недоверие старику, да, правду сказать, и чему тут было не доверять? Несколько строк фактического заявления, казалось, не представляли никакого риска, и я согласился, чтобы не задерживать ликвидации издания, прекращение которого рвало последние нити моих невольных связей с революционными “деятелями”. Однако я все-таки чувствовал себя беспокойно. Собственно нечестности в отношении меня я не ждал, но “для верности” все-таки улучил минуту и не более как через несколько часов отправил свое *собственное* маленькое заявление. Оказалось, однако, поздно. Лавров с величайшей поспешностью настроил *за меня* ярую статейку и немедленно сдал ее в набор... Все окружавшие нас знают, как недоволен был я этим и как бранил эту не только ярую, но и глупую заметку, когда увидел ее в печати. Так вот, на *эту-то* свою собственную,

мне даже неведомую, статью Лавров и ссылаясь в 1888 году для характеристики *моих* взглядов в 1886 году!

В разоблачении таких слишком уже нечестных приемов борьбы и в увещании Лаврова с К° держаться более добропорядочно и состояли приложения к брошюре. Нужно сказать, впрочем, что я метал мой “бисер” совершенно бесполезно. Это было отчасти даже наивно с моей стороны. Но я тогда находился в особом, идеалистическом настроении. Выйдя из жестокой внутренней ломки хотя измученный, но, так сказать, победителем над самим собой, я был настроен очень оптимистически и в отношении других. Мне казалось — как не разбудить в людях честности мысли и совести! Ведь люди же это, такие же люди. Чем они хуже меня? Само собой, ничего и ни в ком не разбудил я, и говорю это не в осуждение кому бы то ни было. Не чужими словами и увещаниями пробуждается человек, а своим внутренним развитием, и, пока оно не наступило — бесплодны чужие слова, как они были бы бесплодны и для меня самого еще несколько лет пред тем.

Эти чужие слова хороши только как вспомогательное средство для тех, у кого уже начался внутренний процесс пробуждения. Таких людей было слишком мало в 1888 году, но их стало гораздо больше теперь, к 1895 году. Для них-то, думаю, мои объяснения, рисующие ход моего внутреннего перелома, могут оказаться бесполезным материалом, знакомство с которым поможет им разобраться в самих себе.

Приложение № 2

Несколько замечаний на полемику эмигрантов. ²⁹

В течение почти целого года я был предметом ожесточенной полемики русских эмигрантов Парижа и Швейцарии. Объяснения по этому поводу я не подумал бы переносить в пределы отечества, если б это не было сделано раньше, помимо меня. Притом стремление эмигрантов уничтожить меня имеет целью, собственно, повлиять на слои молодежи, еще доступные, к сожалению, их влиянию. Некоторое объяснение становится для меня необходимым.

Это объяснение я обращаю по преимуществу к русской молодежи, даже к тем “товарищам в России”, которым г-н Лавров пишет свое “Письмо” обо мне. Я не обращаюсь к своим эмигрантским оппонентам не по отсутствию “общей почвы” в смысле идей или желаний, чем г-н Лавров объясняет невозможность спорить со мной (“Письмо к товарищам в России”, с. 2-3). Такие соображения имели значение для книжников и фарисеев, инквизиторов и т. п. Для меня в деле определения истины не

существует ни иудеев, ни эллинов. Я верю, что два человеческих существа всегда могут найти *общую почву* в виде правды фактической, нравственности и общечеловеческих интересов. Единственное условие, необходимое при этом, есть добросовестность, искренность, решимость спорить честно. Поэтому я не усомнился обратиться к разуму и совести эмигрантов и революционеров в своей брошюре “Почему я перестал быть революционером”.

К сожалению, мои противники именно отказались от добросовестного рассуждения. Они избрали иную систему. Они стараются изолировать меня, достигнуть того, чтобы меня не слышали, не читали. В этом смысле поставлена на ноги вся их “партийная дисциплина”. В полемике же они оперлись на распространение выдумок и клевет, перешедших все пределы того, что я мог себе представить.

По словам некоего Светлова (“*Сri du Peuple*”, 21 августа), я просто продался, соблазненный “лаврами и рублями Каткова”; он меня называет *traître*³⁰, прибавляя: *quiditraitreditpolicier*³¹; он выражает опасение доносов с моей стороны.

Г. Серебряков, который мне еще недавно говорил: “Что скромничать! Вы сами знаете, что вы единственный человек, способный сказать новое слово”, теперь рисует своим читателям якобы историю моего развития, из которой явствует, что я был всегда ничтожностью, руководимой великими товарищами и немедленно павшей из страха пред правительством, как только не стало означенного руководства (“Открытое письмо Льву Тихомирову”, с. 2-3).

П. Лавров не отстает от своих молодых друзей. Он не стыдится сравнивать меня с Дегаевым, замазывая, по обыкновению, смысл своих фраз, но тем вернее бросая зерно клеветы, которая должна пышно разрастись на почве вырабатываемых им воспаленных умов. Нечего стесняться: “Л. А. Тихомиров — *чужой*”, — повторяет он несколько раз, с ожесточением средневекового раввина подчеркивая слово *чужой*. Он находит законным негодование тех, “кто слишком возмущен, чтобы думать в этом случае о справедливости” (с. 31). Я поэтому “должен ожидать всех последствий своего *поступка*”. Он взывает к репрессивным мерам: “Если бы каждый сторонник социалистического дела был уверен, что его товарищи не простят ему ни одного поступка, вредного значению партии... он во многих случаях не решился бы на этот поступок” (с. 3). И после всего этого анафематствования П. Лавров объявляет моей же собственной виной, что я будто бы из лагеря *гонимых* перешел в лагерь *гонителей* (с. 31). Это я — оболганный, отдаваемый на поток, на мщение, я же оказываюсь в числе гонителей г-на Лаврова с товарищами!

Поставив полемику на такую почву, что со мной, собственно, “спорить нечего” (с. 2-4), а нужно только искать оружие против меня (с. 8), мои противники не стесняются создавать его. То являются двусмысленные *petits papiers*³², то какие-то анонимные “товарищи” (может быть, из тех, что я не пускал к себе на порог) свидетельствуют, что не замечали во мне никакой внутренней борьбы. “Свидетели” против меня, вроде упомянутого г-на Серебрякова, совершают всевозможные “неточности” в показаниях.

Один, например, пишет в брошюре “Революция или эволюция”, что он поражен неожиданностью моего переворота в оценке терроризма и революции; он протестует против меня и разоблачает меня. А между тем этот самый человек год пред тем участвовал со мной вместе в выработке программы одного несостоявшегося журнала. В основании программы было положено соображение, что в русских политических взглядах нет идеи, которая отличалась бы одновременно широтой и *положительностью*; выработка этого *здорового* миросозерцания ставилась задачей журнала, который заявлял себя *вне партий*. Мирный исход из разных затруднений настоящего признавался не только *желательным*, но и *возможным*. Терроризм определялся как “явление болезненное и даже весьма опасное”, между прочим, потому, что искажает идеи. И вот человек, который все это читал и знает *лично*, что именно я употреблял все усилия придать журналу чисто культурный характер и изгнать из программы революционную точку зрения, — он теперь протестует против “неожиданности”, как будто и действительно ничего не знает. Есть ли в таких лжесвидетелях хоть искра совести?

Точно так же Лавров цитирует одну мою записку, якобы доказывающую мою революционность, тогда как я с этим самым человеком, о котором шла речь в записке, говорил настолько откровенно, что он повсюду называл меня *монархистом*.

Точно так же “группа народовольцев” в доказательство моей революционности ссылается на заявление, написанное не мною, а Лавровым и мною даже не читанное, — факт, известный решительно всем меня тогда окружавшим.

Я упоминаю обо всех этих дразгах только для того, чтобы показать читателям невозможность для меня объясняться (иначе как пред формальным судом) с такими полемистами и “свидетелями”. Дело не в отсутствии общей идейной почвы, а в том, что господа эмигранты освобождают себя от всяких “пут” добросовестности.

Но с читателями я должен объясниться.

Почему, собственно, господа эмигранты находятся в таком негодовании против меня? В их состоянии умов бесполезно вдуматься. Оно представляет хороший образчик наивного самомнения, соединенного с крайней ничтожностью мысли.

Революционеры совершенно искренно убеждены, будто бы они идут в первых рядах исторического прогресса. По их понятиям, развитие человека приближает его к ним, отдаление же от них есть понижение. Между г-ном Тихомировым, говорит Лавров, и “работниками мирного прогресса” в России разница огромная. К ним нельзя одинаково относиться. “Иные из них (работников мирного прогресса. — Л. Т.) могут быть завтра в наших рядах, — поясняет он, — и мы примем их с радостью (какая честь! — Л. Т.)... Их ошибка в том, что они недостаточно далеко пошли, но они не отступали; ничто не мешает им пойти дальше (еще бы! — Л. Т.). Положение Л.А. Тихомирова совсем иное. Он видел — и отвернулся. Он был в первых рядах и отступил” (с. 31).

Вот, собственно, в чем дело и в чем мое преступление. Изложенная моим оппонентом историческая концепция обща всему революционному миру. Не только г-н Лавров, но первые встречные самоучки-рабочие из анархистов, кое-как воспитавшиеся на популярных брошюрках, точно так же совершенно убеждены, что за них какая-то “наука”, с ними свобода, прогресс и т. д.

Но ведь я именно утверждаю, что нет ничего фантастичнее этих претензий. На самом деле революционное миросозерцание есть вывод из самого ничтожного числа фактов, и притом не точно констатируемых. Это одинаково верно относительно П. Лаврова, как и господ Серебряковых и Симоновских с К°, потому что для обоснования своих взглядов он пользуется ничуть не большим числом фактов, чем эти последние; остальные свои знания он чисто механически пристегивает к теории или оставляет совершенно в стороне. Вот почему аргументация у всех них одинаково банальна и поверхностна.

Прежде и я думал по той же системе, как г-н Лавров, то есть не пользовался большею частью того, что видел, о чем читал. Мой “поступок”, в сущности, только в том и состоит, что я наконец решился видеть то, на что смотрел, и тут неизбежно вышло “отпадение”.

Именно, как справедливо выражается мой критик, я видел — и отвернулся. Без сомнения! И как же было не отвернуться, увидавши?

Я, упрекает он, “был в первых рядах и отступил”. Конечно, не зная, что делается “в первых рядах”, я, как многие другие, быть может, жил бы простым *доверием* к ним, а потому не позволил бы себе думать и, таким образом, навек бы мог остаться во власти “передовых идей”. Но, видя

факты и не боясь выводов, я не мог не “отступить”. Я не мог, раз начал думать, не сознаться пред собой, что сплошь и рядом “революционная практика” есть преступление, иногда ужасающее, а теории всегда незрелы, схематичны, иногда безусловно нелепы.

Выйдя из-под власти схем и клише, я не мог не видеть, что мое отступление от “революции” не только не есть отступление от свободы и развития, но совершенно наоборот. Господа Лавровы на самом деле вовсе не идут “вперед”, указывая путь человечеству, а просто блуждают *по сторонам* этого пути, не только топчась десятки лет кругом да около, на одном месте, но иногда уходя далеко назад сравнительно с остальным человечеством. Они не ведут историю, а составляют побочный продукт исторического хода развития, отбрасывающего направо и налево непригодные элементы. Настоящая живая сила истории находится именно в тех “мирных работниках”, к которым господа Лавровы относятся у нас с таким пренебрежительным снисхождением.

Я говорю “у нас”, потому что это не везде так. Желал бы я видеть революционера, который бы сказал Тэну [9] или Пастеру [10], что им *ничто не препятствует* перейти в “партию”! Он, наверное, услышал бы в ответ: “Любезный друг, поверьте, что нам труднее сделаться революционерами, нежели вам перестать им быть, так как для нас невозможно перейти на низшую, менее зрелую стадию миросозерцания; вам же если и не легко, то, может быть, возможно подняться на высшую”. Характеристично, что Лавров этого очевидно не понимает и серьезно говорит, будто я лишь *голословно* обвиняю революционное миросозерцание в нереальности. Удивительное дело! Я бы еще понял, если бы Лавров начал отстаивать важность бессознательных исторических движений, но не понимать фантастичности революционных представлений и оценок — это поистине невероятно...

Но если Лаврову трудно усваивать новые оценки, чуждые его поколению, то это все же не дает ему права прибегать к недостойным приемам борьбы против меня. Человек думающий обязан понимать, что и другие поколения имеют право мыслить, и манера бросать в них за это грязью ничем не извинительна. В каждом поколении этим занимаются вовсе не лучшие его представители.

Возвратимся, однако, к претензиям революционеров изображать из себя авангард человечества. Посмотрим, стоят ли эти люди действительно *впереди*?. Идя за ними, придем ли мы к чему-нибудь *высшему*?. Надеюсь, что идти вперед значит идти к развитию силы, к совершенствованию нравственному и умственному, к осуществлению справедливости... К этому ли ведет Лавров с товарищами? Не могу согласиться.

В нравственном отношении я прямо нахожу, что идеи Лаврова приводят лишь к некоторому возрождению чрезвычайно первобытных, несовершенных форм морали. Вместо братства общечеловеческого и справедливости высшей, царящей надо всеми частными (в том числе и кружковыми) интересами, Лавров воскрешает ветхозаветную кружковую солидарность. При этом внутри кружка (или партии) развиваются отношения очень тесные, но весь остальной, внешний, так сказать, мир является некоторыми *гоями*, гяурами, возрождается нечто вроде понятия о *hostes*, о *немцах*, немых, с которыми Лавровы не могут даже и объясняться (нет общего языка). Без сомнения, этот внешний мир они имеют в виду “спасти”, но, во-первых, гуртом, в виде человечества, отдельные же лица, подходящие под рубрику “врагов социализма”, не имеют права ждать даже справедливости. В отношении их, как видно из вышеизложенного, революционеры позволяют себе забывать даже требования чести. Во-вторых, в деле “спасения” ко внешнему миру не проявляется ни искренности, ни уважения.

Я вспоминаю последнюю речь Лаврова о *роли и формах социалистической пропаганды*. Если выразить его мысль ясно, без обычных недомолвок, он учит (с. 5), в сущности, такой системе: “мелкого буржуа” натравить на “промышленного магната”, а рабочего — на “патрона”, то есть на того же мелкого буржуа. Космополитическому социалисту рекомендуется обращаться даже к патриотизму, если это выгодно (для “дела”). “Будет ли во всех этих случаях пропагандист употреблять термин “социализм” или нет, это все равно, — прибавляет премудрый учитель. — Важно лишь то, чтобы в умах развивались идеи, подкапывающие веру в неизменность существующего порядка вещей, и указывали бы путь к борьбе против этого порядка” (с. 6). Эти прекрасные правила молодой последователь “социалистической нравственности” перенесет, конечно, и на “возбуждение бунтов” и “террористические факты”, ибо ни то, ни другое, по Лаврову, не противоречит социалистической пропаганде, лишь бы принимать в соображение, “на кого имеется в виду действовать, вызывая бунт, поражая воображение общества террористическими фактами” (с. 10). При всем этом не поднимается даже и вопроса о *справедливости*. Лавров учит думать лишь о *целесообразности* с точки зрения осуществления его идеи. Чистокровный дух иезуитизма проникает насквозь всю эту пропаганду, в которой совершенно отсутствует уважение к мысли, совести и свободе других, будь это отдельные личности или хоть сотня миллионов людей, объединенных одной верой, одной идеей.

Доказывая в своей брошюре преступность терроризма, я сказал, что каждый должен признать установленные народом формы власти и

что, ниспровергая их насильственно, мы совершаем действие тираническое. На это Лавров возражает, что признавать нужно лишь *истинные* (выделено у него) интересы народа, а вовсе не “привычные, хотя бы для миллионов, формы мысли и жизни”. Пред народом, “печальная история которого не дала ему надлежащим образом развиться”, революционер не должен “пасовать” (с. 10). И если бы речь шла только о свободе пропаганды, а то ведь я именно ее не касался, а говорил против *насильственных* действий. Это на их защиту выступает Лавров. А как узнать, какие потребности народа *истинные*, какие нет? Это определяется опять же не народом, а самими революционерами. Засим, если народ не согласен признать справедливость их определения — тем хуже для него: его принудят — принудят силой; его святыню будут разрушать кинжалом, динамитом. “Передовой” кагал может позволять себе все, что вздумает, потому что одно дело — права “светочей”, а другое дело — права “чужих”, необрезанных...

Насколько такая двойственная “мораль” выгодна с боевой точки зрения — до меня не касается, но, как учение нравственное, подобные “передовые” идеи нас очевидно относят на тысячи лет назад, ко временам дохристианским. Несомненно также, что с такой общей моралью, основанной на презрении к чужому праву, невозможно быть истинно нравственным и внутри своего кружка, как бы ни был он видимо сплочен и материально солидарен. Достаточно вспомнить, до какой степени здесь не допускается свобода совести и какого напряжения дисциплины, какого надзора за членами кружка требует сам Лавров. “Способы, которыми социалист добывает себе насущный хлеб, — говорит он, — его приятельские сношения и личные знакомства, его *интимная семейная жизнь* (?) — ни о чем этом он не может сказать: это мое дело и больше ничье” (с. 17). Товарищи должны следить за всем — от улицы до спальни — и строго подавлять все отклонения от предписанного.

Все это не только нечистоплотно, но также очень архаично, очень отстало в сравнении с той уже достаточно отдаленной эпохой, когда христианство, освящая авторитет общественной власти, тем самым освятило духовную свободу личности, которую Лавров стремится одновременно уничтожить. Не вперед ведет такое учение! Чтобы не замечать этого, нужно быть уж очень забитым и огрубелым.

В отношении умственном также трудно признать притязания Лаврова с товарищами. Перечитывая их писания, невольно вспоминаешь купца Глеба Успенского на старообрядческом соборе: “Упаси Господи! Что ни скажут слово, нет тому слову меньше двухсот лет от роду”. Я их “передовые” слова помню еще со школьной скамьи. И не мудрено,

потому что какой работы мысли ждал там, где уже все известно, решено, где не о чем думать, да и не позволено думать? *Как* в отношении нравственных требований справедливости стираются в “передовых” слоях пред “интересами партии”, так развитие мысли и творчества оттирается у них назад из соображений, как бы не потрясти основ партийной пропаганды. Интересы “революционного действия” поглощают все, а совесть и мысль одинаково лишены всех прав.

Что же тут нового, передового? Все это практикуется испокон веков с той разницей, что власти обыкновенно гораздо более терпимы, и притом известная цензура понятна в государстве, так как цель государства не столько развитие будущего, сколько поддержание общественной жизни в ее настоящем, откуда вытекает необходимость известной охраны и репрессии. Но цензура (и еще столь беспощадная) в партии, претендующей пересоздать мир на основании всевозможных свобод, — это противоречит само себе и вводит в критику, полемику и во все мышление “партии” нечто софистическое, неискреннее. Люди кричат против цензуры, а сами являются истинными инквизиторами. Я живой пример того, как безмерны в этой среде привычки уничтожать все выходящее из рядов. Если господа Лавровы и их окружающие пытаются раздавить даже меня заподозрениями, ложными обвинениями, бранью и т. п., то что же они делают с теми, кто послабее, кого они могут действительно застрашивать ежедневно, ежеминутно по всем вопросам мысли и жизни? При такой системе взаимного отупления умы неизбежно становятся трусливы и нечестны. Люди кричат о мысли, развитии — и не уважают ни того ни другого; кричат против *гонений* — и сами гонят сколько хватает силы; кричат против насилия — и сами убивают, мало того — хотят силой принудить целые народы жить так, а не иначе... Где во всем этом “вперед”, где свет передовой роли? Разве состояние ума, совмещающего такие вопиющие противоречия, есть состояние *высшего* развития? Разве этот тип ума не ниже того, что уже и теперь среди нас, людей обыкновенных, не несущих светочей, считается умом развитым?

Но может быть, скажут, сами идеи, для торжества которых революционеры понижают свою совесть и ум, — сами идеи, может быть, так высоки? Подумайте, однако, только, что для осуществления этих идей господа Лавровы должны сначала воспитать *на свой лад* по крайней мере значительное меньшинство человечества, то есть во всей этой массе людей, как и у себя, остановить работу мысли и совести. Хорош был бы новый строй! Идеи, развивающиеся на *такой* практике, какую мы видим в “*передовых рядах*”, волей-неволей ведут не *вперед*, а очень далеко *назад*.

Как на небольшой пример этого, пусть Лавров бросит хоть сейчас взгляд на свой лагерь. В настоящем случае эмигранты собрали все свои силы для парализования моего “вредного” влияния. Что же они доказали? Что опровергли? Я подробно обрисовывал принижающее действие терроризма — мне не сделано ни одного сколько-нибудь серьезного возражения. Я обращал внимание всех, самих революционеров, на фантазерское состояние их умов — Лавров ограничивается ответом, что обвинение будто бы “голословно”. Но ведь, не говоря уже о приведенных у меня соображениях, обвинение это вовсе не составляет моего открытия. Неужели Лавров только перелистывал Тэна, у которого такое состояние умов прослежено на одном из крупнейших исторических моментов? Пусть прочтает он, например, социальные романы Рони [12], изучавшего французскую революционную среду... Нет, теперь уже нельзя отделяться простым возражением “это голословно”. *Это* показывает только, что возражающий не знает фактов или не думает о них.

Далее я, например, указывал на неопределенность самого понятия о *революции* у моих оппонентов. Лавров в ответ наговорил действительно много, но вызываю кого угодно понять, считает ли он процесс революционный процессом изменения типа, или просто насильственным переворотом, или, наконец, какой-то неясной для него самой болезнью? Как же спорить, как рассуждать, оставляя в тумане основные свои понятия? Что получается в головах учеников Лаврова, считающих долгом согласиться с ним, но, очевидно, не обладающих даром понимать того, в чем нет смысла? Оставляя без выяснения основания спора, мой оппонент вместо того ушел в бесконечные второстепенности, чисто механически следуя за мной и повторяя: “Нет, не так”, “Нет, вы сами такой”. Неужели это работа свежей, передовой, творческой мысли?

Этой мысли не вижу я — серьезно говорю, не как противник, а как читатель, — не вижу и там, где Лавров делает уже действительные возражения. Вот, например, место о парламентаризме (составляющем нынче предмет желаний учеников Лаврова, если не его самого). “Л. А. Тихомиров, опираясь на то, что сравнительно с задачами социалистического строя (?) парламентаризм оказывается “в высшей степени неудовлетворительным” (это он цитирует мою фразу. — *Л. Т.*), находит возможным порицать его и сравнительно с формами самодержавия” (с. 26). Что за жалкое возражение!

На самом деле я ни на что подобное не опирался. Никаких сравнений социализма и парламентаризма не делал и даже нахожу, что это было бы нечто вроде сравнения треугольника с колокольным звоном. Я просто с точки зрения обыкновенных правительственных задач сказал,

что парламентаризм, имея некоторые другие достоинства, никуда не годится как *система государственного управления*. Я это говорил о парламентаризме демократическом и повторяю это. Для меня странно, как это г-н Лавров, живя двадцать лет в парламентарных странах, не видит бесчисленных недостатков этой политической системы всеобщего бессилия, вносящей в политику торгашеский принцип свободной конкуренции, делающей власть предметом спекуляции и кончающей правительственной анархией. Лаврову кажется возможным критиковать парламентаризм только по сравнению с “социалистическим строем”. Пусть он перечтет 15 главу III книги “Du contrat social” Руссо (“Des députés ou représentants”³³), и он увидит, что чистейшие демократы, не имевшие понятия о “социалистическом строе”, издавна могли считать систему представительства никуда не годной. Парламентарная практика XIX века, не прибавив ничего в пользу этой системы, показала еще рельефнее ее недостатки. А Лавров словно “проспал” всю эту работу мысли столетия.

Все свои силы против меня он разворачивает по вопросу о *самодержавии* (с. 21-25). Аргументация его такова. Пережитые фазисы не повторяются снова в организме социологическом, как и в биологическом. “Единоличная власть, не подчиненная закону”, есть фазис пережитый. Она могла существовать нормально лишь в первобытные эпохи. С тех пор как нации слились сколько-нибудь внутренне, является идея безличного закона и самодержавие начинает “фатально” падать. Лавров знает прекрасно, что народы и после Нумы Помпилия [14] прибегали к самодержавию для спасения себя от олигархии, эксплуатировавшей Римскую республику, от феодалов средних веков и вплоть до наших времен (с. 23). “Идея самодержавия, — говорит он сам, — как будто переживала возрождение”. Мало того, он знает, что она переживала такие эпохи именно для того, чтобы совершить реформы, которые бы лучше позволили функционировать законности. И тем не менее он утверждает, будто бы самодержавие все время падало и падало. Это значит, что идея Лаврова есть правило, а вся история — исключение! Но чем же выражается “падение”? Дело, видите ли, в том, что возрождение только *кажущееся*, так как жизнь вкладывала в старую форму новое содержание. Или Лавров полагает, что в возрождающиеся время от времени старые республиканские формы жизнь не вкладывает нового содержания? Признавая великую историческую роль самодержавия, он именно в ней видит причину будущего его падения, так как, совершая реформы и осуществляя законность, самодержавие будто бы становится во внутреннее противоречие и все больше падает... Наконец, дело доходит до появления социализма, и тут уже — ручается

нам революционный философ — никакое новое “возрождение” стало невозможно. “Здесь возможной политической формой является лишь крайняя демократия, которая *устранила бы и нынешний парламентаризм, и нынешние государственные и юридические формы*” (с. 24).

Печально видеть эти жалкие фразы у седовласого “ученого”. Но разберем по порядку. Прежде всего, неверно, будто бы тип настоящего самодержавца нужно искать чуть не в доисторические эпохи обычая. Неужели Рюрик более самодержец, чем Петр Великий? Неужели точные знания подсказывают Лаврову такие исторические концепции? Неточность определения самодержавия, смешение его с деспотизмом, противоположение самодержавия и законности составляют дальнейшие основы аргументации Лаврова. Но тут нет ни одного слова верного. Кто же не знает, что на самом деле к *деспотизму* способна *всякая* форма власти, будь она монархическая, аристократическая или демократическая! Точно так же *законность* составляет одинаково необходимый элемент при всех формах власти. Различие между ними несколько не в уважении к закону, не в силе закона, а лишь в том, что каждая из них своеобразно создает *источник закона*. При всех формах власти закону подчиняются *все*, за исключением самого источника власти в момент его функционирования.

Таким образом, критика Лаврова держится целиком на спутывании понятий. Сюда же придется отнести и неточное и неясное воззрение на единоличную власть как будто бы на *фазис* развития идеи власти. На самом деле власть имеет несколько основных *форм*, которые все эволюционируют, борются между собою, смещают одна другую, причем вообще основные формы в социологии (как и в биологии) не погибают, а отживают лишь известные фазисы их. Единоличная власть есть не “фазис”, а именно одна из этих основных форм и, как все остальные, имеет свои “фазисы”. Совершенно верно, что некоторые ее фазисы отживают, но зато вместо них появляются новые. Я давно не слышал ничего страннее, как “возражение” относительно нового содержания единоличной власти. Но ведь это не возражение *против*, это довод *в пользу* самодержавия! Ведь жизненность учреждения именно измеряется его способностью приспособляться к условиям и функционировать с новой силой среди изменившихся обстоятельств. Если же, по самому Лаврову, вся история человечества, с начала до наших дней, представляет непрерывные “возрождения” самодержавия, приспособляющегося к новым условиям и являющегося силой каждый раз прогрессивной, то на каком основании думать, что эта форма отжившая?

Если прошлое позволяет заключать о будущем, то не следует ли думать, напротив, что народы и теперь прибегнут к самодержавию для решения новых вопросов своей жизни?

Остается, стало быть, только последняя карта — “несовместимость с идеалами социализма”. Лавров очень счастлив, если понимает хоть сам свою фразу об “идеалах социализма”, но во всяком случае очевидно, что идеалы социализма, каковы они рисуются Лаврову, несовместимы, как он сам объясняет, не с одним самодержавием, а со всеми нынешними государственными и юридическими формами. Стало быть, и с этой точки зрения самодержавие “отжило” не больше, чем парламентаризм или самая “передовая” федеративная республика...

Что ж доказал Лавров даже на этом пункте, где он дает мне генеральное сражение? То ли, что хотел? Нет. Он хотел ниспровергать самодержавие, а сказал только, что его должны отрицать те, кто *вообще* отрицает государство. Ну а те, кто государство не отрицает? Для тех аргументация Лаврова говори только в *пользу* самодержавия. Этого ли он хотел достигнуть?

И вот люди, пророки которых обнаруживают такую логику и такое умение понимать историю, воображают, будто за них какая-то “наука”, “разум”!..

Я бы отстаивал свое нравственное право думать, если бы даже вступил в противоречие с действительно передовой мыслью человечества. Но в данном случае такого несчастья со мной не произошло. Я вступил в противоречие со слоем и мирозерцанием, у которых много только самохвальства и сомнения, и больше ничего. Отойдя от них, я подвинулся не назад, а вперед с точки зрения зрелости мысли, правды, пользы для страны. Для меня это давно уже ясно, но после периода эмигрантской полемики станет, может быть, более ясно и для других, по крайней мере для тех, кто способен оценивать виденное и слышанное. Мне хотелось бы думать, что реальная оценка мнений и фактов после этого привлечет к себе большее внимание и самих революционеров, которым стоит только прогнать туман софизмов и общих мест, чтобы понять, как вся их деятельность не достойна трезвого, взрослого человека.

Неужели не настало еще время для этого?

Как бы то ни было — для меня оно настало. Оно настало именно потому, что я думал, учился, старался воспользоваться работой мысли передовых стран, и я остаюсь при убеждении, что большинство меня порицающих поступили бы так же, как я, если бы захотели также учиться, думать и наблюдать.

НАЧАЛА И КОНЦЫ. ЛИБЕРАЛЫ И ТЕРРОРИСТЫ

«Окончательный удел христианского отрекшегося от Христа общества есть бунт или революция.»
Иван Аксаков. Речь в Славянском благотворительном обществе, 1881 г.

1

Острые последствия ошибочного мирозерцания проявляются только тогда, когда оно дозрело до своих логических выводов. До этого момента оно проявляется в формах, по наружности безобидных, никого не пугающих. Именно этим и опасен период назревания, тихого, прикрытого развития. Оно не внушает опасений, не вызывает энергического противодействия со стороны своих противников. Люди безразличные равнодушно смотрят, как их детям или им самим прививают постепенно точки зрения, от которых они бы со страхом отвернулись, если бы могли понять концы этих начал. Немногие проницательные умы бесплодно играют печальную роль Кассандры. Их предостережения выставляются бредом маньяка, на который смешно было бы обращать внимание. В такой обстановке эволюция торжествующей идеи идет все шире, все с большим радиусом действия, развивая наконец силы, которых уже ничто не может сокрушить, до тех пор, по крайней мере, пока зло, став торжествующим, не съест само себя, пожрав вместе с тем и возрастившую его страну.

В этом поступательном развитии самое страшное то, что с каждым годом все большее число людей *привыкает* к известным точкам зрения и к постепенным выводам из них. Сначала кажется страшно и нелепо сказать: “Польша держится неустройством”. Начинают с безобидных вещей: “Ну, уж такой порядок хуже беспорядка” или: “Нельзя же из порядка делать себе кумира” и т. п. Привыкши к смягченной формуле, обостряют ее немного, потом еще и еще. Это делается не с каким-нибудь тонким расчетом, не разумом, вдохновляемым злой волей, а именно отсутствием разума. Очень немногие, исключительно прозорливые умы способны заранее предусмотреть конечные выводы данного мирозерцания. Но в какую бы нелепую толпу ни была вложена известная идея, она непременно сама, шаг за шагом, скажет постепенно свой вывод. Разум, способный предвидеть его, борется заранее, обличает самую идею в ложности. Бессмыслие, не предвидящее вывода, не борется — осваивается с идеей, привыкает к ней как к математической аксиоме и

потом, подходя наконец к выводу, невольно уже и ему подчиняется, хотя бы с отвращением, как чему-то неизбежному. Что, дескать, делать? Может быть, приятнее было бы, если бы земля нас не притягивала, но это — закон природы.

Вопрос: “Точно ли закон природы? не есть ли вздор в самом основании идеи, приводящей к нелепому или преступному?” — этот вопрос может легко представиться среднему, дюжинному уму, пока он не уверовал в свою идею как в нечто абсолютно истинное. Но раз он затвердил ее совершенно наизусть — дело кончено. Он слишком слаб, чтобы не закончить своего логического крута до конца. Какие бы ни происходили бедствия, нелепости, он все будет более склонен к более легкому, то есть будет искать лекарства не в критике основ, а во все более и более логическом их применении. Плохо действует конституционная монархия — он попробует республику, уничтожит цензы, введет всенародное голосование законов, раздробит власть чуть не между всеми деревнями, дойдет до *liberum veto*³⁴, попробует идеи современных анархистов, уже произнесших последнее слово “самоуправления” в виде *l'autonomie individuelle*, — словом, перепробует все выводы до последнего звена и, уж разве окончательно ударившись лбом об стену, способен будет воскликнуть: “Какой же я, однако, был идиот, ведь идея-то просто чушь; мудрено ли, что из нее ничего не выходит!”

К сожалению, это наглядное обучение стоит слишком дорого. В нем ставится на карту самое существование страны.

И потому-то выгоднее, если созревание ложной идеи не затягивается слишком надолго. Выгоднее, если она, еще не охватив и не ослепив больших народных слоев, показывает на чем-нибудь малом свое приблизительно последнее слово, пока в стране еще находится достаточно свежих сил, способных воспользоваться указанием.

2

Такое указание Россия пережила в 70-х годах. За исключением Смутного времени, у нас не было испытания более тяжелого. Это не было монгольское иго, вражеское нашествие, бедствие внешнего происхождения, но явление внутреннего, собственного нашего духовного разложения, где

Находишь корень зла в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

Эта болезнь... к смерти ли? к большей ли славе Божией? Вопрос решается нами самими, нашей способностью понять указание и с ним

сообразоваться. Если у нас не хватит смысла даже на это, небо действительно нельзя обвинить ни в чем. Какой-то странной ошибкой, непросительным с точки зрения революционера промахом, какой-то странной, необъяснимой с правительственной точки зрения поблажкой “передовое” “культурное движение” в немного лет было ободрено настолько, что из своих неприступных позиций легальной деятельности вышло в открытое поле. Умолчания всякие:

“с одной стороны, нельзя не допустить, с другой — нельзя не сознаться”, эзоповский язык и клинообразная либеральная логика, где не только простодушный обыватель, но и сам черт ногу сломит, — все это отброшено, выводы делаются прямо, смело, человеческим языком, слово не расходится с делом. Вихрь закрутился со всею силой, какая доступна горсти охваченных им жертв, и в немного лет описывает полный логический круг. Концы соединяются с началами.

Зашумел, закрутил, раздавил что мог — и стих, как будто спрашивая: “Нравится ли вам? Этого ли вы желаете? Или чего-нибудь еще покрупнее? В таком случае продолжайте, господа, а за мной дело не станет. Только заготовляйте мне побольше материалу”.

Стоим и мы и спрашиваем себя: “Этого ли хочет Россия? И на кого ей жаловаться, если она все-таки ничего не поймет, ничего не изменит? В конце концов, нация, желающая существовать, обязана иметь некоторое количество здравого смысла. Если б она не могла понимать даже самых ясных фактов, совершающихся пред ее глазами, разве справедливость не требует, чтобы она очистила свое место в истории для кого-нибудь более способного?”

3

Оставляя будущее будущему, нельзя не сказать, что в настоящем и прошлом самое вредное обстоятельство составляло и составляет не существование и проповедь чистых революционеров, а то, что множество людей для себя и для других выставляет чисто революционную проповедь чем-то совершенно оторванным от общего мирозерцания нашего образованного общества. Это делается иными по действительно непониманию, другими — из желания замаскировать свою собственную пропаганду, третьими — под влиянием оскорбленного патриотического чувства, не способного переварить мысли о всей глубине падения политического смысла в целом огромном слое. При каких бы то ни было побуждениях — это ошибка или ложь, которая выгодна лишь для людей, втихомолку продолжающих выработку революционеров.

Правду, сколь бы ни была она печальна, выгоднее знать и ясно себе представлять.

Поколение 70-х годов кто угодно и как угодно может бранить, не я ему стану противоречить. Но все эти порицания еще в сильнейшей степени будут падать на духовных отцов, воспитателей, создавших поколение 70-х годов, заранее обречших его на бесплодие и гибель. Это было истинно “поколение, проклятое Богом”, как обмолвился один поэт его. Собственно говоря, оно было до такой степени подготовлено, что чисто революционной пропаганде в нем почти нечего было делать. Потому-то они и шли так легко. Не было бездарности, не способной ее вести, а мало-мальски способный человек торжествовал безусловно повсюду, куда ни являлся.

4

В 1873-1874 годах по всей России разыскивали некоего Дмитрия Рогачева. У следователей он приобрел репутацию знаменитости, и действительно — многих он привел на путь революции. Я, помню, был крайне удивлен, услышав об этих подвигах: Рогачева я прекрасно знал. Это было добродушнейшее существо, силач, богатырь сложением, но столь, как говорится, прост, столь несведущ, что кружок чайковцев, при всех личных симпатиях к Рогачеву, никак не решился принять его в число своих членов. Кого и в чем мог он убедить? Впоследствии, уже арестованный, он начал писать свои воспоминания и усердно потел над ними. Кое-кто из адвокатов, имевших случай видеть это произведение “знаменитого пропагандиста”, на процессе 193-х удостоившегося места среди пяти “наиболее отличных”, были до жалости разочарованы. Действительно, трудно себе представить что-нибудь более — не говорю уже литературно бездарное, но пустое, без одной искры содержания. Этот человек, исколесивший пол-России, побывавший в разнообразных кружках интеллигенции, в рабочих артелях, среди бурлаков, сектантов и т. д., даже ничего не заметил, не запомнил, как будто он все эти два-три года оставался зарытым в землю.

И он-то десятками “сворачивал” молодежь! Понятно, что в действительности он никого и ничего не сворачивал. Он брал *готовое*. Он был ходячее знамя, около которого сами собирались.

Некто (как видно по рассказу, бывший морской офицер) рассказывает в старом эмигрантском журнале³⁵, и притом очень недурно, сцену своего “сворачивания”. Известный Суханов (государственный преступник, впоследствии казненный) устроил у себя политическую

конференцию. Ораторствовал не менее известный Желябов [1]. Он вполне, не стесняясь, изложил свои планы. “При первых словах: “Мы — террористы-революционеры”, — рассказывает очевидец, — все как бы вздрогнули и с недоумением посмотрели друг на друга.

Но потом начали слушать с напряженным вниманием. Беззаботная, довольно веселая компания как бы по мановению волшебного жезла стала похожей на группу заговорщиков. Лица побледнели, глаза разгорались. Когда он кончил, начались оживленные разговоры, строились всевозможные планы самого террористического характера. Если бы в это время вошел посторонний человек, он подумал бы, что попал на сходку рьяных террористов. Он, — восклицает автор, — не поверил бы, что *за час до этого все эти, люди частью не думали о политике, частью относились даже с порицанием к террористам*”.

Что означает эта сцена? Пересоздал ли оратор этих людей за 1/2 часа? Такой вздор стыдно даже подумать. Автор воспоминаний сам прекрасно объясняет, как он с товарищами “не думали о политике” или “относились с порицанием”. Дело очень просто. “*Искренне ненавижу* и т. д., — говорит он, — мы не верили в возможность скорого переворота в России; наши желания деятельности сводились к стремлению работать в земстве. Мы мечтали, выйдя в отставку, попасть в земство и посредством него вести борьбу с правительством. В силу революционной партии мы не верили” (с. 61).

Так вот каких “благонамеренных” людей своротил пропагандист! Они не верили в силу и потому собирались стать благонамеренными подавателями оппозиционных адресов! Нашелся ловкий человек, одурманивший на минуту, показавший товар лицом, — и наши “благонамеренные” начинают строить планы “самого террористического характера”. Положа руку на сердце — много ли сделал пропагандист? В нем ли суть или в том и тех, кто воспитал эту молодежь в таком духе, что она немедленно решилась примкнуть к революционному действию, как только поверила, хотя бы и ошибочно, в его возможность?..

И еще к какому действию! В *каких его* формах и проявлениях!

5

Мое детство не предсказывало, по-видимому, никаких революций. У нас в семье верили в Бога не тем упрощенным лютеранским способом, который я часто вижу теперь, а по-настоящему, по-православному. Для нас существовали и церковь, и таинства. Помню до сих пор то чувство, с которым я молился во время Херувимской, уверенный, что в такую

минуту Господь менее всего захочет отказать моей детской мольбе. Я очень любил Россию. За что — не знаю, но я гордился ее громадой, я считал ее первой страной на свете. Смутно, но тепло ощущал я идеал всемогущего Царя, повелителя всего и всех... Таким меня сдавали детские годы на руки общественным влияниям.

Нужно ли рассказывать, как быстро все это рухнуло?

“Дух времени”, впрочем, невольно прокрадывался и в первоначальное воспитание — не в виде того, *чему* учили, а в том, *как* учили. В школе, нечего и говорить, он уже царил в то время (1864 — 1870) безраздельно.

В какую-то реакцию старинному “Не рассуждать, повиноваться” нас всех вели по правилу: “Не повиноваться, а рассуждать”. Наши воспитатели решительно не понимали, что первое качество действительно развитого разума есть понимание пределов своей силы и что насколько рассуждение обязательно в этих пределах, настолько оно даже неприлично для умного человека вне их, где именно разум и заставляет просто “повиноваться”, искренно, сознательно подчиняться авторитету.

В наше время не понимали, что рассуждение безрассудное, не соображенное со своими личными или вообще человеческими силами приводит необходимо к сумбуру и даже ничуть не избавляет от подчинения авторитетам; только это подчинение уже бессознательное, подчинение не тому, что мы разумно сознали высшим себя, а тому, что нам умеет польстить, эксплуатировать наши слабые стороны.

С малолетства нам все объясняли, доказывали, приучали к вере, что истинно лишь то, что нам понятно. Это было выращивание не самостоятельного ума, а своевольного. Я, помню, десяти лет читал “Мир до сотворения человека” — и с каким трепетом! Как боялся я, чтобы автор не разрушил моей святыни! Но мне и в голову не приходило, чтобы я не мог браться за решение вопроса: кто прав — Моисей или Циммерман? Постарше я уже прямо говорил себе: “Пусть я ошибаюсь, но я рассудил *сам*, и не моя вина, если я не мог рассудить лучше!” Мне и в голову не приходило, что если бы я действительно доходил до всего *сам*, то весь век остался бы дикарем. Это горделивое “рассудил сам” означало просто-напросто: взял у людей же, но только наиболее слабое, простое, легче всего усваиваемое. А если бы брал не “сам”, а по рекомендации великих исторических авторитетов, то взял бы самое сильное, действительно верное, но именно поэтому трудно усваиваемое, до чего “сам” не дойдешь, если не проживешь тысячу лет.

При этом преувеличенном доверии к правам своего ума мы менее, чем какое другое поколение, могли им действительно пользоваться, так

как умение работать крайне подрывалось отсутствием Дисциплины ума. Самое понятие о дисциплине ума совершенно ступсывалось в школе моего времени (1864-1870). Наши худшие учителя были еще, может быть, менее вредны. Они учили по крайней мере скучно, бессознательно, заставляя нас делать над собой некоторое усилие. Хорошие учителя были насквозь проникнуты манерой *заинтересовывать*. Мы учились у них не тому, что нужно, и не потому, что это нужно, а тому, что интересно, что *само* нас захватывало. Мы были не господами, а рабами предмета. Мы учились не устремлять внимание преднамеренно, а только отдаваться впечатлению. Это была полная потеря мужественной самостоятельности ума, умения и склонности *брать предмет с бою*; и при такой расслабленности, женственности, склонности поддаваться интересу, то есть тому, что легче затрагивает фантазию; при этом — за грехи родителей — глубочайшая вера в свой ум и в истину того, что он якобы нам указывает! Достаточно одной такой закалки (правильнее — **раскалки**) ума, чтобы осудить поколение на бесплодие.

Это воспитание вместе с тем обязательно отрывало нас от старой исторической культуры, с Божией помощью и усилиями миллиардов людей развивавшейся на земле с сотворения мира. Эта культура полна авторитетами, нередко непостижимыми. Примкнуть к ней можно или с полной наивностью, или с очень хорошей дрессировкой ума, выработанного в силу — зрелую, умеющую и господствовать, и повиноваться. Детская наивность у нас исчезла, но на ее место явилось рассуждение своевольное и дряблкое. Старая культура становилась для нас с этого момента недоступной.

Мы бы искали нового, более легкого, более по плечу себе, но нечего было и искать. Оно окружало нас со всех сторон. Ведь оно же нас и создало. Достаточно было **плыть по течению**.

6

Все, что я слышал юношей, систематически подрывало мои детские верования. Я видел вокруг себя исполнение религиозных обрядов, но или неискреннее, или стыдящееся самого себя. Образованный человек или не верил, или верил, находясь в противоречии с собственными убеждениями. **Чего только юношей, мальчишом не приходилось слышать или читать о религии!**

Книги говорили не о православии. Говорилось о суевериях католицизма, о непоследовательности протестантизма, об изуверстве клерикалов, даже с прибавлением, что все это не относится к

православию. Насмешливая оговорка была слишком ясна, тем более что материализм проповедовался открыто. Но если нет Бога, если Христос человек, то, конечно, нетрудно рассудить, что такое православие.

Я очень рано начал читать Писарева [3] — и где же? Мой дядя был очень умный и образованный человек, большой почитатель “Московских ведомостей” и, по тогдашнему масштабу, консерватор. Зачем такой человек выписывал “Русское слово” и оставлял его на этажерке? Почему позволял он мне сидеть часами, уткнувши нос в эти книги? Он, конечно, не сумел бы ответить и сам. Как бы то ни было, Писарев скоро стал моим любимым учителем. С его наставлениями дело у меня пошло на всех парах. Лет пятнадцати я верил во всевозможные “произвольные зарождения”, Пуше, Жоли, Мюсси и т. п. столь же твердо, как в шарообразии Земли или в невежество Пастера, пустоту Пушкина и “мракобесие” славянофилов.

Я не из тех, которые ценят религию по ее пользе государственной и вообще по социальному значению. Но такой первостепенный фактор, как религия, не может не иметь, между прочим, и огромного социального значения. Вытравление из нас понятия о Боге, о вечных целях жизни, об эпизодичности собственно земной жизни нашей оставляло в душе огромную пустоту, повелительно требовавшую наполнения, тем более что, при всей изуродованности, мы все-таки были русские. Потребность сознания своей связи с некоторою вечною жизнью, развивающею какой-то бессмертный идеал правды, непременно должна была быть удовлетворена. И вот, в виде суррогата, является вера в человечество, в социальные формы, в социальный прогресс и будущий земной рай материализма. Это была *вера*, а не убеждение, вера, хотя и перенесенная в область сравнительно ничтожную, недостойную, вера, приниженная до нашего умственного состояния. Мы относились к общественным формам не как к делу житейскому, а как к религиозному; мы прилагали к ним те стремления, которые подсказывались духовной природой нашей, стремления ко *всечеловеческому* и *свободному*. Переноса религию в материальную область политики, мы не хотели в ней признавать никаких законов материального мира, никаких пут органического, а стало быть, и национального развития, никаких неизбежных стеснений общественных форм и в результате неизбежно становились отрицателями и революционерами.

В. Соловьев упрекал Данилевского, будто бы его национализм и учение об исторических типах противны христианскому чувству. Напротив, Данилевский, именно как глубокий христианин, не мог впасть в ошибку, неизбежную для социологов-нехристиан или полухристиан. Он

ясно чувствовал, что в жизни нашей есть от мира сего и что — не от мира сего. Для него абсолютное, вечное и свободное не исчезало в человеке при мысли о необходимости и условности его земного существования в мире материальном, биологическом и социальном, где есть и раса, и национальность, и их роковое органическое развитие. А потому Данилевский и мог думать о необходимых, несвободных законах социологии и подчинении им человека совершенно объективно, не тревожимый в своем анализе лишними вторжениями из области чисто духовной.

Один очень умный анархист прекрасно характеризовал мне разницу своих воззрений от воззрений христианских. В мире, говорил он, назревает новая *религия*. Наши ученые воображают, будто они работают на разум. Точно так же древние ученые не знали, что расчищают только почву для новой религии. Христианство разбивает человека на две половины — на дух и тело. Наука показывает, что человек един и целостен. Христианство унижает тело, заставляет бороться с плотью. Мы реабилитируем тело. Дух — это оно и есть. Тело свято, в нем нет дурных побуждений. Подчинитесь ему, а не боритесь, дайте свободно проявляться всем его стремлениям, и они сольются в братской гармонии желаний всего человечества.

Гони природу в дверь — она влетит в окно. Забыли Бога — и создали себе кумира из своей плоти!

Вот, собственно, почему я несколько раз подчеркиваю антихристианство нашего нового мирозерцания. Оно создало в нас новую религию. Это до такой степени верно, что одна веточка движения 70-х годов даже прямо создала секту — так называемое тогда “Богочеловечество”. Видным деятелем ее вместе с когда-то известным Маликовым был и Чайковский, тот самый, которого кружок поставил вожаком чуть ли не во все фракции революции последующих годов. Правда, *богочеловечество* поставило своим принципом *непротивление* злу и тем резко отклонялось от насильственных революционеров. Но это — различие, имеющее значение только для полиции и прокуратуры, а не для того, кто рассматривает вопрос с точки зрения христианской культуры и русского национального типа. Обожествление человека, перенесение религии в область социальную было, в той или иной форме, совершенно неизбежно по вытравлению из нас христианской концепции мира. А раз перенесся абсолютное религиозное начало в область социальную, мы должны были отрицательно отнестись ко всему условному, то есть ко всему историческому, национальному, ко всему, что составляет действительный социальный мир.

Этот действительный мир заранее осуждался для нас на гибель в той или иной форме, теми или иными средствами, осуждался в тот момент, когда мы еще только теряли личного Бога Промыслителя, еще сами не зная последствий этой потери.

7

Явление, о котором я говорю, принадлежит не одной России и даже, может быть, зародилось не в ней. Но несмотря на всю денационализацию нашего образованного слоя, он все-таки кое-что сохранил из русских свойств, и, между прочим, эту характеристическую русскую религиозную жажду. Вместе с тем он изо всех образованных классов Европы отличается, без сомнения, самой плохой выработкой ума. Поэтому он дал в самых широких размерах явление *социальной религиозности*. Покойный граф Д. А. Толстой [4] очень метко сравнивал наших революционеров, “противящихся” или “непротивящихся”, именно со средневековыми конвульсивными сектантами. Луи Блан [5], размышляя о своей первой революции, тоже чувствовал какое-то сходство, искал каких-то корней ее в сектантстве средних веков, хотя вопрос так и остался для него темным. На самом деле тут нет надобности в какой-либо *генетической* связи, и наша история образованного класса прекрасно это доказывает.

Перенесение религиозных понятий в область материальных социальных отношений приводит к революции вечной, бесконечной, потому что *всякое* общество, как бы его ни переделывать, будет столь же мало представлять абсолютное начало, как и общества современные или прошлых веков. Потому-то передовые революционеры Запада стали именно анархистами, и при этом достойно внимания, что именно русское общество, столь бедное умственными силами во всех других отношениях, дало Европе двух ее величайших теоретиков анархизма — Бакунина [6] и Кропоткина [7]. Наши идеалисты сороковых годов все более или менее анархисты, большею частью сами того не сознавая. Если бы Салтыков (Щедрин) умел сделать выводы из своего бесконечно отрицательного мирозерцания, он мог бы подать руку не Лаврову, не социал-демократам (они все для него слишком мало революционны), а только анархисту Кропоткину. Всякий сколько-нибудь наблюдавший европейские страны знает очень хорошо, что наши либеральные ходячие понятия о свободе по своей преувеличенности именно подходят к понятиям европейских анархистов, а не либералов.

Космополитизм нашего образованного класса должен был вырождаться в нечто еще худшее. Анархист французский или немецкий

ненавидит *вообще* современное общество, а не специально свое — немецкое или французское. Наш космополит, в сущности, даже не космополит, для его сердца не все страны одинаковы, а все приятнее, нежели отечество. Духовное отечество для него — Франция или Англия, вообще “Европа”; по отношению к ним он не космополит, а самый пристрастный патриот. В России же все так противно его идеалам, что и мысль о ней возбуждает в нем тоскливое чувство. Наш “передовой” образованный человек способен любить только “Россию будущего”, где от русского не осталось и следа.

Особенно часто истинно враждебное чувство к Великороссии. Это естественно, потому что, в конце концов, только гением Великороссии создана Россия действительная. Не будь Великороссии, особенно Москвы, все наши окраинные русские области представляли бы ту же картину обезличенной раздробленности, как весь остальной славянский мир. Из всех славянских племен одна великорусская раса обладает великими государственными инстинктами. Поэтому она возбуждала особенную ненависть в том, кому противно в обществе все историческое, органическое, не случайное, не произвольное, а необходимое. Потому и популярны у нас историки, как Костомаров [8], потративший столько сил для развенчания всей патриотической святыни Великой России, уничтоживший Сусаниных, в своей истории Смутного времени до того ничего не понявший, что в конце концов объявил эту эпоху скорее принадлежащею к польской истории, нежели к русской.

К тому времени, когда мое поколение сдавалось на руки обществу, у нас уже была создана целая либеральная культура, отрицательные, по преимуществу антирусские стремления которой дошли в 60-х годах до апогея. Это было время, когда молодой блестящий подполковник Генерального штаба — (Соколов [9], впоследствии эмигрант) пред судом публично горделиво заявил: “Я нигилист и отщепенец”. Военная молодежь шла в польские банды, чтоб убивать своих соотечественников для дела восстановления Польши, как будто выбирая девизом: “Где бунт — там отечество”. Русская либеральная печать одобрила это безобразие, и М. Н. Катков, со всею страстью русского чувства выступивший против изменнического опьянения, с тех пор навсегда остался для либеральной души изменником и врагом.

Россия моих детских грез была живо развенчана. Она оказалась “при свете науки” только бедною, невежественною, отсталой страной, заслуга которой сводилась к стремлению уподобиться “Европе”. Другие оценки были, но где их искать? В литературе действительно распространенной, в самой школьной науке царствовали либеральные

точки зрения. Нужно было особенное счастье и совершенно исключительное положение, чтобы не попасть под их влияние, со всех сторон гнавшее нас к революции.

8

Многие этого не могут понять. Что общего между смиренным либералом и революционными крайностями? Так смотрят люди, думающие только о *программе* либералов. Само собою, революционные крайности вытекают не из положительных требований либералов, сами революционеры над ними смеются как над глупостью и непоследовательностью. Революционные крайности вытекают из *общего мирозерцания*, которое в одну сторону создает не додуманные до конца, половинчатые, а иногда иезуитские либеральные требования, в другую же — вполне логично и последовательно стремления революционные. Наши “передовые” создают революционеров не своими ничтожными либеральными программами, а пропагандой своего общего мирозерцания. Если б они отказались от этого общего мирозерцания, то подорвали бы одновременно и свои либеральные стремления, которые им самим тут показались бы смешными, и революционные стремления, которые тут в первый раз предстали бы пред ними не как *крайность*, а как *безумие*. До тех же пор, пока “передовые” остаются при своем мирозерцании, они непременно будут создавать революционеров. Желая того или не желая, они будут вырабатывать молодежь в наиболее пригодном для революции духе и даже подсказывать ей способы действия — своей ложной характеристикой всего окружающего.

9

О литературных влияниях 60-х годов нет надобности распространяться. Они известны всем понаслышке, и современная публика даже преувеличивает их отрицательность, то есть в том смысле, будто бы тогдашние либералы, радикалы и т. п. были отрицательнее современных. Я этого не нахожу; но в настоящее время рядом с либеральными отрицателями стоят уже многочисленные националисты, голос коих почти столь же хорошо слышен. В те же времена гудел только либеральный хор, заглушая остальные голоса. Поэтому влияние его было сильнее.

Наши теоретические представления, данные тогдашней “наукой”, не только бесчисленными популярными статьями по естествознанию, истории и т. п., но и самой школьной наукой ставили нас уже в

достаточно отрицательное отношение к социальному строю России, особенно к ее образу правления и т. п. Оценка литературой и обществом текущей русской действительности довершала дело. Я пережил мальчиком и юношей эпоху реформ, которые *теперь* превозносятся либералами. Но в то время я решительно не слыхал об этих самых реформах доброго слова. Тогда оказывалось, что все делается не так, как следует. За что ни берется правительство, все только портит. Вместо того чтоб окружить доброго Государя, столь заботящегося о желаниях общества, окружить его любовью, попечением, сиянием мудрости, в те времена либералы только жаловались и давали делу такой вид, будто правительство “делает уступки”, да “недостаточные”. Либералы действительно только “либеральные”, не имеющие в глубине души анархистской подкладки, никогда бы не позволили себе такого глупого поведения, совершенно несообразного с их партийными интересами. Вместо того чтобы поддерживать выгодное для них правительство, вместо того чтобы и нам внушать, что только одно либеральное правительство может хорошо вести дело, — либеральная воркотня только готовила врагов правительства и нам, молодежи, невольно внушала мысль, что правительство какое бы то ни было, хотя бы и самое либеральное, все-таки ничего не умеет сделать. С ранней молодости я только и слыхал, что Россия разорена, находится накануне банкротства, что в ней нет ничего, кроме произвола, беспорядка и хищений; это говорилось до того единодушно и единогласно, что только побывавши за границей, сравнивши наши монархические порядки с республиканскими, я мог наконец понять всю вздорность этих утверждений. Но тогда, ничего еще не зная, при молодой неопытности, право, невозможно было не поверить.

Но не все же в России были либералами? Конечно. Было, слава Богу, много людей “старой культуры”, и не из каких-нибудь своекорыстных “крепостников”. Помню людей очень развитых, гуманных. Таков был, недалеко ходить, покойный отец мой. Но время было какое-то странное. Делались улучшения. Но именно сердца *этих* людей, которые могли бы быть лучшей нравственной опорой правительства, улучшения не затрагивали. Отец мой был вполне монархист и во мне заложил зародыши монархических симпатий, но чем? Своими рассказами о “николаевских временах”. Так велико было во мне впечатление этих теплых рассказов о суровом, величавом времени, умевшем высоко держать свое знамя, что я никогда уже не мог разлюбить *личность* Императора Николая, даже во времена наибольшего отрицания *системы*. Почему же отец не находил этого теплого чувства для защиты нового, “улучшенного” времени? Крепостных он не имел, да и не захотел

бы иметь. Улучшениям вообще радовался, ничего даже прямо не порицал. Но, видно, новое время чем-то не совпадало с его русским православным чувством. Он оставался холоден. Так и другие. Они не были теоретики, но просто чувствовали, что новое время со всеми своими улучшениями стремится куда-то в ненадлежащее место. Благодаря этой особенности эпохи она, таким образом, не получала защиты и поддержки даже от людей совершенно бескорыстно, без условий преданных правительству и своей нравственной чистотой способных сильно влиять на молодежь... Повторяю, то было несчастное, обреченное поколение, как будто нарочно какой-то таинственной силой систематически отрезаемое ото всего, что могло бы спасти его от гибели.

10

При крайне упрощенном мирозерцании, при облегченной работе наше развитие не брало много времени. В 18-19 лет оно было закончено. Очень самоуверенные, набитые иногда значительным количеством там-сям нахватанных знаний, мы, собственно, оставались весьма неразвиты и невежественны. Ни одного факта мы не знали в его действительной полноте и разносторонности. Многоразличные точки зрения, с которых учителя человечества пытались так и сяк осветить жизнь, были известны нам разве по названиям, в перевернутом виде. Мир, без перспективы, без оттенков, распадался пред нами на две ясно очерченные области. С одной стороны — суеверие, мрак, деспотизм, бедствия, с другой — наука, разум, свет, свобода и земной рай. В этом умственном состоянии большинство и застыло, вероятно — навсегда.

Но мир действительный именно не заключает в себе ничего абсолютного, ни света, ни мрака; он весь соткан из оттенков, степеней. Абсолютное есть достояние совсем другого мира. Перенеся это религиозное представление в мир условностей, мы очутились в полном противоречии с действительностью.

Пока мы находились еще в периоде ломки, противоречие не ощущалось слишком угнетающим образом. Душа имела занятие, ее поглощавшее. Можно было еще походить на “молодежь”, оставаться бодрым. С завершением ломки наступал период жестокой тоски и внутренней пустоты.

Того, что сознавалось как правда и разум, в действительной жизни не оказывалось; то же, что в ней было, казалось злом и бессмыслицей. Положение само по себе очень тяжелое. Оно приводило к одному из двух: или жить безо всякого нравственного содержания, с сознанием, что твоя

жизнь нисколько не служит добру и правде, или же приходилось объявить войну всему существующему. Решение не легкое. Но наше положение было еще хуже. Когда мы решались “объявить войну”, то оказывалось, что мы не чувствовали хорошенко, чему именно и кому объявляешь ее.

Действительно, что и кого именно уничтожать? С чем, в частности, бороться, с какими фактами, какими личностями? Это было бы легко увидеть, если бы мир был действительно таков, каким мы его воображали. Если бы с одной стороны стоял злодей эксплуататор, бессердечный, безнравственный, а с другой стороны — пожираемый им добродетельный пролетарий, не трудно бы понять, куда броситься. Но первые юношеские столкновения с жизнью показывали нечто иное. Первый же делец, с которым я познакомился, у которого были такие милые барышни-дочери, у которого мы так весело танцевали под фортепиано, никак не вкладывался в определения злодея. Он был даже очень гуманный человек, я слышал, что он многим помогал. Первый пролетарий, которого я узнал, очень трудно поддавался под определение “жертвы общества”. Это был дряннейший пропойца, угрозами скандала вымогавший подачки. Общество само было его жертвой. Видел я крестьян и никак не узнавал в них своего страдающего и угнетенного “народа”. Видел администратора, священника, монаха и не улавливал в них своего теоретического “зла”. Впоследствии, уже ведя пропаганду, мы постоянно находили рабочих уже “испорченными”, находили в них “буржуазные наклонности”, “собственничество”, “стремление к роскоши”, и для отыскания настоящего страдающего народа постоянно приходилось идти куда-нибудь дальше, в другое место.

В жизни было, в сущности, гораздо больше зла, страдания, угнетения, нежели мы, со своим упрощенным мирозерцанием, могли бы представить. Но только это было *не то зло*, и добро было — *да не то*. Наши понятия были столь чужды реальности, что с ними нельзя было видеть ни добра, ни зла. Нужно бороться, а с чем именно — на это мерки не было. Чего желать в отдаленном будущем (тоже, конечно, фантастическом) — мы прекрасно знали. Но чего желать, к чему стремиться сейчас, в настоящем, — оставалось темно.

Теория не то что сталкивалась с действительностью, а просто не задевала ее ни хорошо, ни худо, проскальзывала сквозь нее, как привидение. Поколение с лучшею выработкой ума немедленно заподозрило бы свои идеи в полной вздорности и взялось бы за коренной пересмотр всего своего умственного достояния. У нас не могло быть и речи, и помышления о таком напряжении. Мы только чувствовали, что

стоим пред какою-то тьмой. Чего желать? К чему готовиться? Это были именно “сумерки души”, когда “предмет желаний мрачен”...

Я к состоянью этому привык,
Но ясно б выразить его не мог
Ни ангельский, ни демонский язык.

У нас в университете было много случаев самоубийства. Нынче их любят объяснять “переутомлениями” да латинским языком. Не знаю, как теперь, но тогда это происходило от душевной пустоты, незнания, зачем жить. Мне это очень хорошо известно, я сам себя боялся в острые мгновенья “сумерков души”. Это невыносимое состояние приводило к полному нервному расстройству, к готовности броситься в какой угодно омут, если в нем есть малейшая возможность отыскать ясный предмет желаний.

Нельзя себе представить состояния умов, более благоприятного для восприятия революционных программ.

11

А между тем революционеров в тесном смысле слова, революционеров с программой, заговорщиков, тогда даже почти не существовало. Я говорю о переломе с 60-х на 70-е годы.

С самого 1866 года заговорщики у нас почти исчезли. В передовых слоях явилось сознание невозможности революции в близком будущем. Революционный дух пошел почти целиком в своего рода “культурную работу”. Заговоры, восстание — все это преждевременно. Нужно распространять *знания*. И эти знания распространялись обильно. В эту именно эпоху — конец 60-х и начало 70-х годов — явилось множество переводов всяких историй, революций, сочинений разного рода социалистов и т. п. Лавров, тогда еще русский подданный, хотя и высланный административно, пишет свои знаменитые “Исторические письма”, надолго оставшиеся евангелием революционеров. Появился ряд книг, как “Пролетариат во Франции”, перевод Маркса, сочинений Лассалья, книжек Вермореля [10], как “Деятели в 1848 году” или “Жизнь Марата” — последняя, вполне апология Марата, была воспрещена, но читалась; издание Луи Блана оборвалось на первом томе его “Революции” [11]; огромный успех имело “Положение рабочего класса в России” Флеровского [12]. Таких книг явилось множество, и все — на подбор. Нам говорили: нужны знания, для этого нужно читать. Мы читали — и все книги совершенно единогласно говорили одно и то же. Получалась полная иллюзия — без сомнения, искренно разделяемая самими

деятелями “культурной работы”, — будто бы “наука” именно ведет к революции.

Успехи этого движения были громадны. Впоследствии Желябов был вполне прав, говоря с грустью: “Мы проживаем капитал”. Действительно, уже в 1880 году проникательный человек не мог не видеть, что террористическая эпоха проживает, прямо сказать — “прожигает” капитал, уже явно начинавший истощаться. Но в 60-х годах этот капитал только накапливался, широко и успешно.

Работа эта имела, однако, в результате только укрепление основной нашей отрицательной точки зрения. Руководства к *жизни* она все-таки не давала. В виде бледной тени искомого решения являлось тогда движение *ассоциационное*, стремление к основанию школ, библиотек и т. п. Но это было именно тенью решения, потому что, в сущности, что же революционного в ассоциациях, школах, библиотеках? Все это, при известных условиях, может быть даже могучим рычагом для укрепления самых консервативных начал. Этим родом деятельности можно было бы широко и глубоко увлечься только в том случае, если бы основные идеи наши не были столь безусловно отрицательны. У нас тогда уже бродила мысль, совершенно самостоятельно и логично возникавшая: что “частичные улучшения только укрепляют существующий строй”. С какой же стати было посвящать им свои усилия?

Но где настоящая революционная работа, не укрепляющая, а разрушающая? Этого не виделось. Мысль о прямой революции, восстаниях, заговорах казалась совершенно химеричною. Нечаев [13], фанатик вполне исключительный, мог только ложью и самым страшным деспотизмом сколотить свое тайное общество, по раскрытии и уничтожении которого возникла в молодежи самая страшная реакция против всяких заговоров. В 1870 году нельзя было заикнуться ни о каких “организациях” с революционными целями. За это, без дальних рассуждений, сочли бы прямо агентом-подстрекателем. Самого Нечаева считали агентом полиции до тех пор, пока он не был выдан и осужден.

Заговорщиков, можно сказать, не существовало. Влияние эмиграции также было ничтожно. Герцен давно уже отстранился как будто с некоторою брезгливостью от “нигилизма”. Около Бакунина вертелась молодежь, но никаких осязательных отражений этого на Россию не замечалось. Лавров еще не существовал, а потом, даже когда бежал за границу, занимался еще только развиванием цюрихских студентов. Кропоткин — никогда, впрочем, и впоследствии не имевший большого прямого влияния на русских — тогда еще занимался изучением

геологии Финляндии. За границей издавалось, помнится, что-то вроде “Русского дела”, но я его и по сей день никогда не видал.

Влияние эмиграции было ничтожное, почти нулевое.

В общей сложности в прямом революционном смысле перелом с 60-х на 70-е годы был временем такого затишья, какого я потом никогда не видал. За первые два года я в стенах университета не помню даже ни одного разговора о политике, да и по студенческим квартирам они были вялы, редки, скучны, совершенно ступенькаясь перед предложением: “Выпьем-ка лучше, господа”. Пили тогда очень усердно. Большинство студенчества думало исключительно о “карьере”. Другие тосковали, не находили себе места. Но тишина была полная.

Я бы рассмеялся, если бы мне в 1872 году кто-нибудь предсказал “шальное лето” 1874 года. Помилуйте, кто же это будет бунтовать? *Von vivant*, шутник и весельчак Саблин? Или скромный, тихий Устюжанинов, ни о чем, казалось, не думавший, кроме лаборатории да клиники? Никогда бы не поверил. Да и обо мне самом никто бы не поверил. Потом мне бывшие товарищи прямо говорили: “Вот уж ни за что бы не догадался, что вы о революциях помышляли!”

Я, в сущности, и не помышлял как-нибудь конкретно, как не помышлял никто. Тишина была полная, глубочайшая.

При своем нынешнем опыте я не придал бы *этой* тишине никакого значения. На молодежь можно положиться вовсе не тогда, когда она безжизненна, а тогда, когда она оживлена здоровым оживлением, бодрости, весела, строит себе всякие широкие планы, но планы, не перевертывающие вверх дном существующего, а развивающие его основы. Раз навсегда, никогда я не поверю в благонамеренность русской молодежи, если она будто бы думает только о карьере и т. п., особенно если при этом в ней замечается упадок развития. Это явный признак, что идеалы ее больны, а потому не находят ясного применения в жизни, так что молодежь старается о них не думать. Но это недуманье не исправляет самого главного — *душевной пустоты*... В один прекрасный день все эти “карьеристы”, смотришь, чуть не поголовно устраивают какую-нибудь нелепейшую штуку, где из-за выеденного яйца, глупо, бесцельно, прахом пускают всю свою “карьеру”. Люди, не вникающие в психологию массовых движений, только руками разводят: “Откуда взялось? Можно ли было предвидеть?”

Берется именно из “пустоты”.

Никогда молодой человек не проживет без идеала, одною “карьерой”. Он сам ошибается, когда думает это, когда щеголяет

скептицизмом, сухостью. У него это напускное, он этим только забавляется. Но потом забавляться наскучит и потребность нравственного содержания жизни заговорит тем сильнее, чем дольше оставалась без удовлетворения. Она доходит до размеров страсти, закрывающей глаза на все остальное. И тогда — берегись!

Берегись вот почему. Нравственное содержание жизни дает только деятельное осуществление идеала. Какие же идеалы таятся в этой “карьеристской” душе? Что он, во глубине сердца думает о спасении души, о вечной жизни, об обуздании плоти? Очевидно, нет, иначе он не щеголял бы “карьеризмом”. Думает ли он о славе отечества, об ослепляющем мир развитии его великих начал? Очевидно, нет, в противном случае его личные мечты не приняли бы формы карьеризма. Нет, он найдет в душе только *отрицание существующей* жизни, такое презрение к ней, такое убеждение в ее негодности, чтобы она даже не возбуждала его желания служить ей. Вот что найдет он: идеал отрицательный, а стало быть, и нравственного содержания жизни будет искать в *его* приложении, то есть в чем-нибудь разрушительном. И чем менее он развит, тем более *легкими путями* станет он искать нравственного содержания.

Самый же легкий путь есть именно самый нелепый. Он состоит не в том, чтобы самому искать чего-нибудь: на это нужна большая духовная работа, усилие, — а в том, чтобы просто открыть душу какому-нибудь веянию, течению, нервному току, предоставить ему свободно, без отпора влиться в свою пустоту. Развитого человека это не удовлетворит, потому что у него есть *собственное* содержание, возмущающееся против наплыва чужого. У неразвитого ничего такого нет, веяние свободно заполняет его пустоту. Он делается рабом этого веяния, течения, пойдет за ним куда угодно, до всяких крайностей, до всяких нелепостей, до всяких преступлений, как гипнотизированный, безвольный и безответственный.

12

В это время затишья родился кружок Чайковского в Петербурге. Кажется, это было в 1871 году. Я пишу на память, без справок, может легко случиться ошибка в датах. Во всяком случае, этот кружок, вначале ничтожный, а года через два обладавший уже огромными средствами влияния, не вносил, по идее, решительно ничего нового. Он делал то, что делали все остальные “культурные деятели” революции: распространял “знания” и т. п. Ничего прямо бунтовского тут не было. Но кружок превратил массу молодежи из простого пассивного объекта “культурной

работы” в деятельный фактор ее. В этом только и состояла оригинальность. Чайковцы сами выросли из “кружка самообразования”, систематически повсюду порождали такие кружки, сначала в Петербурге, потом по всей России. Чайковцы приняли деятельное участие в издании и распространении литературы, создаваемой тогдашними нашими передовыми людьми. Кружок скоро стал распространять столько книг, что ему позавидовала бы любая издательская фирма. Собственных изданий у него было немного, большинство книг он скупал, брал на комиссию, распространяя среди молодежи по удешевленной цене, в убыток себе, и возмещая те убытки сборами и пожертвованиями.

Создаваемые им кружки принимали деятельное участие во всей этой работе. Молодежь не только “самообразовывалась”, но “образовывала” других, не только читала, но и распространяла, “оживлялась” одними и “оживляла” других. Движение демократизировалось, стало достоянием не передовой аристократии, а передовой массы.

В этом все революционное значение кружка чайковцев. Он поставил ряд вожakov для всех направлений последующего движения, но он их не создал, а только пропустил сквозь себя. Не он выработал их идеи. Но он *расшевелил массу*, вывел ее из апатии, из бездействия. Это значило — сделать *все*. Когда какая-нибудь масса с революционным мирозерцанием находится в состоянии затишья, ее достаточно расшевелить чем бы то ни было, лишь бы расшевелить сильно. Для этого какие-нибудь крайние средства вовсе не всегда целесообразны. Нечаев только пришиб молодежь, усилил апатию. Чайковцы, напротив, чутьем угадали надлежащую дозу удара. Они только чуть-чуть выдвинулись из фронта общего “культурно-революционного” движения, сделали лишь ближайшие его выводы — именно превратили его в массовое, оживили массу. Раз это достигнуто, раз голова заработала, основы мирозерцания непременно приведут к своему логическому выводу, хотя масса сначала его не предвидит, не предвидят даже сами “оживители”. Из чайковцев многие отвернулись от последующего, но события пошли своим чередом.

Сначала же этого вовсе не предвидели. Мы не называли себя даже *революционерами*, а *просто радикалами*. Это название — воспоминание своего действительного происхождения — удержалось в революционной среде даже и в то время, когда уже террор свирепствовал во всей доступной ему силе. Название очень оскорбляло уши эмигрантов, потому что за границей между революционерами слово *радикал* чуть не бранное, вроде того, как у нас сказать “либералишка”. Радикалами, однако, продолжали называть себя даже народолюбцы. В первые времена

чайковцев вообще сознание своей явной, не подлежащей никакому оспариванию принадлежности к самому обыкновенному передовому, образованному слою было так ясно, что никаких особенных отличительных кличек мы не выдумывали и не принимали. Мы, конечно, понимали, что мы революционеры по стремлениям, но не больше, чем все остальные, чьи книги мы распространяли. По деятельности же — тоже ничего особенного, отличного от прочих. Революция представлялась чем-то таким величественным, что прилагать это слово к нашей мелкой работе казалось просто опошляванием его.

13

Период массового “самообразования” и “распространения книг” тянулся недолго. Каждый из нас скоро убеждался, что сколько он ни читает книг, все они говорят одно и то же, и именно то же самое, что он и без них уже думал. Поэтому каждый собственно *образование себя* скоро, за излишеством, прекращал. У него оставалась на руках, за ликвидацией личной задачи, только задача общественная: образование других, распространение уже не читаемых им книг между другими. Оставалась на руках чистая *пропаганда*, к которой мы уже привыкли за время самообразования. Слой людей, занятых, таким образом, пропагандой, рос тем сильнее, чем больше покидалось собственное образование. Став делом специальным, пропаганда, естественно, заставляла подумать и о более усовершенствованных органах ее. При деятельном участии кружка чайковцев за границей появляется “Вперед” Лаврова. Значение Лаврова при этом отнюдь не следует преувеличивать. Мы его три раза заставляли переделывать программу будущего органа.

Шелуха самообразования, вырастившего пропаганду, отпадала. Оставалась одна пропаганда. Но и с пропагандой затем повторилось нечто в том же роде. Нарождающиеся из самообразования пропагандисты делали самые быстрые успехи. Куда ни направлялся каждый из них к молодежи, он мог сказать: *veni, vidi, vici* ³⁶. В сущности, не с кем было спорить, некого побеждать, и весь арсенал книг его действовал чуть не одними обложками. Все и без того имели одинаковые мысли. Пропаганде в молодежи скоро нечего было делать, она в историческом смысле была не столько пропагандой, как генеральным смотром революционного мирозерцания.

На производство его потребовалось около двух лет. По окончании его мы по взглядам были совершенно те же, как и до него. Но мы увидели, сознали, что мы повсюду; мы чувствовали себя не разрозненными, а сплоченными, мы имели повсюду вожakov, которым

верили. Мы испробовали свои силы и приучились что-то такое “политическое” делать. Мы расшевелились и уже не могли сидеть смиренно.

Вопрос об уничтожении существующего строя и замены его новым конкретно оставался пред нами в таком же тумане, как и два-три года назад. Но пред этим вопросом мы уже не могли и не хотели сидеть в пассивной тоске. Мы кинулись в активное искание выхода.

14

С этого времени революционный слой начинает приобретать собственные контуры, замыкается мало-помалу в “партию”, создает свою особенную литературу, программы, фракции, появляется временами довольно сильное влияние эмиграции. Вообще, он отчленяется от остального “интеллигентного” слоя. Либералы иногда даже вступают с революционерами в полемику, революционеры, со своей стороны, ругательски ругают либералов. Несмотря на все это, если революционеры делаются за это время полными отщепенцами от исторической России, то я никак не могу их признать отщепенцами от европеизированной части образованного общества. Я поло-жительнейшим образом утверждаю, что нет ни одного революционного течения (за исключением *терроризма*), которое бы не имело своих корней или отражения в легальной литературе, по большей части с необходимыми смягчениями, иногда и без них. Идеи анархизма не формуловались в сжатую систему, но они разлиты были повсюду, без Бакунина. Наши русские идеи о свободе личности или о вольностях общественных с самого начала были чисто анархическими. Ни в одной литературе на свете, полагаю, их нет больше, чем у нас. Учение Лаврова, во-первых, все изложено путем легальной русской прессы; во-вторых, развивалось многими публицистами настолько, что я даже не уверен без справок, кому нужно дать хронологически первенство, — кажется, впрочем, все-таки Лаврову. О позднейших временах нечего и говорить, эти идеи даже в стихи перекладывались “знаменитым” Надсоном [14]. Якобинство Ткачева [15] тоже не было новостью. Идеи социального демократизма были проводимы в легальной литературе гораздо раньше, нежели в нелегальной. Демократизм европейский, народничество русское — все это находит совершенно одинаковое место в пропаганде “мирной” и “бунтовской”.

Терроризм стоит одиноко. Но это не доктрина, а *тактика*. И если мы зададимся вопросом, как могла появиться такая тактика, какие для этого требовались нравственные понятия и какие оценки русской

действительности, то, конечно, не придадим значения его кажущейся изолированности.

Впрочем, присутствие в общественном сознании, а стало быть, и в легальной литературе всех основ революционных доктрин совершенно естественно и неизбежно, потому что все они вытекают из общего мирозерцания европеизированной части образованного слоя. Мысль не может не работать, и если она даже отвращается от последнего вывода или не допускается до него цензурой, то все же останавливается очень близко от него. Человеку похрабрее или более последовательному остается затем лишь договорить несколько слов — и вот он из “мирного” деятеля превращается в революционера, из “человека общества” — во “врага общества”.

И напрасно бы старалась чисто либеральная пропаганда удержать такого человека “в границах”. Она сама ему дает послышки, сама доказывает их справедливость и когда затем останавливается пред выводом — ученик ее покинет с недоумением или презрением. Этого презрения либерал не всегда заслуживает. Очень часто он останавливается перед выводом не по малодушию, не по нелогичности, а потому, что в нем начинает кричать *здравый смысл*. Но здравого смысла — который есть или инстинкт, или результат мелкого личного опыта — не передашь другому, особенно молодому. А идеи передаются.

Вина такого человека, обладающего, за неимением лучшего, хоть здравым смыслом, состоит в том, что он не решается опереться на указания здравого смысла и при помощи его проверить самые теоретические представления свои. Только тогда, переродившись в самых идеях своих, он мог бы успешно спорить с революционерами — не о *выводах*, которые делаются революционерами совершенно верно, а об *основах*, в которых они ошибаются.

15

Революционная мысль, революционное настроение, назрев до последней степени напряжения, прорвались наконец *движением*, которого судорожные подергивания захватили целые пятнадцать лет. Это движение представляет два больших фазиса: сначала оно бросается “в народ” с целью... правду сказать, с тысячью целей, но в конце концов они все сводились к возбуждению народной революции; во втором фазисе революционеры, оставляя народ, пытаются низвергнуть правительство силами интеллигенции; по окончании этих порывов движение, уже обессиленное, лишенное страсти и веры, вырождается, с одной стороны, в

какой-то уродливый конституционализм, с другой — в чистый, скучнейший и, вероятно, бесплоднейший социал-демократизм.

Если мы вспомним, что в каждый из этих отдельных фазисов существовало по несколько различных планов действия — различные фракции пропагандистов, анархисты-бунтари, попытки самозванщины, попытки действия через сектантов, попытки возбуждения конституционной агитации, попытки заговоров, попытки “вынуждения уступок”, попытки “аграрного террора” и т. п., — то нельзя не согласиться, что для пятнадцати лет это — страшная толчея, это — горячее метание из стороны в сторону, к самым даже противоположным целям, это, как я говорил, — *искание*, искание связи своего революционного мирозерцания с жизнью, искание очевидно не удающееся, постоянно наталкивающееся на невозможности и абсурды, стучающееся лбом об одну стену, бросающееся в другую сторону и, натываясь снова на какую-нибудь скалу, бросающееся опять и опять куда-нибудь, где еще не видно препятствий.

Все перепробовали в пределах своего материалистического мирозерцания с его обожанием человечества и социальных форм, с вытекающим отсюда самодержавием народа, социализмом и отрицанием исторической необходимости³⁷.

16

Движение в народе по своей хаотичности, по детской наивности, по невообразимому непониманию действительного положения дела, по множеству отдельных маскардных глупостей может, конечно, заставить пожимать плечами: настоящая поездка Дон Кихота. И именно это сравнение приходило мне в голову, когда я, сидя в тюрьме, размышлял о нашей “пропаганде”:

Славный рыцарь из Ламанчи,
Мы с тобой по духу братья,
И твоё смешное имя
На себя готов принять я...

И, однако, вспоминая все то шальное время теперь, совершенно уже со стороны, я не могу не видеть, что в конце концов молодежь была виновата по преимуществу лишь в чрезмерном доверии к рассказам передовой литературы. Дон Кихот сумасшествовал за свой собственный счет, мы же — по “доверенности”. Если бы народ был действительно тем, чем его пред нами изображали, движение было бы далеко не смешным.

В самом деле, что мы знали об участии массы народа в устройении именно этого, настоящего, “существующего строя”, столь нам ненавистного? Народ нам всегда изображался только *жертвой* его, но никак не устройтелем и не поддержателем. Кто нам расписывал всякую “понизовую вольницу”, бежавшую от “московского гнета”, разных Стенок Разиных и Пугачевых, “тенденциозных разбойников” и т. п.? Кто писал:

И хотя каждый год по церквам на Руси
Человека того проклинаят,
Но приволжский народ о нем песни поет
И с почетом его вспоминает...

и тому подобные глупости и выдумки? Пусть читатели перелистают хоть “Положение рабочего класса в России”, ведь это действительно невозможное, невыносимое положение. Если даже народ, “задавленный грубою силой” и т. п., потерял мужество, чтобы “страхнуть притеснителей”, если он только несет лямку, как “унылый, сумрачный бурлак”, и “на великой русской реке” только “стон раздаётся”, “где народ — там и стон”, — то действительно ли легкомысленно предположить, что столь притесненный, страдающий народ легко взбунтовать?

Могли ли мы предположить, что наши знатоки народного быта, учителя, болтали о том, о чем сами не имеют понятия, что наши вдохновенные певцы народных слез просто перескакивали “к перу от карт и к картам от пера”, только что подмахнувшего какое-нибудь

Пробудись! Есть еще наслаждение:
Вороти их! в тебе их спасение!
Но счастливые глухи к добру...

Мы не имели понятия о народе, о его стонах и радостях, о его действительных бунтах, о его воззрениях на свободу и неволю. Сидит, бывало, какая-нибудь хорошенькая барышня в золотом пенсне, в модном платье, которого еще не успела переменить на якобы крестьянские лохмотья, и тоненьким голоском распевает:

Свобода, свободушка, воля вольная!
Что ж ты к нам, лебедушка, нейдешь, не летишь?..

И так искренне выводит, так глупо, с таким убеждением, что это песня, “найденная” у какого-то “крестьянина” “при обыске”... Бедные-бедные “желторотые”! Нелегко им пришлось расплачиваться за разбитые горшки.

А впрочем, они возбуждают грустное чувство только пока молоды, пока из них еще могло бы что-нибудь выйти, пока они являются жертвой старших. Прошли десятки лет, мозги застыли окончательно, искренность

превратилась в китайскую неподвижность, чувство очерствело в сектантской непримиримости, глаза закрылись на все, и изуродованное поколение, в свою очередь, стало уродовать Других. Тут уж не до жалости, которой гораздо более достойны их новые, молодые жертвы.

17

Молодое поколение 70-х годов очень мало *нравственно* ответственно за движение в народ. Это движение было совершенно подсказано внушенными ему понятиями о социальном строе России, об исторической роли и современном положении народа. Но с этого первого опыта оно уже лично виновато. Сколь ни коротки были эти экскурсии, сколь ни маловажна практика кружковой деятельности, они могли дать много поучения для каждого, в ком сохранилась хоть искра свободного сознания и воли. А эта искра есть у каждого человека. Мы не могли не видеть многого и действительно *видели*. Мы отлично знали, что в народе можно кого угодно бранить и порицать, но почти невозможно заикнуться о Государе. О Государе можно было говорить только уже с самыми “подготовленными”. Это знал каждый пропагандист после самого недолгого опыта. Мы все знали, что *единственная* успешная попытка народной организации была сделана Стефановичем [16] и товарищами, которые действовали якобы от Высочайшего имени, прямо его приказом, и даже приводили народ его именем к присяге. Малейшее честное размышление о таких фактах могло бы нам показать истинный характер русского государственного строя. Мы на каждом шагу видели православную философию в народе и при малейшем честном размышлении могли бы понять из этого не только, что такое народ, но и что такое Церковь, умевшая его так воспитать. Мы отлично видели понятия народа о собственности, о власти, о семейном начале. Мы могли и должны были, на основании наблюдаемого, подвергнуть пересмотру свои идеи — и *не хотели* этого. Многие из нас, долго прожившие в народе, совершенно начинали перерождаться, и, замечая это, мы стали говорить, что пребывание в народе “обуржуазивает”, “дереволуционизирует”, и стали даже этому пребыванию противодействовать. Мы из собственной нашей кружковой практики не только могли видеть, но и *видели*, что такое значат выборы, коллективные обсуждения и т. п. У тех, кто был поумнее, скоро составилось вполне ясное убеждение, что умных людей не выбирают, что кагальное обсуждение только запутывает вопросы. Мы знали, что большинство глупее меньшинства, и в собственной кружковой практике действовали сообразно с этим. А для России, для организма в миллион раз более

сложного, продолжали требовать верховенства народа, всенародных голосований и т. п.

Вообще, мы могли бы многому научиться — и не научились ничему. Одно было ясно: что оставаться около народа значит биться как рыба об лед. Другое — ясно чувствуемое — было ожесточение за преследования, за то, что не давали вести пропаганду, готовить народные восстания (между прочим — путем самозванщины), что за это сажали в тюрьму, ссылали на каторгу. Третье, в чем мы были *вполне* уверены, — это что мы *авангард* неизбежного общего движения, революции, и что поэтому мы — сила, огромная сила, не по данному наличному составу, очевидно ничтожному, но по своему, так сказать, положению. Не сами по себе сильны, а как представители неизбежно грядущей революции.

18

Эта вера в революцию была у нас создана опять же отнюдь не какими-нибудь заговорщиками, эмигрантами и профессиональными революционерами. Это старинная “западническая” идея, пришедшая из Франции и вполне логично укоренившаяся в нашем образованном классе. Что мир развивается революциями — это было в эпоху моего воспитания *аксиомой*, это был *закон*. Нравится он кому-нибудь или нет, *она* придет в Россию, уже хотя бы по одному тому, что ее еще не было; очевидно, что она должна прийти скоро. Чем больше времени прошло без революции, тем, стало быть, меньше осталось ждать. Очень ясно! Само собой, при известном миросозерцании люди ждали “пришествия” с радостью.

...Дело прочно,

Когда под ним струится кровь, —

как выразился Некрасов. Но революция считалась неизбежной даже теми, кто вовсе ее не хотел. “Эх, молодые люди, — увещевал одного арестованного полицейский офицер, — и из чего вы хлопчете? Ну, поставят вам памятник через пятьдесят лет: да вы-то где будете в эти времена? Давно сгинете где-нибудь”. И нынче у стариков, у людей того времени, это убеждение замечательно прочно. Один весьма известный писатель, довольно определенный националист и вовсе не либерал, еще недавно говорил мне: “Я очень рад, что Россия уже *пережила* революцию, так как я всегда утверждал, что она ее переживает, теперь мы можем рассчитывать на спокойное развитие”. Этому человеку нужно убедить себя, что “закон” исполнился. Иначе он не будет спокоен!

Я уже заметил выше, что известное миросозерцание, приводя к полному противоречию с действительной жизнью, порождает революцию. Но мир тут ни при чем. Он вообще развивается не революциями. Ни при чем и Россия, вообще взятая. Что касается “передовых”, то их “революций” никогда не переживешь до тех пор, пока не изменится их общая философия.

Вера в пришествие революции в 70-х годах дошла до крайней степени, особенно, конечно, у революционеров, которым было весьма утешительно думать, что они действуют не впустую. Нечаев назначал даже сроки для революции. Один из них был год прекращения временнообязанных отношений к помещикам. Помню, когда я сидел в тюрьме, мой сосед, разговаривая со мной³⁸, заметил:

“Мы так хорошо узнали друг друга, а в лицо не знаем. Но увидимся...”

“Когда же?”

“Когда на воле будем”.

“Дождись!”

“Отчего же? Года за три не помрем, а в три года если не освободит суд, так *освободит революция*”.

Это говорилось совершенно серьезно.

Как бы ни была слепа внутренняя, теоретическая вера, нужно же иметь, однако, какие-нибудь внешние признаки. Почему революция именно так близка? Без сомнения, признаки нужны. Без сомнения также, собственно в народе мы их видели в высшей степени мало, так что для своего утешения должны были ставить в счет самые пустячные явления, самые ничтожные столкновения рабочих с хозяевами, крестьян с местной полицией, каждую жалобу мужика на то, что “тяжело стало”, все, что всегда было, есть и будет и что ровно ничего не доказывает, кроме вечного столкновения человеческих интересов и бесконечности человеческого стремления к лучшему, более удобному. В подвижном, полном жизненного трепета социальном равновесии мы, по своему узкому миросозерцанию, не хотели видеть именно результатов, то есть равновесия, а отмечали только трепетание слагающих его отдельных сил. Видя же ясно, что все-таки революции нет, мы порешили с народом на том, что он задавлен, боится, не решается бунтовать. Это заключение с грехом пополам заполняло надлежащую графу революционной ведомости. Но настоящие, вполне уже, казалось, убедительные признаки наступающей революции мы видели в “сознательной части народа”, в обществе, в интеллигенции.

Начинать революцию с этой стороны, в союзе с “обществом”, собственно говоря, было нежелательно, неприятно. Но если нельзя иначе, если революция должна начаться с этого конца — что ж делать? Можно и на этом помириться, так как с ниспровержением “абсолютного” правительства с “народа” будет снят “подавляющий его гнет” и народ, только из боязни сидящий смиренно, тоже выйдет на революционный путь.

Начинать “с обществом” нам было нежелательно, даже стыдно, это казалось изменой. Действительно, мы были, во всяком случае, не либералы. Мы были последовательные и искренние носители нашего общего с либералами миросозерцания, а потому мы были крайними демократами, сторонниками не словесного, а действительного народного всевластия, политического и экономического. Все должно принадлежать массе. Либералы этого, натурально, не желали. Следовательно, помогая им получить власть, конституцию, мы, так сказать, предавали бы им народ, народное дело. Поэтому мы сначала были даже безусловно против конституции. Мы хотели непременно переворота экономического. Нужно было иметь истинно анархическую голову, чтобы вмещать эту неопределенность тогдашнего “экономического переворота”, но, во всяком случае, хлопотали именно о нем.

Итак, конституции не желали, боялись, а между тем все свои неудачи “в народе” объясняли тем, что “правительство не дает свободы действия”. Из этого возникла мысль, которую трудно даже назвать мыслью по ее нелепости, но которая, однако, первая положила начало террору.

У меня нет под руками “Земли и воли”, подпольного листка, в котором излагалась эта премудрость, но в сущности своей мысль эта такова: “Конституции и вообще свободы мы не требуем, она нас не касается, у нас есть свое дело — социалистическое. Но мы требуем, чтобы *нам* не мешали действовать, и если нам будут мешать, то мы будем убивать людей администрации и правительства”. Другими словами: пусть, если угодно, существует цензура, лишь бы нам не мешали издавать подпольные листки и прокламации;

пусть существует административная высылка, лишь бы не высылали революционеров; пусть полиция пресекает какие угодно преступления, но только не приготовления восстания...

Это, очевидно, было слишком глупо для того, чтобы какие бы то ни было люди могли долго удержаться на подобной позиции. И хотя такие вещи от времени до времени продолжали высказываться, масса

революционного слоя очень быстро стала на путь *общего* требования политических вольностей. Заговорили о “ниспровержении правительства”, “революционном захвате власти”, “созыве учредительного собрания” и т. п. В собственном сознании революционеры до известной степени примыкали тут к либералам, хотя оставались радикальнее их, шли дальше и во всяком случае желали, чтобы власть досталась не либералам, а народным массам или, “что одно и то же”, “его революционным представителям”, то есть им самим.

Мысль вынырнула из чистой нелепости и поплыла по привычной ей фантастичности. Но, к несчастью, новая область фантастичности была такова, что создавала уже не комические положения, а трагические и приводила к преступлению за преступлением.

20

Оставим пока в стороне вопрос нравственный. Но с точки зрения собственно расчета — что представляют в это время революционеры? Говорил ли в них чисто бред безумного, утратившего всякое сознание действительности?

Если бы я писал для революционеров, я бы по преимуществу обратил их внимание на эту сторону дела. Но для России в широком смысле гораздо важнее не забывать объективных обстоятельств, производивших иллюзию в умах, способных ей поддаваться.

Итак, я скорее спрошу: в настроении и поведении известных слоев общества было ли что-нибудь, способное дать революционерам повод думать о революционном движении в обществе? Было ли что-нибудь, позволившее покойному М. Н. Каткову, хотя бы в порыве возбуждения, воскликнуть, что “мы уже находимся в революции”, а профессору Н. А. Любимову [17] писать свои предупредительные статьи “Против течения”?

Вопрос этот, к сожалению, слишком ясен. Я говорю не об *идеях* этих слоев, где уже и вопроса не может быть, но о самом *поведении*.

В этих слоях общества существовала, во-первых, полная уверенность в необходимости конституции, в том, что реформы покойного Государя Императора имеют логическим завершением именно ограничение самодержавия конституцией. К этой именно цели и концу подгонялись передовыми самые реформы, насколько это было им доступно. Большинство таких людей, без сомнения, не только не желали достигнуть цели путем прямого насилия, но имели, как я говорил, достаточно здравого смысла, чтобы понимать невозможность насилия. Но не менее несомненно, что они находились в состоянии раздражения и

недовольства по случаю продолжительного “неувенчания” здания и склонны были радоваться всему, что может “подогнать” правительство обратиться к “содействию общества”.

Все это, пожалуй, хуже революции, но не есть еще революция. Но вот появляется в молодежи революционное движение. Как же относятся к нему либералы? Само собою, они не могли одобрить “хождения в народ”, но неодобрение было далеко не резко, не убедительно. Во-первых, анархическая подкладка мышления у нас так сильна, что находилось немало “людей общества”, которые даже и такому странному движению прямо помогали. Нельзя же в самом деле считать людьми “вне общества” Коваликов и Войноральских, избираемых в мировые судьи? В процессе 193-х были запутаны даже лица судебного ведомства, офицеры, землевладельцы. Допустим, что все это было в умеренном количестве, — но зато ведь и движение было уж очень невероятное. Допустим, что “неодобрение” также выражалось обществом, — но что это за неодобрение! Молодежь упрекали в “благородном, великодушном и т. п. увлечении”. Велик упрек! Когда у нас с 1874 года потянулся ряд политических процессов, молодежь видела себе со стороны передового общества только сочувствие. Оно было основано по преимуществу на чувстве *гуманности*, однако же нельзя было не видеть, что такой гуманности те же люди нисколько не проявляют относительно других, неполитических преступников. Настоящая гуманность, никого не вводящая в заблуждение, проявляется очень редко. Было двое-трое человек, которые, оказывая по христианству помощь страдающему человеку (каким был, натурально, и политический арестант), высказывали, однако, им свое неодобрение, старались переубедить их, доказать им, что они не правы. Это была настоящая гуманность, не помощь *своему*, а помощь врагу, и притом стремление не просто успокоить человека, доставить ему больше комфорта, а *спасти* его, помочь ему не только материально, но и духовно. Но такие люди составляли редкое исключение. Помощь заключенным по большей части была преклонением пред ними, относилась к ним как к *мученикам* и духовно окончательно губила их. Иногда со стороны передового общества “политические” видели даже явное, несомненное сочувствие самим идеям своим. Речь С. Бардиной на суде в этом обществе произвела истинный фурор. Знаменитый Тургенев “с благоговением” целовал карточку “мученицы”. Если заключенные, осужденные и т. п. слышали упреки себе, делаемые, впрочем, со всевозможными расшаркиваниями, то исключительно с той точки зрения, что они бесплодно растрачивают свои силы, которые бы нужно было применить к получению политических вольностей. Вообще, поведение передового общества было таково, что

единственное заключение, какое из него можно было вывести, — это то, что общество только не решается верить в столь радостное событие, как пришествие революции, но весьма ее желает. Стало быть, нужно было лишь подогреть, расшевелить его — и дело пойдет. Дело, казалось, должно было пойти, потому что по взглядам, почерпнутым из мирозерцания самого же “общества”, правительственный строй представлялся как бы висящим в воздухе, безо всяких прочных оснований.

Сочувствие “общества” революции, освобожденной от чрезмерного “мужичества” и социализма и направленной на цели преимущественно политические, казалось революционерам, со времени эпохи процессов, несомненным. Революционеры не сомневались, что будут приняты с распростертыми объятиями, и только сами стеснялись “изменить народу”. Однако же в народе ясно революции не предвиделось, а между тем ждать дольше было психологически невозможно для людей, так страстно настроенных, так безусловно верующих в свою революцию.

20

О терроре много говорилось, и сами революционеры подыскивали ему много различных оснований, якобы целей. По моему мнению, этот “единоличный бунт” вытекал, в глубине своего психологического основания, вовсе не из какого-нибудь расчета и не для каких-нибудь *целей*. Террористы сами не понимали себя и в этом отношении не захотели бы понять. Положение было таково. Люди чуть не с пеленок всеми помыслами, всеми страстями были выработаны для революции. А между тем никакой революции нигде не происходит, не на чем бунтовать, не с кем, никто не хочет. Некоторое время можно было ждать, пропагандировать, агитировать, призывать, но наконец все-таки никто не желает восставать. Что делать? Ждать? Смириться? Но это значило бы сознаться пред собой в ложности своих взглядов, сознаться, что существующий строй имеет весьма глубокие корни, а революция — никаких или очень мало. Допустив это, пришлось бы далее признать одно из двух: или что люди очень глупы, или что революционные идеалы сомнительны. Допуская любое из этих положений, пришлось бы далее, шаг за шагом, вопрос за вопросом, разбить всю свою революционную веру. Помню одного неопита, уже давно не мальчика, который все приставал к революционерам: “Дайте мне настоящее *дело*, или я сделаюсь шпионом”. Я тогда не понимал такой странной дилеммы. Но действительно, при таком абсолютном обожании революции отсутствие революционного *дела* было ужасно. Ведь теория непременно его

предсказывала; если бы революционные теории и оценки были верны, то *дела*, фактически революции, *не могло не быть*. Стало быть, если ее нет, если ее никак даже невозможно придумать, то это доказывает, что теория — вздор и ложь; но если она ложь, то ложь, несомненно, преступная, такая преступная, что ее должно искоренять всеми способами. И вот — “дайте *дела*, или пойду в шпионы”. Помнится, ему дали дело, во всяком случае, он был куда-то сослан.

Без революции человечеству 70-х годов грозило полное крушение всего мирозерцания. Он этого не мог допустить, ум был слишком непривычен к работе и, главное, *другой веры* не мог себе найти. Оставалось одно: одиноличный бунт. Если бы революционного материала было в России чуть-чуть побольше, он бы попытался баррикады или переворотный заговор. Но это оказывалось невозможным. Не выходило ничего. Оставалось *действовать* в одиночку, с группой товарищей, а стало быть — против *лиц же*, тайком, из-за угла... Под эту разбойничью практику, разумеется, подыскивались *цели* самые разнообразные: *месть*, *дезорганизация*, *охрана пропаганды* и т. п. В основной подкладке это просто был единственный способ начать революцию, то есть показать *себе*, будто бы она действительно начинается, будто бы собственные толки о ней — не пустые фразы.

22

Такой страшный шаг назревал долго, он не мог бы состояться, если бы революционеры не успели одурманить окончательно своего разума и своей совести, и даже после этого он не мог бы состояться в широких размерах, если бы легкомысленное и истинно преступное поведение некоторой части общества не поддержало иллюзии в наркотизированном мозгу террористов. Но все эти условия осуществлялись одно за другим, как будто нарочно подготовляемые.

Хороши были наши “все науки”, проходимые по программе Лаврова в кружках самообразования, хорошо было наше “чтение” книжек, как две капли сходных между собою! Но даже и это донельзя умеренное обременение своей головы было отброшено во время “движения в народ”. Началось отрицание наук, и новая формация “передовой интеллигенции” умудрилась дойти до замечательного невежества. Революционеры первого периода прозвали новых людей “троглодитами”. Как новые Омары, “троглодиты” могли бы сказать:

“Или в науках подтверждают революцию, и тогда они излишни, или ей противоречат, и тогда они вредны”. Отрицание чтения,

образования, книжек имело, однако, свою внутреннюю логику. Что действительно могла дать революционерам “наука”, им доступная, то есть писания разных либералов? В основах — ничего. В частности же могла только охлаждать, вселяя все-таки сомнения. Из-за чего же было тратить время, необходимое “для дела”? Любви к чистому знанию не было, да *такое* знание и не могло ее в себе выработать. Практического же, “полезного” тоже ничего не представлялось. Образование, чтение поэтому чрезвычайно забрасывались в слои молодежи, на которых отражалось влияние революционеров того времени, и результаты получались иногда очень резкие. Я могу вспомнить чрезвычайно талантливых мальчиков первых курсов, которые в два-три года замечательно тупели с погружением своего ума в это самодовольное бедствие. Действительно, какая бы ни была наука, хотя бы самая патентованная либеральная, она все же давала некоторое упражнение, от которого теперь совершенно отрешались. Революционная вера заковывалась в непроницаемую броню отвычки рассуждать и ничегонезнания. Без этого ей трудно было бы уцелеть, пережить вопиющий опровергающий крик фактов и дойти до своего “террора”, даже не замечая, что он составляет ей логический смертный приговор. Заклепав наглухо все пружины понимания, можно было теперь встретить помеху только в привычках нравственного чувства.

Любопытно, однако, как все устраивалось само собой, но с такой систематичностью, как будто кто нарочно подстраивал и вел к роковому концу. Еще с 1876 года, когда не было никаких политических убийств (хотя и были уже к ним подстрекательства), в революционных кружках с чрезвычайной силой возникает по-видимому странный спор о том, *оправдывает ли цель средства?* Посторонний слушатель подумал бы, что эти люди замышляют преступление и расчищают для него путь в своей совести. Революция полубессознательно наткнулась на такие препятствия, которых чистыми средствами не могла одолеть; она искала других средств, которых нечистоту сознавала, потому что сама искала им *оправдания*. Вопрос дебатировался чрезвычайно страстно. Сильнейший кружок 1877-1878 годов “Земля и воля” признал правило: “Цель оправдывает средства” — основным принципом, внес его в свою программу, и с тех пор в кружок никто не был допускаем без торжественного исповедания этого иезуитского принципа.

Действительно, со своей точки зрения революционеры и не могли его не принять. Нравственные понятия совершенно связывали им руки. А между тем почему же нельзя убить, ограбить, обмануть? Почему нельзя насильно навязать народу ту или иную судьбу? Конечно, утилитарная нравственность, единственная, которую могли признавать они, говорила,

что убийство, нарушение чужого права, обман и т. п. — недозволительны, потому что они вредны для общества. Как общее правило, это было ясно. Но в отношении *революционеров*, спасителей общества, передовой его части, носителей разума человечества? Ведь они осуществляли революцию, то есть *величайшее благо*, а величайшее благо, величайшая степень *пользы* выражает в себе и величайшую степень *нравственности*. Стало быть, если для такой цели потребуются кого-нибудь убить — это *полезно*, то есть и нравственно, дозвоительно или даже обязательно. Но, может быть, расчет окажется ошибочным, может быть, убийство или грабеж окажутся бесполезными, нецелесообразными? Это уже другой вопрос, и, во всяком случае, революционерам приходится тут полагаться только на *свое* соображение, потому что они впереди всех, они понимают лучше всех и некому им делать указаний. Если они признают что-либо полезным, то, по наибольшей степени вероятности, это действительно полезно. Если же слушаться указаний общества или народа, то наделаешь гораздо больше ошибок.

23

В то время когда в революционной среде различными путями назревали идеи *террора*, “передовое” общество принимало все более оппозиционное положение. Привыкши пользоваться всеми неприятностями в делах как средством критики, имеющей концом намек на “увенчание здания” и необходимость “содействия”, это общество так же отнеслось и к многочисленным политическим процессам. Это было тем легче, что процессы велись публично, шумно, словно их нарочно старались раскричать. Ласки подсудимым, порицания правительству и администрации, “губящим молодежь”, — все это шло *crescendo*. На беду, тогда все согласно складывалось к одному концу; в злополучном процессе 193-х дело было действительно чрезвычайно раздуто следствием. По существу, *фактическая* (а не нравственная) виновность большинства привлеченных была так ничтожна, что не стоила даже судебного разбирательства, а требовала чисто административных взысканий. Точно так же подсудимые (сначала их было привлечено около шестисот, кажется, человек) ничуть не составляли *одного* тайного общества, как усиливалось доказать следствие. Эта коренная ошибка следствия привела к тому, что дело затянулось до невозможности. Подсудимые сидели по четыре года в одиночном заключении. Это было и жестоко, и несправедливо, не могло не возбуждать действительного чувства и тем более уж служило превосходным предлогом для либерального крика. Под влиянием всего этого (не знаю, что делалось в высших сферах)

администрация низшая, с которой приходилось сталкиваться, замечательно размякла, держала себя совершенно как виноватая. В доме предварительного заключения (в Петербурге), где скапливалось человек по триста политических подсудимых, установились совершенно невероятные порядки, которые завершились злополучным столкновением бывшего градоначальника Ф. Ф. Трепова [18] с “политическим” — лишенным всех прав Боголюбовым.

Генерал Трепов, которого вид “одиночного заключения” политических владык тюрем должен был довести до истинной ярости (и человек, сколько-нибудь помнящий дисциплину, поймет это чувство), придрался за пустяки к Боголюбову и приказал его высечь. Оправдывать кого-нибудь в этой истории я не стану, да и лишнее. Дело само за себя говорит. Происходило оно чуть не накануне выпуска на суд двухсотенной толпы доведенных до бешенства подсудимых. Процесс вышел таким, каким должен был выйти, то есть самой скандальной политической демонстрацией, которую слабость суда не умела прекратить, даже когда она началась. “Передовая” публика приветствовала “героев”, и затем 150 подсудимых [были] триумфально выпущены на улицы Петербурга.

У подъезда тюрьмы они встречали кареты сердобольных сочувствующих, которые предлагали гостеприимство первым встречным “политическим”. Много дверей “в обществе” открывалось пред магическим словом “освобожденный”. Полиция держала себя пред ними с самой предупредительной любезностью. А впрочем, это был вообще момент такой “вежливости” полиции, как будто она поголовно собиралась в отставку.

Решительно во всем Петербурге одни дворники держали себя непримиримыми реакционерами! Одни они не хотели понять “смысл событий”. Но остальные — если они имели целью окончательно сбить с толку революционеров, окончательно убедить их в мысли об их передовом представительстве общего движения, — они не могли действовать более удачно.

На другой же день по освобождении последней серии подсудимых Вера Засулич [19] выстрелила в генерала Трепова. Через несколько времени в Ростове убит какой-то полицейский агент, в Одессе оказано вооруженное сопротивление полиции — целое сражение. В Петербурге некому было и оказывать сопротивления. Сходки происходили свободно. Начались уличные демонстрации. В больнице Св. Николая умер “политический” Подлевский (католик). Целая толпа молодежи хотела устроить ему торжественные похороны не потому, чтобы Подлевский был чем-нибудь замечен. Даже я тогда в первый раз услышал его имя. Но это

был предлог для демонстрации. Администрация приказала похоронить покойного без шума, но толпа ворвалась в больницу, отбила гроб и триумфально понесла. Полицейские дали свистки, со всех сторон сбежались городовые и дворники. Барышни-курсистки, несшие крышку, первые открыли сражение, мужчины бросились им на выручку. Минуты две шла кулачная битва. Но из толпы люди посolidнее заметили приставу: “Помните, господин пристав: на вас ляжет ответственность за кровопролитие”. И господин пристав приказал городовым отступить. Толпа пронесла гроб по всему городу до католического кладбища... В таких маленьких приключениях, в сходках, в толках о программах действия время прошло до процесса Веры Засулич.

Ее оправдали при всеобщих рукоплесканиях, генерал Трепов осужден “общественным мнением”. “Общественное мнение” признало за революционерами право убивать. Цель оправдывает средства, и цель намечена верно. Яснее невозможно было выразиться. Впрочем, насильственное освобождение Засулич от предполагаемого ареста, газетные статьи, наконец, всеобщее укрывательство “героини” могли бы договорить даже и то, что осталось бы неясным в оправдании.

В этот момент Петербург, конечно, должен был и самому Ф. Ф. Трепову напомнить знакомые картины Варшавы накануне восстания.

“Ну, доложу вам, — говорил, потирая руки, “один из умнейших революционеров” того времени, глубочайшим образом презиравший “либералов”, — доложу вам решительно —

У нашего господина
Разыгралася скотина:
И коровы, и быки,
И дворовы мужики...” —

и он углублялся в сочинение прокламаций и пригласительных билетов на предстоящую панихиду по “убитому” при освобождении Засулич Сидорацкому.

Кто его убил? Не знаю, кажется, сам застрелился. С какой целью? Господь его ведает. Может быть, действительно, как говорили, для того, чтобы толпа обвинила в этом жандармов, как и случилось. Тогда ни один серьезный революционер и не верил в эту сказку, но для демонстрации случай был совершенно прекрасный.

Панихида была назначена за несколько дней. По всему городу разосланы (и в полицию посылались) печатные пригласительные билеты. Сочувствующие приглашались почтить память “жертвы деспотизма” (впрочем, точных выражений не припомню). На панихиду ехали даже из

Москвы. Тогдашние крайние революционеры хотели воспользоваться моментом увлечения

И коров, и быков,
И дворовых мужиков,

чтобы довести дело до уличной перепалки. Говорят, многие из них явились вооруженными. Действительно, легко было предположить, что администрация примет вызов и воспользуется случаем очистить Петербург. Но дело вышло иначе. Хотя по близлежащим дворам были скоплены войска и массы полиции, однако она не вмешивалась. Панихиду служили, как назначено, во Владимирской церкви. Толпа народа, тысяча человек, стояла кругом. Еще более любопытных толпилось на противоположной стороне Владимирской площади. По окончании панихиды все высыпали на улицу. “Господа, смотрите же — не выдавать студентов”, — распоряжались разодетые “либералы”. Но полиция никого не трогала. Начались речи. Оратор, на что-то взгромоздившийся, очень красноречиво поражал “деспотизм”, а пристав мирно разгуливал около него в толпе. Картины, какие не всегда можно увидеть и в Париже. Потом толпа медленно потянулась по Невскому, и тут начали тоже “демонстрировать” конные войска, очевидно, нарочно державшиеся все время в двух-трехстах шагах... Мало-помалу все рассеялись без дальнейших приключений и безо всяких последствий. Даже арестов никаких не произошло ни на месте, ни после.

24

Эти попытки демонстраций время от времени повторялись в последующие годы, но, вообще говоря, людей “из общества”, готовых выходить на улицу, оказалось слишком мало. “Передовые” имели достаточно здравого смысла, чтобы понимать, когда и в какой мере это можно делать. Уже в упомянутую панихиду по Сидорацкому многие остались дома только потому, что прослышали о револьверах революционеров. Они понимали, что при открытом бунте, который бы заставил правительство выйти из упорного миролюбия, они будут в два часа или в два дня стерты с лица земли. Между тем администрация продержалась в остро размягченном состоянии всего месяца два, а затем возвратилась все-таки к некоторым мерам репрессии. Кое-где начались аресты, высылки. При таких условиях “передовая часть общества” сочла лучшим ограничиться эксплуатацией чужого революционного движения, не путаясь в него самолично. Тот самый остроумец, о котором я упоминал, был очень обижен и безусловно отстранился ото всяких терроров и вообще “политики”. “Нет, — говорил, — другой раз меня уж

не надуют либералы”. Это был, конечно, не единичный случай. Другие, не отказавшиеся от “политических вольностей”, увидели снова, что пред ними, кроме террора, единоличного бунта, нет другого действия. И террор продолжался, уже поставив себе за правило не выходить на улицу, бить только из-за угла, внезапными нападениями, в строжайшей тайне “конспирации”. Эта система прямо проповедовалась листком “Земля и воля”. Впоследствии она была возведена в заграничных брошюрах в целую нелепейшую теорию, будто бы открывавшую человечеству новую форму революции. Не буду задерживаться на этом детском вздоре. Суть дела до 1879 года состояла в том, что даже на террор, на одиночные убийства, в сущности, не было сил. Все это продельвали на всю Россию каких-нибудь десятка два человек, переезжавших с места на место, издававших прокламации от не существовавшего “Исполнительного комитета” и т. п. Революционеры еще раз чувствовали свою слабость и еще раз заключали из этого не о необходимости изменить свои идеи, а о том, что нужно еще логичнее их развивать. В их среде вдет страстная пропаганда сплотить силы на терроре и объединить их безусловной дисциплиной, слепым повиновением центру (который еще требовалось создать). Наконец — нужно произнести слово — все эти силы, все силы “революции”, слитые как один человек, проповедовалось направить на *цареубийство*.

В этом *crime supreme*³⁹, преступлении из преступлений, дух анархии находил свое последнее слово. И с ним же он произнес бессознательно высшее признание самодержавной власти.

Слабый, оторванный клочок “дикого мяса”, выросший в язве денационализованного слоя, эта самозваная “революция” напрасно искала способов разрушения *строга*. Великая страна не давала их, “революция” была *не ее*, не касалась до нее. “Революция” могла делать только то, что было бы доступно и для банды чеченских абреков, вздумавших мстить за своих казненных вождей. Россия национальная, которую требовалось разрушить, была неохватима, недостижима, недоступна нападению. И “революция” сказала, что теперь нужно обрушиться на Государя России, что *это одно и то же*.

Никогда, ни в чем самодержавие не могло бы получить такого поразительного признания, как в этом кровавом злодеянии!

Обезумевшим оставалось еще только узнать, что если Государь смертен как человек, то он бессмертен как учреждение, пока Россия есть Россия, пока светят лучи народного сознания, преломляющиеся в своем великом средоточии. Попытка задуть светящуюся точку преломления могла стать реальной; как преступление, как средство политического

действия, эта попытка оставалась большей химерой и бессмыслицей, чем все предыдущие хождения в народ.

И когда черное дело совершилось, свет сиял по-прежнему, и мир еще раз увидел, что где “революция” сводится на злодеяния против представителей строя, там никакой революции нет и не может быть.

5

Террористическое движение было выводом, внутренне вполне логичным, но, я уже раньше сказал, таким, который сделали *сами революционеры*. Общество, хотя бы и наиболее передовое, его не делало. Наиболее последовательный либерал эмигрант Драгоманов [20], не стесняемый никакой цензурой, сразу отнесся к терроризму весьма несочувственно. Сослаться на него я считаю вполне убедительным, потому что Драгоманов совершенно ничем не отличается от остальных наших конституционалистов, кроме большей опытности и лучшего политического образования. Говорил же он “свободно” — за границей, без цензуры, без страха.

Передовое общество стало от террористов особняком. Но этого обособления я тоже не желаю преувеличивать.

Во-первых, повторяю: терроризм был бы совершенно немислим, если бы основная подкладка русского “передового” мирозерцания не была анархична. Это мирозерцание совершенно расшатывало основания *нравственности*, оно отнимало у человека всякое прочное руководство в определении того, что он может себе позволять и чего не может. Драгоманов мог сколько угодно упрекать террористов в теории “исключительной нравственности”, но он не имел никаких способов доказать им, что они не правы, потому что в конце концов, отвращаясь от их способов действия, мог в действительности руководиться лишь инстинктом. Общие “идеалы прогресса”, определяемого либералами, вели (хотя бы сами либералы этого искренне не сознавали) к тому, чего хотели революционеры.

Устранение препятствий, лежащих на пути этих идеалов, роковым образом представлялось делом *нравственным*. Эмигрант Лавров, которого понятия о нравственном воспроизводят мнения весьма значительной части “передового общества”⁴⁰, тоже сначала был против террора, но в конце концов принужден был сознаться, что его “молодые друзья” логичнее его, и сам должен был построить силлогизм, их оправдывающий.

“Русский прогрессист, — писал он в 1885 году, — не может колебаться в выборе пути... Эта борьба не есть еще царство нравственных начал, но *неизбежное условие* торжества царства их... Ни одну ступень на этой лестнице (борьбы. — Л. Т.) нельзя миновать... Социальная революция обещает быть кровавою и жестокою, но *Цель* ее есть цель нравственная и *должна* быть достигнута”. Колебаться в этом случае значит “подвергать себя опасности поступить безнравственно, помешать торжеству царства нравственных начал” (Вестник “Народной воли. № 4. С. 83).

Эта косвенная связь терроризма с идеями некоторой части “общества” не могла не отразиться и чисто практическими последствиями в самом поведении этой части “общества”. Факт в высшей степени плачевный, в высшей степени постыдный и для нравственного чувства, и для политического смысла общества, но факт, которого нельзя и не следует забывать. Иначе никогда не поумнеешь. Факт был такого рода.

В минуту преступлений, положительно беспримерных в истории, беспримерных потому, что они совершались даже не *действительной* революцией, а самозваной, преступлений, выражавших положительно беспримерную попытку узурпации, преступлений, в сравнении с которыми неистовства террористов французской революции представляют верх законности, — в такую минуту в русском обществе находятся хотя бы отдельные личности, оказывающие прямое пособничество убийцам. Я не буду цитировать политических процессов, это установивших. Напомню один факт, что ежемесячный бюджет “Исполнительного комитета” в течение нескольких лет колебался около 5000 рублей ежемесячно. Конечно, не студенты давали “на дело” эти 60 000 рублей в год! Еще, быть может, постыднее, что находились люди, сторонившиеся от прямой помощи, но относившиеся к сообществу политических убийств как к *воюющей стороне* и позволившие себе быть “нейтральными”. Наконец, третьи выбирают этот момент для конституционной агитации. Революционеры действовали как тигры — эти господа избрали роль шакала. Революционеры, как разбойники, пускали в дело нож — эти господа пытались воспользоваться разбойничьим ножом для того, чтобы предлагать угрожаемому условия своей помощи. В нравственном отношении это низменность совершенно непонятная, которая, с одной стороны, не могла не возбуждать глубокого презрения революционеров, но с другой — окончательно развращала их. Террористу, если ему где-нибудь в подкопе или в засаде являлись еще какие-нибудь сомнения, стоило только вспомнить “адресы” или иные статьи “верноподданных” журналов, чтобы стряхнуть с себя все-все упрёки совести или рассудка и выпрямиться во весь рост.

“Воля Всевышнего совершилась, — читаем мы в “Порядке” в марте 1881 года, — теперь остается только *смириться* пред несокрушимой волей Провидения и, *не вступая с ней в тщетную борьбу*, посвятить заботы, чтобы положить прочное основание для будущего... Государь, спросите вашу землю в лице излюбленных людей”. “Страна” (№ 27) толкует об “ответственности за все, что делается на Руси, ошибки экономические, меры реакции, ссылки в Восточную Сибирь”, обвиняет “руководителей реакции” и заключает:

“Надо, чтобы основные черты внутренних политических мер внушались представителями Русской земли. А личность Русского Царя пусть служит впредь *только символом* нашего национального единства” и т. д. “Голос” (№ 36) говорит, что изо всего происшедшего “выяснилась необходимость в устройстве общественной организации для служения вместе с правительством” и что необходимо приступить к “продолжению реформ, призвав к содействию общественные силы”.

Даже революционная хроника, отмечающая все эти выгодные для революции черты разложения, не могла не заметить, что “земство, столь молчаливое обыкновенно, заговорило именно в *тот момент, когда даже открытые враги Государя сочли возможным излагать свои требования лишь со всевозможными оговорками* и указаниями на условия момента, не позволяющего им поддаваться *чувству естественной деликатности*” (Вестник “Народной воли”. Т. I. С. 37).

Я не цитирую этих “земских” заявлений, которыми мог бы заполнить несколько страниц. И хотя земство, в смысле не только населения, но даже в смысле своих гласных и управ, виновато главным образом своей безгласностью и безуправностью, благодаря которым политические шарлатаны могли подсовывать свои “адресы” людям, не понимающим, что они творят, тем не менее это земство не должно забывать, каким людям оно давало у себя место. Оно из этого могло бы понять, как легко горсти людей было бы оболванивать его при какой-нибудь “конституции” и какая фальшивая, нелепая фикция есть “общественное мнение”, понимаемое в смысле криков момента.

Поведение той горсти либеральных политиканов, которые взяли на себя “выражение мнений передового общества”, поведение это, которое я характеризую далеко не самыми резкими фактами, пронсящимися теперь в моем воспоминании, — это поведение могло лишь окончательно затемнить и нравственное, и политическое сознание революционеров. Террорист слышал, что его ругали “крамольником”, “преступником” и т. п. Но из поведения “передовых представителей общества” заключал, что это одни слова. Разве он в самом деле поступает безнравственно в

сравнении с ними? Разве он узурпатор в сравнении с ними? Он убеждался, что он — только человек первых рядов, и больше ничего, что он делает лишь то, о чем другие думают. Никогда бы и террор не принял своих размеров, никогда бы он не дошел до своего слепого фанатизма, если бы не было объективной причины иллюзии в виде поведения известной части общества.

Если б общество понимало это, оно бы, конечно, не позволило своим “передовым” такой более чем двусмысленной роли; оно бы не стало читать газету, в передовых статьях которой не проведены границы с речами революционных листков; оно бы не пустило в общественное учреждение лицо сомнительное; оно бы не допустило перепутывания законного с незаконным, честного с нечестным — не допустило бы всей этой мутной воды и заставило бы *своих* и *чужих* разбиться на два ясных, осязаемых слоя. И это его обязанность, столько же как и интерес. Тогда сами революционеры увидали бы, *что* они такое, увидали бы неслыханные размеры своей узурпации, поняли бы ее невозможность и отступили бы.

Но ничего этого не было сделано благодаря именно передовой, крайней части либералов. Было, напротив, напущено столько тумана, сколько лишь позволяли обстоятельства. И если в конце концов Россия все-таки разобралась — она это сделала не только помимо, но даже вопреки тем, кто себя смеет называть “интеллигенцией”, “сознательной частью страны” и т. п. пышными именами. Те же, кто действительно пожелали рассеять туман, как М. Н. Катков и И. С. Аксаков, только лишней раз ославлены этой “сознательной частью” как реакционеры.

26

“Передовое”, “прогрессивное” и прочее и прочее мирозерцание все сказало за эти годы. Оно показало не только концы свои в своих революционерах, но и все соотношение сил умеренных и крайних. Эти крайние логичны, как везде, и фанатики, как нигде. Еще будучи ничтожным бессилием, они не останавливаются ни пред каким насильственным действием, ни пред какой узурпацией, ни пред каким преступлением. От них не жди никаких уступок ни здравому смыслу, ни человеческому чувству, ни истории. **Это русская революция, движение по основе даже не политическое, не экономическое, вызываемое не потребностью, хотя бы фальшивой или раздутой в каких-нибудь улучшениях действительной жизни. Это возмущение против действительной жизни во имя абсолютного идеала. Это алкание ненасытимое, потому что оно хочет, по существу, невозможного,**

хочет его с тех пор, как потеряло Бога. Возвратившись к Богу, такой человек может стать подвижником, до тех пор — он бесноватый. Это революционер из революционеров. Успокоиться ему нельзя, потому что если его идеал невозможен, то, стало быть, ничего на свете нет, из-за чего бы стоило жить. Он скорее истребит все “зло”, то есть весь свет, все, избобличающее его химеру, чем уступит.

В делах веры нет уступок, и если бы сам дьявол захотел поймать человека, он не сумел бы придумать лучшего фокуса, как направив веру в эту безвыходную, бесплодную область, где, начиная, по-видимому, с чистейших намерений, человек неизбежно кончает преступлением и потерей самого нравственного чувства.

И рядом с этим страстным фанатиком, слепым и глухим на все, кроме своей *idée fixe*, — бедное либеральное общество, слабейшее умственно во всей Европе, наиболее подверженное потере своих энергичнейших людей в пользу революции, само легко загорающееся тою же лихорадкой, само не имеющее прочных устоев ни для нравственности, ни для разума. Его влияние огромно для выработки революционеров, но ничтожно, когда их нужно сдерживать. Тут бывшие учителя сами попадают на буксир ученикам.

Если бы наши либералы хоть на минуту могли понять, что сулит *им* такое положение, особенно при легкости, с какой ученики их произносят слово “террор”, — они бы пришли в ужас. В конце концов, опасность, борьба, смерть не страшны, когда ложишься костью *за* свой идеал. Но погибнуть *от* своего же идеала, слышать, как Руже де Лиль [21] — свою собственную “Марсельезу”, которую орут люди, разыскивающие его, чтобы потащить на гильотину, — это действительно страшно. Только либералы не захотят понять этого — потому же, почему не захотят понять своей преступности революционеры: потому что они тогда остаются без мирозерцания, без философии, без веры. Допустим, что перспектива страшна или нелепа, но что же делать? Или ото всего отказаться — от “разума”, “человеческого достоинства”, “свободы”, “прав личности” и прочего? Неужто же эти основы не верны? Или возвратиться к “Домострою” (натурально отродясь не читанному)? Нет, немислимо. Лучше стараться не дойти “до абсурда”. Ах, как трудно это, когда с абсурда-то именно и начинают!

Либерал только и мечтает, как бы не додумать до конца. Революционер все спасение ищет в том, чтобы дойти до самого последнего предела. Но судьба обоих одинакова: оба осуждены дойти до противоречия с действительностью, откуда их ничто не может вытащить, кроме реакции. А затем, отдохнув, забыв по возможности опыт, опять

начинают старую историю, а для утешения себя в этой толчее придумают, будто таков уж “закон” — мир будто бы развивается “акциями” и “реакциями”. Так лампада горит спокойно, безо всяких “акций” и “реакций”, пока есть масло, а как придет время потухать, тут и начнутся мелькания — “акций” и “реакций”. Формула предсмертной агонии! И это “закон жизни”, “закон развития”!

Нет, не таковы законы жизни, но это предмет, о котором бесполезно толковать, пока люди не убедятся, что их современный “прогрессивный” идеал с начала до конца ложен, неосуществим, не Дает ничего, что от него ждут и во имя чего приносят столько жертв.

ДЕМОКРАТИЯ ЛИБЕРАЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книжке под общим названием “Демократия либеральная и социальная” я соединяю три статьи, опубликованные в разное время, но взаимно одна другую дополняющие. Первая, “Социальные миражи”, напечатана в “Русском обозрении” в 1891 году (№ 7); она обрисовывает эволюцию демократической идеи, уже создавшей современные парламентарные государства и выдвинувшей еще не осуществленные идеалы социалистического характера. Вторая статья, “Панама и парламентаризм”, ранее печатавшаяся в “Московских ведомостях” (1892, № 351, 354, 359 и 1893, № 9 и 12), дает небольшой образчик самой практики либерального демократизма. Третья статья, “Коммунизм и партикуляризм”, дополняет рассуждения первой о социальном демократизме. Она печаталась в “Русском обозрении” (1892, июль).

Выпуская теперь этот сборник, должно сказать несколько слов о том противоречии, в котором иногда находятся высказываемые мною мысли с воззрениями юристов-государственников.

Я обрисовываю как *социальные миражи* то, что в курсах государственного права считается верхом современного государственного прогресса. То самое явление, которое большинству практических наблюдателей ясно представляется как *демократический парламентаризм*, как правление *представительной демократии*, рассматривается юристами как *конституционная монархия или конституционная республика*. Это не одна разница в названиях, а разница в понимании самого смысла и содержания современной политической эволюции. В классическом труде Блюнчли [1] (“Общее

государственное право”) выражается уверенность, что “теперь снова получает всеобщее признание античная государственная идея... Государство снова становится народным, но в более благородных формах, нежели в древности. Средневековое сословное устройство служит преддверием *нового представительного государства*, в котором весь народ представляет себя *в лице лучших и благороднейших своих членов*”.

Достаточно этих последних слов, чтобы, при всем уважении к уму и учености столпа современного государственного права, видеть, что он рассуждает чисто кабинетным способом. Даже и политики ему кажутся “лучшими и благороднейшими членами” народа. Это для всякого практического наблюдателя звучит просто оскорбительной насмешкой над несчастными народами. Только чистой теоретичностью объяснимы также определения Блюнчли, будто бы “конституционная монархия заключает в себе все другие государственные формы”, то есть он соединяет лучшие стороны монархии, аристократии и демократии в гармоническом единении. Таковы, однако, господствующие ныне учения государственного права. Наш Чичерин точно так же повторяет, будто бы “ограниченная монархия представляет сочетание монархического начала с аристократическим и демократическим. В этой политической форме выражается полнота развития всех элементов государства и гармоническое их сочетание” (“Основы государственной науки”). Идея государства здесь будто бы достигает высшего развития. Понятие о *сложной* верховной власти, о том, что субъектом верховной власти может быть целая система учреждений, путает взгляды умнейших современных государственников. К сожалению, такое воззрение на парламентаризм становится уже прямо школьным. В государстве *старого* порядка, учат нас ныне даже монархисты, типом которого выставляют французскую монархию XVIII века, вся полнота верховной власти сосредоточивалась в одном лице, и эта власть была потому личной и *подзаконной*. *Современное* же государство такой власти не знает и распределяет основные функции государственной власти между *несколькими* органами, из которых поэтому ни один не обладает неограниченной властью.

Этот эпитет — “современное” — eo ipso делается для юристов синонимом “наиболее совершенного”, “высшей ступенью развития” и т. п. Совершенно понятно далее, что достижение этой “высшей ступени” делается со стороны учеников предметом практических стремлений, которым академическая наука дает свою санкцию и поддержку.

Без сомнения, такие практические стремления были бы вполне основательны, если бы академическая наука была права в своем

понимании современной политической эволюции. К сожалению, ее анализ, как и ее обобщения, а потому и цели, указываемые ею, несомненно, совершенно ошибочны. Я осмеливаюсь утверждать, что смысл современной политической эволюции состоит не в выработке смешанной формы верховной власти (задача, полагаю, и по существу абсурдная), а в замене монархического принципа демократическим, самодержавия единоличного — *самодержавием народа*. Осмеливаюсь думать, что представители государственной науки очень плохо оценивают гениальную проницательность Ж.-Ж. Руссо, которому все его парадоксы и софизмы не мешают быть истинным представителем политических стремлений XVIII и XIX веков. То, что представителям государственного права XIX века кажется стремлением к *сочетанию* монархического принципа с аристократическим и демократическим, есть в действительности постепенное уничтожение первых двух в пользу последнего. Только *книжность* изучения позволяет ученым не видеть, что столь восхваляемые ими “гармонические сочетания” суть не более как минутные компромиссы между постепенно слабеющими, но еще живыми “старыми” принципами и торжествующим “новым”. Не думаю, чтобы хотя один *практический* политик нашего времени сомневался, что Европа идет именно к полному торжеству *демократии*. Кое-где эти “гармонические сочетания” уже кончились упразднением монархии и аристократии, кое-где (как в Англии) еще только клонятся к этому. Но общая тенденция эволюции совершенно ясна и ныне для всякого, кто наблюдает *факты*, а не сочиняет кабинетные теории.

Эти факты, к сожалению, гораздо менее утешительны, нежели кабинетные теории “гармонических сочетаний”. Далеко не возрождение античных государственных идей имеем мы в том, что наука указывает нам в “современных” идеалах. Действительность современной эволюции представляет *большую мечту*, стремление к *химере*, погону за *социальными миражами*. Не к созданию “высших” форм государственности идет она, а к истощению государственной идеи, к постепенному разложению всякого разумно организованного государства, с окончанием его либо в анархии, либо в деспотическом социализме. Настоящая *идея* современной эволюции именно *в этом*.

Я обрисовываю ее кратко, без сомнения, даже слишком кратко... Но то, что я обрисовываю, во всяком случае, есть плод наблюдения самой эволюции, какова она есть, а не натягивание на факты каких-либо собственных желаний.

Что касается этих последних, то есть желаний, они у меня, быть может, не далеки от тех, которые подсказывают “государственникам” их

иллюзии. Правильное и гармоническое сочетание в государстве основных элементов власти, без сомнения, составляет залог полноты жизни государства. Но дело в том, что наше время именно менее всего думает о таком сочетании. Сверх того, позволю себе остаться при убеждении, что сочетание монархического, аристократического и демократического элементов никак не может быть производимо собственно в *верховой власти*, которая, по существу, может быть только едина и нераздельна. Это сочетание возможно лишь в организации *управления*, а потому наиболее достижимо, полагаю, именно при *неограниченной* монархии как такой форме верховной власти, которая допускает наиболее спокойное искание *общественного* блага при наибольшей свободе от эгоистических стремлений тех или иных классов народа.

СОЦИАЛЬНЫЕ МИРАЖИ СОВРЕМЕННОСТИ

I

“Новая эра”. Мечтательное единение разума и прогресса в XVIII веке. — Разрушение мечты в XIX веке. — Демократизм либеральный. Демократизм социальный. Анархизм

В конце XVIII века передовые представители социальной мысли сознавали себя пред некоторой “новой эрой”, которая хоронила все старые “предрассудки” и впервые ставила человечество на настоящую дорогу, “разумную” и вместе также “естественную”. Эти два понятия сливались в чем-то несказанно сильном и великом. Горделивое чувство радости наполняло тогда сердца людей перед тем, что казалось великим, еще небывалым откровением разума. “Мой милый, милый батюшка, — пишет тогда Камилл Дюмулен отцу, — вы не можете составить себе даже представления о той радости, которою наполняет меня наше возрождение... Как я благодарю небо, — восклицает он, — за то, что родился в конце этого века!”⁴¹

Таково было общее чувство. “Все говорит нам, — пишет Кон-дорсе [2], — что мы вступаем в эпоху одной из величайших революций рода человеческого... Современное состояние просвещения гарантирует нам ее счастливый исход”⁴².

Да и как было думать иначе! Люди уверились не только в том, что “совершенствование человека бесконечно (indefinie)”, но что “движение этого совершенствования отныне не зависит уже ни от какой силы, которая вздумала бы его остановить, и не имеет другого конца, кроме конца существования земного шара”.

“Природа, — говорит философ революции, — неразрывно соединила прогресс просвещения с прогрессом свободы, добродетели, уважения к *естественным правам* человека”; эти “единственно реальные блага”, в прошлом разбедняемые “предрассудками”, становятся неразрывно связанными с момента, как просвещение достигло известной степени развития. Блаженный момент наступил и кладет начало новой эре. “Это объединение уже совершилось в целом классе просвещенных людей”, который ускорит совершенствование и счастье человечества⁴³.

Светлой картиной развевалось будущее перед мысленным взором реформаторов.

С этой поры горделивых мечтаний прошло сто лет. Два века, не жалея ни крови, ни нервов, работали над осуществлением царства свободы и равенства. Либеральный демократизм, олицетворивший новые принципы, сделался господствующим на всем пространстве европейской культуры. Политическая и социальная жизнь народов переделана сверху донизу. Но тяжело было бы пробуждение кого-нибудь из пророков XVIII века, если б он мог, восстав из гроба, посмотреть на действительность осуществленных мечтаний его!

Не будем уже говорить о счастии, о довольстве. Оставим в стороне субъективные взгляды, но как не похоже осуществление на мечты даже с чисто объективной точки зрения! А ведь для XVIII века это были не *мечты*, это казалось тогда реальнейшей из всех реальностей! Не фантазия “предрассудков”, а разум тогда пророчествовал. Что же должно думать, когда его пророчества ни на одном пункте не оказываются верными? Ни одно предвидение не осуществилось, и развитие жизни идет в противоречии с ними несмотря на то, что старается именно их осуществлять и даже думает, будто их осуществляет. Проницательный ум пророков и софистов XVIII века был бы поражен, может быть, более всего именно этим “неразумным” состоянием умов их же собственных учеников и последователей.

Объединение разума и просвещения со стремлением к реализации “естественных” прав, которое XVIII век объявил уже готовым фундаментом бесконечного прогресса, прежде всего оказывается мифом. Продолжатели дела XVIII века, современные демократы и революционеры, конечно, по старой памяти продолжают воображать себя интеллигенцией и воспевают себе гимны под видом

Armee de la pensee,
Armee toujours sacree,
Qui fait par le progre
Marcher l'humanite!⁴⁴

Но в действительности настоящая “*armee de la pensee*” XIX века, представители его точных знаний и развивающейся мысли, люди науки все столетие только и делают, что подрывают основы, на которых строились политические и социальные идеалы XVIII века и либерального демократизма нашего времени. Эти идеалы и наука разбединились в полную противоположность XVIII веку. Требуя свободы, равенства и демократии, Руссо или Кондорсе, казалось им, основывались на точном анализе природы человека и природы общества. Они могли математически ясно показать, как, например, *естественная свобода личности*, проходя сквозь *общественный договор*, сказывается затем в известных формах *политических вольностей*, подобно тому как луч света, проходя сквозь призматическую среду стекла, проявляется на экране в виде того или иного спектра. Требование демократического строя являлось не произвольным делом личного вкуса, а простым указанием объективного закона социальной природы. Ничего подобного не существует ныне. *Выводы о* необходимости политических вольностей затвержены наизусть, но *посылки*, из которых они только и вытекают, совершенно разрушены наукой. Выводы стали предметом общего верования, но висят на воздухе со всеми признаками ненавистных XVIII веку “предрассудков”. Говорят и нынче о естественных правах, но в качестве совершенно бессмысленного выражения, которое еще годится для оратора, но никак не для человека науки. Говорят о народном представительстве, о том, что правление без представительства есть узурпация, о том, каковы наилучшие формы выборов, о том даже, что и меньшинство не должно оставаться без представительства. Но почему вообще нужно представительство и даже что, собственно, оно “представляет” — ни один человек не сумеет объяснить. Говорят нынче о свободе, но откуда она взялась и что означает — никому не известно, и меньше всего специалистам-психологам, которые гораздо охотнее и толковее расскажут нам о роковых влияниях, принудительно определяющих действия человека. В этом отношении контраст двух веков разителен. Тогда разум и политическое действие, как формулировал Кондорсе, сливались неразрывно. Теперь между ними не улавливается никакой ясной связи.

Единение оказалось несколько менее продолжительным, нежели жизнь земного шара! Оно длилось один момент и сменилось все более резким расхождением. Пути движения материалистического разума и духовных “естественных прав” пересеклись на мгновение в одной точке, блеснув в ней иллюзией “объединения”, и столь же быстро снова расходятся на все более расширяющееся расстояние. Одновременно с этим быстро расшатывается, истрепывается *либеральный демократизм*,

который в XVIII веке представлялся чем-то вечным. Ему на смену выступает более “разумный” *социальный демократизм*, уже и ныне оспариваемый отрешившимся ото всякого “разума” *анархизмом*.

II

*Христианское общество, отрешившееся от Христа. —
Неудовлетворимость его стремлений*

Никогда в жизни покойный И. С. Аксаков не находил более счастливого выражения, как назвав современное обществом “обществом христианским, но отрешившимся от Христа”. В этом вся суть, вся оригинальность, все судьбы общества, вводимого в историю “новой эрой”. По многому множеству обстоятельств развитие мысли в странах европейской культуры пошло по линии материализма. Реальное существование духовного мира, мистического элемента мировой жизни, стало для людей сказкой и фантазией. XVIII век вполне усвоил это течение мысли. И, однако же, перестав верить в Бога христианского, люди все-таки оставались его созданием. Их душа со своим нравственным содержанием оставалась душой христианина, хотя бы искаженной. Отрешиться от того нравственного содержания, которое дала душе человеческой христианская выработка или, по крайней мере, воздействие, люди не могли и до сих пор не могут. Стремления, создаваемые этим содержанием, требуют себе места и удовлетворения. XVIII веку принадлежит первая попытка гармонически слить эти стремления с чисто материалистическим содержанием жизни. Отсюда кажущаяся оригинальность его. На самом деле основные понятия, на которых XVIII век начал строить новое общество, все составляют отголосок христианства. Понятие о достоинстве личности, ее свободе, общем равенстве, правах человека, предшествующих общественным правам, идея о природном совершенстве и усовершенствовании человека — все это осталось от христианства, с теми необходимыми искажениями, какие сами собой являлись при отрицании реальности духовного мира. В самых понятиях XVIII века об обществе явно материализированное воспоминание о *Церкви*. С *Церкви* скопировано представление об обществе как о некоторой коллективности, определяемой исключительно духовной природой человека. Космополитизм нового общества, таинственная *народная воля*, будто бы насквозь его пропитывающая, всем непонятно управляющая и при всех частных ошибках остающаяся непогрешимой, — все это отголоски христианской *Церкви*. Это на всех пунктах “Царство не от мира сего”, втискиваемое в не вмещающие его рамки именно “сего мира”...

Современное общество, раздираемое этим основным противоречием, умом не сознает его и даже отрицает. Материалистическое понимание жизни укоренилось так прочно, что люди большею частью просто неспособны *серьезно* принять во внимание действие духовного элемента. Какое же тут, говорят, противоречие? Действительно, ценный элемент христианства составляют его *нравственные* понятия, высокая концепция *личности*. Новая эра именно и удержала их. Она отбросила лишь отживший, мистический элемент христианства. Не естественно ли это? Не так ли совершается в мире всякий прогресс, удерживая из пережитого все ценное и отбрасывая ненужную ветвь? На этом-то, однако, и ошибается нынешний век. Он не понимает, что из христианства нельзя выбросить его мистического начала, не уничтожая тем самым социального значения создаваемой им личности. Христианские нравственные понятия исторически в высшей степени благотворно отразились на земной, социальной жизни. Однако же это происходит лишь в том случае, когда христианин остается вполне христианином, то есть живет не для земной жизни, не в ней ищет осуществления своих идеалов, не в нее вкладывает свою душу. Совершенно иное получается, если христианин остается без руководства божественным авторитетом, без духовной жизни на земле и без окончательных загробных целей этой духовной деятельности своей. Он остается тоща с безмерными требованиями перед крайне ограниченным миром, неспособным их удовлетворить. Он остается без дисциплины, потому что ничего в мире не знает выше своей личности, ни перед чем не преклонится, если нет для него Бога. Он не способен уважать общество как явление материальное, не преклонится и перед большинством таких же, как он, личностей, потому что из их суммы еще не получается личности более высокой, чем он. Участь и социальная роль такого человека самая несчастная и зловердная. Он или является вечным отрицателем действительной социальной жизни, или будет искать удовлетворения своих стремлений к безмерному в безмерных наслаждениях, безмерном честолюбии, в стремлении к грандиозному, которое так характеризует большие XVIII-XIX века. Христианин без Бога вполне напоминает сатану. Недаром образ неукротимой гордыни так прельщал поэтов XVIII века. Мы все — верующие или не верующие в Бога — настолько Им созданы, настолько неспособны вырваться из себя заложенного Им божественного огня, что нам невольно нравится эта духовная, безмерно высокая личность. Но посмотрим с холодным вниманием рассудка. Если нам нужно лишь хорошо устроить земную, социальную жизнь, если кроме нее ничего не существует — тогда с какой стати называть высокими, возвышенными те качества и стремления,

которые с земной точки зрения только фантастичны, болезненны, не имеют ничего общего с материальной действительностью? Это качества человека ненормального. Он, скажут, полезен уже своим вечным беспокойством, стремлением к чему-то другому, не тому, что есть. Но это стремление было бы полезно лишь при реальных в основе идеалах. Беспокойство же христианина, лишенного Бога, выбивает мир из status quo лишь затем, чтобы тащить его каждый раз к материально невозможному.

Ошибаются те, которые видят в XVIII-XIX веках возрождение античных государственных идей. Язычник был практичен. Его идеи не усложнялись христианскими стремлениями к абсолютному. Его общество могло развиваться спокойно. Участь же общества христианского по нравственному типу личности, но отрекшегося от Христа в приложении своих нравственных сил, по справедливому выражению И. С. Аксакова, сводится к вечной революции.

К этому привела и попытка XVIII века создать новое общество. Философия успела поставить такой идеал общества, пред которым личность, выработанная восемнадцатью веками христианского воздействия, согласилась преклониться. Но что же это за общество? Чистый мираж. Оно построено не на действительных законах и основах социальной жизни, а на фикциях, выведенных логически из духовной природы человека. Как только попробовали устроить такое общество, немедленно оказалось, что предприятие немислимо. Правда, успели разрушить старый исторический строй и создали новый. Но каким путем? Оказалось, что это новое общество живет и держится только потому, что не осуществляет своих иллюзорных основ, а действует вопреки им и в новой форме воспроизводит лишь основы старого общества.

III

Идеалы Руссо. — Практика его последователей. — Полная противоположность идеала и действительности.

Стоит действительно сравнить фактические основы либерально-демократического строя с теми, которые ему предписывает создавшая его политическая философия. Противоположность полнейшая!

Руссо, конечно, фантазировал, толкуя о народной воле, которая будто бы едина, всегда хочет только добра и никогда не заблуждается. Но не нужно забывать, что он говорил вовсе *не о той* народной воле, о какой толкуют наши депутаты, избиратели и журналисты. Руссо сам вырос в республике и в такие ловушки не попадался. Он заботливо оговаривается,

что “часто есть разница между *волею всех* (*volonte de tous*) и *общей волей* (*volonte generale*)”⁴⁵.

Волю всех, на которой воздвигнут наш либеральный демократизм, Руссо искренне презирал. Устройство и правление, учил он, совершенны лишь тогда, когда определяются *общей волей*, а не эгоистической, устрашаемой и подкупаемой *волей всех*. Для создания нового, совершенного общества необходимо достигнуть обнаружения и действия именно *общей воли*.

Но как же достигнуть этого? Тут Руссо становится опять в коренное противоречие с практикой своих учеников. Он требует прежде всего уничтожения частных кружков и партий. “Для правильного выражения общей воли нужно, чтобы в государстве не было частных обществ и чтобы каждый гражданин выражал только свое личное мнение” (*n'orine que d'arges lui*). Только в этом случае из множества частных отклонений получается известный осадок *общей воли* и обсуждение всегда окажется хорошо. С появлением партий все путается, и гражданин выражает уже не свою волю, а волю данного кружка. Когда начинают чувствоваться такие частные интересы и “малые общества (кружки, партии) начинают влиять на большое (государство), общая воля уже не выражается волей всех”. Руссо требует поэтому уничтожения партий или по крайней мере численного обессиления их. Как самое крайнее условие, уже безусловно необходимое, нужно, чтобы не существовало такой партии, которая была бы заметно сильнее остальных. Если не достигнуто даже этого, если “одна из этих ассоциаций (партий) настолько велика, что преобладает над всеми другими, — *общей воли более не существует и осуществляемое мнение есть мнение частное*”⁴⁶.

Другими словами — демократии, правления народной воли уже не существует.

Так же решительно, так же настойчиво Руссо доказывает, что народная воля не выражается никаким *представительством*. Представительство он, как искренний и логический демократ, просто ненавидит, не может его достаточно не заклеймить. Когда, говорит он, граждане развращаются, они учреждают постоянную армию, чтобы поработить отечество, и *назначают представителей, чтоб его продать*⁴⁷.

Он и рассуждает о представительном правлении в отделе о смерти политического организма. Ни народное самодержавие, говорит он, ни народная воля не могут быть ни передаваемы, ни представляемы по самому существу вещей.

Нетрудно представить, что сказал бы Руссо о наших республиках и конституционных монархиях, о всем строе либерального демократизма, который держится исключительно тем, что проклинал пророк его. Этот строй целиком основан на *представительстве*, он безусловно немислим без *партий*, и, наконец, правление страны основано непременно на *преобладании* одной какой-либо партии в парламенте. Когда такого преобладания нет — правление готово остановиться и приходится распускать парламент в надежде, не даст ли страна такого представительства, в котором, по терминологии Руссо, не существует общей воли, а только “частное мнение”.

И эта политическая система, в довершение логики, освящается все выносящей фикцией народной воли!

Вырождение чистой демократической идеи Руссо в идею парламентарную произошло, однако, вовсе не по чьей-нибудь злонамеренности, не по преднамеренному желанию учеников исказить идею учителя. Если Руссо забыт в настоящее время, то в эпоху первой французской революции его сочинения играли роль настоящего политического катехизиса. В последовательности и энергии первых организаторов новой эры тоже никто не усомнится. Это были люди, способные восклицать: “*Perisse la Fiance, rougvu que le principe vive*”⁴⁸. Но теория требовала таких невозможностей, что на практике от них нельзя было не отступить в первую же минуту действия. Статья 6 *Декларации прав и обязанностей человека и гражданина* уже объясняет: “Закон есть общая воля (*La volonte generale*), выражаемая большинством граждан или их представителей”⁴⁹.

Эта *общая воля*, выражаемая *большинством представителей*, привела бы в ужас автора “*Contrat social*”, но как же было иначе формулировать? Где же было искать “настоящую” общую волю? В тот же самый момент появляются и партии. Именно прозелитам народной воли пришлось водворять свои идеи путем жесточайшей диктатуры партий. По Руссо выходило, что здесь “общей” воли более не существует и осуществляемое мнение (то есть весь демократический строй) есть мнение частное. Но как было иначе поступить? “Члены конвента, — как метко формулирует Лаверде, — будучи прозелитами *Contrat social*, в теории признавали верховную волю нации, потому что демократический принцип был тогда последним словом науки. Но на практике они не могли допустить этой воли нации, потому что обладали здравым смыслом. Когда дело коснулось того, чтобы предать ковчег революции на произвол океана народной бессознательности, они почувствовали, что он бы пошел ко дну, и не осмелились”⁵⁰.

Этот строй, основанный на вопиющем противоречии теории и практики, так и развивается до конца. Конституционное право уже с Бенжамена Констана [3] начинает даже отрекаться от той идеи, которая, однако, только и дает новому строю историческое право на существование. Государственная наука уже не скрывает от себя, что новый строй есть существенно *представительный* и что он составляет некоторую аристократию. “Принцип представительной демократии, — говорит Блюнчли, — таков: *лучшие* люди из народа должны управлять от его имени и по его поручению... *Власть* в государстве вручается большинству, а приложение ее — *меньшинству*”. Народ, значит, ставится откровенно в положение *Souverain qui regne mais ne gouverne pas*⁵¹. Но кто же дал право на такое истолкование стремлений новой эры? В нем проявляется лишь то общее обстоятельство, что научная мысль XIX века не имеет ничего общего с действительностью его практики, с идеалами, влекущими массы к их революционным стремлениям. В настоящее время этот разлад не озабочивает банальных демократов, потому что, строго говоря, они никакой теории не имеют. Тот же самый Рошфор [4], который постоянно кричит о народной воле, способен печатно заявить, угрожая противникам революции: “Ведь мы знаем, как делать народную волю!” Можно ли допустить, чтобы он в глубине души уважал ее? Флокс [5] во время самого разгара буланжистского движения произнес замечательную и произведшую впечатление речь, которую я, к сожалению, могу цитировать лишь на память. “Мы, — приблизительно сказал он, — покорные слуги демократии, мы готовы безусловно, *слепо* (подлинное его выражение: *aveuglement*) исполнять народную волю. Одного мы не можем сделать: допустить уничтожения *демократических учреждений*, потому что тогда народная воля не будет проявляться”. Итак, они готовы слепо исполнять волю нации, но когда эта нация кричит о *распуцении* палаты и *пересмотре* конституции, то демократы, правильно или ошибочно догадываясь, что пересмотр при помощи Учредительного собрания даст диктатуру генералу Буланже [6], назначают Констана, а Констан переделывает народную волю, поставив своим префектам ультиматум: или голосование будет против буланжистов, или префект слетает с места! С одной стороны, это кажется настоящим цинизмом. С другой стороны, формула Флоке тоже совершенно верно схватывает *внешность* положения. Демократические учреждения действительно необходимы. Дело только в том, что они необходимы вовсе не для *проявления* народной воли, а как средство *внушения* народу некоторого подобия воли. Это обстоятельство в высшей степени существенное, которое более всего уясняет настоящую природу так называемой народной воли.

IV

Фикция народной воли. — Народный дух

XVIII век видел в народной воле такое же открытие для политики, какое закон тяготения создал для астрономии. Практика народной воли за целое столетие в различных странах представила в народном самодержавии картину такой бестолочи, что теперь иные уже спрашивают себя: не есть ли народная воля чистая фикция? Лаверде, который вовсе не реакционер и, напротив, очень передовой человек (что-то вроде анархиста), утверждает, что существует лишь парламентаризм, а не представительное правление, и это по той простой причине, что никакой народной воли, которую бы можно было представлять, вовсе не существует. Кто прав в этих Двух крайностях, столь противоположных?

Но для решения этого нужно прежде спросить себя: что такое, собственно, народная воля, пред которой преклоняются или которую отрицают? Замечательно, что при бесчисленных рассуждениях о народной воле люди менее всего задумывались над этим фундаментальным, казалось бы, вопросом.

Что такое самый народ? К понятию о нем можно подходить с двух весьма различных точек зрения.

Всякий народ, во-первых, представляет нечто историческое целое, длинный ряд последовательных поколений, сотни или тысячи лет живших наследственно передаваемой общей жизнью. В этом виде народ, нация, представляет некоторое социально органическое явление с более или менее ясно выраженными законами внутреннего развития. В этом виде народ, нация, составляет вместе с тем несомненный научный факт. Вся наша наука XIX века знает только этот народ, говорит нам только о нем. Но политиканы и демократическое направление рассматривают народ не в этом виде — исторического, социально органического явления, а просто в виде суммы *наличных обывателей страны*. Это есть вторая точка зрения, которая рассматривает нацию как простую ассоциацию людей, соединившихся в государство, потому что они этого захотели, живущих по тем законам, какие им нравятся, и произвольно изменяющих, когда им вздумается, законы своей совместной жизни.

Где же искать *волю народа*? В какой форме, в каком понимании слова “нация” эта нация имеет некоторую общую всем членам ее волю? Можно ли сказать, что такой общей всем воли совершенно не существует? Нет, в этом отношении Руссо был вполне прав. Чутье, замечательное вообще, не обмануло его и тут. Он чувствовал, что в нации есть какая-то *общая воля*, и совершенно правильно заключал, что

наилучшее, наиболее всех удовлетворяющее и наиболее прочное государство будет то, которое функционирует сообразно с этой общей волей. Он совершенно правильно понимал, что такое общество будет *свободно*, то есть что принудительные меры в нем теряют тиранический, насильственный характер, ибо принимаются населением добровольно. Он был прав, провидя в этой общей воле нечто *единое, неподкупное, разумное*, то есть, стало быть, нечто весьма благодетельное в смысле основы управления. Непоправимая ошибка Руссо заключалась лишь в том, что он захотел искать *общей воли* именно там, где есть лишь презираемая им *воля всех*. Он не только под влиянием осиротелого христианского чувства идеализировал, безмерно одухотворил общую волю, но, сверх того, в противность всем фактам, упорно *хотел* видеть эту обожествленную общую волю именно в ассоциации данных наличных обывателей данной страны.

А между тем некоторая общая воля существует лишь как унаследованный вывод исторических традиционных привычек, как результат долгого коллективного опыта. Это то, что называется гораздо лучше *духом* народа. Но мог ли Руссо искать общей воли в этой области? Ведь это значило бы отказаться от идеи нового общества, общества идеализированного, одухотворенного. В историческом обществе есть известное присутствие общей воли, разумности, неподкупности и т. п. Но в этом же обществе еще больше чисто материальной необходимости, инерции раз сложившегося типа, в котором очень много чисто животных элементов. Руссо не имел надобности долго размышлять, чтобы видеть все это в исторически разлагающейся Франции “старого строя”. Мог ли он религиозно преклониться пред этим обществом и пред общею волей, в нем жившей? Понятно, нет. Это возможно для языческого нравственного типа, но никак не для христиански утонченного. Для христианина с начала и до конца веков царство мира сего есть факт простой материальной необходимости, уважаемой, как всякое условие, предписанное божеством для земной жизни нашей, но, как и все эти условия, непригодное для духовного преклонения. Вышнее не склоняется пред низшим. В историческом, действительно существующем обществе христианская душа не способна создать себе кумира. А кумир ей необходим, когда она потеряла Бога. И кумира этого не из чего создать, кроме общественной жизни, которая одна во всей природе представляет некоторые следы чего-то духовного. Приходится, внутренним психологическим криком, сочинять себе новое общество, и даже такой гениальный человек, как Руссо, готов обмануть себя самыми ничтожными софизмами, утопить свой разум в тумане самых безнадежных фраз, лишь

бы за этим туманом получились обманчивые контуры общества, способного послужить суррогатом идеи Божества.

V

Необходимость выдумывания народной воли. — Представительство и партии как орудие этого. — Разъединение правительства и народа в представительной демократии.

Собственно для *народоправства* не годится и традиционная народная воля, которая дает только общий дух, общее направление, но никак не частные указания по тысяче вопросов ежедневного законодательства и управления. Эти вопросы, последовательное и сменяющееся решение которых составляет управление страной, ясны только при постоянном специальном их изучении, другими словами — они ясны только для лиц того слоя, который специализируется именно на делах управления, на делах политики. Только этот *правлящий* слой имеет в отношении их какую-нибудь волю. Поэтому такой класс и появляется неизбежно, несмотря на все наши теории. Собственно же народная воля с характером всеобщности, единства проявляется лишь в редких, исключительных случаях: “война насмерть”, “мир во что бы то ни стало”, “долой узурпатора” и т. п. Эти случаи не только редки, но, сверх того, в них народная воля настолько ясна, что не требует никаких голосований, и настолько могуча, что нет власти, которая бы ей не подчинилась. Такая народная воля существовала, существует и будет существовать во всех государствах мира. Не о ней шла речь, не на ней начали строить новое общество. Либеральный демократизм обратился к наличной сумме обывателей страны с требованием, чтоб этот народ высказывал свою волю по всем текущим вопросам управления: повышать пошлину или понижать? занимать такую-то колонию или не занимать? в одной или в другой форме вести государственное хозяйство? Абсурд, невозможность! Не подлежит ни малейшему сомнению, что у массы обитателей страны физически не может быть *общей* воли по всем этим вопросам, а существует или безразличие, или недоумение, когда вопрос прямо не задевает человека, или ряд частных, эгоистических и взаимно противоположных желаний. По каждому вопросу найдется несколько человек, действительно знакомых с ним, рассуждающих умно и бескорыстно, но, во-первых, и их мнение только частное, а во-вторых, такой ценный голос имеет ровно столько же веса на баллотировке, как голос человека глупого и ничего в вопросе не смыслящего. Во всяком случае, имеется не общая воля, а ряд частных мнений. Правда, над этим хаосом безразличия и единоличных, противоречивых желаний носится

некоторый общий дух, наследие традиций, продукт прошлого. Но сделать самостоятельно выводы из этого духа масса может только в редких, особенно ярких случаях. По случаям обыкновенным, мелким, из которых, однако, слагается все правление, масса народа даже *не сумеет* сделать правильного вывода из своих смутных традиционных желаний и уж во всяком случае *не успеет*. Общее мнение складывается очень медленно, от человека к человеку, с отступлениями, с колебаниями. Кто имел дело с собраниями, тот знает, как трудно сложиться общему мнению даже каких-нибудь десятков человек по *новому* вопросу. А вопросы управления *все* новы, являясь каждый раз в новых комбинациях и в новой обстановке. Если бы народ серьезно, добросовестно вздумал отнестись к требованию высказать свою *волю* по вопросу, положим, о котиковом промысле на Командорских островах, ему бы на обсуждение потребовались десятки лет, и затем решение натурально оказалось бы никуда не годным, потому что, может быть, к тому времени уже на островах не осталось бы ни одного зверя. Не говорю уже о том, что решение в большинстве случаев было бы, конечно, менее основательно, чем решение двух-трех специалистов. Но, сверх того, вопросы правления требуют решения своевременного, то есть быстрого. При этом условии никакой общей, никакой даже воли большинства в отношении их никогда не существует. Ответы, даваемые этим большинством, включая в то число даже вполне образованных и умных людей, будут непродуманны, случайны и ничуть даже не выразят их действительной (*in potentia*) воли. Может быть, через полчаса после подачи голосов большая часть большинства будет готова голосовать за противоположное мнение, и совершенно искренне, потому что ни в том, ни в другом решении она ровно ничего не смыслит и судит по легковесным, случайным подсказываниям лиц знающих или заинтересованных. Решение осуществится, и завтра же миллионы голосов будут готовы кричать, что они вовсе не желали подобной глупости!

Общей воли в огромном большинстве случаев нет и не может быть во всякий данный момент. Если бы либеральный демократизм вздумал оставаться верным теории, то он на другой же день заморил бы страну голодом, потому что *общего* решения не получил бы по самым элементарным вопросам, и вся политическая машина сразу должна была бы остановиться. Это такое несообразное требование, которое никакими силами не осуществимо. Поэтому *общее* мнение, требуемое теорией, заменяется якобы мнением большинства. Что это значит? Значит ли, что большинство действительно имеет одинаковое мнение? Ничуть. Лица этого большинства точно также не имеют той воли, которую выражает количество их бюллетеней. Они даже никакой воли не имеют

относительно данного вопроса. Но введение принципа большинства выводит страну из нелепости чисто механически. Если заставить всех говорить “да” или “нет”, то, понятно, какое-нибудь большинство получится на бумаге, а стало быть, становится возможным принять какую-нибудь меру. Частные лица, находясь в недоумении, иной раз загадывают: сойдутся пальцы — пойду направо, не сойдутся — налево. Либеральный демократизм совершенно такой же способ нашел в фикции “большинства голосов”. Это большинство ровно ничего не доказывает. Может быть, решение, указанное им неосновательно, может быть, количество действительных волей не имеет никакого отношения к количеству бюллетеней. Во всяком случае, пальцы сошлись, можно принять меру, можно действовать. Правление становится возможным, а это, конечно, главное. Поэтому введение принципа большинства голосов вполне практично. Но как заставить народ голосовать?

Требование от народа выражения воли по множеству вопросов, в которых он ничего не понимает, приводит массу в такое состояние, в котором она просто не захотела бы оставаться. В самом деле, есть ли смысл терять время сегодня, завтра, послезавтра на голосование, когда подающий голос прекрасно чувствует, что ничего не понимает в вопросе и даже им нимало не интересуется? “Решайте себе как знаете, какое мне дело!” Настаивая на своем требовании, либеральный демократизм добился бы только того, что подавляющее большинство не стало бы заниматься “пустяками” и вовсе не давало бы голосов. При этом правление становится опять невыносимым, так как если бы и получалось все-таки большинство в несколько сотен заинтересованных голосов, то остальная масса на подобные решения не обращала бы ни малейшего внимания; стало быть, на исполнение решения не хватало бы силы. Ввиду этого является необходимость дальнейшего искажения демократической идеи. Демократические учреждения дополняются представительством и партиями. Представительство само по себе, конечно, есть фикция. Нельзя представлять того, чего нет. Но оно облегчает для народа “неудобоносимые бремена” теории и ограничивает выражение “народной воли”, заставляя ее высказываться лишь в отношении *лиц и программ*. Это уже легче. Но и лицами, и программами способно интересоваться лишь меньшинство, по страсти, выгоде или убеждению более занимающееся политикой. Из этого-то маленького меньшинства возникают *партии*, одним концом коренящиеся в правительстве, а другим разжигаящие народ и собирающие голоса. Так является *правлящее сословие*. Настоящая природа социальных явлений обращает в ничто все фантазии теорий и создает *класс* там, где вся задача теории состояла в уничтожении его. Появление партий приводит в изумление самих

демократов. Что за причина, откуда взялись? Брайс [7], большой поклонник демократии, в своем любопытном исследовании американских учреждений очень хорошо обрисовывает значение этих “существующих вне закона” групп, которые называются политическими партиями”. “Организация партий, — говорит он, — служит для органов управления почти тем же, чем служит *двигательная сила нервов для мускулов, жил и костей человеческого тела*. В их руках находится практическое применение конституции и системы управления”⁵².

“Совершенно не предусмотренное конституцией, не регламентируемое ею, не имеющее никакой ответственности, ничем не ограничиваемое, возникает могущественное сословие в 200 000 человек, занимающихся исключительно политикой и добывающих этим способом средства к существованию”⁵³.

Это учреждение партий составляет непреходящую принадлежность демократического строя. Фикция народной воли остается на бумаге. Для существования же страны нужна некоторая реальная правящая воля. Она и является в политиканствующем сословии. Его задача — заставить произносить народ различные “да” или “нет”, для чего партии агитируют, стараются растревожить массу, убедить ее в важности и правильности предлагаемых мер или же утратить, обмануть, наконец, просто купить так или иначе голоса. Так или иначе, народ подает голоса, которые можно подсчитывать и их числом импонировать самому народу. Получается возможность, во-первых, править, принимать меры, во-вторых, убедить самую массу, будто бы в ней действительно есть такое-то большинство, желающее такой-то меры. Эта иллюзия придает принимаемой мере известный авторитет. В общей сложности получается строй, способный существовать. Но какой ценой он получается? Что осталось в нем от принципа? Где в нем народная воля?

Вместо народоправства мы имеем тут *парламентаризм* и господство *партий*. С формальной стороны народом правят якобы его представители, якобы осуществляющие его волю, которой на самом деле нет и не было бы даже в том случае, если бы народ был предоставлен в решении вопросов свободному внутреннему самоуглублению. Однако и этого невозможно предоставить народу, так как государство не академия и ему приходится дело делать, а не размышлять по нескольку лет о всякой мелочи. Выдвигаются поэтому партии, правдами и неправдами внушая народу волю. Тут народ теряет уже всякую возможность самоуглубления. Он в лучшем случае обсуждает лишь те аргументы, которые ему подставляются партиями, и ставит решения, ими подсказанные. В частной жизни ни один человек не позволил бы с собой так обращаться и

не признал бы для себя нравственно обязательными таким образом вырванные у него мнения. “Помилуйте, — скажет он, — вы меня затормозили, наговорили чего-то, я ничего не обдумал. Это значит просто ловить человека на слове”. Но именно поэтому в политической агитации стараются не допустить и такого жалкого обсуждения. Если начинается обсуждение — являются сомнения, дело затягивается до безнадежности. Многие начинают желать получить понятие о предмете, вдуматься и в конце концов, может быть, решать совсем не так, как желательно партии. Поэтому политиканы стараются не убедить, а получить голоса. Самое же верное средство получить голоса — это ослепить народ, загипнотизировать его шумом, треском, внезапными ложными сообщениями, вообще *сорвать* решение. Это тактика так называемого *surprise*, одинаково царствующая по всем парламентским демократиям. Народ ловится на слове. Внушение традиционного исторического опыта заглушается тут до последней степени, а обсуждения наличного тоже нет. И вот депутаты выбраны, бумажные программы утверждены. “Народная воля” сказала свое слово, и ее “представители” собрались в парламент. Организуется и правительство. Какое же отношение этого правительства к народу, его воле, его духу?

Тут уже ровно никакого. На выборах нужно было хоть считаться с народом, по крайней мере обещать, ослеплять, обманывать, увлекать. В правлении — народ совершенно исчезает. Правительство зависит не от него, а от той партии, которую представляет. Его обязанность под страхом немедленного низвержения служить партии, делать то, чего требует она, не делать того, чего она не желает. Пусть попробует министерство, посаженное монархистами, действовать в республиканском духе на том основании, что народ хочет республики. Оно будет не только низвергнуто, но заклеено названием бесчестных изменников и обманщиков. Долг, честь, нравственная связь правительства — все это понимается лишь в отношении партии, а не в отношении народа. Правительство от народа безусловно отрывается, оно не только не обязано, но и не смеет соотноситься с народными желаниями или потребностями. Оно обязано слепо, беспрекословно служить своей партии. Такова не только практика, но самый принцип. Только партия имеет отношение к народу, но не правительство. Нет ни одной формы правления, в которой воздействие народных желаний на текущие дела было бы так безнадежно пресечено, как в этом создании теории, пытавшейся все построить на народной воле.

VI

Возрождение правящего сословия политиканов. — Его недостатки. — Невозможность его упрочения. — Дискредитирование либерального демократизма

Эта эволюция демократической идеи с социологической точки зрения представляется чрезвычайно любопытной. В истории мы до сих пор знали только общества, состоящие из различных слоев, специализированных на различных отправлениях. Эти слои — классы, сословия, корпорации — не отрицались в принципе, а потому регламентировались, получали различные сообразные со своими отправлениями права и обязанности, помимо тех общих прав и обязанностей, которые принадлежат всем членам общества. Расслоение, естественно, сопровождалось ограничением свободы, созданием разнообразного неравенства. Авторитет и иерархия в разнообразных сочетаниях не только были, но и признавались необходимым условием общественной жизни. Присутствие *органического* элемента в обществе сознается и признается даже теми, кто считает себя обделенным привилегиями других. Сказка Менения Агриппы [8] действует на взбунтовавшихся плебеев, как неотразимый аргумент.

Но вот является идея *нового* общества, основанного на свободе и равенстве. Выраженная в резком виде, это идея всеобщей одинаковости. Общество представляется уже не в виде расслоенного организма, где все специализировано и расположено в иерархическом порядке, а в виде некоторой протоплазмы, где все части одинаковы, все заняты всеми делами, все законодатели, все правители, все мыслители, все рабочие, все даже священники в своей свободной совести. Всеобщее освобождение ото всякого рода уз признается орудием разложения старого органического общества и единственно мыслимым средством существования нового. Мы имеем три великие области жизни, в которых эта новая идея применяется с величайшими усилиями, и во всех трех — с одинаковыми результатами. В области умственной такая свобода создала подчинение авторитетам крайне посредственным. В области экономической свобода создает неслыханное господство капитализма и подчинение пролетария. В области политической вместо ожидаемого народоправления порождается лишь новое правящее сословие с учреждениями, необходимыми для его существования. Во всех трех областях вместо всеобщей одинаковости и слитности получается расслоение, быть может, более резкое, чем прежде. Эта яркая историческая демонстрация настоящей природы социальных явлений, казалось, должна была бы произвести полное крушение социальных концепций XVIII века. Но нет. Новое общество уже составило

известный *социальный тип*, который оно отрицает теоретически, оно уже охвачено законами своего *внутреннего развития* и фатально идет по их линии, не образуясь никакими внешними толчками. Они только слегка изменяют направление, но не сбивают с линии основного пути, намеченной внутренними условиями типа. Никакие неудачи либерального демократизма не уничтожают характеризованного выше психологического состояния современного человека. Либеральный демократизм для него скомпрометирован. Он поищет других путей, столь же иллюзорных, но иллюзорность которых еще не показана практикой, пойдет в ту сторону, где еще можно себя обмануть.

Но чем, собственно, скомпрометирован новый строй демократии? Его недостатки очень велики, и нет ни одного пункта его учреждений, который не был бы расшатан критикой. Я не стану касаться большей части обвинений против него, так как они хотя и весьма существенны, но еще не обуславливают непереносимой гибели строя. Дела идут скверно, решения и медленны, и необдуманны, меры сообразуются не с интересами страны, а с избирательными потребностями партий, страшные подкупы, хищения, деморализация народа, доступность власти только безличностям и т. д. и т. д. Все это очень худо, однако же злоупотребления, бестолковость и прочие принадлежности парламентаризма свойственны вообще человеческим делам. Народы все это могли бы претерпеть. Но в учреждениях, практике и в самом положении либерального демократизма есть три пункта, в высшей степени опасные, при которых долговременное существование этого строя совершенно невероятно.

Этот строй, во-первых, создает чрезвычайно плохое и, что еще важнее, не авторитетное правящее сословие. Патрициев, дворян, служилых массы иногда ненавидели, но уважали и боялись. Современных политиканов — просто презирают повсюду, где демократический строй сколько-нибудь укрепился. Это презрение отчасти происходит от невысокого умственного и нравственного уровня политиканов. Действительно, политическая деятельность либерально-демократического строя не требует людей умных, честных, независимых; напротив, эти качества скорее подрывают карьеру политикана. Для него нужна практическая ловкость дельца, беззастенчивость, безразборчивость в средствах, эластичность убеждений. Лучшая часть населения, люди, достаточно способные для других прибыльных занятий и в то же время дорожащие своими убеждениями, при таких условиях относятся к политической деятельности с некоторой гадливостью. Огромное большинство политиканствующего слоя ни в умственном, ни в нравственном отношении, выражаясь деликатно, никак не принадлежат к

цвету нации. Потому в населении нет и тени уважения к правящему им слою. “Ce sont tous des canailles”⁵⁴ — обычная, чаще всего слышимая фраза в публике по адресу каждой новой *fournee* представителей народного самодержавия. Сверх того, люди различных партий в своей взаимной борьбе сами компрометируют перед народом свой и без того не блестящий персонал не только разоблачениями, но и прямо клеветами, выдумками.

В общей сложности новый правящий класс страдает полным отсутствием обаяния, нравственного авторитета, необходимого для правления, тем более что он не имеет способов стать экономически господствующим.

Второе обстоятельство. Этот класс, не пользуясь ни малейшим уважением, принужден, однако, управлять страной с таким произволом, которого обыкновенно не позволит себе самый даже популярный или грозный монарх. Произвол является оттого, что демократический парламентаризм стремится (по крайней мере на словах) представлять ту волю народа, которой у него нет. Ту же волю народа, которая действительно существует, то есть волю традиционную, парламентаризм вовсе не имеет в виду представлять и не может. Традиционную волю народа всегда более или менее хорошо чувствуют те классы и учреждения, которые наследственно сжились с народом. При этом условии иногда, особенно в неограниченной монархии, ощущение этой воли народа доходит до необычайной тонкости. Но это возможно лишь тогда, когда нет борьбы за власть, когда положение управляющего прочно, позволяя человеку постоянно думать о народе, а не о себе. Положение нового правящего слоя совершенно обратное, он живет не народной, а кружковой жизнью, его традиции — свои собственные, а не национальные, и он вечно занят борьбой за власть, постоянно принужден думать о том, как захватить народ, сорвать его голоса, правдами-неправдами притащить его к себе, а не самому прийти к нему и слиться с ним духовно. Нет класса, живущего более *вне народа*, чем нынешние политики. Собственно же *правительство*, ими создаваемое, по самому принципу отрезано от народа. Потому-то в действиях его настоящая народная воля, то, что у народа есть прочного и общего, отражается менее всего. Народ чувствует постоянно какой-то произвол, чувствует, что делается совсем не то, чего хочется ему. Единственное обстоятельство, сдерживающее неудовольствие народа, — это кучи показываемых ему будто бы им самим поданных бюллетеней. Но, даже смиряясь перед баллотировочным фокусом, масса не может помешать себе ощущать вечное неудовлетворение, вечное сознание, что дело идет как-то не так.

Оба этих обстоятельства могли бы быть устранены одним путем. Если бы класс политиканов мог осесть в стране прочно, стать более или менее наследственным, то политика, перестав быть *un sale metier*⁵⁵, конечно, привлекла бы к себе более уважающие себя слои нации. Укрепив свое положение, новый класс мог бы вступить с народом в более тесное нравственное общение и приобрести способность выражать дух народа. Такая эволюция демократического парламентаризма привела бы к некоторому виду аристократического строя. Худо это или хорошо, но прежде всего — на долгое время совершенно невозможно.

Тут именно выступает третье, и самое опасное, обстоятельство для либерального демократизма. Положение политиканствующего слоя так фатально, что он сам принужден растравлять раны существующего строя. В самом деле, существование этого слоя всецело держится на фикциях XVIII века. Народы только потому поддерживают демократический парламентаризм, что стремятся к общему, построенному на свободе, равенстве и правлении народной воли. Если бы современный правящий класс ответил, что он берется дать стране сносное, умное, более или менее честное управление, но лишь путем отказа народа от невозможностей и путем откровенного возвращения к старому типу общества, расчлененного, сословного, иерархичного, что ответили бы массы? Оставим уже в стороне психологическое состояние людей, не допускающее отказа от социальных иллюзий. Но не прав ли бы был народ, ответив своим “представителям”, что тогда смешно хлопотать над постоянным сооружением сложной политической машины, тратить время, нервы, труд, миллионы — и все из-за чего? Из-за получения того, что безо всяких хлопот и волнений дает раз навсегда установленная монархия! Такой ход мысли народной подписывал бы приговор карьере всей этой туче политиканов, и потому в новом правящем слое всегда найдется огромный контингент людей, готовых подогревать иллюзии народа. Либеральный демократизм принужден постоянно сам поддерживать фикцию народной воли, которой совершенно основательно не может реализовать, он вечно обещает кисельные реки, вечно заставляет народ думать, что виновата не система, а люди; каждое правительство выставляется шайкой изменников и обманщиков, не желающих осчастливить народ; затем правительство летит в окно, у власти садится нынешний агитатор, а завтра и он попадает в обманщики и т. д. Этой сменой лишь держится система, своими собственными теориями преграждающая себе возможность доразвиться до какого-либо прочного строя.

Тем не менее эта толчея не может продолжаться бесконечно. Во сто лет все нарядные покрывала либерального демократизма

окончательно истрепались. Современная демократия не отказалась от своих идеалов, но убедилась, что их нечего искать избитым путем либерального демократизма. Он уже не смещает иллюзий массы. Он живет и господствует, но душа народов уже вынута из него.

Первая стадия пройдена.

VII

Появление социальной демократии. — Идейная сторона. — Полное подчинение стихийным силам. — Полный бунт против них.

По мере дискредитирования либерально-демократической идеи на смену ей все более резко и успешно выступает идея социалистическая. Сами социалисты рассматривают себя как нечто противоположное либералам, и до известных пределов они правы. Лягушка очень отлична от головастика. Но тем не менее это все-таки дети одной матери, это различные фазы одной и той же эволюции. При появлении и торжестве либерального демократизма социализм, немного раньше или немного позже, должен был явиться на свет. С другой стороны, без предварительной фазы либеральной демократии социализм — каков он есть — был совершенно немислим и невозможен.

Дело в том, что социализм не есть учение и движение только *экономическое*. Как совершенно справедливо говорит известный эмигрант Лавров ⁵⁶, для огромного большинства сторонников и противников социализм заслоняет своими экономическими стремлениями другие свои стороны, для него не менее существенные. Нужна известная нравственная подкладка, которая, по выражению Лаврова, *оправдывала* бы практические стремления социализма. Нужно, стало быть, некоторое общее мирозерцание, при котором была бы возможна данная форма нравственного настроения. В этом целостном виде социализм только и можно рассматривать, не впадая в грубые ошибки. Собственно экономический строй, подобный тому, которого желает социализм, не будет ничуть социалистическим, если будет основан на другом общем мирозерцании, на других нравственных требованиях. Коммунизм христианского монастыря и коммунизм Маркса или Бакунина производят учреждения, различные, как небо и земля.

Если первые социалисты, так называемого утопического периода, вспоминали христианские или еретические общины, это происходило лишь от незрелости социалистической мысли у самих ее сторонников и от непонимания ее со стороны противников атеистической демократии (какими, конечно, были люди вроде Ламенце [9]). В настоящее время,

когда неясный зародыш социализма развился вполне, не может быть уже ни малейшего сомнения в том, от кого он родился и чье дело продолжает.

Либеральная демократия под влиянием сохранившегося в ней христианского самоощущения души не могла серьезно, на деле признать, чтобы человек был действительно лишь предметом материальной природы. Поэтому она упорно строила свое общество на чисто психологической основе, видела в государстве лишь известную комбинацию человеческой воли и свободы. Собственная практика либеральной демократии, однако, явно обнаружила всю призрачность такого понимания. Нельзя было не видеть в обществе присутствия *социального закона*, который существует и действует вовсе не потому, чтобы кто-либо желал его, а просто по самой природе вещей, вне всякой воли нашей.

Эти указания опыта подействовали двояко. С одной стороны, личность приходит к убеждению, что ее ощущение внутренней самостоятельности есть ощущение ложное, что она, личность человеческая, должна подчиниться стихийному закону материальной природы, принизиться до роли всякого другого тела природы. Но, с другой стороны, для души, получившей уже христианскую выработку, такое подчинение невозможно и перспектива его вызывает отчаянный, безумный бунт против очевиднейших законов природы. Оба этих течения и сказались в социализме, создав, с одной стороны, *социальный демократизм*, с другой — *анархизм*.

VIII

Социал-демократы. — Анархисты.

В науке XIX века вообще чрезвычайно ярко выделяется стремление отыскать и определить, чему бы такому люди могли безусловно подчиниться. Отыскать “роковые”, “фатальные” законы материальной природы, в которых бы личность наконец лишилась самостоятельности и явилась бесспорной, очевидной частью великого механизма природы, — над этим трудится психология и социология с чрезвычайной страстностью. В социализме это стремление увенчалось наибольшим успехом. Так называемый *научный социализм*, социализм Карла Маркса, совершенно отрешается от внушений внутреннего духовного сознания и устанавливает почти механические законы социальной жизни.

Основу общественных явлений эта теория видит в законе *обмена веществ*, которым живет весь органический мир. На той ступени развития, которую представляет человеческое общество, обмен веществ

является в сложной форме *производства*. Вся история человечества, с его учреждениями, классами, войнами и революциями, есть не что иное, как история производства. Люди живут всегда в соответствии тому, как производят. “История, — говорит Ф. Энгельс⁵⁷, — была не что иное, как борьба классов, и эти борющиеся классы повсюду и всегда были продуктом способа производства и обмена”. В пояснение должно заметить, что самый способ обмена создается способом производства. “Экономическая структура каждого данного общества всегда составляет то реальное основание, которое мы должны изучать, чтобы понять все его надстройки — учреждения политические и юридические, также как религиозные и философские точки зрения”⁵⁸.

“Эта материалистическая концепция истории, — объявляет торжественно Ф. Энгельс, — изгнала идеализм из его последнего убежища”. История является вечно меняющимся процессом вещества, в котором наши понятия о справедливости не имеют ничего абсолютного, так как меняются с переменой условий. Никто так иронически не относится к громким фразам XVIII века, как научный социализм. Революционерам XVIII века представлялось, говорит Энгельс, что “мир до тех пор (то есть до них. — Л. Т.) позволял руководить собою ничтожным предрассудкам; прошедшее заслуживало только жалости или презрения. Теперь впервые показывался свет, впервые вступали в царство разума, в котором вечная истина должна прогнать суеверие, несправедливость, привилегии, притеснения посредством равенства, основанного на природе и посредством естественных прав человека... Мы, — восклицает Энгельс, — знаем теперь, что это царство разума в конце концов было только царством идеализированной буржуазии”⁵⁹.

Это не значит, чтобы научный социализм заподозривал искренность людей первой революции. Но дело в том, что наши идеалы не имеют ничего самостоятельного и составляют лишь конечное отражение потребностей производства. Та свобода, которая нужна была собственно для производства, переросшего старые узкие рамки, в понятиях людей абстрагировалась в виде всего этого пышного идеализма свободы и естественных прав. Вот и все.

Если в настоящее время социализм становится не утопией, не иллюзией, а реальным идеалом, то лишь потому, говорит теория, что его требуют условия производства.

Но если все наши социальные и все нравственные идеалы строго относительны, если наши понятия о справедливости, правах и обязанностях человека постоянно меняются, если, наконец, все в истории в свое время имело право на существование, было справедливо, а потом,

с изменением условий, становится бессмыслицей и ложью, то не ожидается ли такая же судьба и современные социалистические идеалы? Социализм об этом благообразно умалчивает. Но ответ, по точному смыслу теории, ясен и несомненен. Конечно, настанут условия, при которых современные толки социалистов о свободе, равенстве, материальной справедливости могут оказаться неуместными, противоречащими условиям производства. И тогда эти идеалы должно будет признать ложными, тогда “передовые” люди выставят новые идеалы — может быть, идеалы деспотизма, принижения личности, кастового разделения и т. п. Все это должно будет признать опять же справедливым, возвышенным, прогрессивным...

Никогда еще ни одна философия, ни одна языческая религия не приводила человека к такому беспрекословному подчинению игре материальных сил, к такому полному уничтожению *личности* как духовно самостоятельной силы. Все духовное содержание личности определяется безапелляционно устройством плуга и ткацкого станка. Дальше идти действительно некуда.

Анархисты, ненавидящие социальную демократию за такое уничтожение личности, говорят, что это не социалисты-революционеры, а социалисты-реакционеры. Выражение меткое. Научный социализм составляет движение, конечно, очень “передовое” как последнее слово материализма, но с точки зрения высоты и достоинства личности это учение и движение неслыханно реакционное. Хотя социальная демократия по привычке, по старому разбегу и говорит о свободе, развитии личности и т. п., но все это не только не вытекает из ее теории (как вытекало, например, из “буржуазного” “Contrat social”), а даже прямо с нею несовместимо.

IX

Уничтожение свободы в коммунизме

Что требования *свободы личности* не вытекают *прямо* из теории научного социализма, это ясно само по себе. Сама *личность* в этом учении есть явление второстепенное и подчиненное. Не ее запросами и требованиями определяется общественный строй. Она должна довольствоваться тем, что ей дают материальные условия самодержавного производства, которое определяет не только юридические права личности, но самые ее внутренние запросы, идеалы, мечты. Личность тут не есть основа, не есть начало, а последствие, результат. Свободы внутренней у нее нет по существу, а свободу внешнюю, юридическую, она получает не потому, чтоб этого сама хотела

или не хотела, а сообразно с тем, нужно это или не нужно по условиям производства.

Социальная демократия, правда, очень много толкует о свободе и обещает дать ее *отрицательным*, косвенным путем: путем уничтожения *государственности*.

“Пролетариат, — говорит Энгельс, рисуя исход социальной революции, — овладевает государственной властью и превращает средства производства сперва в государственную собственность. Но тем самым он прекращает свое существование как пролетариат, уничтожает различие классов и самое государство как государство”⁶⁰.

С уничтожением государства как резервуара принудительной власти свобода является сама собою, отрицательным путем. Но это совершенно пустые фразы. Речь идет собственно о **слове**, об определении факта, а не о факте. Государство, говорит научный социализм, есть учреждение *классовое*, посредством которого один класс держит в подчинении другой. “Когда не будет общественных классов, тогда некого будет подавлять и сдерживать (будто бы совсем некого? — Л. Т.)... Вмешательство государственной власти в общественные отношения сделается мало-помалу излишним. Государство не будет уничтожено — оно *умрет*”⁶¹.

Передержка очевидна. Допустим, что классового государства не будет. Но государство как организованная власть целого общества над частями этого общества и над личностью во всяком случае останется и разовьется. Принудительная власть, стало быть, вовсе не уничтожается. Логическая эквилибристика мыслителей социальной демократии не доказывает ничего другого, кроме того, как сильно они принуждены ухаживать за анархическим духом и убаюкивать его фразами, будто бы со временем все устроится, и свобода появится, и государство уничтожится, только потерпите пока в сомкнутых рядах социальной демократии.

На самом деле “господа рабочие” могут ждать от социальной демократии чего угодно, только не признания своих прав личности. Тут нарождается строй, в котором общество — все, личность — ничто. Начиная с теории, кончая практикой социальная демократия ни разу не изменяет этому принципу. Обязательный труд, могучая власть, распределяющая труд и пользование его продуктами, власть, от которой никуда не скроешься, малейшее неповиновение которой в лучшем случае равносильно голодной смерти, — а Энгельс еще утешает, что не будет классового государства! Как будто крепостной крестьянин имел когда-нибудь над собою хотя тень такой власти, какую имеет это “бесклассное” социалистическое общество над своими “гражданами”.

Логические тенденции социалистического государства, конечно, не могут выказаться сразу. Но по его мирозерцанию “юридические” и “философские” понятия, а стало быть, и права личности, и ее требования от жизни, и все ее содержание определяются *условиями производства*. Производство же “будущего строя” — коллективное, обобществленное, не только в одной стране, а в целом orbis tenarum socialisticus. Личной инициативы здесь не требуется, конкуренции нет. Для чего тут *экономически* нужна свобода или развитая личность? Нужна, напротив, личность смиренная, покладистая, дисциплинированная, не рвущаяся ни к чему *своеобразному*, способному нарушить гармонию установившегося “муравейника”. Если же свобода и личность не нужны *экономически*, то общественная мысль, политика и законодательство наследников Маркса и Энгельса станут работать в направлении постепенного сглаживания личности, чтобы мало-помалу вычеркнуть из самого содержания умов идеалы современной “развитой личности”. Что такое “человек высокой нравственности”, что такое “возвышенные стремления”? С точки зрения “научного социализма” — это человек, это стремления, наиболее приспособленные к потребностям экономического строя общества. Самостоятельного, вечного содержания личность не имеет, она может быть переделана как угодно “условиями производства”. Усилия Ликургов социалистического строя направляются к тому, чтоб изгладить в своих согражданах все остатки “диких” стремлений современной личности и привести ее к идеалу “умеренности и аккуратности”, к возможно большему подавлению всего личного, возможно большему преклонению пред обществом, которое само является как бы воплощением сил природы, последней инстанцией всемогущих “условий производства”, окруженных ореолом почитания, каким древние языческие религии окружали силы тяготеющей над ними природы.

Х

Анархическая свобода

Таким путем пошло одно течение демократии, потерявшей духовное равновесие. Другое течение приняло совершенно противоположное направление. Анархист со страстью сумасшедшего знать ничего не хочет, кроме *личности*, и верует в эту личность с беспримерным фанатизмом.

Анархисты приобрели себе репутацию каких-то полусумасшедших, и многие поэтому не придают им большого значения. Это совершенно ошибочная оценка, тем более что душевное состояние современного цивилизованного человечества представляет множество и других

ненормальностей. Духовное оскудение социальной демократии тоже нельзя признать нормальным человеческим состоянием, а совершенно животное состояние консервативных “буржуазных” слоев — еще менее того. Читая описание какой-нибудь *Semaine Sanglante* ⁶², весьма затрудняешься решить, кто более сумасшедший в этой озверевшей массе убивающих и убиваемых. Недаром Герцен, свидетель 1849-1851 годов, от одного этого зрелища пришел к отрицанию будущего европейской цивилизации.

В такую патологическую эпоху разложения, воображающего себя развитием, слово “сумасшедший” ничего не определяет. Предоставляя это слово в распоряжение желающих, гораздо полезнее постараться выяснить себе, в чем, собственно, состоит *ненормальность*, так легко охватывающая целые массы, и в том числе людей, несомненно, очень умных и талантливых.

Тут само собою напрашивается странное сопоставление. Социальная демократия исторически есть создание еврейско-протестантских элементов современной культуры. Теория (Маркс) и практика (Лассаль [12]) даны евреями и поддержаны до сих пор почти исключительно в протестантских странах. Анархизм, напротив, создается отщепенцами католицизма и православия (Прудон [13], Бакунин, Кропоткин) и находит прозелитов по преимуществу в странах католических (Франция, Испания, Италия). Сам Вернер ⁶³ — единственный крупный анархист немецкий, если не ошибаюсь, родом из Вены. Чрезвычайная склонность русского “нигилизма” к анархическим точкам зрения достаточно общеизвестна, точно так же как слабое развитие идей “научного социализма” в этой среде. Если б у нас религиозная жизнь рухнула в достаточной степени (чего, благодаря Бога, как показывают обстоятельства, далеко нет), то едва ли возможно сомневаться, что у нас развилось бы анархическое движение, а не социально-демократическое.

Там, где духовная жизнь получила более глубокую *христианскую* обработку (то есть в среде православной и римско-католической), человеку чрезвычайно трудно отрешиться от *ощущения* своей духовной природы, а стало быть, от невольной веры в самостоятельное значение личности. Когда у такого человека отнята *религия*, внутреннее сознание кричит ему, что на свете нет ничего выше его самого, ничего такого, чему он мог бы подчиниться. Он остается сам Богом. По богословскому толкованию, это есть тяжчайшее падение духа, но такое падение, которому подвергается лишь дух, уже высоко выработанный. Анархизм — одна из форм болезни, которая в других течениях мысли проявляется в *религии*

человечества, также очень известной у нас в ряде интеллигентских сект ⁶⁴.

Но понятно, что и в странах протестантских подкладка души все же остается христианской, поэтому анархические тенденции в революционном мире повсюду скорее дремлют, чем отсутствуют. Обстоятельство, которое со временем получит огромное значение.

Неспособный отрешаться от очевидного ощущения своей свободной личности и видя столь же ясно несомненное иго социальных законов, анархизм разрушает гордые узлы: если социальные законы мешают, нужно их уничтожить. Нужно уничтожить *власть* и все, откуда эта власть может проистекать. Нужно оставить личность свободной, на просторе, и пусть тогда общество слагается из свободного, добровольного соглашения между личностями, которые каждую секунду относятся друг к другу так, как хотят. “Мы, — говорит заявление семнадцати анархистов, поданное лионскому суду ⁶⁵, — мы требуем свободы абсолютной, ничего кроме свободы, свободу полностью. Мы требуем для каждого человеческого существа права и способов делать все, что ему угодно, и не делать ничего, что ему не нравится”.

В пояснение замечу, что один анархист, кажется Дюваль, уличенный парижским судом не только в подделке фальшивой монеты, но и в противоестественных пороках ⁶⁶, прямо заявил суду, что “*c'est mon droit de satisfaire mes passions comme je le puis*” ⁶⁷. Главный орган анархизма “Revoke” сначала колебался признать этого господина добрым членом партии, но общий голос анархических “*compagnons*” ⁶⁸ заставил орган Кропоткина победить свое отвращение, и осужденный был зачислен в синодик партии. Анархисты действительно последовательны в требовании “свободы абсолютной”.

Возвратимся к декларации лионского процесса. “Мы, — продолжает она, — хотим свободы и считаем ее существование несовместимым с существованием *какой бы то ни было* власти, каковы бы ни были ее происхождение и форма, вдохновляется ли она правом божественным или народным, миропомазанием или всенародным голосованием. Все правительства одинаковы и стоят одно другого. Лучшие — хуже всех других. Вся разница в том, что у одних больше цинизма, у других — лицемерия. Зло не в той или иной форме власти, а в самом *принципе власти*. Анархисты ставят задачей научить народ обходиться без правительства, как уже он начал научаться обходиться без Бога. Наш идеал — заменить административную и законную опеку и принудительную дисциплину *свободным договором, подлежащим постоянному пересмотру и отмене*”.

То есть это договор, который каждый исполняет, пока хочет и сколько хочет, и уничтожает, когда вздумается. Но это еще не все. “Мы, — говорит декларация, — считаем, что капитал должен быть предоставлен в распоряжение всех так, чтобы никто не мог быть исключен из пользования и чтобы также никто не мог захватывать доли в ущерб другим”.

И это — *без организации!* Анархисты не допускают *никакой*, даже и своей собственной, революционной. Несколько лет тому назад я имел случай беседовать с самим Кропоткиным, также подписавшимся под приведенной декларацией.

“ — Допустим, что произойдет социальная революция. Что вы сделаете?”

— Мы употребим все усилия, чтобы народ брал все, что ему угодно, и чем больше, тем лучше, и чтоб он не дал организоваться какому бы то ни было правительству.

— Но коммуна не допустила грабежа?

— Это была роковая ошибка, погубившая дело. В следующий раз ее уже не повторят.

— Но бланкисты, которые такие же социалисты, не замедлят организовать правительство. У них уже и теперь чуть ли не распределены все будущие правительственные должности.

— Мы будем убивать бланкистов. Они вреднее всяких буржуа”.

Словом, стоит только не допускать никакого правительства, никакого принудительного порядка, и все устроится само собою, в свободной гармонии. Анархисты находят, что это даже очень просто и непонятно лишь для людей узких — *getrecis*.

“Что касается практического действия анархии, то нет ничего более легкого, — говорит один их журнал ⁶⁹. — Движение без пут и помех составляет *естественное назначение человека*. Авторитарный порядок — последствие предрассудков, суеверия и варварства, — уничтожая все личности, неспособные ужиться под его скипетром, сформировал нынешних людей, запечатлев их своими отличительными чертами. Отсюда некоторые близорукие философы заключили, будто бы власть неизбежна для человечества”. Остается только удивляться, что человечество умудрилось весь век свой жить неестественно и никогда не в состоянии было жить так, как этого будто бы требует его природа!

Это нелепо, конечно. Однако анархизм уже доказал свою огромную способность охватывать умы ⁷⁰.

Это потому, что в анархизме говорит не глупость, а потеря духовного равновесия. За потерей Бога (и следовательно, вообще духовной жизни) самоощущение человека становится уродливым. Потеряв меру сравнения, не ощущая над собою никакого авторитета, он начинает считать себя верхом совершенства и духовной самостоятельности.

Эта нелепость вполне ясна только или человеку религиозному, или, наоборот, совершенно заглушившему свою духовную природу и оставшемуся с одним полуживотным “здравым смыслом”. В “христианском, отречемся от Христа” обществе и тех и других людей немного.

XI

Будущее коммунизма. — Материальная практичность социальной демократии

Для более точной обрисовки творческой силы социализма позволительно и уместно задать себе вопрос: что могут дать новейшие формы демократической идеи, если бы им суждено было хоть такое торжество и власть над миром, какие либеральный демократизм получил с 1789 года? Само собою, это рассуждение чисто гипотетическое и имеет целью показать не действительное будущее, а лишь *возможное по внутренней логике передовых демократических учений*.

Не предсказывая этого будущего, мы не должны, однако, забывать, что оно действительно *возможно*. Общая тревога по всей Европе каждое Первое мая, ряд революций, уже бывших, несомненный громадный рост революционных партий во Франции и в Англии, ни на минуту не прекращающиеся успехи социального демократизма в Германии — длинный ряд многозначительных фактов показывает, что это движение *нарастающее*. Можно спорить о том, избежимо или неизбежно его торжество, но сомневаться в его *возможности* было бы прямо легкомысленно.

Предположим, стало быть, что течение следует своим современным руслом. Чего мы можем от него ожидать?

Несмотря на чрезвычайную распространенность анархических идей, чистых или смягченных, едва ли возможно предположить, чтобы какой бы то ни было европейской стране анархизм угрожал серьезным переворотом в ближайшем будущем. Анархисты могут убивать, поджигать, взрывать, производить бунты, но они по принципу *не хотят* организоваться, а потому, конечно, всегда будут подавляемы

организованной силой до тех пор, пока идея общества не превратилась в нечто возбуждающее всеобщий ужас и отвращение. Такой же момент можно себе представить разве только после торжества социальной демократии. А до тех пор, пока общество находится приблизительно в современном состоянии, анархизм в нем будет составлять лишь хроническую разъедающую болезнь.

Настоящей опасностью в более близком будущем, на первой ступени, угрожает не анархизм, а социальный демократизм. Это движение разгромить вовсе не легко и даже едва ли возможно иначе, как нравственным воздействием, потому что во всем, что касается *силы*, оно может посчитаться с кем угодно.

Социальный демократизм ставит себе цели, значительная часть которых вполне осуществима (именно в области экономической). В действии он совершенно практичен. Конечно, есть и у него фразы вроде толков о будущем уничтожении государства, о свободе, равенстве и т. п. Но эти фразы ему нисколько не мешают, а, напротив, помогают. Без этих невинных украшений он мог бы показаться чересчур грубым и оттолкнуть от себя массы. Эти фразы льстят самолюбию рабочих и дают им возможность пометать на возвышенные темы. А между тем ничему практическому это не мешает, потому что отодвигается в отдаленное будущее. В ожидании же будущего социальная демократия складывается в организацию со своим начальством, с подчиненными, с дисциплиной, которой позавидует иная армия. Какого бы то ни было опасного, рискованного шага эта организация по принципу избегает, усвоила тактику бить только наперняка, только имея превосходство сил и до поры до времени — по возможности легально. Успехи ее общеизвестны. Партия уже теперь организовала миллионы населения.

Переворот по системе социальной демократии тем более легок, что он не может устрашать даже весьма значительного числа малоимущих “буржуа”. Партия и теперь содержит массу людей на жалованье, а в будущем ставит план гигантской организации страны. При этом потребуется, очевидно, огромное число всевозможных “заведующих”, “управляющих”, “комиссаров” и т. д. Всякий ловкий человек вправе ожидать себе здесь теплого местечка. В общей сложности социальная демократия имеет умных вожаков и послушную массу, и если социалистический переворот намечен в судьбах человечества, то его произведет, конечно, эта партия.

ХII

Диктатура рабочего класса. — Новое государство. — Сословность социалистического строя. — Аристократия и крепостное сословие социализма.

Итак, допустим, что явился “1789 год” социальной демократии. Начинается “диктатура рабочего класса” и постройка нового общества.

Собственно организация национального производства не представляет ничего невозможного. Современный рабочий привык к труду, капитализм выработал массу превосходных администраторов. Современное производство так сконцентрировано, что его совершенно возможно вести под управлением государства. Организовать распределение продуктов посредством системы государственных складов также не представляет ничего немислимого для народов, которые и теперь умеют кормить и одевать казенным способом миллионные армии солдат. Для организации всего этого нужно только *правительство*, а социальная демократия имеет уже и теперь все его кадры.

Эта сторона дела, конечно, худо ли, хорошо ли, пойдет некоторое время, а средства, скопленные современными обществами, так громадны, что их и при самом плохом распоряжении хватит надолго. Но огромные трудности пред новым строем ставит самый общий тип его, который должен совершенно задушить *личность*, а она едва ли уступит без самых отчаянных протестов.

Власть нового государства над личностью будет по необходимости огромна. Водворяется новый строй (если это случится) путем железной *классовой* диктатуры. Социал-демократы сами говорят, что придется пережить период диктатуры рабочего класса. Стоит почитать Фольмара [14] о способах приведения частных собственников к “добровольному соглашению”!⁷¹ Крупные владения прямо конфискуются, мелкие же, где владельцев много, так что опасно доводить их до бунта, должны быть, учит Фольмар, поставлены в условия такого бесправия, что, в сущности, владельцу остается или с голоду умереть, или “добровольно” присоединиться к братской семье социалистов. Государство принуждено будет сохранить функции судебные и административные или рухнуть в несколько месяцев. Но социальная демократия так практична, что немисливо даже предположить с ее стороны подобной несообразности. Функции нового государства в области народного просвещения и “нравственного воздействия” на общественное мнение необходимо должны также возрасти. Национальная организация труда и распределения продуктов прибавляет государству новый безмерный

источник власти, регламентации и репрессии. В виде “временной”, но бесконечной фактической меры оно, без сомнения, будет иметь и силы вооруженные, под каким-нибудь звучным или скромным названием. Пред этим всесильным государством, хотя бы оно и получило название “общества” или “народа” и т. п., личность оказывается ничтожной и бессильной пылинкой. Она зависит от общества везде и во всем, везде и во всем должна находиться в предписанных рамках. Уйти от них некуда. Нельзя даже просто замкнуться в своей семье, в своем независимом уголке. Такие уголки исчезнут. Все на миру, на виду, на общем положении, под общим надзором.

Это постоянное давление, эту вечную зависимость невыносимо испытывать даже в том случае, если человека подавляет однообразная народная масса взаимно сковывающих друг друга “сограждан”, среди которых нельзя остановить озлобленного внимания на каком-либо специализированном подавляющем классе. Но в действительности классы не исчезнут, и это обстоятельство, само по себе естественное, окажется чрезвычайно компрометирующим для такого строя, который явился на свет с формальным обязательством уничтожить деление общества на классы.

Образование *классов*, то есть слоев, имеющих некоторую внутреннюю связь, вытекающую из единства социальной роли их членов, составляет постоянное явление во всех обществах. Последним ярким образчиком этого была практика либерального демократизма.

Но либеральный демократизм появился в виде движения очень (сравнительно) стихийного, малоорганизованного, и его правящие слои должны были складываться уже после первого торжества революции. Социалистическое государство, напротив, достигнет торжества уже с почти сформированными сословиями. Социальная демократия наших дней обязана своей силой именно тому, что она уже фактически расслоилась по специальным функциям и имеет уже очень порядочный правящий класс политиканов. Эти готовые кадры новых сословий социалистическое государство посадит на самую благодарную почву, так как организация труда требует многочисленных руководителей, а необходимость считаться с “волей” злополучного “самодержавного народа” поддержит тот многочисленный слой гипнотизаторов его и распространителей необходимых для того ложных сведений, который составляет различные фракции “интеллигенции”. Современный верхний слой правящего класса в настоящее время не может вполне укрепиться именно потому, что “воля народа” не распространила своего влияния на экономические функции, и тут политиканствующему слою постоянно

приходится наталкиваться на самостоятельную силу крупных и мелких собственников. В социалистическом государстве политиканствующий слой получит полный простор дойти до окончательного развития, распространив свое влияние на экономическую область жизни, подобно тому как этим кончали все правящие классы в истории, каким бы путем ни возникали они.

Социальная демократия уже теперь, задолго до своего торжества, вырабатывается применительно к этой цели. Ее верхний слой, жокаков и учителей, воспитывается в сознании того, что власть необходима, что массу народа нужно учить и направлять. Несмотря на остатки фраз “идеализированной буржуазии”, этот слой искренне уважает только материальные условия да “общество” в смысле целой организации, но никак не человека, не личность, не свободу, не равенство и тому подобные “мечтательные” понятия. Масса же воспитывается в духе замечательной дисциплины и умеренности. Самое общее “научное” мирозерцание, заменяющее в этой массе религию, внушает покорность материальным условиям и приучает сознавать ничтожество своей личности. Во время окончательной борьбы за торжество властвующий и подчиняющийся слои социальной демократии могут лишь еще более обособиться и развиваться. Затем начинается долгий период “диктатуры”, когда придется железной рукой устраивать новые порядки, подавляя внутренние смуты и, по всей вероятности, ведя внешние войны. Нужно быть слепым, чтобы не видеть, каким могущественным сословием выйдет из такой истории нынешняя социалистическая интеллигенция.

XIII

Всякий социальный строй (точно также, как всякая данная цивилизация и как всякая отдельная группа, ассоциация и т. п.) развивается в направлении тех сил, которые заключаются в его типы, так, как они сочетались в нем в эпоху рождения типа. Общий тип социально-демократического строя и все условия рождения его предсказывают новому обществу будущее, насквозь пропитанное деспотизмом, дисциплиной и централизацией. Но в то же время, подобно всем обществам мира, оно будет расслоено и вся громадная принудительная власть его будет *фактически* (на первое время) находиться в руках слоя правящего, несравненно более могущественного, чем политиканы современной либеральной демократии. Поэтому все ничтожество, вся подчиненность личности, которая *теоретически* предназначается ей собственно пред обществом и пред материальными условиями, *фактически* будет состоять в ничтожестве пред тем слоем, который

руководит этими пресловутыми материальными условиями, а также управляет всеми делами, формирует общественное мнение и т. д. и т. п. Великий вопрос социализма составляет то, вынесет ли масса кабалу или нет?

Если предположить, что вынесет, то новое общество действительно закончит период революции, начатой XVIII веком. Оно уже не только “отречется от Христа”, но задушит и свою “христианскую душу”. Это дает равновесие и покой, но также кладет конец всей выработке личности, достигнутой в христианскую эпоху, и дает начало “новой эре”, которая ведет к чему-то очень старому. Раз положив основание, никто уже не может остановить хода органического, или, употребляя любимое выражение научного социализма — Диалектического, развития, которое властно царит надо всеми живыми явлениями.

Заведование общественными делами — источник огромной власти. Власть фактическая переходит в юридическую. Это вопрос лишь времени. Профессор Ковалевский [15] рассказывает, как в древней индийской общине развился могущественный класс собственников — аристократия — из скромных деревенских “сотских” и “десятских”, так сказать, назначавшихся общиной для надзора за ирригационными каналами. Может быть, такие факты очень радуют научный социализм как доказательство могущества “условий производства”. Рисовые плантации порождают поземельную аристократию. Но социалистический строй весь соткан из таких “рисовых плантаций”. Для заведования ими пойдет, конечно, самая ловкая и честолюбивая часть населения, и их временная фактическая власть увековечивается тем легче, что сама политическая философия научного социализма не признает никаких абсолютных и вечных форм общества. То, что в отсталый XIX век считалось прогрессивным, может быть объявлено реакционным в XXI столетии. Все зависит от условий производства. С точки зрения производительности, конечно, *окажется* более выгодным существование *прочного* правящего класса и специализация рабочих по различным операциям производства и даже по природно различным местностям. Это же расслоение и некоторое закрепощение трудящихся делает еще более нужным существование специального правящего класса, свободного от невольной узости остальных трудящихся. Некоторое препятствие расслоению на своего рода касты представляет, конечно, отсутствие *семьи*. Но фактическое существование брака для желающих его никакими способами не может быть уничтожено, и особенно в верхнем, правящем слое, люди которого имеют возможность и воспитать своих детей более тщательно, и доставить им лучшее общественное положение. Серьезное падение брака в массе населения может повести только к тому, что

верхний слой станет в полном смысле “благородным”, единственным хранителем доброго воспитания среди этой толпы не помнящих родства. Хранитель не одной стадной, но *личной* традиции, которая дается семьей, он тем скорее выработается в аристократию, в сословие, действительно высшее и гордое сознанием своей высоты.

И это сословие *фактически* владеет всем. Сначала коллективно, но потом (можно ли не видеть этого?), конечно, “заведование делами” обособится по местностям, по большим отделам производства или управления. Фактический переход “управления” и “владения” по наследству становится привычным, закрепляется, возможность становится “правом”, входит в юридические нормы. А что скажет “самодержавный народ”? Самодержавный народ привыкает ко всему, да и дело не сразу делается, а постепенно, при постепенном изменении понятий, тем более что народ воспитывается на “диалектическом” понимании жизни. Вечной правды нет, вечных прав нет. Все зависит от “условий производства”... Да и совершенно верно: если только наши права через нашу личность не истекают из абсолютного начала правды, то, конечно, все зависит от “условий”, “условия” сводятся к выгоде и расчету наиболее ловких и сильных людей.

Аристократическая республика с разнообразно закрепощенной массой населения — это единственный исход социально-демократического коммунизма, предполагая, что массы способны вынести гнет его.

XIV

Анархический бунт против коммунизма

Предположение это, однако, совершенно немыслимо, потому что с первых же шагов социально-демократического государства выступает на сцену действия *анархическая* идея.

Даже теперь, когда социальная демократия полна дутых фраз о свободе и развитии личности, когда она, не имея власти, не может проявить своих когтей, она возбуждает отвращение и ненависть в анархистах как *учение реакционное*. В настоящее время множество лиц примыкают к социальной демократии или по недостатку чутья, или из-за практических соображений: все-таки это движение разрушает “буржуазный” строй и должно отдать в руки народа капитал. Все это множество людей хранит в различных уголках души чисто анархические страсти, теперь только дремлющие. Но представим себе наступление *de la grande date*, этой чаемой *la Sociale*. Пришла *она* и все сокрушила.

“Народ” имеет не только политическую власть, он “возвратил” себе “узурпированный” капитал. Всё его, и он — всё... По крайней мере, в теории, в ожидании. На деле же оказывается жесточайшая диктатура: ничего не смей сделать не по указке, не спросясь, не по правилу. *Своя* индивидуальная жизнь, действие по собственному почину, вкусу, фантазии, наконец, стесняется тысячью пут, незнакомых даже последнему пролетарию ненавистного “буржуазного” прошлого. Этого, конечно, ни за что не стерпят. Если буржуазная свобода представлялась лицемерным обманом, то какую бесстыдную ложью покажется “свобода” социалистическая! Никого не успокоит даже ссылка на то, что стеснение производится “народом”. Анархисты и теперь кричат: “Мы знать не хотим никакого народа, мы сами народ и хотим жить по-своему!” Притом на практике каждый стесняемый видит очень хорошо, что он уступает не какому-то “народу”, а совершенно определенным лицам или группам, захватившим хорошие места. Будет ли деспотизм этих лиц всегда бескорыстным? Излишний вопрос. На одного фанатика идеи всегда найдется сотня лиц, обделяющих лишь собственные делишки. А завистливое чувство не попавших на хорошие места усмотрит корысть и эксплуатацию даже там, где их нет. Бесчисленные протесты с ножом и динамитом в руках ожидают организаторские попытки социальной демократии, и особенно наиболее выдающихся, наиболее честных, а стало быть, и непреклонных ее деятелей. Без сомнения, революционное правительство сумеет расправиться не раз и не два с бунтовщиками, но, на свое несчастье, оно не может сделать невозможного: не может сделать свои действительно “реакционные” принципы сколько-нибудь сносными для личности современного человека. Подавляя бунтовщиков, оно только еще более непривлекательно показывает деспотизм своей основной идеи. А между тем у правительства социальной республики нет высших санкций, которые окружали павшие короны и позволяли народу терпеть и ждать. *Если пала корона, удержится ли фригийский колтак?*

Как только социальная демократия начнет организовывать общество, анархическое движение в нем вспыхнет с небывалой силой. Вся масса, которая теперь живет мечтой о будущем, увидит это будущее лицом к лицу, и это будет первый раз, когда анархические идеи получат почву для покорения себе народов, потому что тогда уже не во что будет больше верить, кроме анархии.

“Политиканы не понимают, — кричат уже теперь анархисты, — что *свобода* сама по себе не существует, а есть лишь *отрицание власти*. Поэтому пока существует малейший отпрыск власти, до тех пор не существует и тени свободы”. Дело не в том, чтоб иметь “хорошие” законы

или якобы “хорошую” власть. Их нет. Это нелепые выражения. Дело в том, чтобы не иметь *никаких* законов и *никакой* власти.

Народ слышит эти слова, и теперь они звучат для него каким-то бредом. Но когда настанут эти якобы “хорошие” законы и якобы “рабочая” власть, когда будет испробована эта последняя мыслимая форма власти, народ увидит, что она действительно ему ничего не дает, а менее всего дает удовлетворение нравственное. Тогда *анархия* является последним словом, которое еще остается произнести в этой “эволюции разложения”.

Либеральная демократия погибает не потому, чтобы при создаваемых ею режимах было невозможно жить, а потому, что нравственно не удовлетворяет личность, потерявшую жизнь духовную и воображающую найти ее в жизни политической и социальной. Теперь личность обманывает себя мечтой, будто бы ее страдание происходит от *недостаточного* расширения области общественности, будто бы стоит эту общественность распространить еще больше — и счастье будет найдено. На самом деле страдание происходит как раз от обратных причин. Когда социалистический строй явится и покажет, чего *общество* требует от личности, от этого самозаклания безличному Молоху отвернутся все. Не нужно общества! Пусть живут *люди*! Это будет торжество анархии, красноречиво избравшей уже своим значком *черный* флаг и девизом: “*Liquidation Sociale*”⁷².

XV

Гипотезы. — Социальные миражи. — Возвращение в дикое состояние

Этот взрыв анархического духа неизбежен, а при нем организационная работа социальной демократии станет невозможна. Все и повсеместно будут ей противодействовать — не созданием чего-нибудь нового, а разрушением всего создаваемого. Не китайщина социальной демократии ждет “новое общество”, а постепенное разложение. Еще раз вспоминаю мое объяснение с Кропоткиным.

Я сказал ему, что вовсе не хочу кого-нибудь эксплуатировать, но желаю только, чтобы меня никто не притеснял чересчур, и поэтому хочу, чтобы существовала общественная власть. Анархисты эту власть отрицают. Как же мне быть, где искать мне защиты, если кто-нибудь станет меня притеснять?

— Но при анархии, — отвечал он, — если другие могут обижать вас, то и вы имеете полную свободу защиты. Никто не мешает вам защищаться.

— А если я слабее? Да, наконец, я не желаю вовсе защищаться, не хочу никого ни бить, ни убивать, а хочу только, чтобы меня не трогали...

Он недовольно пожал плечами:

— Как угодно. Не желаете, так не защищайтесь.

Однако же серьезно, как жить, попав в такую перепалку “свободы”? Оставляя в стороне фантазии, придется, очевидно, сплотиться с несколькими друзьями в одну группу, захватить себе клочок земли или мастерскую и жить приблизительно так, как живут пионеры в пустыне: держать часовых и быть всегда готовым к защите, а также и к нападению... Как быть? Кто за себя поручится? Как положиться на “природную доброту” человека, “потребности которого удовлетворены”?

“Потребности” — слово до бесконечности растяжимое. Всякая потребность способна вырастать в страсть. Как их удовлетворить до насыщения, до усыпления? Одному человеку для этого иной раз не хватит целого мира. Притом, к несчастью, предметом страсти служат не только вещи, но и люди. Тут уже никак не уладишься “гармонично”. Если нет силы, способной пришибить узурпацию страсти, то все более чистое и более слабое неизбежно становится предметом эксплуатации даже в области отношений личностей. Но при анархии даже и сами материальные потребности не могут быть удовлетворены благодаря дезорганизации производства. Для разгулявшейся страсти не хватит даже вещей, не только людей. В общей сложности если бы дух времени не допустил восстановления государства, скомпрометированного предыдущей эпохой коммунистического строя, то остается единственная форма жизни — распадение на маленькие группы, сдерживаемые чьим-нибудь личным влиянием.

Картина совершенно первобытная! Человечество в полном составе возвращается совершенно к тому пункту, с которого начали павшие потомки первого человека. Не трудно было бы до мельчайших подробностей проследить последствия этого распада общества. Каждая группа, конечно постепенно, выработает внутри себя дух единства и взаимной привязанности членов, выработает своего рода собственность, некоторое подобие семьи, тем более что личность в этой группе будет чувствовать себя сравнительно более свободной и счастливой, нежели в той страшной казарме коммунизма, из которой все эти несчастные только что выскочили. Но зато в отношении других групп столь же естественно сформируется чувство безразличия, затем —

отчуждения, затем — вражды. С другими группами приходится вступать в столкновения отчасти по необходимости защищать себя, отчасти чтобы выхватить у них какую-нибудь кроху рассыпавшегося общественного достояния. Все впечатления, все столкновения ведут к тому, чтобы восстановить старинную, нам знакомую по истории организацию родовую и племенную... Будут ли люди того времени знать, куда они возвратились? За это трудно поручиться. В своих социальных приключениях они к тому времени, вероятно, растеряют все знания и будут представлять массу, весьма неподходящую к современным понятиям о цивилизованности.

XVI

“Собачья старость” цивилизации

Без всякого сомнения, и такой исход фактически невозможен. Люди очень “несовершенны”, но все же в массе не сумасшедшие и покидают нелепую идею гораздо раньше, чем она успевает принести все свои плоды полностью. Опытам социалистическим и анархическим, если им суждено осуществиться, будет, конечно, дан сравнительно ограниченный и кратковременный круг действия. Падение современного цивилизованного мира, если оно неизбежно, совершится не строго по социально-демократическому или анархическому рецепту, а постепенной тратой силы нравственной и материальной в бесплодных пробах, стоящих, однако, так дорого, имеющих постоянным результатом гибель всех лучших людей всех направлений и разложение всех основ общества. *Такое* падение, “собачья старость”, истрепанность, к несчастью, в высшей степени возможно: оно бывало в истории, и много признаков его мы видим уже в настоящее время. Такое падение неизбежно, если цивилизованный мир, порывом ли собственной жизненной силы или воздействием более здоровых народов, не будет вырван из заколдованного круга своих современных идей.

Отказавшись от религиозной идеи, человечество отказалось от единственно верного понимания своего места в природе, своей свободы, своей зависимости, от единственного источника нормальной жизни своей. Оно пытается с тех пор то совершенно отрицать законы социальной природы, то подчиниться им до степени невыносимой и невозможной для человека; оно пытается жить так, как если бы люди были действительно равны и одинаковы, и этим только подрывает возможность справедливых междучеловеческих отношений и учреждений, которые всемирным опытом и религиозным авторитетом выработаны применительно к факту физического неравенства людей и одинаковой *возможности духовного*

равенства. Расстройства жизни гражданской, социальной и семейной, приистекающие от этого, приводят только к тому, что вместо общего равенства получается господство наиболее сильного и бессовестного, эксплуатация слабого и добросовестного. Нигде это расстройство не достигло таких угрожающих размеров, как в передовых странах. Франция и Америка уже дошли до того, что их население едва возрастает (естественным приростом), и известно, *каким путем* это происходит. Отношения между мужчиной и женщиной становятся противоестественны и развратны. Это последствие якобы равенства мужчины и женщины и их воображаемой свободы делать что угодно уже угрожает вымиранием расы французской и чистокровных янки. Явление, совершенно напоминающее эпоху падения Рима, которая в материальном отношении блистала, как и наша.

Нравственное неудовлетворение, невозможность насытить душу деятельностью материального мира также повсюду душит современное человечество. Куда только не кидается человек, чтобы заглушить свою тоску, пустоту душевную! Сколько лихорадочной политической деятельности зависит от этого внутреннего беспокойства! Рассказывают, что Бенжамен Констан, когда политические заботы дня кончались, целые ночи проводил за картами, чтобы только не остаться одному с мучившей его мыслью о смерти. Но этот еще сравнительно счастлив. Постоянное возрастание числа умалишенных и самоубийств показывает более страшные драмы. Показывают их и революции, в которые многие впутываются вовсе не из-за каких-нибудь действительных злоупотреблений, а с тоски, чтобы доставить себе обман какого-то “великого” события, чтоб испытать опьянение “поглощения” себя чем-то общим, большим, высшим.

Собственно говоря, жалкое и печальное зрелище... Стыдно за человека, разумное существо, погрузившееся в этот туман химер, в какое-то полупьяное существование. Но оно в то же время опасно и тягостно.

Тем не менее серия социальных опытов подходит к концу. Еще две-три иллюзии остается вытащить из волшебного ящика — и тогда что? Замирание или возвращение к исходному пункту ошибки? Теперь происходит много любопытных явлений, обещающих странные картины в следующем фазисе исторической трагикомедии. Возможность жить только социальными иллюзиями, видимо, истощается. Появляется уже искание каких-нибудь суррогатов духовной жизни, спиритизм, новые формы суеверия, что-то подобное первобытным формам религии диких народов. Возрождение ли это или окончательное падение? Как бы то ни было, ясно уже теперь одно: что нарушенное духовное равновесие,

создавшее “новую эру” XVIII века, поставило людей на путь ложный, на путь бесплодных химер, которые неосуществимы, а если бы были осуществимы, то сулят человечеству либо невыносимо деспотический строй, либо возвращение к диким временам.

Ясно, что на пути развития *этой* идеи идти некуда. Так или иначе, человечеству нужно нечто другое, и знать это особенно важно для тех народов, которые, как наш, еще не охвачены фатальной логикой, не утратили исторических, опытом проверенных основ социальной и личной жизни и могут, стало быть, идти к *развитию*, а не *разложению*.

Если нам суждено жить, мы должны искать иных путей с сознанием той великой истины, которая так ярко доказывается отрицательным опытом “новой эры”: что правильное устройство социальной жизни возможно лишь при сохранении духовного равновесия человека, а оно для современного, христианством выработанного человека дается только живой религиозной идеей.

ПАНАМА [16] И ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

ЗАМЕТКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

I

Странное впечатление испытываешь, когда, читая в газетах скандальные сцены, в которых такую печальную роль играют Рувье [17], Флоке, Клемансо [18], вспоминаешь этих людей в иной обстановке, так немного лет тому назад.

Тогда они все были спасителями отечества... Происходили другие скандальные сцены. Другие объявлялись ворами... А ведь еще немного лет перед тем и эти другие — Вильсоны, Гриви [19] — тоже были “досточтимыми”.

Вильсон оказывал отечеству важные услуги, Гриви был “честный, строгий республиканец”... Сколько этих превращений отцов отечества в изменников за какие-нибудь пятнадцать лет!

Я не застал лично падения Гамбетты [20] и захватил только его торжественные похороны. Так же торжественно похоронили бы генерала Буланже, если б он догадался умереть немного пораньше. И если бы Гамбетта не умер вовремя, он, по всей вероятности, так же был бы объявлен врагом отечества, как был объявлен Буланже.

II

Этот *Palais Bourbon*, видевший столько превращений спасителей отечества в изменников и воров, мне представляется живой эмблемой парламентарной Франции. Величественное монархическое здание, опирающееся на колонны, которых, кажется, не сокрушат тысячелетия, важно и задумчиво смотрит на Сену, на которой Родилась великая Франция Бурбонов. Но Бурбонов уже нет, и важное наружи здание внутри изменило свой характер, это что-то среднее Между театром, биржей и каким-нибудь “универсальным магазином”. Однако тут решаются судьбы нации, которая столетия дает камертон европейской мысли и жизни. Это твердо помнишь, впервые входя в *Palais Bourbon*, и невольно настраиваешь себя на высокий тон.

Вспоминаются Рим, “отцы отечества”, великие граждане. Не гармонирует с этим высоким настроением сутолока лестниц и коридоров. Досадное чувство испытываешь, видя суету и беготню сотен двух всевозможных репортеров и корреспондентов, отправляющих письма и телеграммы во все концы света. Если при этом из залы заседаний донесется еще рев бурного скандала, то, приходя в трибуну, скорее чувствуешь себя на пути в Биржу. Но все эти “нечестивые” мысли новичок спешит подавить в себе, и вот он наконец под громадным сводом залы, где великая нация собрала представителей своей мысли, своих желаний, своего гения.

Великолепнейший амфитеатр, которому позавидует самое роскошное место зрелищ. Сверху, сквозь матовый стеклянный потолок, льется мягкий свет дня или электричества, так подражающего солнцу, так искусно его сменяющего, что сам не разберешь, в полдень или в полночь смотришь на развертывающуюся внизу картину. Она красива, но производит странное впечатление. Аудитория не аудитория, театр не театр. Что-то смутное. Тройной ряд лож, наполненных разряженными дамами, кавалерами, и шумный раек верхнего яруса всевозможных “пресс” — парижской, провинциальной, иностранной — все это больше переносит вас в театр, нежели в законодательное собрание, спокойно, независимо и глубоко разрабатывающее вопросы спасения и благосостояния страны. Правда, нынче публика по крайней мере не аплодирует, но мне приходилось слышать во времена бурных буланжистских сцен, как люди публики бесцеремонно кричат представителям нации: “О каналы, о куча дряни!” Я помню, как в самую торжественную минуту Версальского конгресса из трибуны журналистов с отчаянием закричали председателю: “Громче, пожалуйста, громче!” Его

голос был действительно слаб. И председатель ничего — взглянул, вошел в положение “прессы” и начал говорить громче...

III

Все это замечается не сразу, но когда походишь с год в эту роскошную залу, то краснеющую обивающим ее сукном, то чернеющую депутатскими сюртуками, потолкаешься в “кулуарах”, посидишь в осаде бунтующей толпы, кричащей “В воду депутатов!”, присмотришься, как решаются насущные вопросы жизни нации, — римские иллюзии отлетают как дым. Этот важный *Palais Bourbon*, такой серьезный наружи, начинает казаться жалким базаром житейской суеты. Всякое чувство уважения к представительству мысли и гения нации исчезает бесследно, и, подобно всем другим, входя в лабораторию политической жизни великой нации, спрашиваешь только: “А что, сегодня будет интересное заседание?”

“Интересное” — это значит: будет ли какой-нибудь скандал? Если не предвидишь скандала, то пропадешь со скуки.

И это действительно правда. Заседания палаты, вообще, можно разделить на две категории. Есть вопросы деловые, те, которые, собственно, и нужны стране: нужно провести железную дорогу, канал, установить налог, сделать льготу рабочему или крестьянину, произвести улучшения во флоте, армии и т. д. Есть вопросы партийного интереса, которыми иногда являются и первые, но чаще — что-нибудь совсем ничтожное, какая-нибудь амнистия десятка анархистов или какая-нибудь мелочь, так или иначе задевающая личность министра, президента, того или иного *chef* а партии.

Как решают вопросы чисто деловые, для страны жизненные? Зала пуста. Депутаты либо в коридоре, либо вовсе отсутствуют. Вопрос — “в комиссию”! Таких вопросов наберется штук пятьдесят, и затем они решаются гуртом. Входят докладчики с кипами бумаг, спешно и сокращенно читают доклады. В это время депутатский амфитеатр имеет красноватый фон. Сюртуков мало, они не покрывают красного сукна кресел.

“Решено”, “принято”, “отвергнуто” — все это в пять-шесть минут. За час-два решат вопросов тридцать — сорок.

Все скучно, тихо, невнимательно. Да и действительно не из-за чего быть оживленным. Огромное большинство ничего не понимает в вопросе. Заинтересованы в нем немногие. Депутат, которому по обязательствам перед избирателями нужно, чтобы такая-то линия была построена, или

попадет в комиссию, или вообще похлопочет о деле у вожаков партий. Обсуждать в палате некому, да и вопрос “неинтересный”.

IV

Но зала сразу изменяется, когда является нечто затрагивающее партийный интерес, нечто способное скомпрометировать противников, дать популярность своим, особенно очистить министерские места для новых кандидатов. Тут зала вся черная как уголь. Красные полосы исчезают. Все в сборе.

Лица оживленные. Прения бурные. Все способности напрягаются. Раздаются страстные, демосфеновские речи, перлы ораторского искусства. Общее электричество невольно сообщается и вам, уже скептически, уже даже презирающему эту толпу якобы представителей национальной мысли и гения. Увлекаешься, как в театре, невольно следишь за искусными маневрами фехтовальщиков слова и голосования, и когда какой-нибудь Клемансо своей отрывистой, полной нервной силы речью успевает до того одурманить толпу, что самые противники неожиданно для себя дают ему сотню голосов, — невольно любишься им. Молодец, ловкач! Ведь как обошел!

Жалкое зрелище, когда очнешься из гипнотического состояния и, выходя на набережную, вспомнишь, какую, однако, нелепую вещь поставило собрание представителей национального гения. Много таких сцен перевидал я в *Ratals Bourbon* в то время, когда еще изменниками и ворами были не Рувье, не Флоке с Клемансо, а другие, ими тогда обличаемые и ниспровергаемые, те, которые тоже раньше обличали и ниспровергали других своих предшественников, тоже имели свою эпоху славы “спасителей отечества”. Спасали ли они все когда-нибудь отечество? Были ли они когда-нибудь злодеями и изменниками? Какой вздор! Ничего этого не было, был просто *парламентаризм* как он есть, как он будет до тех пор, пока наконец не исчезнет под напором не общего презрения, давно уже достигшего полной степени зрелости, а движения, до сих пор оказывающегося невозможным по отсутствию личности, около которой могло бы оно сомкнуться.

V

Теперь Дерулед [21] кричит в палате “Долой парламентаризм!”. Этот крик, эта идея — несомненно, самая популярная, самая национальная в современной Франции. С тех пор как я знаю Третью республику — это настоящая мысль нации.

Мы смотрим со стороны, они переживают. Это разница. наших свободолюбивых россиян теперь приводит в сомнение и недоумение панамское дело. А ведь у французов таких Панам уже было немало, и свой парламентаризм они знают не из газет, а видят его вплотную, участвуют в нем. Нельзя же требовать от них такого полного отсутствия здравого смысла, чтоб они не видали тех депутатов, которых избирают, тех франков, которые получают и раздают на выборах, тех взаимных подвохов, в которые превратилось “правление” страны? Мы в панамском деле видим только колоссальные злоупотребления. А французы не могут не видеть гораздо худшего: страшного понижения не людей (это бы еще не беда), а самой правительственной идеи, той работы, которую всякий народ ожидает от правительства и при неисполнении которой приходится неизбежно задать себе анархический вопрос: “Для чего же тогда правительство?”

С этой точки зрения “панамские скандалы” приобретают самое поучительное значение.

VI

Злоупотребления людей политиканского слоя нигде, а тем более во Франции, никогда особенно не могут удивить. Правда, в данном случае злоупотребления поражают даже по размерам и потому, что подозрения захватывают не запятнанные доселе имена. Но гораздо хуже понижение самой идеи правительства, до которого довел парламентаризм, по данным панамского скандала.

Злоупотребления везде возможны. Но правительство, конечно, обязано прежде всех усмотреть за этим само (ибо кому же ближе видеть?) и само, по собственному сознанию долга, обязано принять меры к прекращению зла и наказанию виновных. При таких условиях злоупотребление лиц не компрометирует учреждения. В данном случае все вышло наоборот. Злоупотребления гигантских размеров, совершавшиеся с ведома правительства, открываются только тогда, когда уже карманы народа опустошены и банкротство спекуляторов становится совершившимся фактом. Подкуп журналистов и депутатов открывается частными лицами, и притом интригой. Тут только, когда уже вся страна кричит, правительство соглашается наконец принять меры “наказания”, очевидно, не по желанию исполнить долг, а ради того, чтобы удержаться на своем месте. Объяснения правительственных лиц в этом отношении изумительны.

Самое указание виновных суду и общественному мнению совершается способом, вызывающим недоумение. Обличения производятся людьми, которые, однако, прежде чем говорить, должны бы иметь разрешение на открытие профессиональной тайны. Это отчасти касается Андрие и в еще большей степени относится к тому, кого общественное мнение считает закулисным подстрекателем всей кутерьмы. Констан, как бывший министр, может, конечно, знать многое, чего открывать не имеет права. И, однако, говорят, именно он вооружает оппозицию своими секретными сведениями. Комментарии прибавляют, что он при этом имеет личные виды. Стремясь к президентству, он будто бы желает дискредитировать соперников, то есть всех видных людей республики. Во всяком случае, обличения возникают частным, даже подпольным путем. Правительство соглашается наказать виновных, только будучи к тому принуждено, оно как бы жертвует ими. При этом оно объясняет самолично, что о злоупотреблениях знало и до тех пор, пока его не принудили, не считало нужным принимать никаких мер. Другими словами, это означает, что правительство не видело в этих фактах ничего необычайного, ненормального, ничего такого, против чего должна вооружиться власть.

И на беду, такие понятия о долге парламентарного правительства раскрываются народу не кем иным, как Флоке, без сомнения, лучшим представителем парламентарной идеи, человеком из тех, которые по всем качествам своим являются представителями строя в глазах народа.

VII

Флоке родился в сорочке. Он всем одарен для успеха. Он умен, его репутация всегда была чиста. Он необычайно показной человек.

Самая наружность его счастливая, соединяющая приветливость и величественность, напоминая нечто королевское и даже близкое народу французско-королевское, бурбонское. Карьера без задоринки — если не считать юношеского “Vive la Pologne”, в конце концов для француза очень извинительного. Речь неглубокая, но блестящая, самоуверенная; редкая способность моментальных ловких возражений. Работник неутомимый, не теряющий от труда ни веселости, ни бодрости и при всех занятиях находящий время для гостей и постоянного упражнения в фехтовании; все это одинаково необходимо для парламентарного законодателя: вчера словесно разбил генерала, сегодня утром должен с ним драться, а к двенадцати часам явиться на открытие памятника Гамбетты. Он все успевает сделать вовремя. В десять часов пырнул шпагой в горло Буланже, к двенадцати во всем параде, свежий и веселый

открывает памятник, словно он не на дуэли дрался, а мимоходом выпил рюмку коньяка. Не забыл даже опоздать на пять минут, чтоб иметь случай скромно извиниться:

“Занят был неотложным делом”. Его, конечно, встречают шумными аплодисментами. Никто не умеет принять у себя так мило и “по-барски” (что ужасно ценится демократической Францией). Никто не дает лучших вин. Вообще — человек на все руки. При этом хотя радикал, но в меру, и прежде всего — француз. Если республика имеет не партийного, а государственного выразителя, то это, конечно, Флоке. Так думает всякий. И вот такой человек, защищаясь от обвинений, открывает народу, что такое в его лице парламентское правительство. Он, как и его сотоварищ Рувье, тоже министр, далеко не из мелких государственных людей республики, совершенно не стесняясь, сознаются, не подозревая, что этим они пятнают себя как правителей страны, что они вполне знали о подкупах. Правда, они говорят, что “Панамская компания” производила раздачу денег не депутатам, а журналистам, в качестве *publicite*. Но объяснение это совершенно равносильно признанию подкупа депутатов. Пресса и *Palais Bourbon* с Люксембургом связаны тесно, неразделимо и открыто для всех. Нет влиятельного органа печати, который бы не имел если не директора, то главных редакторов из депутатов, нет влиятельного вожака без газеты. Рувье говорит, что раздача происходила “общая”, “не одной какой-либо фракции республиканских газет”, а всем. Это сознание громовое. Значит, “Temps”, “Republique Francaise”, “Justice” и т. д., по сведениям правительства, получали деньги. Но как же отделить в Клемансо, Рейнахе и т. д. директора газеты от депутата? Допустим, что Клемансо-журналист получал деньги в качестве *publicite*, но что значат эти деньги для Клемансо-депутата? Только подкуп, и больше ничего. И это касается десятков наиболее влиятельных депутатов, которые одновременно и журналисты или прямо заинтересованы в делах газет. В самом деле, Клемансо, как редактор “Justice”, и ряд его товарищей — Мильеран, Пишон и т. д. — не могут издавать газеты без денег финансиста Герца. Без “Justice” и вся фракция радикалов остается как без рук. И так, они все, как парламентская группа, нуждаются в деньгах Герца и получают их, по собственному осознанию... теперь, когда нельзя уже молчать. Прежде денежное участие Герца, известное в среде политиков и журналистов, тщательно скрывалось от публики.

Прекрасно. Но, стало быть, все они, как парламентская группа, прямо заинтересованы в том, чтобы финансист Герц не разорился, а преуспевал. Разорись Герц — “Justice” погибает. Читателями ни одна политическая газета Франции не существует и не может существовать. Кто же при таких условиях поверит, чтобы радикалы не поддержали

своими голосами в парламенте таких предприятий, от которых зависит благосостояние Герца? Очевидно, это непременно сделают из партийного интереса даже те, которые остаются лично честными.

Итак, признания Флоке и Рувье в открытой и общей раздаче панамцами денег журналистике есть прямое сознание в подкупе депутатов. Правительство это знает, но ему даже в голову не приходит принимать какие-либо меры для прекращения зла.

VIII

Флоке, положим, принимал меры и заявляет об этом с некоторой гордостью, с убеждением своей правительственной правоты. Но какие же это меры? Хуже, чем никакие. Прекратил ли он “общую раздачу денег” газетам, имевшую очевидной целью выманить из карманов миллионов семей миллиарды их кровных сбережений на сомнительное предприятие? Нет, заботы парламентского правительства не заходят так далеко. Прекратил ли он раздачу денег хотя тем газетам, в которых этими деньгами подкупались депутаты? Об этом не является и мысли. Флоке подумал лишь об “общественной безопасности”, о господстве своей партии, он “вмешался” только в “распределение”. Он лично “ничего не требовал и не получал”, но как министр считал долгом не допустить, чтобы деньги, раздаваемые компанией, пошли исключительно на усиление оппозиционных газет. Стало быть, он понимал, что деньги, назначенные на *publicité*, имеют в действительности и политическое значение. Да и какой ребенок этого не поймет!

Сопоставляя признания двух министров, получаешь один вывод: благодаря вмешательству правительства получилось “общее распределение”, а не какое-либо “тенденциозное”. Де Берни имел право формулировать: значит, французы давали деньги на канал, а они пошли частью на развитие буланжизма, частью на борьбу против него! Краски положены густо, но картина — невыдуманная. Такова широта “национальных” помышлений правительства.

Но этого мало. Флоке считал долгом, говорит он, “вмешаться” в “распределение” денег. А Рувье рассказывает, что “для защиты республики” должен был брать деньги у частных лиц. Один раз “лично для себя”, то есть взял “лично”, однако не на свои потребности, а “на поддержание уличного порядка” (против буланжистской демонстрации). Как частный человек, у частных людей он берет деньги для того, чтобы в качестве министра платить своим полицейским или, может быть, тем, кто должен был изображать “толпу”, кричавшую против Буланже, точно

также, как сторонники генерала нанимали другую “толпу” для криков за Буланже. В конце концов, не разберешь, имел ли, однако, генерал против себя правительство Франции, шел ли он против правительства Франции или против таких же, как и он, частных людей. Деньги, “лично” занятые на “охрану уличного порядка”, министр отдает затем из секретного фонда. Другой раз он занимает суммы у частного человека, но уже “для правительства”, и из-за этого возникает каким-то мудреным способом личная сделка двух финансистов. Где тут правительство? Где биржа? Рувье заявляет республиканским депутатам, отдающим его теперь на заклятие: “Если бы вас не защищали, вы не сидели бы теперь на этих скамьях”. Это очень может быть. Но Франция не может не подумать: “Тут шла потасовка между какими-то партиями, группами, частными лицами... Но, господа, где же было мое правительство, правительство, которое охраняло мой интерес, а не скамьи для той или иной фракции депутатов?”

IX

Этого “правительства Франции” настолько не было, что самый вопрос о нем стал уже “бунтовским”, “возмутительным”. Гамбетта, единственный “великий человек” Третьей республики, по первым же шагам ее почувствовал то, о чем через десять лет стала догадываться страна. Он хотел создать в республике “министерство Франции” — и немедленно был низвергнут. Он мог властвовать как партийный вожак. Но как только вспомнил, что нужно правительство Франции, все парламентские группы сплотились против него не менее единодушно, нежели против “Катилины” Буланже. И, однако, неужели это так преступно — находить, что нация имеет нужду в правительстве и даже что всякое другое правительство, кроме национального, есть узурпация?

Рассказывая о своих “делах”, Рувье бросает правой стороне вызов:

“Вспомните историю царствований, столь близких вашему сердцу, и вы найдете еще не такие дела”. Это большая ошибка, которая обнаруживает лишь, насколько у “парламентариста” исчезло уже понимание того, что такое правительство.

“Дела” могли быть. Могло быть нарушение долга, злоупотребление. Но неправда, чтобы какой бы то ни было монарх, даже Луи Филипп [22], “лучшая из республик”, или Наполеон III [23] могли когда-либо забыть до такой степени свое значение национальных правителей.

Никогда ни один монарх не осмелился бы заявить публично, что пред лицом гигантской спекуляции, охватившей карманы чуть не поголовно всех его подданных, он подумал только о “равномерном” распределении сумм, назначенных на обман народа или на подкуп депутатов. Ни один монарх, как бы ни пал он низко, не опустится до такого понимания “общественной безопасности”, до которого дошел лучший парламентарный деятель. Фактически никогда, даже при Луи Филиппе, не было стольких *madame* Лимузен, Вильсонов и Панам. Но если нечто подобное являлось по злоупотреблению, по личной безнравственности или слабости правителя, то идея правительственного долга все же соблюдалась хотя по наружности и оставалась не искаженной до воцарения лучшего правителя. Так бывало в самых плохих случаях — когда народ обыкновенно приходил в негодование и возмущался.

А парламентаризм после неслыханных примеров злоупотреблений, сверх того, заявляет стране, что и самая идея долга национального правительства для него не существует, что он понимает только партийное правительство. Легко ли это переварить народу, особенно воспитанному в понятиях своего “самодержавия”, своей “верховой воли”?

X

Ж.-Ж. Руссо, пророк демократии, еще в 1762 году предвидел то, чего нынешние поборники демократии не замечают после столетнего опыта.

Выясняя условия, необходимые для проявления народной воли, Руссо настойчиво предостерегает против: 1) *представительства* (которое, по Руссо, в самой идее есть обман), 2) *существования партий*, 3) *агитации*, к чему-либо склоняющей народ. Эти три язвы он клеймит всею силой своего неподражаемого негодования, замечая, между прочим, что при господстве партий “народная воля более не существует и осуществляемое мнение есть *мнение частное*”.

Частный характер, налагаемый на государство парламентаризмом, действительно бьет в глаза. Развитая парламентарная страна создает строй какой-то своеобразной олигархии, при которой *raison d'Etat* понижается до последней степени и интерес *лиц* вырастает до степени, напоминающей “правление” разных Орсини и Колонна, если не прямо среднеазиатских ханов.

Во многообразных эпизодах известного дела Вильсона был, помню, любопытный случай с депутатом Порталисом (редактором

«Девятнадцатого века»). Положение было таково. С одной стороны — Вильсон, депутат и делец, с другой — Порталис, депутат и тоже не без “дел”. Обвинения против Вильсона, торговавшего патентами на ордена Почетного Легиона, уже возникли, но еще не выросли до степени очевидности. Правительство, как ныне в панамском деле, вообще очень желало потушить возникающий скандал, но силы на это не имело. В такой-то момент, когда еще возможно было ожидать что скандал как-нибудь затихнет, явился Порталис. Какие у него были расчеты, это все равно, но он взял на себя ту роль, которая в нормальном правительственном строе должна бы принадлежать полиции и судебному следователю. Его квартира, его редакция превращаются в какую-то канцелярию дознания по делу Вильсона. Порталис сосредоточивает у себя множество сведений по продаже орденов, а еще больше кричит о своих сведениях. “Девятнадцатый век”, конечно, раскупается нарасхват, а в палате дотоле незаметный Порталис становится персоной, по крайней мере все им интересуются, все с ним и о нем говорят.

Что делать с этаким беспокойным человеком? Сам по себе Вильсон не важен, но он зять президента республики. И вот происходят совершенно невероятные явления.

Два раза подряд воры проникают в квартиру Порталиса, причем, оставляя без внимания столовое серебро, роются исключительно в бумагах, из которых кое-что и похищают. Порталис громко кричит, обвиняя в воровстве правительство.

Надо заметить, что как ни подозрительно само по себе все происшествие, из него *пока* еще не вытекают неизбежно подозрения против правительства. Парламентарный режим, при котором ряд лиц нуждается в средствах подсидеть друг друга, скомпрометировать врага, развил своего рода промышленность так называемых *petite papiers*. Письмо, записка, заметка влиятельного министра или депутата X охотно будут куплены депутатом Y. Многие накапливают у себя целые коллекции таких документов, которыми и держат в руках противников и при надобности подставляют им ножку. Это политический шантаж, вполне вошедший в обиход партийной борьбы. Поэтому вор, которому бы попались такого рода “полезные” *pefits papier*, может за них выручить, пожалуй, более, нежели за серебро.

Но странно вот что: второй раз слуги Порталиса, заметив подозрительных людей и уже проученные первой попыткой, предупредили полицию, и полиция... *никаких мер не приняла*. Итак, Порталис имел право заподозрить правительство.

Особенно дорожил он одним вильсоновским чеком, которого воры не нашли, и для верности, на случай похищения, принес в палату, показывая его всем депутатам, чтоб иметь хоть свидетелей. Осторожные замечали ему: “Mais vous voulez vous faire assommer” (“Вы хотите, чтобы вас убили”). Порталис, видимо, еще не шел так далеко в подозрительности и отправился домой безо всяких предосторожностей. На перекрестке двух улиц он вдруг слышит топот бегущего за ним человека. Он не обращает внимания, как вдруг получает оглушительный удар в затылок. Чем? Это осталось, помнится, невыясненным. Как бы то ни было, преступник поскользнулся, удар пришелся неверно, и оглушенный Порталис устоял на ногах. Преступник, видя, что придется бороться, моментально бросается бежать, однако Порталис имел силы крикнуть, подоспели прохожие. Все дело было испорчено.

Преступник, сначала упорно скрывавший имя, оказался неким Зюльфа, профессиональным жуликом. Дознание, которое как-никак принуждены были произвести, выяснило, что какой-то хорошо одетый господин зашел в один кабацкий вертеп, где находился Зюльфа, и дал ему хорошие деньги (не помню сколько, но давал раза два, кажется), с тем чтобы напасть на Порталиса. Господин этот остался не разысканным, мотивы найма разбойника остались в тумане, и все дело погашено было в громких скандалах, быстро набравших тогда на “политическую” жизнь Франции.

Разбирательство дела уже возбуждало мало внимания. Однако в первые дни после покушения общее мнение, разделяемое и Андрие, было таково, что это дело полиции. Андрие, по рассказу Порталиса, объяснял ему это и хотя опроверг потом публично, но в таких неясных выражениях, что, читая его “опровержение”, всякий получает из него скорее “подтверждение”. Да и конечно: *не зная* личностей “преступного Парижа”, как адресоваться к неизвестному оборванцу с таким опасным предложением? А какой же “хорошо одетый господин” знает “Paris soure gorge” так близко, так лично? Только предполагая полицейские *совет и указание*, можно объяснить себе эту темную историю. Да и Зюльфа, видимо, запыртался и заметал следы своего нанимателя.

Вот какие средневековые делишки воссоздает парламентарное государство XIX века.

XI

Возьму другой случай, менее важный, но, пожалуй, еще более, так сказать, *приватный*.

Решаясь на такую меру, как устранение *военных* от заведования военным министерством, правительство республики в 1888 году имело лишь одного человека, назначение которого военным министром скольконибудь примиряло армию и Францию с неслыханным риском, которому интерес “республики” подвергает в этом случае интересы *Франции*. Этот человек — Фрейсине [24], не военный, но имеющий репутацию сведущего в военном деле. Однако способность “статского” кандидата к военному делу была заподозрена депутатом графом де Мартемпре, который доказывал, что сражение при Божанси 8 декабря 1870 года было потеряно благодаря распоряжениям Фрейсине. Генерал Камо, по разъяснению графа де Мартемпре, намеревался, согласно распоряжению генерала Шанзи [25], защитить Божанси, но Фрейсине формально приказал очистить местность, отчего и последовала потеря битвы.

Фрейсине всходит на трибуну и заявляет, что ничего подобного не было.

В это время Шанзи уже умер. Но генерал Камо еще оставался жив. Заинтересованный вопросом, г-н Альфред Дюке вступает в переписку с генералом, узнает, что у него есть депеша Фрейсине 1870 года, вследствие которой генерал очистил Божанси, просит показать ему эту депешу. Генерал Камо отправляет документ *заказным письмом*, и письмо — увы и ах — неизвестно где пропадает. Документ исчез.

По поводу этого странного исчезновения, конечно, в палате был запрос, министр отвечал, что это до него не касается. Он стоит выше подобных подозрений. Если же почта затеряла заказное письмо, генерал Камо может представить квитанцию и законно требовать вознаграждения. Уж не знаю, требовал ли он свои законные 25 франков за пропажу письма, но, во всяком случае, документ исчез для истории и для противников статского министра военных дел.

Я вовсе не хочу придирается к парламентскому строю. Вполне понятно, что всякое правительство может иметь *государственную* надобность заставить замолчать частного человека. Но в строе серьезном, когда правительство действительно есть выражение власти нации, оно облечено правом открытым, откровенным, не принужденным унижаться до частного подвоха. Здесь же у правительства такого права нет и быть не может, потому что при непрерывной смене господствующих партий невозможно давать *их* правительствам подобных прав. Тогда действительно в стране житья не будет, если каждая партия поочередно начнет практиковать власть “нации” друг над другом, одни противники над другими.

А в то же время, как бы ни было эфемерно и бесправно партийное правительство, ему нужно существовать свои немногие дни власти. Оно и пользуется *фактической* силой для действия *частного*, подпольного. Нельзя заставить Порталиса или Камо уважать “государственный интерес” Вильсона и Фрейсине, да и какой же это “государственный интерес”? Поперхнешься самым словом. Но можно фактически подыскать Зюльфа, можно следить за Камо и перехватить его письмо, что и делается. Плоскость наклонная, внизу которой так и чуются яд и кинжал олигархий. Общественное мнение едва ли было бы удивлено появлением этих орудий “политической борьбы” и уже подозревает *отравление* в неожиданной смерти Рейнака [26]. Допустим, что подозрения фантастичны, но они рисуют настроение народа и его оценку того “самодержавия”, которое ему дает парламентаризм.

У нас плохо понимают все это, потому что мало знают *практику* парламентарного механизма, в которой все это является совершенно логично, шаг за шагом, как неизбежное последствие основного принципа.

XII

В *Palais de Justice* происходит “панамская” переборка. В *Palais Bourbon* новое министерство. Необходимо, говорят, взять новых людей, чтобы до власти, как до жены Цезаря, не могло коснуться и подозрение. А старые люди, как маятник, качаются между *Palais Bourbon* и *Palais de Justice*. Флоке утром сдал должность, а в полдень уже приглашен в камеру судебного следователя. Комедия судеб парламентарных! И эти люди хотят, чтобы до власти, как до жены Цезаря, не смела коснуться самая клевета!

Но где же найти таких удобных граждан, которые бы не сообразили, что если Флоке приглашается в камеру судебного следователя, то чрез год туда могут быть приглашены и нынешние незапятнанные “новые люди”?

Обновление этим не кончается. Палате осталось жить всего несколько месяцев, наступят выборы, и нации будет предоставлено вручить свои судьбы еще более новым людям, еще более незапятнанным уж хотя бы по одному тому, что они отроду никогда ничего не делали.

Общая чистота будет сверкать белизной все время... до ближайшей вильсоновщины или Панамы.

Но не проще ли было бы просто прекратить нынешнюю Панаму, объявить ее даже патриотическим делом, а “пострадавших” — невинной жертвой клеветы? Такой оборот был бы менее хлопотлив, а для нации и

республики от него не больше вреда, чем от назначения новых, незапятнанных людей, потому что нынешние люди, право, ничем не хуже будущих.

Беда вовсе не в людях, а в тех условиях, которые отнимают у парламентарного правительства характер национальный и делают его правительством партий, давая тем чрезмерно широкий ход всем частным интересам, а стало быть, и злоупотреблениям.

Продолжим разбор этих условий.

XIII

Собственно говоря, принцип народной воли требует *прямого народного правления*. Принцип и при этом условии не давал бы никаких хороших результатов. В Швейцарии есть право апелляции к народному голосованию (*referendum*) и предоставление утверждения основных законов *прямо* всенародному голосованию. Никаких полезных последствий от этого для разумности закона не происходит. Да и практиковать такую роскошь демократизма возможно лишь при больших оказиях. В сущности, это принципиное “баловство”, а не серьезный ресурс законодательного устройства.

Но самое главное — что это за “народная воля”? Где, в чем она *реально* существует? Народ твердо хочет одного: *чтобы дела страны шли хорошо*. Народ, исторически живший, составляющий нечто сплоченное, отличное от соседей, еще не разбившийся на непреодолимо враждебные группы, имеет еще другую волю: чтобы дела страны шли в *известном духе*, к которому он исторически привык и которому доверяет.

А засим в бесчисленных частных случаях, из решения которых слагается правление страны, народ не имеет никакой воли, разве по экстренным случаям — вроде мира или войны или вручения своего спасения такому-то популярному лицу. Немногими подобными случаями все и исчерпывается. Но собственно в текущих вопросах правления народной воли *нет*. Как иметь волю в отношении того, о чем я не имею и понятия? В каждом вопросе немногие смыслят хорошо, немногие кое-что, а 99/100 — ровно ничего. Комбинации знающих и незнающих меняются. По одному вопросу понимает Иван, а Федор нет, по другому Федор смыслит, а Иван нет. Но в каждом случае имеется громаднейшее большинство, которое ничего не понимает и никакой другой воли не имеет, кроме того, чтобы все было хорошо.

От этого-то большинства требуют, чтобы оно высказало свое мнение и свою волю! Но ведь это просто комедия, и притом вредная.

Понимающих данный вопрос, положим, сто человек, а не понимающих — несколько миллионов. Требовать решения большинства — значит лишь утопить сто знающих голосов в сотнях тысяч ничего не смыслящих!

Народ, говорят, может послушать знающих; ведь он хочет себе добра. Конечно. Но знающие люди — это люди, во-первых, занятые делом, почему именно и знакомы с вопросом; во-вторых, они упражняют свои способности вовсе не в красноречии, не в технике агитации. По части искусства одурачивать толпу, льстить ей, угрожать, увлекать ее — по части этого губельного, ядовитого искусства агитации люди дела *всегда* будут побиты теми, кто специально посвятил себя политиканству. В политиканы подбираются люди специально, по природным способностям пригодные именно к этому ремеслу; свои способности они затем упражняют, наконец, они сбиты в *партию*, дружно действующую. Как же против них бороться человеку дела? Это невозможнейшая вещь, и в действительности народ, поставленный в такое положение, *всегда* идет не за знающими, а за искусными в политиканстве. Он играет преглупую роль и не может из нее выйти, хотя бы даже вполне сознал свое глупое положение. Я, например, вполне понимаю роль политиканов и презираю ее, но если бы меня заставили подавать голос за меры, которые я лично не способен *сам* взвесить, — конечно, нимало не сомневаюсь, что был бы одурачен, и люди *ловкие* заслонили бы от меня людей *знающих* и *честных*.

Такова *действительность* народной воли. Она есть игрушка ловких людей даже в том случае, если мы имеем *непосредственное* правление народа. Но непосредственное правление народа сверх того практически невозможно. Нельзя его собрать, нельзя и превратить весь народ в законодателей. Надо же кому-нибудь и хлеб сеять и на фабриках работать. Наконец, у каждого есть своя личная жизнь, которая ему дороже политики. Вообще, приходится прибегнуть к *представительству*.

Теоретически это — бессмыслица. Передавать свое *право* гражданина можно. Но передавать *воли* своей нельзя. Ведь я передаю ее на будущее время, для будущих решений, по вопросам, которых еще нет. Стало быть, выбирая депутата, я ему даю право выражать ту мою волю, которой и сам еще не знаю. Выбор представителей имел бы осуществимый смысл только в том случае, если бы я передавал свое право гражданина, то есть просто бы говорил, что данной личности доверяю вести мои политические дела и в чем он законно поступит — спорить и прекословить не буду до конца срока полномочий. Но такая передача самого права самодержавия народа есть идея *цезаризма*, а не *парламентаризма*. Парламентаризм требует от страны *представителей*

ее воли, мнения, желания, то есть вещи невозможной, явного обмана. Посылая своих депутатов, страна от своей воли на срок их полномочий не отказывается. Если, например, наш депутат, хотя Ферри [27], по глубокому убеждению, считает нужной Тонкинскую экспедицию, а мы, избиратели, ее не желаем, то, по смыслу теории, Ферри должен отказаться от депутатства. Если президент республики полагает, что его палата не выражает воли страны, он ее распускает и требует от страны новых представителей. Требует выразить именно *волю* страны!..

Итак, предлагается стране сделать выборы. Кого же она пошлет?

XIV

Прежде всего, еще вопрос: кто захочет пойти?

В экстренных случаях, когда требуется спасение отечества (в 1612 году в России, в 1789 году во Франции, в 1871 году там же), вообще в случаях экстренных, требующих временного и притом очень необходимого подвига, самопожертвования, конечно, захотят пойти лучшие люди, представители не той *воли*, какой требует демократическая теория, а *духа и способностей* страны, ее *гения*, — на помощь отечеству явится цвет нации. Он выразит *дух* нации, максимум ее способностей; поэтому толпа в подобных решениях признает не свою *волю*, а свой *идеал*, не то, чего она может хотеть собственным бедным рассуждением, а чего она хотела бы, если бы была умна. Этот ум она оценивает (ибо он в ее духе), признает решения, поддерживает их. Но это *торжественные* моменты истории.

Во время простого *правления*, ведения дел ничего подобного не происходит и не может происходить. Цвет нации — действительные представители ее гения, ее величия заняты *своим делом*: ученый, медик, техник, фабрикант, земледelec — все находятся при своем деле и его не бросят, потому что любят его, вкладывают в него всю душу. Они только потому и *лучшие люди*, что имеют это чувство. В обычное время представители гения нации не пойдут в депутаты, особенно парламентарные. *Парламентский* депутат обязан выражать *чужую* волю. Для человека со *своими идеями* это вовсе не соблазнительно, даже противно. Он пойдет в *Учредительное собрание*, но не в парламент. Он лучше останется при своем деле и при своих идеях. Сверх того, для представительства воли нации нужно *много* людей. Депутатов должна иметь каждая местность, и их набирается много сотен. Если их труды оплачивать по высшей мерке, какую зарабатывает *выдающийся* человек страны, это будет страшно дорого для нее, да и непопулярно, потому что

массы любят дешевое правительство. Итак, приходится платить, как во Франции, очень среднюю сумму — депутату палаты 20 франков в день, сенатору — 25 франков. Итого — депутат заработает 7000 франков в год. Работа его для всякого способного человека, имеющего свои любимые идеи, крайне неприятна. Вознаграждение же, собственно, ничтожное. Какой же порядочный медик, художник, фабрикант не заработает на любимом деле 10 000 франков и более! Порядочный приказчик заработает те же 7000 франков, да еще не отрываясь от дела, которое растет и к старости подготавливает ему и его семье, может быть, даже богатство. Составить карьеру на депутатстве, конечно, можно, но или нечестными средствами, или во всяком случае немногим лицам. Министерские места за десять лет занимают какие-нибудь сотни две человек попеременно, остальным тысячам депутатов нечего и мечтать о министерстве. В общей сложности для человека, способного пробить себе дорогу на чем-нибудь более полезном, значение депутата не соблазнительно. Притом оно требует таких *внешних* способностей, которых у большинства лучших людей не бывает. Нужна бойкость речи, пронырливость, способность к интриге, неглубокие убеждения. Такие люди и подбираются на ремесло представительства.

На выборах они легче всего пройдут, даже *в первый раз*, когда еще нет сплоченных партий. Но партии эти уже давным-давно сложились — тоже по необходимости. Так как общей народной воли по текущим делам правления *нет*, то приходится ее сочинять для народа, убеждать его, а это легче и удобнее делать, разложив всю сложную национальную жизнь по отдельным элементам, принципам и затем из каждого, логическим выводом, построить *программу*. Сложное целое трудно понять избирателю, который, как средний человек, не очень обширного ума и знаний. Когда же ему представят упрощенную партийную программу — она его осеняет и заставляет думать, будто он все понял. Конкуренция же искателей депутатства заставляет выдумывать такие программы, для которых даже и оснований нет в действительной жизни. Иначе почему же я буду рекомендовать народу выбрать именно меня, а не моего конкурента? Нужно представить что-нибудь особенное, что бы меня отличало от других.

Партии, программы, таким образом, обязательно возникнут, сочинятся, хотя бы национальная жизнь еще была *цела*. Политиканы непременно расчленят ее сперва в программах, а потом — их же деятельностью — расчленение национальной целостности жизни будет по мере сил укореняться уже и в действительности.

В настоящее время во Франции эти партии уже имеют столетнюю историю. Они сплочены, действуют дружно. При этом условии *непартийному* человеку, человеку из народа, самому по себе даже немисливо баллотироваться. Этого просто нельзя вообразить. Если меня не выдвинет какой-либо избирательный комитет, о моей кандидатуре народ и не узнает. Как я ему это заявлю? Сверх того, если б, имея большие средства, я начал сам за себя агитировать, то все партии дружно меня задушат, даже не серьезно, а просто засмеют. Такие шутки, как внепартийная кандидатура, позволяют себе иногда анархисты, но, конечно, не серьезно, а так себе — от нечего делать, для забавы. А вообще, претендуя на депутатство, я должен примкнуть к какой-нибудь партии. Меня проводит не народ, а моя партия. Ей я всем обязан, от нее завишу, с нею должен сообразоваться. Народ — для избирающегося — последнее дело. Его нужно *побудить* подать голос, а вовсе не *узнать*, какой у него голос. Избирательная кампания — это *охота за голосами*, а ничуть не опрос народа. Зайца не спрашивают, желает ли он попасть ко мне на стол, а ловят; его собственными желаниями интересуются лишь для уяснения — *как* именно его можно наилучше поймать. Так точно интересуются и народом на выборах.

И вот кандидаты выдвинуты. Шум, треск, стены, оклеенные прокламациями и именами, разъезды, конференции, ложные слухи, взаимные клеветы, громкие слова, обещания корыстные, обещания сознательно ложные, подкупы и т. д. Народ шалеет: и раньше он мало понимал, а теперь уже и вовсе ничего не соображает. Величайшее искусство этой охоты не в *предварительном* подготовке народа, а в каком-нибудь заключительном *surprise*, который срывает голоса в последнюю минуту, не давая уже времени передумать. Наконец торжественная минута настала, голоса отобраны, подсчитаны, “народная воля” “сказала свое слово”, и *представители* нации собираются в *Palais Bourbon*.

XV

Что происходит дальше? Во время выборов с избирателями приходилось все-таки считаться. Но, получив голоса и собравшись в палате, представители народа могут совершенно позабыть о нем вплоть до приближения следующих выборов. За все это время они живут исключительно своей партийной жизнью, развивая все качества кружковщины. Действительные обязанности депутат, в теории представляющий волю избирателей, имеет только в отношении своей партии. Бывают случаи, что избиратели под влиянием каких-нибудь

вакантных политиканов — претендентов на будущие места забушуют. Тогда для влиятельного депутата оказывается нужным, как говорится, дать отчет избирателям. Это неприятная трата времени, которой подчиняются со всеми бесцеремонными приемами избирательной борьбы. Клемансо, выбранный Парижем, при мне раз давал такой отчет. Избиратели — не помню, кажется, Монмартра или вообще одного из подобных буйных округов — были настолько возбуждены против Клемансо, что скандальные сцены были неизбежны. Что же делает депутат? Он избирает для своего объяснения день годовщины Коммуны, когда весь революционный Париж во всем параде красных знамен, венков и зажигательных речей стекается на кладбище Пер-Лашез, к *tige des federes*, месту массового избияния коммунаров. Само собою разумеется, в зале объяснений Клемансо собрались только мирные элементы. Все обошлось чинно, благородно, и радикальный вождь с гордо поднятой головой явился на следующий день в палату!

Бедный Гамбетта, веривший в народ, в аналогичных обстоятельствах пытался — в том же, помнится, округе — *честно* объяснить и был встречен таким скандалом, что с трудом был выведен задним ходом, недоступным для неистовства толпы. “*Laches esclaves!*” (“Подлые рабы!”) — крикнул он в лицо “гражданам”, которых “волю” представлял. А в сущности, право, “подлые рабы” ничуть не виноваты. Вольно же теории требовать невозможного и, отдавая толпу на жертву агитаторам, ожидать от нее пронизательности и спокойствия мудреца!

Эти маленькие эпизоды “отчетов” не составляют ничего существенного в жизни парламентариста. Для опытного политикана, который вместе с Рошфором говорит: “Мы знаем, как делают народную волю”, эти объяснения не представляют ничего опасного и ни на волос не отвлекут его от настоящей, действительной его политики — в зале заседаний, коридорах палаты, в своей редакции или клубе. Настоящая жизнь депутата — там. Там еще сердце, обязанности, надежды. Партия держится дружно. Покинуть ее по каким бы то ни было причинам — прямая подлость. Выйти из партийной дисциплины — измена весьма рискованная. Партия своих людей везде и во всем поддержит. У нее свои журналы, собрания, вожаки. Все, что вне ее, рассматривается как чуждое, враждебное. Этой своей внутренней жизнью она живет без сравнения более уединенно от каких бы то ни было народных влияний, нежели чиновник или всякий обыкновенный человек, не ищущий народных влияний и не обязанный представлять волю народа.

При таких условиях партийные вожаки получают значение каких-то своеобразных владетельных князьков или, точнее, олигархов. Главное,

официальное, правительство страны ничто в сравнении с этими негласными владыками, создающими и ниспровергающими правительства официальные.

Это обстоятельство особенно важное и особенно плохо понимаемое. Депутаты, по теории, представляют *народ*. Поэтому и правительство назначает уже не народ, а они. Таким образом, правительство никакого *прямого* отношения к нации не имеет и даже не смеет, не должно иметь. В Америке нация, по теории, сохраняет **за собою** по крайней мере право назначать главу правительства, президента республики. Конечно, фактически это право только на бумаге, но можно допустить, в каких-либо особых, чрезвычайных обстоятельствах, что президент республики, обязанный (в теории) представлять именно волю нации и ответственный пред нацией, найдет в себе силы и решимость положить предел узурпации партий. Во Франции страх пред цезаризмом заставил гораздо последовательнее провести идею парламентарную. Здесь уже *нация* не имеет даже и президента республики. Президент выбирается просто соединенным заседанием сената и палаты (для большей красоты слога это называется конгрессом). Президент республики есть доверенное лицо не нации, а соединенных сената и палаты, то есть наличного состава их, другими словами — тех же вожаков, тех же партий, которые назначают и министров. Таким образом, *нация* никакого прямого представительства в официальном правительстве страны не имеет и официальное правительство страны, в свою очередь, никакого прямого отношения к стране не имеет. Оно знает свой сенат, свою палату, их волю, с ними обязано сообразовываться и ни с кем больше даже не имеет права сообразовываться.

Сверх того, президент республики, созданной французским парламентаризмом, сохранен в качестве некоторого невинного орнамента, в виде уступки историческим привычкам нации, а также — для иностранных держав. Всякое действительное значение у него отнято, особенно способом избрания, благодаря которому президент республики, потеряв поддержку сената и палаты, остается вовсе без почвы под ногами, безо всяких корней в нации и может быть вполне уверен, что нация его не знает и никакой поддержки именно *ему* не даст, даже в такую минуту, когда захочет диктатора.

Действительное правительство — это министр-президент с товарищами. Если президент республики сохранен как тень национальных привычек иметь своего главу, главу Франции, то министерство, наоборот, даже и в идее не представляет Франции,

министерство представляет *только* палату, а косвенно считается с сенатом. Нации оно вовсе не касается.

Еще недавно (что и считалось логичной парламентарной идеей) министерство должно было быть правительством какой-либо *господствующей партии*. Это комиссары своей партии, обязанные исполнять только ее волю, а даже не волю целой палаты. Если бы министерство убедилось, что *страна* не хочет его политики, тогда как партия продолжает господствовать в палате и сенате, то оно все-таки *обязано* было бы оставаться на своем посту и бороться против воли страны. Впрочем, о воле страны оно даже не смеет и думать иначе как в частных совещаниях своей партии. Поступить иначе со стороны министерства было бы узурпацией и изменой.

Это чисто партийное, одноцветное правительство в современной Франции стало все больше заменяться *смешанным* партийным правительством. Чрезвычайная раздробленность палаты не дает такого господства *одной* партии, при котором возможно это “идеальное” министерство. Каждая партия видит, что ее людям не дожидаться исключительного господства, и потому соглашается хоть на небольшое участие во власти. Составляются министерства смешанные, с основой, например, оппортунисте кой, но со введением одного или двух радикалов, одного или двух замаскированных монархистов. Этот компромисс между партиями окончательно убивает официальное правительство. При одноцветном партийном правительстве деятельность его идет, по крайней мере, систематически, и, сверх того, *вожаки партии*, получившей господство, становятся главами *официального правительства*. Власть действительная и власть официальная сливаются. При смешанном партийном правительстве главы партий в члены его не вступают. Во-первых, их и не пускают противники, а во-вторых, им самим не выгодно принять ответственность за дела министерства смешанного, осужденного, стало быть, на непоследовательность, бесцветность, простое влачение дел. Таким образом, Ферри в министры уже не идет, а проводит какого-нибудь маленького члена своей партии побесцветнее, потому что видного члена жалко компрометировать и выгоднее приберечь для *своего* министерства. Точно так же Клемансо не пустят в министры и сам он по тем же соображениям не пойдет. Так министерство составляется из подручных людей, невлиятельных в своих партиях. Действительные же *главы*, *вожаки*, собственники “голосов” остаются вне правительства, но его господами. При таких условиях положение министров поистине прискорбно. Между собою они не солидарны и друг другу связывают руки. Ни один из них не самостоятелен и обязан волей-неволей слушаться настоящего господина своей партии. Задачей правительства становится

простое *существование*, и эта задача так трудна, что в среднем век жизни каждого правительства не составит одиннадцати месяцев. Каждая из вступивших в компромисс партий не складывает оружия и ждет только удобного случая достичь новой комбинации министров, более выгодной. Министрам приходится не делами заниматься, а балансированием между президентом республики, своими товарищами по портфелю, своими партиями и их назойливыми, претенциозными жожаками. Чуть не каждый день запросы в палате, подвохи, обвинения. Идя в палату, ни один министр не уверен, что не возвратится домой простым депутатом. Какая же тут возможна система правления? Министр не успевает ознакомиться даже с делами, а уж тем более с персоналом своих служащих. Отсюда проистекает то, что действительное занятие *делами* предоставляется чиновникам, начальникам частей. Из них иной переживет десять, пятнадцать министров, и все они у него по необходимости в руках. Бюрократия становится огромной силой, а контроль ее деятельности сводится чуть не к нулю.

XVI

Таким образом, парламентаризм приводит официальное правительство страны к неслыханному доселе ничтожеству и бессилию. В области высшей политики оно находится в порабощении у негласных олигархов, жожаков партий. В области администрации оно перестает быть начальством для своих чиновников, которые приобретают самую вредную независимость и бесконтрольность своих действий. *Страна*, нация остается без высшего органа правления, контроля, руководства.

И в какое время парламентаризм производит это обезглавливание нации? В то время, когда общее развитие жизни, умственной, промышленной, всех ее отраслей создает гигантские *частные* силы, способные подчинить своему влиянию, добруму или злему, сотни тысяч и миллионы людей — одновременно на всем пространстве страны. Одна промышленная компания способна иметь над десятками тысяч рабочих и сотнями тысяч населения власть, какой не имел и феодальный сеньор. Одна газета может приобретать влияние, какого в старые времена не имела целая ученая корпорация. Жизнь повсюду централизуется, все интересы связываются. И в такое-то время, когда *общие* интересы доходят до высшей степени сложности, требуют высшей степени ума, знания и энергии в центре правления страной, злополучная нация остается, строго говоря, вовсе без правительства.

И после этого хотят негодовать на злоупотребления, воображают очистить, обновить правительство. Но если это не лицемерие, то это

колоссальнейшее недомыслие, такая степень человеческого безумия, которую воображение отказывается себе представить. Ведь тут злоупотреблениям *нельзя не быть*. Это такой строй, при котором человек, по уму и честности стоящий выше злоупотребления, во-первых, не попадет в правительство, а во-вторых, и попав, ничем не может помешать злоупотреблениям, никаких способов помочь отечеству не имеет, и ему остается только отрясти прах от ног и удалиться в частную жизнь или мечтать о том или ином перевороте.

Потому-то и кричат: “Долой парламентаризм!” Масса народа не умеет рассуждать теоретически, но когда факты однообразно долбят в голову десять, и двадцать, и сто лет, она не может *не чувствовать* смутно их смысла. Было время, когда у французов верили в “обновление”, в “очищение”, “новые выборы” и т. п. Это время — прошлое. Конечно, будут выборы, будут фразы, может быть, “новые люди” (хотя я и этому не верю и убежден, что большинство нынешних людей сумеет выплыть на новых выборах). Но *доверия* у французской массы уже давно нет, и если “республика вне опасности”, что весьма возможно, то по той же приблизительно причине, по какой в сказке стоит избушка на курьих ножках: не знает еще, на какую ей сторону стать.

КОММУНИЗМ И ПАРТИКУЛЯРИЗМ

I

Почти два века уже лучшие умственные силы Европы направлены на разработку учения *об обществе*, науку социальную. Эти же два века составляют классическую эпоху разложения всех связей, соединяющих людей в общество. Случайно ли такое совпадение? В выше помещаемом очерке “Социальные миражи” я старался показать, как утрата правильного понятия о *человеке*, а стало быть, искажение личной жизни, личных забот и помышлений отзывается на социальной жизни, которая начинает себе ставить не реальные, необходимые и осуществимые идеалы, а гонится за невозможными миражами. На таком общем фоне нечего ждать развития, а возможно лишь вырождение. Это мы видим и в мысли *социальной*, которая еще недавно в так называемом утопическом социализме хотя и бесплодно, но смело стремилась охватить всю полноту человеческой жизни, а с течением времени все более ниспадает, с одной стороны, в грубый *коммунизм*, с другой — в *партикуляризм*.

Взрыв анархических убийств и покушений, столь выдвинувший ничтожное имя Равашоля, вызвал в Париже образование “Общества

развития личной инициативы и распространения социальных знаний” для борьбы с социализмом. Этим обществом, между прочим, было организовано 21 мая 1891 года в зале Географического общества в Париже крайне интересное собеседование между двумя представителями столь противоположных мирозерцаний, как *коммунизм* и *партикуляризм*. С одной стороны, выступил Поль Лафарг, сам отрекомендовавший себя коммунистом, с другой — г-н Эдмон Демолен, который хотя вообще представляет социальную школу Ле-Плэ [28], но в политической экономии заявляет себя чистокровным партикуляристом. Оба противника хорошо выбраны. Г-н Эдмон Демолен, редактор “La Science Sociale”, известен своими учеными познаниями. Поль Лафарг — конечно, самый образованный из французских социалистов, видный вожак своей партии, а на то время состоял членом палаты депутатов. Оба очень хорошо и обстоятельно изложили свои взгляды. Но тем ярче выступает на вид разложение современной социальной мысли Европы. Оба противника продолжают еще носить на себе ярлык “социального”. Но именно “социального” сознания и нельзя уже подметить в них. Оба оторвались от чего-то центрального, связующего различные части массовой человеческой жизни, в нечто “социальное”. Оба видят только одну сторону ее. И потому-то Лафарг, не отрекаясь от популярной клички “социалист”, сам предпочитает называть себя для точности *коммунистом* (как назвал себя и его учитель К. Маркс в Манифесте *коммунистической* партии). Г-н Эдмон Демолен, наоборот, несомненно, оказывается *партикуляристом*. Как ни односторонне само по себе направление, заключающее человека в рамки исключительно *социального*, и то уже оказывается чересчур широким для современников. Европейская мысль выбивается из него в еще большую односторонность: с одной стороны, безличного *коммунизма*, с другой стороны — безобщественного *партикуляризма*, который стоит на самом пороге более смелой анархии. Вот важный и любопытный факт, несомненно устанавливаемый этим так хорошо задуманным и выполненным спором.

II

Действительно, вчитываясь в мастерски составленную речь г-на Лафарга ⁷³, излагающего идеи К. Маркса, мы видим, что люди его направления утратили уже всякое понятие о *личности* как начале сколько-нибудь самостоятельном. Человек для них — не причина, а *последствие*, неизбежное и роковое. Слово о творчестве человека иногда употребляется, но не более как простой оборот речи. Человека, говорит Лафарг, не изменишь проповедями. “Чтоб его изменить, нужно

переделать *среду*, а с изменением среды тотчас (*du coup*) вы измените нравы, привычки, страсти (!) и чувства (!?) людей”. Чтобы вполне понять всю степень уничтожения личности в этом мирозерцании, нужно отметить, что неопределенное слово “среда” для Лафарга включает вполне определенное понятие *экономических условий*. От них зависит все, даже, говорит он, идеи философские и религиозные. Так, например, на известной ступени производства неизбежно рабство, и тогда оно оправдывается философами и объявляется учреждением божественным. Но “известное изменение рабочих инструментов (*ontillage de production*) неизбежно влечет уничтожение рабства”⁷⁴.

Тогда оно объявляется безнравственным и противным религии⁷⁵.

Человек есть то, чем делает его общество, общество есть то, чем делает его способ производства. Такова исходная точка, с какой Лафарг подходит к вопросу о направлении современной эволюции общества. Собственно, вопрос о том, куда *должны* мы идти, что *должны стараться* сделать, для него не существует. Хотим мы или не хотим, но мы будем тем, чем нас делает производство, и пойдем туда, куда оно нас *ведет*.

Ведет же оно нас, утверждает он, к *коммунизму*.

Каким образом? Потому что это есть следствие самого характера орудий современного труда. Нынче всем овладела *машина*. А приложение машины превращает каждое производство, как выражается Лафарг, в “коммунистическое”. Термин произвольный и неточный. Нужно было бы сказать не “коммунистическое”, а “коллективное”. Это большая разница. Но последуем за референтом. Прежде, говорит он, каждая семья занималась тканьем. Нынче ткачество централизовалось на фабрике, объединив на одном деле целую массу рабочих. Ни один из них не может сказать, что произведенный продукт создан *им*. Это прежде сапожник делал целый сапог, а теперь, на фабрике, каждый делает лишь какую-нибудь часть сапога; целый сапог является продуктом “коммунистического” (то есть, собственно, коллективного) труда. Личности производителя тут нельзя выделить. Эта “коммунистическая” эволюция происходит во всех отраслях труда. То же происходит в торговле. Прежде каждая лавочка имела свою специальность⁷⁶. Нынче являются огромные “универсальные” магазины (как “Лувр”, “*Von Marche*” и т. д.), соединяющие всевозможные специальности под управлением одного капитала. Торговля делается “коммунистической”. Тот же процесс коммунизации замечается будто бы в земледелии. Здесь аргументация Лафарга (как и его школы) становится особенно слабой и натянутой.

Ему нужно, по теории, доказать, будто бы естественный процесс ведет, во-первых, к централизации земельной собственности в немногих руках. Над выкладками этого рода когда-то много трудился наш Н. Чернышевский, тоже ровно ничего не доказавший⁷⁷. Но Чернышевский и по складу, и по выработке ума все же гораздо выше своих европейских собратьев. Его доказательства — верх научности в сравнении с аргументацией Лафарга. Лафарг ограничивается двумя-тремя банальными указаниями и сравнениями величин, из которых одна малоизвестна, а другая вовсе неизвестна, так что об отношении между ними можно одинаково бесплодно говорить что угодно. Так, Лафарг утверждает, будто бы во Франции земля скопится все более в одних руках, на том основании, что 45/100 земли ныне находится в руках ста сорока двух тысяч собственников. Но, во-первых, остальные 55/100 находятся в руках нескольких миллионов, а во-вторых, неизвестно, может быть, прежде в руках крупных собственников было не 45/100 земель, а 90/100. В средние века, например, феодальная собственность была громадна и, несомненно, охватывала многое, что ныне разделено между крестьянами. Лафарг не считает нужным заглядывать так глубоко и прибегает к столь выгодному при отсутствии фактов методу аналогии. “Если, — говорит он, — хотите знать конечный исход этой централизации, взгляните на Англию, где вся земля уже скопилась в руках нескольких тысяч человек”. Он забывает, что в Англии еще во времена Вильгельма Нормандского [29] земля была разделена между какими-нибудь шестьюдесятью тысячами завоевателей. Этими ничтожными примерами Лафарг совершенно довольствуется. “Если же, — говорит он, — феодальная собственность и была обширна, то обработка земли все же оставалась *индивидуальной*”. Теперь, напротив, всюду развивается крупная обработка, соединяющая множество рабочих. И опять обычный припев: если хотите знать конечный результат этой тенденции, то посмотрите, только уже не на Англию, а на дальний Запад Америки, где возникают “экономии” величиной чуть не в целое княжество. На Англию с ее системой фермерства, конечно, сослаться неудобно! Нельзя сослаться и на коренную Америку. Апологет коммунизма выезжает поэтому на “дальнем Западе”, где именно никогда не было мелкой собственности и потому никакого процесса ее “централизации” не происходило.

Пришлось бы потратить слишком много места и слишком удалиться от непосредственной темы, если б я стал опровергать все ошибки Лафарга, потому что это значило бы ловить его почти на каждом слове. Но о громадных экономиях “дальнего Запада” Америки нельзя не упомянуть. В действительности именно они-то и приводятся примером

против чрезмерного расширения *одного* хозяйства, потому что оказываются национально невыгодными. Каждый акр земли в них приносит *меньше*, нежели в руках мелкого фермера, и это объясняют именно тем, что растение требует некоторого *индивидуального* ухода, за отсутствием которого растение как бы приближается к дикому состоянию. Пример Лафарга, стало быть, и с этой стороны крайне неудачен. Коммунистический референт довольтвуется, однако, своим анализом экономической эволюции и переходит к следующему фазису ее.

Итак, производство будто бы “коммунизируется” и централизуется. Хозяев становится меньше, рабочих больше. Но этого мало. В таком “коммунизированном” предприятии хозяин становится *излишним* и даже совсем стирается. Пример этого дают акционерные компании. Где собственники в нынешних громадных рудниках, акционерных заводах, железных дорогах? Они *в деле* отсутствуют. Они только получают барыши, но для дела вполне безразлично, существуют ли они или переселились на луну. Тут уже производство стало чисто “коммунистическим”, и только распределение еще остается индивидуальным. Тут наступает полное *противоречие* между способом производства и способом распределения, противоречие, которое неизбежно должно кончиться экспроприацией этих ненужных и невидимых собственников.

Мы сейчас увидим, как это должно, по Лафаргу, произойти. Но предварительно следует отметить возражения г-на Демолена и “La Science Sociale”.

III

Возражения эти в частности весьма сильны, и если они не разбивают противника вконец, то лишь потому, что *партикуляристские* тенденции г-на Эдмона Демолена мешают ему стать на чисто общественную, социальную почву.

Г-н Эдмон Демолен совершенно правильно возражает, что Лафарг вовсе не кстати прилагает термин “коммунизм”. Если всякая совместная работа есть работа коммунистическая, то придется признать широкое развитие коммунизма на феодальной барщине. Современное крупное производство ничуть не коммунистично. Напротив, это высшая форма *патронажа*, где роль *хозяина* важнее, чем когда бы то ни было.

Лафарг не видит личного присутствия капиталиста в крупном производстве. Да, в здании фабрики, может быть, его нет. Там — управляющий. Но капиталист присутствует чрезвычайно реально и

активно в других, более важных местах: там, где предприятие обдумывается, ставится на ноги, организуется. Его роль организатора так велика, как никогда, и если бы эти люди, которых Лафарг не видит в мастерской, исчезли, переселились на луну, то все бы дело стало. Мы опять здесь видим усиление, а не ослабление личного, индивидуального элемента. Личность в мелкой промышленности значит гораздо меньше, нежели в крупной. В мелкой — все хозяева, все организаторы. В крупной роль организатора специализировалась, отделилась от чисто рабочей силы, и потому рабочая сила гораздо менее может обойтись без специалиста-организатора, нежели прежде. Хозяин именно *нужен*. В понимании акционерных обществ, говорит Эдмон Демолен, г-н Лафарг совершенно ошибается. Эти общества складывают в одно вовсе не *людей* и не *работу*, а только капиталы. Больше ничего. Как мало коммунистического в акционерных обществах, видно уже из того, что они действуют успешно лишь постольку, поскольку изгоняют собственно из производства всякое участие “коммунистического” элемента в виде акционеров. Акционеры ни в одном порядочном предприятии не участвуют собственно в деле. Их созывают раз в год... для формы, и они не протестуют, прекрасно понимая, что при их активном вмешательстве дело неизбежно погибнет. Вместо “коммунистического” ведения дела акционерные компании спешат возможно более приблизиться к хозяйственному. Они приискывают способного *директора*, облачают его огромной властью, и *производство* ведется на тех же началах, как чисто личное, собственническое. Акционерные компании дают таким образом доказательство против коммунистических идей, так как “коммунистического” производства не возникает даже здесь, где на одном деле объединились, “коммунизировались” капиталы. Все эти возражения Эдмона Демолена частично очень сильны. Но где у него общество? У Лафарга общества нет, потому что нет живого человека, а есть технический процесс природы, в котором вкраплены безвольные люди не с большим значением, нежели собаки и лошади, принадлежащие “нации”. Что же более сильного дает Демолен? У него мы видим патрона (хозяина) и рабочего, видим мастерскую, но *общества* нет. Понятие о коллективности не дается ни одной из спорящих сторон. Потому-то г-н Демолен не нашел в своем миросозерцании достаточно сильного опровержения коммунистической фразеологии Лафарга.

Дело в том, что Лафарг действительно неверно прилагает название “коммунизм” к современным формам производства, но ошибка его более глубока, чем простое непонимание роли патрона. Лафарг не умеет отличить производства *коммунистического* от *коллективного*. Вот корень его ошибки. Коммунистическое производство есть такое, при котором

доля участия и характер участия работающих в создании продукта равны и одинаковы. Собственно говоря, коммунистического производства в чистом виде никогда не было и быть не может. Это понятие вполне отвлеченное, теоретическое. Но фактически к нему более подходят формы прежнего однообразного, неразвитого труда, почему лучшими достигнутыми формами коммунистического общежития были старинные семейные общества. Современное производство, напротив, *высококоллективно*, но не коммунистично. Оно построено на *совместном* труде, но в то же время очень сложном, расчлененном, специализированном. Оно объединяет огромные массы работников, но не в одном и том же положении, не на одной и той же отрасли общего труда, а в положениях и специальностях самых разнообразных. Современные социалисты, а отчасти и вообще экономисты, давно покинувшие научные привычки исследования, давно усвоившие манеру не подчиняться наблюдению, а подчинять его своей теории, воображают, будто бы господство машины упростило труд и облегчило переход рабочего от одной отрасли труда к другой. Мы, русские, легче всего можем видеть ошибочность этого мнения. Наш рабочий, воспитанник старого, неразвитого, ручного труда, несравненно разностороннее европейского рабочего, воспитанника машинного производства. Ни в одной отрасли труда наш рабочий не может конкурировать с европейским. Он все будет делать медленнее и хуже. Но зато его можно посадить, сравнительно говоря, почти за любую работу, и всякую он кое-как схватит, кое-как, на авось да небось, сделает. Европейский рабочий несравним в своей *специальности*, но сравнительно с нашим — почти неспособен из нее выйти. Это потому, что развитое, машинное производство не упрощает, а усложняет труд, уменьшает количество труда, не требующего долгого навыка, и увеличивает количество чисто специального. Общественное влияние машины состоит в том, что она развивает привычки труда *коллективного*, но ничуть его не коммунизирует. На современной громадной фабрике неразрывно соединены люди существенно *различного* труда. Их участие в создании продукта в высшей степени *неодинаково* ни количественно, ни качественно. Это относится как к отдельной фабрике, так и к целому национальному производству и обмену. Его различные отрасли переплелись также тесно, как отдельные специальности на фабрике, и тонко испытывают влияние друг друга; прекрасно поставленная фабрика может рухнуть только из-за того, что плохо пошли дела какой-нибудь другой, находящейся от нее за тысячи верст. *Все* производство переплетается между собою миллионами нитей связи и зависимости. Оно становится все более *коллективным* и все менее *коммунистическим*. Ни люди, ни фабрики не участвуют в

общенациональном производстве одинаково и равно; ни люди, ни фабрики неспособны легко заменяться одни другими. Рабочий, которому цены нет на одной фабрике, никуда не годится на другой. Бесценный маклер не стоит гроша как рабочий или как надзиратель. Прекрасный химик или механик погубит все дело, если получит заведование коммерческой его стороной, и т. д. Повсюду растет требование на специальность и индивидуальность, в самых разнообразных сочетаниях и с самым различным значением вставляемых в одно коллективное дело.

Отсюда очень сложный рост *общества* в производственном отношении. Отсюда все более растущее вмешательство *общественной власти* в дело регуляции национального производства. Обстоятельство это совершенно ускользает из партикуляристского кругозора г-на Демолена. А также, видимо, выходит из рамок грубого, упрощенного коммунизма Лафарга, который в несколько месяцев убил бы все производство страны, если бы получил власть его “устраивать”.

IV

Возвратимся, однако, к схеме г-на Лафарга. Итак, он полагает, будто бы производство ныне коммунизируется и значение в нем каждой отдельной личности уравнивается. Значение хозяина исчезает, он будто бы становится *не нужен*. Он только собирает барыши, ничему не помогая. Количество собственников уменьшается, количество рабочих возрастает. Лишенные собственности, эти рабочие отвыкают от понятия о ней. В них развиваются понятия коммунистические. Они уже заявляют требование на принадлежность им “нации”, всей собственности капиталистов. Уменьшающееся число собственников все менее способно противиться рабочим. Ясно, что это должно кончиться захватом власти со стороны рабочих, которые и произведут “переход частной собственности класса капиталистов в общую собственность целой нации”.

Допустим, но что же дальше? Вопрос, замечает г-н Демолен, вовсе не в возможности захватить власть, а в том, будет ли умно или нелепо такое ее употребление. Не ясно ли, что водворение коммунистического строя до последней степени ослабляет всякую частную инициативу, всякое старание и усилие в труде и передает на попечение государства заботу кормить, одевать и чуть не умывать весь народ, который не только увольняется от необходимости самостоятельно заботиться о себе, но даже, с уничтожением личной собственности, теряет к этому возможность? Что же может получиться, кроме общего упадка?

Но Лафарг сияет оптимизмом. Все будет превосходно. Упрек в уродливом расширении власти государства и чиновничества при коммунистическом строе, говорит он, вполне несправедлив. Напротив, у коммунистов *совсем не будет* ни государства, ни чиновников. Это он доказывает той игрой слов, которую я уже разоблачал в “Социальных миражах” и которая сочинена К. Марксом, вероятно, просто для одурачивания рабочих. Такой умный человек, как К. Маркс, не мог не понимать, что это только игра слов. Лафарг, по-видимому, принимает ее искренно. Но все равно. Дело ставится так. “Государство есть организация репрессивных сил какого-либо привилегированного класса”. Но “в коммунистическом обществе привилегированных классов не будет”, следовательно, не будет и государства. Что же, однако, будет? “Нация, — говорит Лафарг, — передаст заведование фабриками *рабочим синдикатам...*” “Кого, однако, тут обманывают?” — воскликнул г-н Демолен. Разве не все равно, как назвать управителя и распорядителя? Действительно, на этом пункте социалистическая мысль обнаруживает замечательную слабость. Сущность государства состоит в *принудительной власти* целого над частями. Попадает ли эта власть в руки какого-либо привилегированного сословия или не попадет — это частности, рисующая только *характер* данного государственного строя. Но пока существует принудительная власть целого, до тех пор существует *государство*. В коммунистическом строе, по описанию самого Лафарга, принудительная власть “нации” существует — стало быть, ясно: существует и государство, хотя бы его назвали не l'etat, а как-нибудь иначе. То же самое относится и к чиновнику. Чиновник есть лицо, поставленное властью для обязательного восполнения какой-либо функции и облеченное для того соответственными полномочиями. Такие лица есть и в рабочих синдикатах, есть в синдикатах и канцелярии, и все, что угодно. “Нация”, передающая свои права синдикатам, также является в виде известных назначенных для того лиц, то есть, по современной терминологии, в виде “начальства”. Все это можно *переименовать*, как Наполеон переименовал рекрутов в конскрипты. Но если для удовлетворения желания социалистов достаточно переменить названия, то это с охотой и без труда сделает любая “буржуазная” палата, и незачем прибегать к социальной революции!

Для уяснения вопроса, усиливается ли государство и чиновничество в коммунистическом обществе Лафарга, следует, оставив слова, смотреть на функции. “В новом обществе, — говорит он, — будет определено количество труда, необходимого для широкого удовлетворения всех потребностей. Теперь умеют же определять, сколько хлеба нужно для страны. Еще легче определить, какое количество сапог

необходимо произвести, чтобы обути все французские ноги”. Определить, конечно, можно, но делать это будут, очевидно, специально назначенные “чиновники”, вооруженные всеми способами осведомления. Далее, определивши количество необходимых продуктов, сообразно с этим установят количество *обязательного труда*, который непременно должен быть исполнен “нацией”. Засим “on partagera” обязательное количество труда между всеми гражданами и определят количество рабочих часов, которые каждый должен отбыть для получения права на “свободное пользование” всеми богатствами, созданными общим трудом. Кто же эти таинственные “он”, которые будут определять отбытие обязательной повинности труда? Будет ли это особый “синдикат”, “делегация” — во всяком случае, власть это страшная. Отказаться от отбытия повинности — немисливо, потому что самостоятельно работать негде, все принадлежит “нации”, нигде, помимо “нации” и ее синдикальных чиновников, не достанешь куска хлеба. Лафарг, однако, находит, что жизнь предстоит райская. Человек, мечтает он, тут впервые станет *свободным*, может путешествовать и по своему усмотрению постоянно меняет форму труда, по очереди пройдя, если угодно, все ремесла. Хорош, очевидно, будет работник! Лафарг не объясняет, кто будет следить за этой массой путешествующих и отмечать отбытие ими рабочей повинности сегодня в одном городе, завтра в другом. Вероятно, будет какой-нибудь “синдикат” рабочей полиции.

V

Едва ли нужно доказывать, что не свобода, а жесточайший деспотизм ждет последователей Лафарга в его коммунистическом строе.

Допустив действительно свободное передвижение и произвольную перемену занятий, мы бы получили совершенно невозможный хаос. Обществу нужно не просто, скажем, 100 миллионов часов рабочего труда, а именно, положим, 50 миллионов труда земледельческого, 30 миллионов промышленного, 20 миллионов нынешних свободных профессий и административного труда. Эти крупные рубрики распадаются на множество мелких. Так, в первой нужно столько-то миллионов часов труда по производству *хлеба*, столько-то миллионов часов для *овощей*, для *сена*, для *винограда* и т. д. Вторая рубрика распадается на несколько десятков тысяч подразделений, на каждое из которых нужно именно такое, а не иное число часов. Так, если нужно иметь пять миллионов пар сапог, то нельзя допустить, чтобы их произвели десять миллионов или только один миллион. Поэтому свободная перемена занятий, особенно с путешествиями, немислива. Свободная перемена сделала бы то, что на

каждую отрасль труда явилось бы не надлежащее число рабочих. На одной больше, на другой меньше, чем нужно. Этак спутается всякий расчет центрального правительства. Путешествия в мало-мальски больших размерах спутали бы расчеты еще более. Что касается третьей рубрики, то свободное принятие на себя ее обязанностей уже вовсе немисливо, так как, например, в учителя математики нельзя же принять добровольца, не знающего твердо таблицы умножения. В администрацию также нельзя брать людей только по их собственному требованию. Итак, вообще свободный выбор занятий есть обещание ложное. “Нация” или погибнет с голоду в два-три месяца, или сделает для каждого обязательным труд именно на том месте, где ей нужно, и в той отрасли, какая ей необходима. Если ей нужно 20 000 сапожников, то она (в лице своего правительства) и прикажет двадцати тысячам человек шить сапоги, а не красить заборы и не путешествовать. Это ясно как день. Чтобы поступить иначе, управляющие синдикаты должны состоять даже не из сумасшедших, а из изменников, нарочно подготовляющих немедленную гибель нового строя.

Но, действуя в здравом уме и сообразно своим обязанностям, то есть распределяя обязательный труд не только вообще, а и в частности, по его отраслям, по отдельным городам, по членам отдельных ассоциаций, социалистическое управление совершает не что иное, как громадную организацию *крепостного труда*. Никакой “свободы” тут быть не может, труд обязательно закрепощается. Нельзя также допустить и вполне свободных перемен места жительства. В Париже, например, у “нации” есть громадные фабрики на миллион рабочих часов. В мелких провинциальных пунктах небольшие фабрики, способные занять по 300-400 человек. Очевидно, что если ленивцы или любители деревенской тишины отхлынут из Парижа, то фабрики “нации” не произведут декретированного количества продуктов. Между тем, скопившись по 1000 человек в таких местах, где есть орудия труда лишь на 400-500 рук, путешественники отбудут свои рабочие часы чисто формально, без пользы, а за это все-таки получают право на невозбранное потребление чего угодно и сколько угодно. Вести дела таким образом невозможно. Место жительства приходится также *закрепить*. Вообще, приходится создать порядок очень стеснительный. Необходимым последствием этого является создание силы, наблюдающей за исполнением предписанного и заставляющей нарушителей подчиниться порядку. Но экономические последствия этого чисто крепостного порядка тем не менее должны быть крайне неудовлетворительны. При всем деспотизме своем “нация” может вынудить у “граждан” только известное количество *часов* работы. Но ведь как работать! Плохая работа в шесть часов не произведет того, что

старательная даст в один час. А возбудить *старания* — нечем. Оно ничем не вознаграждается, не поощряется. Лениость тоже ничем не подавляется. Старательно ли отбыл “гражданин-рабочий” свои пять часов или кое-как — он все равно одинаково получает право потреблять что угодно и сколько угодно. Из-за чего же стараться? Свободный выбор занятия, конечно, *несколько* (хотя вовсе не много) способен поднять энергию работы. Но я уже доказывал, что обещание этой свободы невыполнимо. В общей сложности мы можем ожидать от коммунизма только строя крайне деспотического и в то же время со слабой продукцией; можем увидеть лишь “нацию” рабскую и бедную.

VI

Что же противопоставляет этому строю г-н Эдмон Демолен? Его частные возражения очень удачны. Но собственный идеал чрезвычайно односторонен, а исторические концепции отличаются неполнотой и даже произвольностью.

Аргументация его вкратце такова. Вообще, в целом развитие человечества идет не к коммунизму, а, наоборот, начинаясь с первобытного коммунизма, все более от него отходит, личность все менее зависит от общины, все более предоставляется собственным силам. В современную эпоху замечается возрождение коммунистических идей, но это вовсе не зависит от особенностей современного производства. Это зависит от ненормального усиления государственности и централизации. Но, допуская на минуту такое объяснение, мы не можем не спросить г-на Демолена, отчего же стала развиваться идея государственности и централизации? Ответ получается крайне странный. Г-н Демолен возлагает вину этого на Людовика XIV [30] (как в одной статье такую же вину возлагал в Германии на Фридриха Великого [31]). Это он развратил дворянство, оторвал его от земледелия и приучил жить службой, то есть “на счет общества”. Это существование “на счет общества”, так сказать “коммунистическое”, произвело на дворянство то действие, какое всегда производит коммунизм, то есть сделало его беспечным, ленивым и неподвижным. Поэтому оно было низвергнуто третьим сословием. Но, захватив власть дворянства, буржуазия пошла по следам его в любви к жизни на счет государства, развила чиновничество и не устает создавать новые места, чтобы жить на жалованье. Эта “коммунистическая” жизнь деморализирует буржуазию еще шире, нежели дворянство; она выпускает из рук роль руководителя и теперь оказывается перед четвертым сословием в том же положении, в каком 100-150 лет назад было дворянство пред нею самой. Четвертое сословие является с

претензией на власть, но уже распространяет на весь народ идею проживания на счет государства. Вот источник современного коммунизма. Вот *болезнь*, от которой нужно лечить Францию... но не весь культурный мир, так как некоторые части его, а именно страны англосаксонской расы, ею не заражены.

Ставя такой диагноз, г-н Демолен относится к государству с чрезвычайной враждой. В одной статье своей (вне собеседования 21 мая) он даже признает *здоровыми* анархические идеи свободы и отрицания государства (порицая анархистов только за социалистические тенденции). Человек должен надеяться только на самого себя, должен жить своим трудом, искусством, усилиями; если ему нужно сотрудничество других людей, пусть складывается свободная ассоциация, точнее, *союз*, опирающийся опять же только на свои собственные силы. О государстве г-н Демолен не может вспомнить без желчи и раздражения. У него не проскальзывает ни тени допущения, чтобы государство было на что-нибудь нужно, для чего-нибудь полезно. Буржуазная школа политической экономии отводит государству, по крайней мере, полицейскую роль охранителя свободы договора, свободы труда и неприкосновенности собственности. Г-н Демолен не упоминает даже и о такой роли государства. Его *партикуляризм*, его идеал полной обособленности отдельных лиц и их свободных союзов доходит до какой-то анархической утопичности...

Можно ли, однако, быть столь близоруким? Ну, допустим, что есть эти миллионы энергичных, инициативных, “здоровых” лиц и групп... Где же, однако, *общество*? Чем связываются эти лица и группы, чем ставятся границы их взаимной борьбе? Оставаясь на почве политической экономии, мы спрашиваем: разве нынче связь между отдельными отраслями производства, между отдельными фабриками много меньше, нежели между различными отделениями одной и той же фабрики? Отдельная фабрика функционирует под управлением умного *патрона*, хозяина. Прекрасно. Но как же оставить без патрона, без некоторого *хозяина* совокупность этих фабрик? Партикуляризм не просто ошибочен, а утопичен тем, что не принимает в расчет действительности. Он требует обособленности и независимости того, что в действительности вовсе не обособлено, а связано тысячью нитей. Он понимает необходимость *разума*, и именно единого разума, для одной фабрики. Но как не понимать, что такой же объединяющий и соглашающий *разум* нужен и на пункте соприкосновения, содействия или борьбы десятков тысяч отдельных производственных ячеек?

VII

Экономические идеалы, выставленные г-ном Демоленом, столько раз и так разносторонне критиковались единомышленниками г-на Лафарга, что мне нет надобности на них останавливаться. Свобода как неприкосновенная основа производства не только не может подорвать идеи коммунизма, но отчасти способствовала их развитию. Достаточно видеть бедствия промышленного кризиса, чтобы понять бессилие свободы как регулятора производства. А рабочие *переживают* их. И откуда налетает беда? Где-нибудь за десятки тысяч верст, в Китае, произошло возмущение или в Америке не уродился хлопок — а в Париже или Лондоне сотня тысяч человек оказывается выброшенной на улицу! Что могут тут наделать наиболее искусные и энергические хозяева? Хорошо говорить о предусмотрительности, но не всегда она помогает. Что касается классовой самопомощи, рабочих союзов и прочих средств свободной деятельности, то ведь именно это и производит разложение общества на противные лагеря. Добившись их появления, нельзя проповедями г-на Демолена помешать междоусобной борьбе.

Современная промышленная жизнь, именно построенная на началах преувеличенной свободы, сама ведет к социальной революции. Несомненно, что необходим некоторый общий, национальный, а выражаясь конкретно — просто-напросто *государственный* разум, упорядочивающий производство. Промышленная анархия по своим последствиям не лучше коммунизма.

Между тем, как видим, европейская мысль только и способна колебаться между этими двумя полюсами. Собеседование 21 мая тем особенно поучительно, что не выставило ничего нового. Париж, Франция, Европа взволнованы признаками противообщественного разложения. И вот являются два представителя “социальной науки” и в тысячу первый раз излагают, только в несколько обострившемся виде, то же, на чем уже добрые полстолетия застряла европейская мысль. Оба прекрасно критикуют друг друга, оба, переходя к положительному, излагают невозможности. Это вполне картина европейской социальной мысли.

Чем же кончится такое положение?

Или, может быть, две противоположности практически дают нечто среднее? К сожалению, тут среднего нет, разве нуль, как между плюсом и минусом. Г-н Демолен все строит на обособленном *патроне*, а г-н Лафарг бунтует рабочих этого патрона и приводит в прах все его начинания. Г-н Демолен пытается убедить рабочего, что все спасение в труде, почине, самостоятельности. А отсутствие государственного устройства

промышленности в тех ее пунктах, которые находятся вне всякого влияния *обособленных* патронов, ежедневно пускает прахом все плоды труда рабочего. Государство же господа Демолен и Лафарг подрывают совместно, с усердием, достойным лучшего дела. Ничего “среднего” в созидательном смысле не получается и не может получиться.

Где же выход, однако? Да еще есть ли он? В области собственных сил Европы трудно усмотреть его. Социальная жизнь, как здоровье человека, выдерживает расстройство только до поры до времени, до известных пределов. Перейдя их, не всегда можно исправить испорченное. Самое же главное: в этих односторонностях мы имеем пред собою не частичную ошибку экономической или политической доктрины, а проявление несравненно более глубокого расстройства в мыслях, чувствах и стремлениях людей. Исправление при этом крайне затрудняется, так как для борьбы с ложью не находится здорового опорного пункта. Против одной лжи выступает другая, и кто бы ни победил — хорошего ничего не получается. Безвыходность такого положения особенно важно понять тем, кто еще не совсем вошел в него. Мы еще имеем *общенародные* начала, на которых способны столкнуться люди самых различных сословий, имеем и власть вне всяких партий, власть, способную проникать всею широтой народной мысли. Заговорит ли эта мысль наконец? Разработаем ли мы наконец *сознательно* те основы, какие надломаны в Европе, сумеем ли дать им сознательное употребление для избежания роковых “социальных противоречий” Европы?

БОРЬБА ВЕКА

ОТ АВТОРА

Предмет, предлагаемый вниманию читателей в настоящей книжке ⁷⁸, столь важен, что, без сомнения, требовал бы разработки более обстоятельной и силами гораздо более значительными, нежели мои. Сознаю это. Но каждый делает что может. Притом же выяснение *ложности революционной идеи*, владычествующей над миром европейской культуры, требует работы целых поколений, ибо не может быть исполнено без переработки с новой точки зрения целых обширных областей науки исторической, социальной и экономической.

В настоящее время все, о чем можно мечтать в борьбе против революционной идеи, — это привлечь внимание более чутких и здоровых умов на то, что не какое-либо частичное отрицание *крайности*, а лишь

полное отвержение самых *оснований* этой идеи может поставить мир на путь правильного развития.

Даже и эта задача в высшей степени трудна, потому что завоевания, сделанные революционной идеей, чрезвычайно велики. Борьба против нее, встречая ожесточенное, неразбирающее средств противодействие ее сознательных сторонников, не встречает, наоборот, сознательной поддержки почти ни в ком и ни в чем. Основания, отрицающие историческое общество, стали *привычными* для умов. Только крайности революционной идеи тревожат нынче людей; но гниение, производимое ею в личности и обществе, стало так привычно, что его мало замечают. Оно не поражает. Против него не борются. А между тем весь вопрос в нем, а не в частных потрясениях, производимых крайностями и неизбежно возникающих при существовании общего гниения.

Если трудно привлечь внимание общества на этот основной пункт опасности, то еще труднее раскрыть его глаза на основную *причину* расстройства и *средства* его прекращения, то есть на расшатанное *религиозное* состояние современной личности. Именно сама расшатанность и мешает пониманию, потому что многие ли нынче ею не страдают? Многие ли, следовательно, способны по чутью, *сердцем* понять, что именно здесь корень вопроса? Той же силы теоретического мышления, которая способна сколько-нибудь восполнить ослабевшие указания здорового чутья, у огромного большинства людей никогда не бывает.

Это положение могло бы казаться безвыходным, если бы человек не был все-таки существом свободным, то есть, значит, способным восстать из всякого падения, из всякого помрачения. Но человек по существу таков, и вот почему воззвание к его здоровому чувству, к его свободному разуму никогда и ни при каких условиях не может быть заранее объявлено безнадежным. Твердая уверенность в этом ободряет и меня. Как ни слабы мои силы, как ни мало способен я сделать для того, чтобы открыть глаза современникам на опасность, но эти силы могут быть восполнены *их* собственными силами, и то, что я лишь слабо и неполно способен сделать, может быть, отзовется в иных, еще полных свежей силы, работой более могучей, более соответственной трудностям задачи.

7 апреля 1895 г.

I

Наш век занимает очень поучительное место в истории человеческого развития. Несмотря на то что он воображает себя действующим на чисто материальных основах, он с редкой ясностью обнаруживает перед наблюдателем *психологическую* почву истории, которая является перед нами историей души человеческой, борьбы личности, болящей, воскрешающей или падающей в столкновениях с условиями не только материального, но и чисто духовного характера. Между прочим выясняется перед нами и тесная связь этих судеб личности с ее религиозной выработкой.

Несмотря на кажущуюся безрелигиозность XIX века, он в своих наиболее страстных мечтаниях напоминает моменты не столько холодного неверия, как *зablуждения религиозного чувства*, еврейского мессианства или родившегося из него христианского *хилиазма*. Идея земного всеблаженства, выражается ли она в ожидании “чувственного царства Христа” или беспечального “будущего строя” при самой различной философии, вырастает на одной и той же психологии. Древний хилиазм стоял на почве религиозной. Новый хилиазм *сознательно* покидает религию. Но это различие не так решительно, как кажется. Самые мечты о *земном* блаженстве уже обличали слабость духовного чувства. С другой стороны, бессознательное чувство, которое делает наших рассудочно неверующих революционеров не простыми эпикурейцами, а фанатическими мечтателями об их будущем беспечальном строе, имеет несомненные признаки духовных стремлений *зablудившегося* религиозного искания.

Во всяком случае, чаяния революции никак не объяснимы с точки зрения земных, хладнокровно обсуждаемых интересов. Во всем настроении века — в его отрицаниях, в его надеждах — нельзя не видеть какой-то иной подкладки, хотя бы и не создаваемой самими деятелями “будущего строя”.

Что сказать хоть о таком общем факте? Еще никакая эпоха не была такого безмерно высокого мнения о себе. Справедливо оно или нет, во всяком случае, раз оно есть, следует ожидать, что эти люди по крайней мере дорожат основами своей жизни, гордятся ими, берегут их. Рим был высокого о себе мнения, но зато он гордился и своими основными учреждениями. Византия считала себя выше всех. Зато же она и пала с оружием в руках в борьбе за все, что составляло ее основы. Но что же говорит наша эпоха о том, чем она живет, об основах своих, об учреждениях, создаваемых ее гением?

Она только и занимается коренным отрицанием их сверху донизу, все столетие подрывает и разрушает их и постоянно мечтает о каком-либо новом строе, который был бы совершенно не похож на прежний.

Не странно ли такое состояние умов?

Далее, если мы посмотрим на самый характер этого отрицания, то никак тоже не сможем согласиться, что оно принадлежало людям рассудочным, практичным, преданным действительным земным интересам. Совершенно понятно со стороны практического человека, если он разрушает свой строй в случае несомненной его негодности. Но отрицание XVIII-XIX столетий поражает именно несоответствием между действительными недостатками данного строя и беспощадной суровостью произносимого над ним приговора.

II

За столетие 1789-1889 годов этих строев было несколько, отчасти осуществленных, отчасти разработанных только теоретически и потом теоретически же разрушенных. Эпоха “Разума” объявила в 1789 году никуда не годным *ancien regime*, разрушила его и построила новый, на началах свободы и демократии. Ближайшее поколение наследников 1789 года уже разочаровалось в достоинствах нового здания и выдвинуло новые социалистические проекты. Не далее как через поколение Фурье [1], Кабе [2] и т. д. были, в свою очередь, объявлены “утопистами”. На смену им выступил экономический социализм. Эта доктрина едва успела оформиться, как уже является на сцену анархизм, казавшийся сначала столь диким и нелепым, что К. Маркс серьезно подозревал в Бакуине просто агента-подстрекателя, имеющего целью скомпрометировать социализм. В первую революцию столь же диким и противообщественным казалось учение Бабефа [3], то есть тот самый коммунизм, который К. Маркс, через пятьдесят лет после Бабефа, объявил законом экономической природы, последним словом социальной науки. В свою очередь, анархизм, казавшийся Марксу столь нелепым, овладевает постепенно умами и заставляет говорить о себе всю Европу. Эта быстрая смена идеалов, без сомнения, дает основание с уверенностью ожидать и еще каких-нибудь новинок в этом роде. Можно даже в настоящем провидеть некоторые очертания будущего *мистического* анархизма, который теперь еще революционерам кажется большим и нелогичным, но, как у графа Л. Толстого например, уже заставляет говорить о себе не одну Россию.

Пять-шесть “строев”, пережитых за столетие или на практике, или в умственной работе... Каждый раз каждый старый строй объявляется никуда не годным, каждый новый, который завтра будет объявлен никуда не годным, спешит пользоваться своей эфемерной жизнью, чтобы вдохновенно кричать на весь свет: нет более несчастья на земле, великая проблема решена... Неужели же эта картина здоровой умственной работы, картина серьезного попечения о земных интересах?

Ни в этих надеждах на будущее, ни в этом отрицании настоящего ни разу не видно достаточных разумных оснований. Накануне 1789 года новые люди кричали, что они задыхаются, что ancien régime невозможен. Без сомнения, *субъективно* они были правы, как субъективно прав и сумасшедший, воображающий, что его преследуют чудовища. Но существовали ли эти чудовища в действительности? Теперь старый строй, столь неистово разрушенный, давно уже обследован беспристрастной историей. В нем было много глубокой социальной мысли. Были, конечно, недостатки, несправедливости, бедствия ⁷⁹, но где же их нет? Уж, конечно, не строй, его сменивший, может похвалиться безупречностью. Вспомним оценки самих деятелей разрушения. М-те Ролан оставила свои воспоминания о первой половине жизни, протекшей именно при старом строе. Что же она описывает? Какие ужасы, какие страдания? Никаких. Она рисует сцены почти идиллической жизни в крепкой трудовой семье, в полной обеспеченности со стороны закона и власти, с полной возможностью умственного развития, с незаменимыми утешениями религии. В тюрьме нового строя, в ожидании республиканской гильотины m-те Ролан вспоминает картины своей юности с теплым, благодарным чувством. И что же? Она все-таки ни на секунду не сомневается, что этот строй, давший ей так много развития и счастья, ничем ее не обидевший, *подлежит, однако, уничтожению.*

За что же, однако? Что он такого сделал? Ничего особенного не сделал, чего не делает всякий человеческий строй, но все-таки виновен и не заслуживает снисхождения. Неужели это логика?

Дело в том, что не за свою непосредственную вину осужден был старый строй, а во имя *мечты о новом*. Эти люди не чувствовали себя удовлетворенными и обвиняли в этом строй. Им все мечталось, что если все разломать и построить заново, то можно найти счастье, можно сделать нечто такое, что поглощало бы *всего* человека.

Не недостатки старого строя, а неодолимая мечта о новом была и остается двигательной силой революции., этой закваской бурлит и пенится мир все столетие.

Как только революция, сделав возможное на данных ей основах, не исполнила невозможного, как только люди увидели и в новом строе обыкновенную земную жизнь, со всеми ее вечными недостатками, — новый строй был столь же беспощадно осужден. Сен-Симон [4], Фурье, Кабе, Леру [5] вслед за Р. Оуэном [6] каждый по-своему открывают “совершенный” строй. Все ищут “гармонии”, которой нет в душах и которую надеются найти во внешних условиях. Отрицание старого, смелые предсказания будущего также решительны, как в 1789 году. Фурье не стеснялся предсказывать целую революцию даже в самой природе, предусматривал появление новых существ, новых планет. Для согревания полюса должна была явиться на небе особенная “северная корона”... Сумасшествие, скажут иные нынче. Однако в свое время наши, например, петрашевцы зачитывались абракадаброй “Theorie des quatre mouvements” не менее, чем нынешние люди зачитываются графом Л. Толстым. Сумасшествие или нет, но на основании этого сумасшествия “старый” мир, только что явившийся на свет, объявлен подлежащим уничтожению. За что же? Не за то ли, что не мог дать “гармонии”, не умел повесить над полюсом согревательную “северную корону”?

Все это, по быстроте нынешнего прогресса, уже старые истории. Утопии признаны утопиями. Но изменилось ли состояние умов, стала ли точнее критика существующего, стали ли реальнее надежды на “будущий строй”?

Совершенно то же самое. Я вовсе не поклонник строя, вышедшего из “великих принципов 1789 года”. Но разве революционное осуждение его сколько-нибудь пропорционально его действительным недостаткам? Строй с большими прорехами, но, конечно, если б его не портить, а улучшать, мог бы стать удовлетворительным. Беда в том, что *настроение* людей ведет не к улучшению его, а непременно к уничтожению, перевороту. Что же можно улучшать при таком условии? Вся критика, вся умственная работа становится при нем орудием не улучшения, а разрушения. Положение фатальное, но обусловленное не прямо недостатками строя, а психологическим состоянием *людей.*

III

Тут мы находимся уже не в истории, а в современности. Нам достаточно видеть ее, чтобы понять, насколько фантастично отрицание, осуждающее существующий строй на уничтожение.

Беру первую попавшуюся сходку где-нибудь в Женеве. На трибуне оратор, худой, воспаленный. Он жестоко громит зловредный

швейцарский строй. “Посмотрите на себя, — восклицает он, — на эти изможденные лица жертв безжалостной эксплуатации!” А вокруг него сидят женевские рабочие — красные, полные рожи, все молодец к молодцу. Уж, кажется, собственные глаза могли бы показать нелепость восклицания. И, однако, оратор кричит, а “изможденные” рабочие пресерьезно слушают, потягивая пиво из своих кружек.

Один раз рабочий, которому наскучило слушать “des phrases creuses” о будущем, попросил разъяснить ему, как бы устроить, чтобы теперь больше зарабатывать. Оратор тотчас подозрительно и иронически спрашивает: “Да вы рабочий ли?” — “Я-то рабочий. Вот мои руки. Они в мозолях. А вот вы кто — не знаю”.

Оратор был захудалый русский князь, из “всечеловеков”, никогда в жизни, конечно, не работавший. Но это его нимало не смущало; он был уверен, что именно он, а не этот кровный рабочий понимает все бедствия швейцарского пролетариата.

Есть ли свобода во Франции? Может ли французский строй подлежать уничтожению именно за недостаток свободы граждан? Кажется, что уже нельзя было чересчур пожаловаться на деспотизм Греви и его палаты. Но вот социалистический депутат разжигает своих избирателей именно на тему о недостатке свободы. Яростных восклицаний не оберешься. Подумаешь, что дело идет об Иване Грозном. И что же? *Единственный* факт, который приводит оратор, — тот, что на улицах Парижа не допускают процессий с *красными* знаменами. Подумайте, каков силлогизм. Красного знамени не позволяют носить — стало быть, во Франции нет свободы, стало быть, существующий строй подлежит уничтожению...

Неужели это логика? А ведь это говорится, это слушается. *Такой* критикой призывается будущая революция, эта столь жадно ожидаемая “La Sociale”.

Пусть не скажет мне кто-нибудь, что я беру мелочи. Революционная критика — вся в них. Не одни незрелые мальчишки, не одни глупцы делают такие явно нелепые заключения. Маркс, например, конечно, самый сильный революционный ум XIX века. Его “научный социализм”, конечно, есть верх научности, до какого достигали революционные теории. Но разве в теории К. Маркса есть хоть малейшая связь между экономическим анализом посылок и социально революционным прыжком мысли, который служит им якобы выводом? Основа экономического анализа, знаменитая “прибавочная стоимость”, по самому К. Марксу, есть единственный источник капиталистической эксплуатации. Допустим. Далее, по его же анализу, понижение процента

есть неизбежное внутреннее явление капитализма. Сопоставим же эти два закона. Кажется, ясно в выводе, что постепенное уменьшение “прибавочной стоимости”, то есть другими словами, постепенное уничтожение эксплуатации рабочего, идет само собою, безо всяких революций. В конце концов, если бы Маркс был логичен, он должен был бы сказать, что капиталист постепенно выработается в простого хранителя орудий производства, то есть получит безусловно, с точки зрения К. Маркса, полезную социальную функцию, вознаграждаемую, как и всякий труд рабочего.

В общем выводе — капиталистический строй должен бы быть признан обладающим внутренними условиями для разрешения всех своих “противоречий”. Именно по собственной экономической доктрине Маркс должен бы стать апологетом капитализма и признать социализм ненужным. И, однако, он делает совершенно противоположный вывод. Он, как революционер, идет против самого себя как ученого, и ни он сам, ни все миллионы социал-демократов даже не замечают этого.

Им непременно нужен “новый строй” потому, что его еще нет, о нем еще можно мечтать. Надоест он — и опять начнутся такие же крики, такие же отрицания. Критика “старого” у умных людей, у глупых, у мальчишек и ученых — совершенно одинаково произвольна. Так было в 1789 году, так остается теперь, так останется еще и долго, пока мир не переработает своей духовной болезни.

IV

Новейшее проявление ее вдвойне любопытно для нас, потому что оно создалось у нас — в виде нашей толстовщины, толстоизма Макса Нордау [7]. По сущности своих общественных идеалов граф Л. Толстой развивает, несомненно, анархическую идею, но в нем гораздо отчетливее выражается социальный мистицизм, который у анархистов гораздо менее прочувствован.

Анархический характер общественных идеалов графа Толстого не подлежит сомнению. Он с отвращением и ненавистью относится *ко всякой* общественной организации, считает ее величайшим злом и призывает человечество к ее уничтожению. Когда всякая власть будет уничтожена — настанет “спасение”, “царствие Божие”. Анархисты употребляют только другую терминологию для тех же хилиастических мечтаний. Разница в способах действия с анархистами у него весьма значительна. Они начинают *единоличный бунт* — он начинает *единоличное неповиновение*. Это пассивная анархия, как справедливо

выражается г-жа Манасеина. Свой способ действий граф Толстой считает более действительным. “Социалисты, коммунисты и анархисты со своими бомбами, бунтами и революциями, — говорит он, — далеко не так страшны правительствам, как эти разрозненные люди (то есть толстовцы. — Л. Т.), с разных сторон заявляющие свои отказы (повиноваться требованиям правительства. — Л. Т.)”⁸⁰.

Но кто бы ни был прав — спор идет только о *средствах*. Цель та же, и именно самая “передовая”, то есть такая, которая выражает последний вывод настроения века.

Цель эта, конечно, безумная. Г-жа Манасеина напоминает⁸¹, что никакое общество немислимо без власти, следовательно, без известной степени принуждения. Дело совершенно ясное.

В течение всего нашего века наука все более ясно убеждалась в органическом характере социальных явлений, а тем самым показывала немислимость уничтожения *основ* обществ. В течение всего столетия все здравомыслящие люди, при всем либерализме и тоже рискуя, как теперь г-жа Манасеина, показаться отсталыми, говорили передовым приблизительно то же, что теперь говорит г-жа Манасеина графу Толстому. Все это, однако, нимало не помешало тому, что нелепость конечных идеалов века не уменьшалась, а возрастала, обострялась. Люди 1789-1793 годов потеряли реальность мысли только в том, что вообразили, будто бы в обществе возможны какие-то основы, по существу *новые*. Но в частности они продолжали быть весьма практичными. Наследники их основной ошибки теряли реальность мысли все в большем количестве частных, пока наконец не дошли до анархии и толстоизма.

Вот, собственно, в каком историческо-психологическом процессе является толстоизм как одно из звеньев. В этом интерес, который он возбуждает в наблюдателе духовных болезней века. От анархизма и толстоизма совершенно застрахован тот, кто свободен от основной ошибки времени. Но все здравомыслящие люди века оказались бессильными помешать тому, что все наиболее зараженное основной ошибкой неудержимо дозревало до анархии. И теперь точно так же ничего нельзя сделать против дальнейшего разложения, пока люди не поймут самого *источника* ошибки.

V

Этот источник есть понятие об *автономной личности*. Лжеощущение своей якобы автономности появляется первоначально в результате бунта против Бога. Оставшись без Бога и в этом случае

лжеощущая себя автономной, личность сначала пытается найти полное исполнение своих стремлений в земном мире. Но это невозможно. Мир оказывается для этого неспособным. Отсюда начинается отрицание мира в том виде, как он есть, по здешним законам. Одна за другой являются мечты “будущего строя”. Пробуя эти строи, автономная личность отвергает их один за другим, более или менее усиливая свое отрицание действительного мира. Так наконец является анархизм, а затем и толстоизм.

В этом процессе патологического развития толстоизм есть не одно из мелких разветвлений, а намечающееся новое русло всего потока. В это очень любопытно вдуматься. Толстоизм идет *далее* динамитного анархизма. Вот почему мы видим, что толстовщина способна отбивать себе приверженцев даже из мира революционеров. О внутренней силе отрицания не должно судить по силе внешнего трескучего проявления его.

Вдумываясь в графа Л. Толстого, изумляешься необычайной глубине, с какой он проникся отрицанием. Во всем, где граф Толстой как отрицатель отличается от анархистов, он как отрицатель совершенно прав, идет *далее* их.

Анархисты отрицают *общество*, но мечтают о таком блаженстве, которое немислимо без *культуры*, создаваемой только обществом. Анархисты отрицают жизнь в очевиднейших законах ее, которые проявляются в обществе. Но они же, как дети, хватаются за ничтожнейшие радости этой отрицаемой ими жизни. Это нелепо с точки зрения идеи, но составляет у анархистов остатки еще не совсем истребленного здорового инстинкта. Граф Л. Толстой, напротив, совершенно верно ощутил в своей душе, что, отрицая общество, он должен отрицать и культуру; отрицая жизнь, он почувствовал отвращение и к ее радостям, и ко всякому ее напряженному состоянию. Детьми в сравнении с графом Толстым оказываются анархисты и в способах борьбы со “старым миром”. Они отрицают власть, а сами практикуют насилие. Это нелепо, ибо они сами этим лишь доказывают, что в душе еще не совсем отрицают власть, на практике же они только трансформируют власть, а не упраздняют ее. Граф Толстой, с еще небывалым чутьем отрицания, отвергая действительность, почувствовал отвращение ко всякому *деланию*, ко всякому *сопротивлению*. Толстоизм не действует *положительным образом* даже и в разрушении; это замечательно тонко. Это единственный “настоящий” анархизм. Для социального мира он гораздо страшнее динамитного анархизма, ибо вносит в общество не острые кризисы, не оживляющую борьбу, а безнадежное мертвое гниение. Он пронизывает общество бациллами

омертвления, подтачивает его во всех жилах и нервах. Если бы предположить прогрессивное развитие толстоизма, в нем для общества один конец: оно должно просто рухнуть, как источенное червями дерево.

В отличие от анархизма, граф Толстой вводит в свое учение некоторую примесь *мистического* элемента. Это тоже логическое последствие более глубокого отрицания действительной жизни.

Анархизм — прямое создание искаженного, но в *основе религиозного* чувства “не от мира сего” — имеет нелепость связывать себя с материализмом. Но если б он успел отрешиться от своего искаженного отголоска религиозного чувства, если б он стал чисто материалистичным, он бы сам себя уничтожил. Он стал бы очень грубым животным, не перестал бы отрицать материальный мир каков он есть; напротив, подчинился бы ему и перестал бы быть анархизмом. Резкая материалистичность в анархизме является теоретической нелепостью, а на практике она опять-таки есть отголосок здорового, в животном смысле, чувства *животной реальности*. Граф Л. Толстой и от него отрешается. Он чувствует, что связан не с отсутствием, а с *искажением* религии, и ни за что не хочет от него отказаться. В графе Толстом говорит сама логика духовной болезни, которой он проникнут. Отрицая действительный мир в его законах, в его радостях, в его напряженности жизни, нельзя отречься еще и от чего-то непонятого уже, но еще несомненного, что дал миру не кто иной, как Христос. Если еще отречься и от этого, то уж вовсе незачем жить, *нечем* тогда даже и отрицать. Но граф Толстой еще хочет жить. И вот почему он, наверное не из политики, а *для себя*, необходимо *должен* держаться за искажение христианства, ибо он только этим еще и живет. Это состояние ложное, но граф Толстой правильно чувствует его необходимость. Он в этом отношении далеко более чуток, чем все Кропоткины, Реклю [8], Гравы и т. д. Он, а не они, представляет последний фазис болезни.

Завершается ли она этим фазисом? Есть ли что-нибудь еще дальше него? По всей вероятности, тут должно предвидеть еще один шаг “вперед”.

Идея *земного* всеблаженства должна была, как мы видели, постепенно выбрасывать за борт все, чем живет мир. В толстоизме она уже отрицает и радости жизни, и самую напряженность жизни. Искание полного всеблаженства приводит к универсальной мертвечине и тоске. Отсюда должно предположить какой-нибудь необходимый шаг к идее уничтожения мира. Это будет, вероятно, какая-нибудь вариация Гартмана [9], переработанная каким-нибудь сумасшедшим, который бы сумел дать этой идее контуры, соответственные *настроению* наследников

толстоизма. Конец выразится чем-нибудь в этом роде. Патологоисторическое значение толстоизма состоит в том, что он пока подводит к нему ближе, чем какое-либо иное направление.

VI

Таким образом, в течение столетия мы видим почти завершенным весь круг течения болезни, которую мир принял сначала за “новую эру” человеческой жизни. Новой эры, однако, здесь нет и следов, как и вообще крайне мало чего бы то ни было *созидающего*.

Социальный мистицизм, начиная со своих первых, якобинских, стадий, борется с историческим обществом во имя мечты “будущего строя”, еще небывалого, гармонического и блаженного. На всех стадиях развития он грозит *гибелью* тем основам, на которых доселе воздвигались и держались человеческие общества, но этой борьбой не ограничивается приносимый им вред. Заразительность психологических состояний так велика, что на ту же точку зрения нередко становились и защитники существующего строя общества. Они поддаются вере в возможность переворота, действительно упраздняющего все основы общества, видят себя пред каким-то концом света и в страхе перед этой картиной все усилия, все мечты свои устремляют на простое сохранение status quo, не смея и думать о чем-либо большем. Этот малодушный консерватизм вредил современным обществам тоже немало. А между тем если бы вопрос шел о том, будут или не будут действительно упразднены основы, на которых доселе существовало общество, то социальный мистицизм можно было бы считать совершенно безвредным. В этом мы, пережив практику XVIII — XIX веков и передумав то, что дает научная мысль, можем быть уверены более чем когда-либо.

Франция начала разрушение “старого строя” с твердой решимостью создать именно *новый*. Ей рисовался строй, где *народ* составляет *государство*, безо всякого расслоения, безо всякой специализации политических функций, безо всяких посредствующих звеньев между народом как подданными и народом как государем (Souverain). И что же получилось? Ни одна черточка именно *нового* не осуществилась. Франция устроила у себя демократическую республику, какие мир знал и до нее. В ней такие же власти, как и во всякой другой стране, такие же расслоения на фактические сословия, в которых даже наследственность играет огромную роль. Единство какой-нибудь общенародной воли замечается здесь даже менее, нежели при старом строе. Сформировалось как во Франции, так и в Америке сословие *правящее* — политики, — стеной стоящее между государством и

народом и пользующееся уже никак не большей любовью и значительно меньшим доверием населения, чем правящие сословия старого строя. Короче, ни одна черта нового, небывалого не осуществилась. Фантазия осталась фантазией, а в действительности проявились совершенно те же силы и основы, которые с древнейших времен проявлялись в человеческих обществах. Самая борьба между монархическим и республиканским принципами, между аристократией и демократией, принесла ли она Франции пользу или вред, во всяком случае, стара как мир.

Французы заменили одни старые формы другими, не менее старыми, и человеческому *обществу* не открыли ровно ничего, кроме подтверждения того, что ни при какой страсти к новизне люди не могут направлять развитие своего общества иначе как в рамках вечно одинаковых, неизменных по существу *основ*.

Это, впрочем, небольшое открытие для тех, кто знакомится с наукой XIX века по исследованию жизни народов и их учреждений. В своих обобщениях социология неудержимо приближается к естественным наукам, указывает в жизни общества действие общих законов органического развития. В частности, все ее наблюдения указывают у всех обществ всех времен одни и те же *основы*. Мы не знаем в обществах других изменений, кроме эволюции одних и тех же основных форм и различия их комбинаций. Выводы этого наблюдения подтверждаются всем авторитетом наук естественных. Все неисчерпаемое разнообразие живой природы повсюду основано на развитии весьма небольшого числа основных форм, которые остаются неуничтожимой основой всех новых комбинаций. Совершенно то же в социальной жизни. Во всех ее явлениях мы постоянно находим одни и те же основные элементы: семья, собственность, право личности, власть общественная, объединение по специальным интересам, распадение на сословия, вечный их антагонизм, вечное их примирение властью целого, для которого они все одинаково нужны. Повсюду мы видим как необходимое условие существования общества нравственное воспитание личности религией. Повсюду видим как необходимую скрепу социальной жизни обычай, традицию, привычку, дисциплину. Нигде и никогда не видим развития общества без развития этих его оснований, всегда и везде видим их колебания в эпохи разложения. Нисходя к частностям, мы наблюдаем в мире точно так же лишь немногие *основные* формы семьи, власти, собственности и т. д. Они развиваются, борются, сменяют одна другую, замыкаются в крайне разнообразные на вид круги эволюции. Но везде и всегда наш анализ показывает нам в жизни общества одни и те же вечные, не уничтожимые основные формы.

Когда мы сопоставим эти указания научного наблюдения с указаниями переживаемой нами истории, все толки о каком-то необыкновенном, по существу новом, будущем строе кажутся, наконец, просто смешными, детскими. *Люди могут делать сколько им угодно революций, могут рубить миллионы голов, но они так же бессильны выйти из социальной неизбежности, как из-под действия законов тяжести.*

С этой стороны современному обществу ни от каких мечтаний социального мистицизма никаких опасностей не угрожает. Якобинцы, социалисты, анархисты или толстовцы могут фантазировать что угодно, но когда придется *жить*, будут жить в тех же основных формах, как и все прочие люди.

VII

Настоящий вред и опасность не в том, чтобы могла быть изменена природа социальных явлений, а в том, что под влиянием социального мистицизма извращается вся *сознательная* деятельность человека. Законов природы люди не могут изменить. Но они могут заниматься вместо разумного усовершенствования механических двигателей изобретением *perpetuum mobile*, могут вместо рациональной медицины отыскивать жизненный эликсир и т. п. Вообще, вместо разумного приспособления законов природы к своим нуждам они могут тратить свои силы на пустяки и фантазии. Это вредно уже тем, что отвлекает силы от полезного употребления. Но еще вреднее то, что, постоянно усиливаясь изменить законы социальных явлений, эта злополучная умственная болезнь постоянно вносит в их действие беспорядок. Как только эти люди замечают, что в произведенном ими хаосе начинают вырисовываться опять знакомые и ненавистные им законы “старого” общества — они в негодовании опять начинают беречь раны, срывать рубцы, которые только что воссоздала благодетельная *vis medicatrix naturae*. Они опять все спутывают в какой-нибудь новой фантастической комбинации, воображая, будто бы на этот раз развитие пойдет иным путем. Фантазия, конечно, не исполнится, и хотя бы мы сто тысяч раз приводили общество к хаосу, оно сто тысяч раз будет воссоздавать те же самые основные формы, и, кроме них, по самым законам социального развития, ничего *не может* создать. Но в этой дикой борьбе с природой мы страшно истощаем силы своих обществ.

Омар в Александрии, варвары в Риме, арабские очаги из мумий и папирусов Древнего Египта — все это в развитом уме возбуждает лишь слабое подобие той грусти, которую испытывает он перед варварским

делом современных социальных мистиков. Они не ведают, что творят, но творят дело ужасное, самоубийственное. Даже в тех случаях, когда мы к естественному действию творящих сил природы присоединяем сознательные усилия человеческого искусства — и тогда здоровое складывание и рост общества представляет процесс медленный. Все, что мы ни возьмем: власть ли политическую, организацию экономическую, условия ли воспитания личности в семье и религиозных учреждениях — все это получает возможность благотворно действовать тогда только, когда складывается в стройную систему, пропитывающую общество от мелких его ячеек до центра. Как много нужно для существования, например, монархии, какой ряд традиций, выработавшихся от долгого совместного действия монарха и народа, какие привычки в разных классах народа, какие тонкие способы взаимного понимания народа и власти... На все это требуются десятилетия и столетия. Точно также, например, экономическая организация общества требует известных установившихся отношений между хозяевами и рабочими, согласования действий различных отраслей промышленности, согласования интересов промышленности с другими не менее необходимыми интересами общества, политическими, нравственными условиями воспитания личности и т. д. Те же тонкости органического сложения представляют все другие отрасли жизни, даже порознь взятые. Но они существуют не порознь, а совместно, влияя одна на другую, помогая одна другой, мешая одна другой, принимая ненормальный характер, когда хиреют другие. Легко понять, какое страшное зло составляет все, что возмущает этот сложный, тонкий, нежный процесс социального созидания. «Пусть, — говорит один из умнейших современных исследователей социальных явлений, — найдется историк-философ и скажет: “Государство, так же как человеческое тело, есть чудно устроенная и уравновешенная машина; оно создает органы, в которых нуждается, и, если они утрачены, воспроизводит их вновь. Оно, — прибавит историк, — обладает тонким темпераментом, и если чего в особенности не может вынести, так это *хотя бы самого кратковременного колебания основ своей жизни*».

Что же философ-историк скажет о безумном движении умов, которое целое столетие только и занимается колебанием основ, ревнивым уничтожением едва-едва воссозданного органа, как только он появляется, и по своей основной идее непременно *должно так* поступать, потому что хочет строя невозможного, составляющего отрицание основ *действительного* общества.

Эти люди своей фантазии осуществить не могут. Но они систематически портят наши общества, насколько человек имеет на то силу. Они составляют вечную помеху социальному творчеству и не дают

развиваться даже тому хорошему, что случайным побочным продуктом дается их собственной безумной мыслью. Нет в мире бедствия, способного наделать столько вреда, как эта смута умов, этот социальный мистицизм, этот революционный хилиазм нашей эпохи.

VIII

Появление этой смуты умов, понятно, составляет прямое обвинение против некоторых сторон прошлой культуры, породившей ее. Болезнь XVIII-XIX веков имеет, таким образом, свою полезную сторону и может дать весьма важные указания на те поправки, которые должны быть привнесены к социальному творчеству предшествовавших эпох. Но для извлечения этой пользы из разъедающего современный мир зла нужно прежде всего освободиться от чар этого зла, понять, что это действительно *болезнь*, требующая самого настойчивого и разумного противодействия. На помощь уже чересчур долго истощаемым органическим социальным силам должно явиться сознательное искусство общественного деятеля. При этом особенно важно сознать, что борьба не может выразиться не только исключительно, но даже и приблизительно в мерах репрессивных.

Мечта “будущего строя”, конечно, приводит своих адептов к действиям, которые требуют энергического подавления. Невозможно допускать ни активных попыток ниспровержения общества, ни даже простого *неповиновения* тому, что обществом признано за требование общественного закона. Но эти меры, хотя и совершенно необходимые, не только не исчерпывают задачи, а даже и не затрагивают ее. Они могут быть даже вредны, если заслоняют собою другую, несравненно важнейшую сторону вопроса, а именно создание наилучших условий для здорового роста общества.

В течение XVIII-XIX веков среди защитников существующего строя нередко господствовал тот ложный *консерватизм*, который из боязни поколебать основы общества сковывает их, не дает им возможности расти и развиваться. Между тем это последнее именно должно бы составить главную заботу современности. Чем более смута парализует действие органических сил общества, тем более их оживление должно стать предметом наших сознательных усилий. Истинный *консерватизм* в этом случае совершенно совпадает с истинным *прогрессом* в одной и той же задаче: поддержания жизнедеятельности общественных основ, охранения свободы их развития, поощрения их роста. В этом — все содержание общественной жизни, в этом же и *главное* средство борьбы с духовной болезнью века. К повышению

жизнедеятельности общественных основ, при которых и зло обращается им в пользу, должны направиться все усилия. Разрушительной работе века расстройств будет положен конец только пришествием века созидания, которое бы восстановило единство действия бессознательных органических сил общества и сознательных усилий государственного деятеля.

К несчастью, это именно труднее всего объяснить современным нам людям, до самой прискорбной степени потерявшим духовное равновесие и самообладание. Это какие-то “разложенные” люди, у которых жизнь разбилась на отдельные составные части, беспорядочно действующие порознь. А между тем животворное их действие может быть только в совокупности. Свобода, например, без дисциплины, дисциплина без свободы не имеют в действительности никакого смысла. Но как трудно нынче объяснить это людям, воспитанным на палке и распущенности, не понимающим ничего, кроме революции и реакции.

IX

Современное общество страдает тем, что исчезло единство, совпадение действия сознательного социального творчества и бессознательных органических сил. На восстановление этого единства и должны быть направлены старания. Не следует думать, чтобы подчиненность общества действию органических сил уничтожила значение нашей сознательной деятельности. Нисколько. Социальная жизнь более сложна, нежели чисто органическая. Включая в себя законы жизни органической, социальная жизнь отличается от нее присутствием сознательной воли человека, которая вносит в нее требование *цели*. Человек не способен отрешиться от сознательного вмешательства в свою социальную жизнь. Наиболее дикие и первобытные народы и те имеют свою грубую философию общественной жизни, представляют себе цели ее и уже одним своим одобрением или неодобрением того, что делается у них, могущественно влияют на ход событий. Таким образом, социальные процессы развиваются не только в направлении *причинности* (как чисто органическое), но и в направлении тех или иных *целей* человека. Здесь узел, которым свобода личности связывается с социальной необходимостью. Посредством представления цели мы вносим душу в свое общество, высоко поднимаем энергию его бессознательных органических сил или, наоборот, парализуем их апатией и беспорядком.

Вот почему духовное состояние личности имеет чрезвычайное значение в социальной жизни. Поэтому же в социальной жизни, ее формах, ее устройстве мы не можем интересоваться только какими-либо

удобствами ее или развитием материальной силы и т. п., но должны не забывать также вопроса: каково действие нашего общества как воспитательной среды? Если наше общество, например, приспособлено к развитию огромной материальной силы, но вследствие такого одностороннего приспособления создает плохую среду для воспитания личности — это уже положение опасное. Плохо воспитанная личность может жестоко отомстить за это упущение и непременно доведет весь строй до таких колебаний и беспорядков, что он потеряет в конце концов даже способность развития материальной силы.

Вообще, поддержание гармонии между теми целями, которые хочет себе ставить личность, и теми неотменимыми законами природы, в которые эти цели придется вдвинуть, составляют, можно сказать, корень социальной мудрости. Общество процветает только при такой гармонии, а как только она более или менее нарушается — все приходит в беспорядок, бесплодно тратящий силы личности и общества. Мы, то есть современный культурный мир, именно этим и страдаем. Нам предстоит теперь трудная задача: во-первых, *понять* ошибочность целей, которые современная личность ставит обществу, и, во-вторых, *перевоспитать* личность, довести ее до более разумного помещения своих желаний. Последняя часть задачи тесно связана с прояснением религиозного чувства. Первая требует рассеяния наших социальных суеверий, облекших собою современную идею так называемого *прогресса*.

X

В настоящую эпоху сознательная деятельность человека парализует действие органических социальных сил *вдвойне*, с одной стороны, толкая общество в революцию, с другой — задерживая его в неподвижном консерватизме. Оба эти явления тесно связаны с понятием о *прогрессе*, около которого происходит их борьба.

Что ныне популярнее идеи прогресса? Для целых миллионов — это догмат веры, и притом единственной веры, какая у них есть. Они нравственно только и живут “прогрессом”, ему служат, в него кладут все свои надежды, мыслью о нем утешаются во всех бедствиях и неудачах. Они, сверх того, воображают, что будто бы это не вера их, а разумное убеждение, окончательное слово знания человеческого. Не трудно даже у неглупых людей услышать или прочесть мнение, что нет идеи, установленной с большей научной точностью, чем идея прогресса. И, однако, на самом деле нет идеи, которая была бы до такой степени сплетена из неясностей, неточностей, произвольных соединений противоположного и несовместимого. Человечество не выйдет из хаоса

мысли, пока не разберется в этом знаменитом своем “прогрессе” и не отбросит совершенно *современное* его понятие.

Первоначально идея прогресса является, несомненно, в виде болезненного перерождения христианских воззрений на цели жизни. Утратив понимание ее духовной стороны, люди перенесли в земную социальную жизнь данные религией откровения. Но то, что совершенно понятно и даже логически необходимо как новый акт божественного творчества, делается жалким абсурдом, когда переносится в область *нынешних* законов мира.

Таково ожидание “будущего строя”, стремление чисто *революционное*, требующее жизни, которая представляет полный переворот действительного мира. Пророк грядущей революции Руссо указывал ее необходимость в самых свойствах природы человека и *сердца* человека, оставшегося без Бога, но еще не чувствующего свои духовные свойства; он говорил могуче, неотразимо. Но сердца тут недостаточно. Покидая религию, оно уже отказалось от своих прав в пользу разума. Для разума же остается, во всяком случае, весьма странно, каким образом неизбежное последствие свойств человеческой природы никогда не осуществлялось в течение всей жизни человечества и стало необходимым лишь в конце XVIII века? И вот естественно является подтасованное объяснение якобы от имени разума и созданной им науки. Кондорсе пытается показать, что *прогресс* ума человеческого будто бы именно приводит мало-помалу человечество к революции, обрисованной Руссо. Через этих мыслителей, на сто лет выразивших движение умов, революционные ожидания связались, таким образом, с якобы историческим процессом прогресса. Но эта связь даже у самого Кондорсе фактически нимало не была установлена. Историческая картина развития человечества, им набросанная, несомненно, есть картина некоторого прогресса, то есть переход от менее совершенного в более совершенное. Но то развитие, которое Кондорсе указывает в истории, ни малейшим образом не похоже на то, чего он ожидает в будущем. Его революционное введение и его эволюционный исторический обзор остаются связаны не по содержанию, не по логике, а только употреблением неопределенного слова “прогресс”. Кондорсе говорит: в прошлом замечается “прогресс”. Слушатель соглашается. Далее автор предсказывает будущее и называет якобы предстоящее изменение мира тоже “прогрессом”. Отсюда заключается, что будто бы будущее связано с прошлым, хотя на самом деле здесь одним и тем же словом “прогресс” называют два совершенно различных явления: “эволюцию” в прошлом и “революцию” в будущем. Ни тождественность, ни родственность этих явлений, ни даже хотя бы способность эволюционного процесса давать революционный результат

— все это не только не доказано, но даже не затронуто. Все обойдено простым употреблением одного и того же термина. Но люди уже не были взыскательны к точной мысли. Нарушенное духовное равновесие тем особенно и опасно, что оно пугает действие *всех* наших основных способностей. Идея прогресса торжественно пошла в ход, стала популярнейшей, наиболее общепризнанной идеей века. Но как она родилась из произвольного совмещения двух резко различных понятий, так и осталась с ними, внося хаос и в политическую, и в научную работу нашу.

Действительно, ходячий революционный оттенок, с которым *прогресс* явился на свет, не оставался без влияния и на научную мысль, особенно у второстепенных деятелей. Однако в общей сложности работа научной мысли XIX века совершенно оставила за бортом идею прогресса. Если это слово и употребляется для выражения действительных сторон явлений, то, во всяком случае, в смысле, не имеющем ничего общего с идеей счастья, довольства, свободы и менее всего с идеей общего равенства и одинаковости. В научном смысле “прогресс” обнаруживает или прямо противоположные явления *дифференциации, усложнения и расслоения*, или явления приспособления к среде, или, наконец, просто обозначает *всякое* поступательное движение, хотя бы и самое бедственное. Так, медицина говорит о прогрессивном параличе и т. п. Вообще, во всем, что в понятии прогресса остается достоянием науки, она открывает только различные явления *эволюции* и этим отнимает всякую тень своей санкции у революционных мечтаний, которыми прогресс покоряет сердца массы.

XI

В самом деле, изучение явлений эволюции устанавливает как факт научный *развитие*, движение вперед, прогресс, если угодно, но чего? Именно *данного* типа, данной комбинации сил, и только. Тут, как представляет себе Фулье [10] жизнь организмов, в основе, источником движущей силы является некоторое вихреобразное движение, которое и завязывает процесс развития в известном данном направлении, с тем характером, какой обусловлен первоначальным толчком, и с той продолжительностью, возможность которой определена первоначальным количеством силы. Творческое развитие идет, таким образом, только из *самого себя*. Ничего, кроме выводов из данного типа как органической посылки, закон эволюции не только не обещает, но даже не допускает, ибо показывает, что сначала идет развитие основных сил, характеризующих данный тип, а затем, когда оно прекращается,

наступает не какая-нибудь “революция”, а просто *разложение*, за которым следует опять не “революция”, а смерть. Конечно, в разложившемся процессе потом появляются новые очаги зажигающейся жизни, которая порождает новые процессы эволюции. Но и в этих новых очагах все-таки никакой “революции” нет, потому что в них лишь заново, в деятельном состоянии, возрождаются совершенно *те же силы*, какие действовали в отжившем. Вообще, идея эволюции никакого места “революции” не дает. Напрасно мечтатели “будущего строя” будут справляться с историей. Чем яснее они в ней укажут нам *прогресс человеческих* обществ, тем более подрывают они возможность всяких чаяний революции. Прогресс они укажут только в форме эволюции, в известном типе, на известных *основах*, но чем яснее мы увидим эти основы в прошлом, тем нелепее будет мысль, будто бы мы не встретим их в будущем. Если бы мы поверили в силу революции уничтожить их, мы должны будем заключить не то, что наступит “будущий строй”, а то, что наступает разложение человечества.

Мечты “будущего строя” остались и продолжают жить в умах. Продолжают раздаваться революционные пророчества. Держится и нерассуждающая вера в “прогресс”. Но во всяком случае как было в XVIII веке, так останется и в конце XIX, эта идея революционного прогресса не имеет никакой разумной ценности, никакого научного достоинства. Она бессильна связать прошлое человечества с фантастическим якобы “будущим” его строем. Попытка связать утопию и действительность под одним названием *прогресса* оказалась неудачной. Утопия продолжает развиваться в умах. Продолжает развиваться и научное понимание социальной жизни. Но чем больше они развиваются, тем дальше расходятся. То, что научное наблюдение показывает нам как необходимое условие существования и развития социальной жизни, заставляет только улыбаться, слушая обещания популярного “прогресса” относительно общего счастья, свободы и равенства в “будущем” строе.

Эта идея “прогресса”, которой человек старается прикрыть свои невозможные требования от земной жизни, так слаба, так противоречит нашему опыту, рассуждению, короче, составляет такой очевидный самообман, что этим приобретает даже своеобразную поучительность. Нельзя не сказать: стало быть, сильны в душе человека какие-то другие, не земного происхождения, силы, если он идет скорее на допущение какой угодно нелепости, нежели на отказ от них. Это, однако, уже другой вопрос. Во всяком случае, идея прогресса в том смысле, какой она получила в нашу эпоху, то есть идея достижения сразу или постепенно общественного строя, отрешенного от его исторических основ и дающего для личности среду, способную удовлетворить ее стремления к свободе и

счастью, — это идея безусловно нелепая. Стремление воздействовать на общество в направлении *этого* прогресса только вредно, потому что с ним мы можем лишь разрушать действительность, то есть подрывать способность социальной среды давать нам даже и то, на что она по природе своей годится.

XII

Но и *консерватизм*, который был бы прав как отрицание этого бесплодного революционного прогресса, заслуживает не меньших упреков, когда ограничивается одним этим отрицанием и не видит пред обществом положительной работы, движения вперед, то есть тоже прогресса, но только в эволюционном смысле. Жизнь действительная не знает революции как творческого начала. Но она также не знает ни неподвижности, ни движения назад.

Всякий процесс живой природы есть процесс эволюции, развития сил до апогея их творческой способности, за которым наступает неизбежный период угасания данного явления, затем становящегося материалом для питания новых возникающих очагов новой эволюции. Остановка, застой является, таким образом, в явлениях органической и социальной жизни совершенно исключительным, недолгим моментом перелома от жизни к смерти. Стараться остановить жизнь (“подморозить Россию”, как однажды выразился К. Н. Леонтьев”) — это значило бы стараться поскорее перевести ее движение вверх к движению вниз. Как система политики это тоже система самоубийственная, только по другому способу, нежели революционная.

Если б идея прогресса, около которой так или иначе группируются все направления, грешила только идеалистичностью, то есть крайностью увлечения, она бы допускала свою поправку на чем-нибудь среднем, примирительном. Но она ложна именно по существу, и это особенно вредно отражается на направлениях, воображающих быть *средними*, на этих умеренных прогрессистах, либеральных консерваторах и т. п. Все они производят даже больше вреда, чем крайние. Крайние, революционеры и реакционеры, имеют то достоинство, что, по своей смелости и последовательности, приводят по крайней мере к быстрой развязке, к опыту отрицательно поучительному. Правильное действие общественных сил у них возмущается глубоко, но не надолго; эти силы не успевают зачехнуть и, по прекращении неудачного опыта, начинают снова действовать, может быть, более энергично, так как на помощь им является сознательное искусство людей, просветленное только что произведенным неудачным опытом. Умеренные же направления, не

доводя Идеи до очевидных нелепостей, только способствуют ее укоренению, помогают ей заражать всю массу общества, распространяя в нем неизлечимое гниение, от которого, после достаточной практики, уже нет выхода ни в чем, кроме разложения.

Нашему времени предстоит понять, что цели прогресса XVIII — XIX веков ошибочны не крайностями, но *по существу*. Невозможное не становится возможным оттого, что мы вздумаем осуществлять его не сразу, а по клочкам, не в 24 часа, а в течение столетий. Нам должно понять, что разумность состоит не в том, чтобы умерять нелепость, а в том, чтобы *совсем* выйти из нее, отказаться от старых точек зрения в пользу единственно верного понятия *жизнедеятельности*.

XIII

Между прогрессом, насколько он существует в действительности, и *консерватизмом*, поскольку он необходим и возможен, с точки зрения жизнедеятельности человека или общества нет решительно никакой противоположности. Прогресс, насколько он существует в мире, есть только *развитие*. Но консерватизм, поскольку он есть явление жизненное, тоже есть лишь другое название того же факта. Сохранение органической силы и развитие ее — одно и то же, ибо органические силы только и существуют в состоянии деятельном, в состоянии развития точно также, как нельзя развиваться, не сохраняясь в типе. Новая точка зрения, громко подсказываемая всем пережитым и передуманным нами, упраздняет эти ложные разделения, порожденные социальным мистицизмом, и заменяет их одним понятием *жизнедеятельности*. Мы должны совершенно отбросить мысль о прогрессе или консерватизме, а думать о *жизнедеятельности*. Изучение ее законов как предмет науки, сознательное поддержание их действия как предмет политического искусства — вот задача века, который должен сменить собою век революции. Понятно, и тут неизбежны разногласия и различия мнений, но никак не такие, как наши современные. Спорят между собою и астрономы, и механики, но, по крайней мере, не о том, равен ли угол падения углу отражения или движется ли тело по равнодействующей нескольких составляющих сил. Их споры о применении основных законов — суть споры людей разумных и кое-что знающих. В современных же спорах о политике у противников нет никаких общих, бесспорных основ и каждый аргументирует, исходя только из своей субъективной идеи, всесильной для него и нулевой для противника. И, однако, кажется, что в общественной и духовной жизни человека есть такие же, не подлежащие спору основы, как в физике или механике; кажется, что для плодотворной

деятельности все должны бы сообразоваться с ними. Только глубочайшее духовное затмение, сказавшееся в появлении социального мистицизма, могло погрузить людей в странное состояние субъективности, при котором мы, как строители Вавилонской башни, перестали даже понимать язык друг друга.

XIV

Задача отрешения от основных точек зрения XVIII-XIX веков повсюду очень нелегка. Это показывает та страстная злоба, которой представители “образованного” слоя встречают всякого, успешного отрешиться от омрачающего их чада. Они сердятся, как душевнобольной, при малейшем оспаривании их “пункта”. Это психологическое состояние людей до крайности затрудняет всякое противодействие болезни в ее распространении и на еще здоровые силы. Невольно вспоминается восклицание Мирабо [12], что он в собрании депутатов — “единственный трезвый между опьяневшими”. Но выражение еще недостаточно точно. Кратковременное опьянение политической страсти не представляло бы беды. Расшатанность современной личности гораздо глубже, и против нее должны быть направлены все усилия здоровых элементов общества. Без оздоровления личности нечего и думать остановить современное разложение общества.

Если бы судьбы революционной эпохи зависели от состояния знаний наших, то она не могла бы и возникнуть или, во всяком случае, давно отошла бы в область предания, ибо точные знания XIX века совершенно ясно говорят, что существование и развитие обществ возможно лишь на вечных, одинаковых исторических основах. Революция есть абсурд. Научно это вполне ясно. Но стать сознательно на путь эволюционной политики мешает чисто психологическое обстоятельство: *революционное состояние современной личности*. Мы не находим в ней ни гармонического развития, ни дисциплины. Утратив понимание своего точного места в мире, личность ставит обществу недостижимые цели, во имя которых всякое усовершенствование или достройку обращает в ломку, постоянно себя заставляя быть неукротимой разрушительной силой. Вот обстоятельство, выяснение причин которого должно ныне особенно интересовать социолога и государственного деятеля.

Воспитание личности — вот искусство, ныне по преимуществу утраченное. Мы не находим способов ни развивать, ни дисциплинировать человека, а затем, получая общество, составленное в самой угрожающей пропорции из личностей расшатанных, бунтующих, ничем не

удовлетворимых, мы, даже при самом высоком разумении законов общества, теряем средства практически установить разумную общественную политику.

Усилия людей, старающихся возратить современные общества на путь спокойного и мирного развития, обращаются обыкновенно на укрепление тех основ, которым угрожает разрушение, тех форм и первоначальных ячеек, из которых складываются общества и которые вместе с тем дают воспитание личности. Стремление, по-видимому, совершенно разумное, и, однако, оно оказывается очень мало успешным. Как объяснить себе это явление? Очевидно, в такой постановке политики слишком мало принимается во внимание то, в чем кроются самые *источники* развития и дисциплинированной личности.

Общественный строй наш, без сомнения, является средой, действующей на личность развивающе и дисциплинирующе. Жизнь в семье, школе, в своем сословии, корпорации, общине, служба им и государству — все это при здоровом состоянии общественного строя воспитывает личность, научает ее отличать возможное от невозможного, показывает ей на частных примерах действие общих социальных законов и сильнее всего дает *привычки* дисциплины. Все это очень важно. Привычная дисциплина поддерживает общество еще довольно долго после того, как в личности угасло внутреннее стремление к нравственному действию. Тем не менее все-таки источники развития и дисциплины личности находятся не в самом социальном строе. Большую ошибку социальной философии XVIII — XIX веков составляет понимание человека как простого создания окружающей среды.

Человек, достаточно знающий и развитый, не может не понимать необходимости подчинения законам социальной среды. Он понимает не только их неизбежность, но также их разумность и благодетельность. Но за всем тем всякий человек неизбежно чувствует в себе нечто *высшее*, нежели общественная жизнь, так что *общество вовсе не имеет для личности достаточно авторитета*. Никаким устройством общества нельзя создать этого авторитета.

Все толки и старания XVIII-XIX веков об “обществе” или “человечестве” как предмете некоторого религиозного почитания для личности составляют самообман и мечту. В сущности, это и очень хорошо, потому что если бы человек когда-либо преклонился перед “обществом” или “человечеством” как высшим для себя авторитетом, это был бы конец человеческому развитию. Тогда личность уже не смела бы ставить обществу своих целей, а приняла бы за цель своей жизни подчинение законам социальным. Такое направление отчасти и

проявляется в так называемом “научном социализме”, как раньше проявлялось в “позитивизме”. Если б такое отречение личности от самой себя когда-либо совершилось окончательно — социальная жизнь совершенно уподобилась бы чисто органической. Наступило бы прозябание, о котором мы даже и понятия не можем себе составить. Но эти “мечты” о нравственной смерти человечества прежде всего неосуществимы. Сами XVIII-XIX века служат живым примером иллюзорности своих самоубийственных стремлений. Все деяния человека XVIII-XIX веков показывают, что он в действительности не только не преклоняется перед обществом или человечеством, а прямо-таки, что называется, в грош их не ставит.

Никаким законам этого “человечества” современный человек даже и не думает подчиняться. Он создает “человечество” как идола по собственному вкусу и фантазии, а когда идол не исполняет желаний своего поклонника, то без церемонии разбивается вдребезги. На современной истории мы не менее, чем на всякой другой эпохе, видим, что когда идея социальная остается в обществе *единственным* дисциплинирующим началом, то личность оказывается *безо всякого дисциплинирующего элемента*.

Происходит это оттого, что нам именно важнее всего нынче понять: оттого, что дисциплина общественной среды есть только *вспомогательная* к чему-то более основному. Когда оно есть, то и вспомогательный элемент оказывает свое полезное действие. А когда основной источник иссякает, вспомогательное теряет значение, как приводы машины, в которой угасла двигательная сила.

XV

Где же самый источник нравственной силы, способной к развитию и дисциплине? Он только *в религии*. Все остальные воспитательные средства, какими располагает общество, лишь распределяют нравственную силу, порождаемую религией, могут ее разумно сберечь и направлять, могут, напротив, расточать и заглушать, но во всех этих случаях общественный строй производит лишь различные операции, умные или глупые, над силой, которой он является только хранителем, а не источником.

Никогда человеческое общество не существовало без религии. Нравственное воспитание личности всегда сообразно тому, какие представления люди имеют о Божестве и в какие отношения становятся Божеству. Общество всегда искало опоры религии в определении своих

отношений к личности. Этот общеисторический факт показывает положительным путем то же самое, что мы за последнее столетие наблюдаем отрицательно, то есть что общество *в самом себе* не имеет достаточного авторитета для личности. Человек духовной стороной природы своей возвышается над обществом как процессом органическим. Непокосимый авторитет для руководства личности дает только Высочайшая Личность Божества, источник тех духовных стремлений, которые для человека дороже всего на свете. Лишь божественное руководство человек способен признать как всегда *правое*, всегда целесообразное для себя, только Богу он способен верить настолько, чтобы подчиниться даже тогда, когда не понимает, почему именно нужно в данном случае подчиниться. Вне религии у человека нет притока нравственной силы, нет и источника *сознательной и добровольной дисциплины*. Без религии общество имеет в своем распоряжении только слепую привычку да чисто принудительную дрессировку. Но оба эти средства, хотя и полезные, способны только некоторое время поддерживать, а не порождать нравственную дисциплину, с ними личность может лишь мириться, а не находить в них нравственное удовлетворение. Общество, воспитанное религией и затем ее утратившее, может несколько времени прожить накопленными привычками, но без нового притока живой силы наследство прошлого раньше или позже иссякает, и тогда наступает опасность банкротства, уже столь близко рисующегося пред современным миром.

Я не разбираю вопроса о религии в самом важном и прямом ее назначении, то есть в целях личной духовной жизни человека. Я смотрю в данном случае на предмет лишь со стороны социальной. И вот с этой именно стороны должно сказать, что значение религии, безусловно, ничем не заменимо. Она совершает в обществе нечто чудесное: одновременно делает личность независимой от общества и приводит ее к добровольному подчинению. Религия охраняет свободу человека в самых интимных тайниках его души и тем дает ему возможность развития, которое немислимо без свободы. Эта внутренняя жизнь дает возможность назревать в человеке силам, часть которых идет потом и на повышение уровня общества, чрез постоянное предъявление ему личностью высоких целей. Но в то же время, чувствуя, что лучшая, важнейшая часть его духовной жизни находится не в обществе, человек религиозный умеет доводить свои общественные стремления до меры, вмещаемой социальным миром, то есть никогда не доходит до бунта против законов действительности.

Это зависит не только от того, что религия заставляет уважать волю Бога в законах, Им установленных. Но человек, который в силу

религиозных своих стремлений сколько-нибудь следит за собой и познает себя, не может не понимать всей химеричности мечтаний о земном совершенстве и полном счастье. На эту удочку он не ловится. Сверх того, вступая в общественную деятельность, он думает не об отвлеченностях вроде “человечества”, а о реальном, то есть о *людях*, о личности. Ему дорого именно счастье личности, больно ее страдание, а не отвлеченная схема устройства “мира”. Сам приходя к Богу как личность, он и в обществе не забывает *людей*.

Он борется поэтому со злом, где оно ему является реально, то есть прежде всего вокруг себя, в области своего прямого и ясного долга. Религиозный человек чувствует то, что так прекрасно объяснил почивший святитель Феофан [13]: “Делайте, что требуется в вашем кругу и в вашей обстановке, и верьте, что это и есть настоящее ваше дело, больше которого от вас и не потребуется...” Нужна не погоня за громкими и большими делами, совсем нет, говорит он. “Надобно только делать все по заповедям Господним. Что же именно? Ничего особенного, как то, что всякому представляется по обстоятельствам его жизни, чего требуют частные случаи, с каждым из нас встречающиеся”.

Вот это и есть настоящее настроение верующего человека при встрече с общественными делами. С точки зрения социальной последствия этого таковы: деятельность человека становится глубже, но район ее суживается и, таким образом, естественно совпадает с теми мелкими ячейками и слоями, которых существование необходимо по законам органической дифференциации. Такой человек, помимо всякой преднамеренности, делается не очагом разрушения всех этих необходимых мелких клеточек, а лишь вносит в них оздоравливающее оживление.

XVI

Когда мы получаем общество, составленное из людей, так настроенных, тогда и воспитательное действие собственно социального строя оживляется и приобретает действительную силу. Ему есть к чему приложить свои вспомогательные средства, есть из чего созидать. Личность же, в свою очередь, убеждается на практике, что общество для нее делает много полезного. Так, в результате религиозного воспитания между личностью и обществом устанавливается тесная нравственная связь.

Начинаясь с обнаружения полного различия и даже противоположности жизни социальной и жизни духовной, религиозное

сознание кончает тем, что показывает примирение этих различных категорий явлений в одном гармоническом содействии. Для воспитательного действия общества на личность, для развития личности в среде общественных условий оказывается нужным то же самое, что порождается органической природой социального мира, то есть его *сложный* состав, не в виде сплошной однообразной массы, а в виде множества взаимодействующих, но отдельных живых частиц и слоев, замыкающихся каждый в своей особенной работе. Расслоение общества на семьи, общины, сословия, градация авторитета и власти, подчинения и командования — все это, будучи необходимо по органической природе общества, дает самую благоприятнейшую среду и для развития личности. В основную задачу развития личности — “познай самого себя” — входит на первом же плане выработка некоторого внутреннего глазомера относительно того, что и когда я обязан взять на свою ответственность, не полагаясь ни на кого, кроме себя, в чем и когда, напротив, должен подчиняться, не слушая никаких соблазнов своего “я”. Непрерывный ряд подчинений и командования, который представляет расслоенная общественная жизнь, дает нам в этом отношении великую школу. Ее значение чутьем схватывается, когда у человека есть религиозное чувство, ставящее перед ним идеал не наслаждения, не власти, не покоя, а *Развития* как миссии своей земной жизни. Адепты социального мистицизма, видящие в общественной жизни *окончательную* цель свою, приходят к проклятиям действительности и требуют ее разрушения. Человек, перед которым религия открывает истинное понимание жизни, наоборот, сознает себя по *окончательным* целям выше общества, но не имеет никаких побуждений разрушать это Божие создание, в котором быстро замечает среду высокоразумную для его же выработки, приуроченную для всех способностей и всех сил в достижение развития данному каждому таланта.

Таким-то путем действие религии приводит к гармонии между личностью и обществом без отупляющего преклонения перед социальной жизнью, но и без стремления ее разрушать и создавать какой-то новый мир. Понятно, что сила общества растет, а это, в свою очередь, дает новые средства для развития личности. Для руководящих же умов общества, свободных от вечной перспективы революции, является возможность разумной “эволюционной” политики.

К возвращению личности религиозного понимания целей жизни мы и должны особенно стремиться ныне. С потрясения этой основы нравственной жизни начались наши социальные приключения. С восстановления значения религии для человечества начнется и выздоровление. Все остальное — внешнее укрепление порядка, власти,

прочного действия исторических основ — само по себе необходимо, но все останется без души, без силы, если оживившееся религиозное сознание не даст личности должного руководства для понимания целей жизни. Вся наша борьба века имеет, в сущности, религиозную подкладку. Это эпоха религиозного отступничества, бунта против Бога в душе человека. Колыхания мира социального составляют лишь отражение этого возмущения. С умиротворения души начнется оздоровление социального мира.

КОНСТИТУЦИОНАЛИСТЫ В ЭПОХУ 1881 ГОДА

ОТ АВТОРА

Первое издание настоящей брошюры полностью разошлось в течение *двух недель*. Этот факт достаточно показывает, как сильна потребность общества знать важную переломную эпоху с 70-х на 80-е годы. Выпуская ныне второе издание своей брошюры, я, однако, должен также ответить на некоторые недоразумения читателей, мне по поводу ее выражавшиеся.

Некоторые сожалеют, что я обрисовываю эпоху 1881 года *недостаточно подробно*. Об этом никто не может сожалеть более, чем сам автор. Но эпоха 1881 года слишком близка от нас; множество людей, участвовавших в событиях того времени, до сих пор живы. Это одно делает невозможным касаться в публичном обсуждении многого под страхом совершить недопустимую нескромность. Та же близость эпохи многие ее события делает пока достоянием не столько *истории*, сколько *политической сплетни*; разобраться во всем этом иногда трудно даже для человека, близко наблюдавшего события. Цель же моей работы состояла не в том, чтобы рассказывать более или менее спорные анекдоты, а в том, чтобы дать, насколько возможно, действительно *исторический очерк*. Итак — ряд подробностей, за точность которых внутренне нельзя поручиться, непременно должны были быть мною отброшены. Наконец, моя книжка не составляет сборника личных воспоминаний, а по самому плану должна быть основана на документах, вследствие чего отпадают и еще подробности, иногда мне вполне точно известные, но которые я не публикую именно потому, что не хочу переходить в область личного мемуара.

Другое замечание, которое мне пришлось слышать в слоях *консервативных*, совершенно противоположно первому. Есть люди, которые считают *вредным* будить воспоминания столь смутной эпохи.

Эта точка зрения, признаюсь, производит на меня весьма тягостное впечатление. Я ее считаю совершенно ошибочной. Русский самодержавный строй не есть какая-нибудь завоевательная деспотия, а строй глубоко *национальный*, он держится не на рабском подчинении ничего не знающих и ничего не сознающих людей, а есть сознательное достояние русского народа, свято им хранимое и благополучно пронесенное сквозь долгие и тяжкие испытания истории. Не одно правительство поэтому, но и русский народ должен знать историю страны. *Мы*, как выражался М. Н. Катков, *имеем больше чем политические права — мы имеем политические обязанности*. Но как же мы можем исполнять их, как можем отражать покушения на наш национальный строй, не зная истории своей? Знание ее нужно для деятельности полезной и патриотической гораздо более, чем для деятельности вредной и разрушительной, ибо вредная деятельность может основываться и действительно основывается на фикциях, обманах и заблуждениях, тогда как деятельность полезная возможна лишь при ясном сознании действительности. Точка зрения, которая видит основу общественного спокойствия в общественной бессознательности, мною поэтому нисколько не разделяется. Впрочем, с удовольствием могу сказать, что не один я так смотрю. За издание своей брошюры я получаю выражение одобрения от лучших представителей русского национального направления, и словом, и делом охранявших в наше время самодержавно-православный строй. Надеюсь, что ссылка на их авторитет успокоит несколько тех чересчур боязливых консерваторов, для которых я пишу эти строки.

Третье замечание идет уже из лагеря *либерального*. Там, как я слышу, меня упрекают в *разглашении имен* конституционалистов 1881 года. Этот упрек основан всецело на незнакомстве с литературой предмета. Я даю *не воспоминания*. Я даю исторический очерк. Ни одного имени, которое не было бы печатно опубликовано раньше, я не называю. Иногда это очень вредит полноте моего очерка и очень стесняет меня, ибо, случается, я знаю больше, нежели пишу. Часто мне было бы легче говорить по личному воспоминанию, чем рыться в документах, гораздо менее полных. Но я веду рассказ, преднамеренно подкрепляя его не *своим* личным свидетельством, а *документами*, опубликованными в разных местах и разными лицами. Я, конечно, *объясняю* эпоху так, как сам ее понимаю; но *факты*, а в том числе и имена, привожу лишь те, которые уже опубликованы другими лицами, по большей части даже участниками и сторонниками тогдашних стремлений. Упрек в каких-либо *разоблачениях* является, таким образом, совершенно неосновательным. Не понимаю даже, как мог он явиться, когда я прямо указываю

источники. Как бы то ни было, повторяю, ни одного имени, которое не было бы раньше печатно опубликовано и, стало быть, известно всякому, следящему за литературой предмета, у меня в брошюре нет.

Засим не могу не выразить своей благодарности лицам, указавшим мне на эти замечания и тем давшим возможность мне сделать на них свои объяснения.

10 марта 1895 г.

Несколько объяснений по поводу цитируемых материалов

Пользуюсь новым изданием моей брошюры, чтоб ответить еще на некоторые недоумения читателей, на этот раз по вопросу о цитируемых мною материалах.

Можно ли полагаться на те материалы, некоторые из которых опубликованы изданиями или лицами в высшей степени партийными, тенденциозными? Так говорят некоторые, а другие прибавляют, что, цитируя антиправительственные издания, я как бы свидетельствую достоверность их сведений вообще...

В ответ я бы попросил таких читателей не относиться к материалам об эпохе 1878-1882 годов иначе, чем они относятся к историческим материалам ко всякой другой эпохе. От всякой эпохи остаются записки, воспоминания, документы подлинные, документы фальшивые, правда и ложь, заблуждение и точное знание. Дело писателя, задавшегося целью исторического очерка, состоит в том, чтобы подвергнуть имеющийся материал критике и проверке. Это, понятно, требует известной подготовки, знаний, и если они имеются в достаточной мере, то писатель справляется с материалом, сумеет разобраться среди того сплетения правды и лжи, которое представляет сырой материал всякой эпохи борьбы и смут.

Само собою разумеется, что на эту критическую работу оценки материалов я обратил внимание гораздо раньше, чем начал писать свой очерк. Как современник, довольно разнообразно наблюдавший людей и дела той эпохи, издавна следивший и за литературой ее, я даже имел, быть может, более, чем многие, возможности разобраться в вопросе о точности или неточности разных опубликованных данных. Ведь эти

материалы весьма часто даже не составляют для меня *источник* сведений, а лишь дают *подтверждение* их.

Но если я цитирую из заграничной печати то, что, по критической проверке, мне кажется несомненно точным, то это не значит, чтобы я *вообще* доверял заграничным известиям о той эпохе. Где же больше и врут о России, как не за границей! Я и не советую читателям, не имеющим подготовки разобраться в таком мутном материале, обращаться за сведениями к тенденциозным изданиям. Но собственно меня они не легко обманут. Думаю, что впоследствии, когда явится история движения 70-80-х годов, к моему рассказу многое *добавится*, но едва ли его *изменит* в чем-либо мало-мальски существенном.

2 июня 1895 г.

I

Несмотря на близость к нам эпохи 1881 года, события того времени уже начинают довольно сильно изглаживаться из памяти общества. Борьба партий захватывает у нас лишь верхние слои общества, не проникая далеко в его глубину. Поэтому устное предание о фактах политической борьбы не может отличаться ни широтой, ни прочностью.

Между тем литературных источников для ознакомления с эпохой — еще слишком свежей, — понятно, пока еще очень немного, да и те большей частью недоступны для публики. Таким образом, пережитый тогда и очень, очень дорого стоивший опыт во многом, к сожалению, забывается.

Особенно плохо знают ныне конституционные стремления того времени. Нынче уже приходится слышать со стороны либералов жалобы, будто они в эпоху 1881 года были, так сказать, “оклеветаны”, будто им были приписаны замыслы, которых они в действительности не имели. Так ли это? Можно допустить, что многие из них тогда не сознавали внутренней логики своих стремлений. Но ведь и большая часть революционеров точно так же сначала не создала, к чему они придут в конце концов. Эта бессознательность может служить оправдывающим или смягчающим обстоятельством для *лиц*, но никак не для программ, идей и стремлений. Можно примириться с человеком, который не ведал, что творил. Но это личное прощение снимает ли осуждение с *идей*? Дозволяет ли оно воскрешение ложных или вредных *программ*? Между тем, оставляя в стороне всякие вопросы о личностях, о том, чего они *думали* достигнуть, мы должны признать несомненным историческим фактом, что либеральные стремления эпохи 1881 года *вели* к

ограничению самодержавия и к созданию строя конституционного. В этом отношении либералы того времени не только не “оклеветаны”, но скорее недостаточно осуждены общественным мнением глубоко монархической страны. Ибо эти люди (не касаясь степени их сознательности) подготовляли во всяком случае такую же узурпацию, как и революционеры, в формах хотя и более приличных, но, пожалуй, еще более неисправимо вредных.

Едва ли даже нужно доказывать, что самодержавие как принцип отвергалось либеральной частью образованного класса еще задолго до царствования Императора Александра II. Но никаких *практических* стремлений к ограничению самодержавия со времени попытки 14 декабря 1825 года не предпринималось. Напротив, с 1856 года, теоретически осуждаемое, оно долго еще допускалось либеральной мыслью практически, как орудие совершения либеральных реформ, подготовляющих возможность его упразднения. “Увенчание здания”, то есть дарование конституции, рассматривалось тогда как нечто представляющееся все-таки в будущем, хотя и очень близком.

Практических действий для достижения этого “увенчания” не предпринималось. Но когда правительство Императора Александра II стало находить страну достаточно устроенной и приостановилось в дальнейших “реформах”, мысль об увенчании здания явилась уже в попытках к осуществлению.

Война за освобождение славян дала, как известно, особенный толчок нашим внутренним политическим движениям. Смутность политических идей того времени смешивала национальную независимость с народоправством.

У нас повторилось нечто подобное тому настроению, которое охватило Францию прошлого столетия после участия в войне за независимость Соединенных Штатов. Притом же либеральная мысль могла тогда особенно ясно убедиться, какой силы достигла она в самих правящих сферах, ибо, давая устройство освобожденной нами Болгарии, русское правительство не усомнилось воздвигнуть государственное устройство нового княжества именно на *конституционных* началах, тем самым молчаливо признавая их превосходство для устройства страны. Но в таком случае естественно рождалась мысль: почему же парламентарных учреждений не имеется у нас? Практические стремления к осуществлению конституции могли сдерживаться страхом перед *силой* правительства. Но и в этом отношении престиж правительства был заметно подорван Берлинским конгрессом. Обаяние силы чрезвычайно уменьшилось, что и

почувствовалось немедленно в быстром развитии самых дерзких революционных попыток.

Эти революционные попытки были возможны только потому, что горячие головы считали правительство совершенно бессильным, себя же, основываясь на настроении либералов, представляли застрельщиками *общего* революционного движения. Во всем этом они жестоко ошиблись. Однако, не вызвав общего движения, обострение яростных революционных попыток не осталось без влияния на более активное проявление *конституционного движения*.

Литература вопроса не дает еще возможности ясно представить себе общую картину этого движения, руководители которого действовали с понятной тайной. Их деятельность осталась и поныне окруженной этой таинственностью несравненно более, чем революционные заговоры, много раз разоблаченные политическими процессами, тогда как деятельность “мирная” ни разу до суда не доводилась. Не подлежит, однако, никакому сомнению, что в личном составе, как и в идейном отношении, между чисто революционным и конституционным движениями нельзя провести резкой границы⁸².

Многие из террористов были и заявляли себя чистыми конституционалистами, многие из либералов были и заявляли себя социалистами. Заметная разница обоих слоев обозначается лишь при подведении их идеям *средних* выводов, а затем по преимуществу сводится к *способам действия*, причем способы действий обоих движений не исключали *практически* один другого, но дополняли друг друга. Для революционеров конституционное движение служило постоянным нравственным ободрением, укрепляя их в мысли, что они составляют только *передовой отряд*; сверх того, и ряды их пополнялись не столько благодаря собственной пропаганде, сколько наиболее горячими головами, выработанными пропагандой либеральной. Активным же конституционалистам обостренное революционное движение давало почву и повод выдвинуть ограничение самодержавия как средство умиротворения страны и даже будто бы как способ защиты личности Монарха.

II

Известный Д. Кеннан [1], который во время путешествия по Сибири лично познакомился со многими участниками обоих движений, а по своему сочувствию им и дружеским отношениям очень хорошо и откровенно осведомленный ими, довольно подробно описывает начало

активного конституционного движения (The Century illustr. Monthly Magazine. 1887. November.). Не нужно при этом забывать, что Кеннан является постоянно *адвокатом* “освободительного движения” и всегда старается выставить как революционеров, так и конституционалистов с возможно лучшей стороны, обвиняя во всем только правительство и “реакционеров”.

Итак, говорит он, в первое время революционного движения, до 1878 года, “русские либералы, не принадлежавшие к революционерам, употребляли, с одной стороны, все усилия, чтоб отвратить последних от насилий, а с другой — чтобы помогать им укрывательством или помощью при судебных процессах”. Эта двойственная роль не приводила, однако, ни к чему. Наконец, в 1878 году революционная партия приняла политику террора. “Либералы, предвидя, что такая политика рано или поздно приведет непременно к царубийству, и сознавая, что последующая за таким преступлением реакция может быть не только ужасной, но и *роковой для дела свободы*, решились сделать новое усилие, чтобы добиться от правительства обещания вернуться на путь либеральных принципов 1861 — 1866 годов”. Но для этого требовалось хотя на некоторое время остановить угрозы и насилия революционеров, раздражавших и тревоживших правительство. “Вследствие этого некоторые из выдающихся черниговских и харьковских либералов, в том числе профессор Гордеенко [2] (городской голова Харькова) и г-н Петрункевич [3] (председатель мирового съезда и гласный черниговского земства), решились вступить в *сношения с террористами*, указать им скользкость пути, на который они вступили, и бедствия, могущие последовать для России от их отчаянной и необдуманной политики убийств, и узнать от них, *на каких условиях согласятся они прекратить свои насильственные действия*. Преследуя такую цель, “либеральный комитет”, составленный из представителей многих земств центральной южной России, предпринял несколько поездок в разные части империи и имел личные переговоры со многими вожаками крайней революционной партии”.

Не забудем, что это рассказывает *адвокат* “дела свободы”, старающийся выставить своих клиентов в самом лучшем виде перед общественным мнением Америки и Европы. В 1883 году в женевском журнале “Общее дело” (№ 54) опубликованы весьма важные документы, из которых видно, что существование “Земского союза” (или, точнее — сообщества, давшего начало ему) “известно полиции с 1878 года. В конце 70-х годов, — как объясняют эти документы, — несколько человек земских деятелей различных губерний задумали установить некоторую солидарность между деятельностью отдельных земств, с какою целью они

учредили небольшие съезды наиболее выдающихся земцев, встречавшихся каждую осень в Москве, Киеве или Харькове”. В конце декабря 1878 года съезд собрался в Киеве, и тут-то произошла история, описываемая Кеннаном. По документам “Общего дела”, на съезде “в качестве делегатов от южнорусских *социально-революционных партий* были приглашены некоторые из наиболее закоснелых украинофилов”. Итак, делегаты чистых революционеров были даже на *съезде*. Притом нельзя не вспомнить, что в то время “террористы” существовали только в Киеве и там же возник “исполнительный комитет социально-революционной партии”. Земцам не нужно было, стало быть, далеко ходить за террористами. Как бы то ни было, в 1878 году образовался “либеральный комитет” и вступил в переговоры с революционерами. “Комитет, — говорит Кеннан, — обратился к ним со следующими словами: “Мы думаем достигнуть реформ мирным и легальным путем. Мы нарочно приехали к вам просить приостановить на время вашу деятельность и предоставить нам возможность действовать”. Если это не удастся — “тогда действуйте на ваш собственный страх, мы будем и тогда не одобрять вашу насильственную деятельность, *но теряем право восставать против нее*; дайте нам сначала без помехи испытать наши средства””.

Террористы отвечали, что они согласны прекратить свою деятельность на таких условиях: 1) устранение стеснений свободы слова и печати; 2) обеспечение прав личности; 3) призвание тем или иным способом населения к участию в управлении. “Вот те требования, по словам террористов, за которые они борются”.

“Либеральный комитет, — продолжает Кеннан, — согласился с основательностью требований террористов. Затем члены либерального комитета возвратились в свои местности и открыли совещания со своими единомышленниками о способах привести в исполнение свой план. Решено было начать подачу Государю одновременных петиций от земств с указанием на бедственное положение населения и с просьбой о введении конституционной формы правления. Как мы видели раньше, либеральный комитет признал, что в случае неисполнения этой просьбы правительством либералы потеряют право восставать против террористической деятельности. Таким образом, в лице комитета вожаки тогдашних конституционалистов признали, что террористическая “деятельность” должна вызывать противодействие граждан только в конституционной стране. Я останавливаюсь на этих характеристических понятиях конституционализма той эпохи, потому что они бросают свет на содержание последовавших за совещаниями “земских” петиций”.

Оставим теперь рассказ Кеннана и вспомним реальное положение либеральных вожаков в их земствах. Несмотря на то что в земствах все должностные роли были естественно захвачены по преимуществу либеральными элементами, во всех отношениях интересовавшимися ими более, нежели элементы консервативные, тем не менее все-таки масса населения губерний в лице всех своих сословий нисколько не была либеральной. Не говоря уже о крестьянах, в дворянстве, в промышленных сословиях прямая мысль об ограничении самодержавия могла встретить только противодействие. С этим монархическим настроением “избирателей” нельзя было не считаться. Поэтому исполнение плана, установленного либеральным комитетом, было очень щекотливо и потребовало множество экивоков, всяческих сторонних подходов к “земству”, от имени которого предстояло подавать “петиции”. Не всегда и не везде эти подходы были одинаково удачны. Иногда приходилось довольствоваться самыми темными намеками на конституцию. Иногда, несомненно, земцы подписывались, не только не сознавая, что делают, но полные самой горячей преданности Государю. В этом отношении террористы в высшей степени облегчили задачу либеральных агитаторов, давая им возможность призывать земцев к конституции под предлогом защиты Государя.

Но каким же образом террористы не прекратили своей “деятельности”? Это объясняется Кеннаном тем, что петиции, поданные земцами, были встречены очень сурово, что правительство задушило конституционную агитацию и главные вожаки ее были сосланы. Объяснений этих нельзя принять уже потому, что *ни на одну секунду с 1878 года по 1881 год террористы своей “деятельности” не останавливали*, никаких результатов действий “либерального комитета” *не ожидали ни одного дня*. “Деятельность” террористов шла своим путем, не останавливаясь, а деятельность конституционалистов шла своим путем, одна другой не ожидая и не задерживая. Точно так же и с высылками некоторых либеральных агитаторов, о чем упоминает Кеннан, деятельность их единомышленников нисколько не была прекращена, и агитация в пользу конституционных петиций шла без перерыва не только до 1881 года, но и после него, а в 1882 году, как ниже будет сказано, мы видим даже некоторый “Земский союз”, издающий за границей свой орган — “Вольное слово”. Что касается самих петиций, по истории их есть источник более документальный, чем рассказы Кеннана. Это именно берлинская книжка “*Мнения земских собраний о современном положении России*” (Berlin: V. Behr's Verlag, 1883). Как сказано в ее предисловии, очерк был первоначально напечатан в сентябрьской книжке “Русской мысли” за 1882 год, но не был пропущен цензурой; в отдельном

издании он лишь несколько дополнен. Итак, редакция “Русской мысли” служит нам порукой за точность сообщаемых брошюрой сведений.

III

Во весь период 1856-1881 годов господствующим умственным направлением был либерализм. Он издавна принес к нам *веру в революцию* как некоторый *закон* развития народов. Эти остатки наивных исторических концепций Европы XVIII века особенно прививаются у нас в сороковых годах, в шестидесятых годах вера в революцию как нечто неизбежное доходит до фанатизма. Внизу, в среде наиболее горячих голов, она порождает решимость *начинать*. Силы так называемых террористов 70-х годов были ничтожны, но, слепо веря в мистическую неизбежность революции, они решились употребить все усилия на то, чтобы, рискуя и жертвуя всем, вызвать общее движение. Еще во время нечаевского процесса прочитана была на суде любопытная записка, в которой излагалось, что революция есть огромная *потенциальная* сила, которую можно вызвать приложением даже и небольшой *активной* силы, подобно тому как зажженная спичка, брошенная в пороховой погреб, может взорвать целую крепость. Несколько лет позднее появились даже искатели бунтов, “вспышкопускатели”, старавшиеся найти, куда именно нужно приложить горящую спичку своих сил, чтобы наконец вызвать взрыв “потенциальной” революции. В 1878 году стали для этого на путь *терроризма*.

Та же вера в революцию, совершенно отвлеченная ото всяких условий действительности, заносилась либералами и в правящие сферы, выражаясь в них самой крайней преувеличенностью опасений ее. В действительности никакой революции у нас не было, то есть *не было в стране*. Все большие социальные слои лежали твердо, а над ними столь же твердо высилась самодержавная власть. В опасном состоянии социальной непрочности был лишь небольшой средний слой образованного класса, откуда выходили ничтожными прослойками конституционалисты и фанатические революционеры.

В 1878 году революционеры начали ряд вооруженных сопротивлений и политических убийств. Это, конечно, требовало немедленных мер подавления. Но каких? Если правительство имеет пред собою бунтующее *население*, тогда понятны и целесообразны чрезвычайные меры и призыв к содействию всех благоразумных элементов. Чрезвычайные меры стесняют действие масс и производят на них устрашающее впечатление. Призыв к содействию отчасти ободряет тех, кто остался верен власти, отчасти сам по себе действует устрашающе

на бунтующих. В нашем положении не было ничего, что делало бы целесообразной такую систему водворения порядка. У нас бунтовали не целые слои, а отдельные личности, поэтому надобности стеснять население не было. Устрашать же можно только целые слои *средних* людей, а никак не фанатиков. Чрезвычайные меры были поэтому совершенно бесполезны, являлись даже вредной *рекламой* революции, объясняя официально о существовании *большой* опасности, то есть делали то самое, что старались сделать сами революционеры. Терроризм и был именно системой самой отчаянной революционной рекламы, при которой ставилось все на карту, лишь бы только опубликовать себя как грозную *силу* в надежде, что все *среднее*, колеблющееся пристанет туда, где ему покажется *сила*. В таких условиях прямой расчет власти был, наоборот, в том, чтобы никак не раздувать значения бунтовских попыток, но, имея в виду ничтожную численность крамолы и ее строго заговорщицкие способы действия, выставить против нее *умную и сильную полицию*. Хороший надзор и безусловное устранение от действия всех активных революционеров — ничего больше не требовалось для того, чтобы в год или два уничтожить террористическое движение. Но меры власти пошли в совершенно ином направлении, внося в население беспокойство, совершенно бесполезно стесняя его и, наконец, давая людям неблагоприятным поводом возбуждать агитацию. А между тем полиция пребывала в настолько неудовлетворительном состоянии, что даже сама попадала в руки революционеров, как это особенно стало известным из дела чиновника III Отделения Клеточникова, передававшего своим революционным сообщникам все тайны государственной полиции. Вообще, дело борьбы поставлено было на путь совершенно ошибочный, не соответствовавший действительному характеру обнаружившегося зла.

В объяснение ошибки власти должно, однако, вспомнить, что в 1878 году революционное движение проявило себя так отчаянно, как будто у него были в запасе целые армии. 24 января 1878 года эру политических убийств начала Вера Засулич выстрелом в генерала Трепова. 1 февраля убит в Ростове-на-Дону полицейский агент Никонов. 23 февраля в Киеве Осинский с товарищами покушались на жизнь товарища прокурора Котляровского. 25 мая в Киеве убит жандармский капитан Гейкинг. 4 августа в Петербурге убит шеф жандармов генерал Мезенцев [4]. В то же время оказан был ряд вооруженных сопротивлений полиции, из них защита квартиры Ковальского 3 января в Одессе имела вид маленького сражения. Спротивлялись с оружием в руках Избицкие в Киеве (28 марта), Коленкина и Малиновская в Петербурге (14 октября), Чубаров в Одессе, Дубровин в Старой Руссе, Сентянин в Харькове...

Революционные прокламации призывали к восстанию. Сверх того, в разных местах был ряд уличных демонстраций. Либеральные элементы общества неоднократно участвовали в них, а оправдание Веры Засулич, при рукоплесканиях публики, само по себе составляло демонстрацию, которая по агитирующему значению превышала всякие выходки революционеров.

IV

Вот при каких обстоятельствах Император Александр II счел нужным сделать русскому обществу указания на необходимость противодействовать злу. 20 ноября 1878 года он обратился в Москве к представителям сословий со следующими словами.

“Я надеюсь на ваше содействие, — сказал Государь, — чтоб остановить заблуждающуюся молодежь на том пагубном пути, на который люди неблагонамеренные стараются ее завлечь. Да поможет Нам в этом Бог, и да дарует Он Нам утешение видеть дорогое наше отечество постепенно развивающееся мирным и законным путем. Только этим путем может быть обеспечено будущее могущество России, столь же дорогое вам, как и Мне”.

К содействию же общества призывало еще раньше и правительственное сообщение в № 168 “Правительственного вестника” 1878 года.

Без сомнения, Государь Император, говоря о содействии общества, разумел содействие чисто нравственное. Но нельзя не сознаться, что в такие минуты в самодержавной монархии скорее само общество ждет нравственного ободрения со стороны власти. Когда власть, имеющая всю безграничность полномочий, ищет содействия общества, люди неблагонамеренные легко могут истолковать это в самом превратном смысле. Так и случилось. Обращение правительства к содействию общества послужило “либеральному комитету” поводом к конституционной агитации. Появление же ее, в свою очередь, еще более утвердило правительство в ошибочной системе борьбы, им усвоенной. В этом отношении на организаторах конституционной агитации лежит очень серьезная нравственная ответственность за пережитое Россией смутное время.

В черниговском земстве (где действовал г-н Петрункевич) земской комиссией был проектирован ответный адрес такого содержания⁸³:

“В № 186 "Правительственного вестника" за 1878 год напечатано правительственное сообщение, приглашающее всех граждан и все

сословия России помочь правительству в деле борьбы против возмутительных злодеяний, имевших место в недавнее время. *Правительство признает, что только помощь русского народа даст ему силу, способную уничтожить зло.* Такой призыв не может не найти ответа среди земства Черниговской губернии”.

Далее доклад распространяется о “глубоких верноподданных чувствах к Государю” и читает правительству нотации, блещущие всею глубиной первокурсного либерализма. “Думать, что идеи, а в том числе и анархизм, можно остановить мерами строгости, --поучают Петрункевич с К°, — значит игнорировать историю развития и распространения идей. Положение русского общества, по нашему глубокому убеждению, представляет в настоящую минуту все условия для процветания идей, противных государственному строю”. Эти условия, порождающие анархические идеи, состоят якобы главным образом в трех пунктах:

организация средних и высших учебных заведений;

отсутствие свободы слова и печати;

отсутствие среди русского общества чувства законности.

Раскритиковав эти условия, создаваемые самим правительством, доклад заключает: “Не имея гарантии в законе, не имея собственного мнения, лишенное свободы критики возникающих среди его идей, русское общество представляет разобщенную инертную массу, способную поглощать все, но неспособную к борьбе. Земство Черниговской губернии с невыразимым огорчением *констатирует свое полное бессилие принять какие-либо практические меры в борьбе со злом* и считает своим гражданским долгом довести об этом до сведения правительства”.

Другими словами, это был отказ в помощи с указанием на некоторые условия, при принятии которых правительством земство только и согласится ему помочь.

Тверское заявление⁸⁴, появившееся в 1879 году, еще более ясно. Упомянув о словах Государя Императора, господа либеральные гласные продолжают: “Новое преступление в Харькове, убийство князя Кропоткина [5], обязывает земство Тверской губернии восстать, согласно призыву Монарха, на борьбу с постоянно возрастающим злом”. Затем, излагая, понятно, те же самые жалобы, что и черниговские наследники “либерального комитета”, твердяне заключают: “Государь Император в своих заботах о благе освобожденного от турецкого ига болгарского народа признал необходимым даровать ему *истинное самоуправление, неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати.* Земство Тверской губернии смеет надеяться, что русский

народ, с такою полною готовностью, с такою беззаветною любовию к своему Царю-Освободителю несший все тяжести войны, *воспользуется теми же благами*, которые одни могут дать ему возможность выйти, по слову Государеву, на путь постепенного, мирного и законного развития”.

Здесь, стало быть, уже прямо заявляется, что к борьбе с терроризмом общество приступит, лишь когда получит конституцию.

У меня не сохранилось выписок из харьковской петиции. По свидетельству Кеннана, “первая поданная петиция принадлежала харьковскому земству, которое, сумев ранее других прийти к соглашению, стало поэтому во главе. Хотя адрес этот, — говорит Кеннан, — и не представлял желательной ясности в формулировке, он тем не менее произвел сильное впечатление”. Не мудрено, разумеется. Когда на призыв правительства по поводу системы *убийств* люди *общества* отвечают выторговыванием себе конституции, не мудрено было прийти в изумление и спросить себя: что же это, однако, делается в России? У нас тогда еще плохо знали, как легко горсть политиканов способна фальсифицировать якобы “общественное” мнение целой страны.

Впрочем, должно заметить, что возбуждение агитации было все-таки делом нелегким, так что больших размеров она, до самого появления графа Лорис-Меликова [6], принять не могла. Вышеприведенный проект черниговского адреса окончательного хода не получил, оставшись лишь в области либеральных мечтаний. Он был, впрочем, и составлен на *частном* заседании, подав лишь повод к публичному скандалу⁸⁵.

Г-н Петрункевич, получивший поручение провести затем адрес на земском собрании, предварительно навел справки, допустит ли председатель его чтение. Председатель отвечал категорически, что не допустит. Г-н Петрункевич столь же категорически ответил, что он не послушает председателя. Но вместо того чтобы сразу арестовать человека, явно заявляющего намерение подбивать земство отвечать на призыв власти подобной дерзостью, администрация почему-то предпочла введение *жандармов* в залу земского собрания. Последовала, разумеется, “бурная сцена”. Присутствие жандармов не могло не казаться обидным для всех. В зале происходила какая-то комедия с заранее известными ролями. Г-н Петрункевич требует чтения адреса. Г-н председатель не позволяет. Г-н Петрункевич разыгрывает из себя Мирабо и пытается нарушить запрещение. Тогда г-н председатель закрывает собрание и зала очищается от публики жандармами. В результате г-н Петрункевич высылается административно, но политический скандал был сделан как по-писаному. Что касается самого “адреса”, он, по рассказу Кеннана, был

в копиях разослан по всем земствам для возбуждения, где возможно, дальнейшей агитации.

Эти расчеты оказались до времени ошибочными. Агитация, не выразившись в том ряде протестов, на которые рассчитывал “либеральный комитет”, получила лишь то значение, что, с одной стороны, утверждала террористов в их взгляде на себя как на передовой отряд революции, а с другой — пугала правительство призраком некоторого общего, широкого движения. Так прошел 1879 год, весь полный самых дерзких покушений уже против жизни самого Государя. Со стороны власти вместо призыва к содействию выдвигаются генерал-губернаторы, чрезвычайные полномочия и репрессивные меры. Но когда власть предполагает перед собой действительно революционное движение самой *страны*, то от широкой репрессии до *уступок* только один шаг, и этот шаг был сделан с призывом графа Лорис-Меликова. Тут конституционные стремления получают опору, о которой до тех пор не могли и мечтать.

V

Собственно говоря, с призывом графа Лорис-Меликова (в феврале 1880 года) первоначально вовсе не соединялось стремление к каким-либо уступкам. Предполагалось, напротив, лишь создать новый чрезвычайный орган для подавления террористического движения. В Высочайшем указе совершенно ясно выражена единственная цель верховной комиссии — “положить предел беспрерывно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок”. Поручение такой миссии именно М. Т. Лорис-Меликову объясняется репутацией генерала как энергического и умного администратора. Назначение генерала Лорис-Меликова приветствовал даже М. Н. Катков, бывший, как известно, против всяких поправок и уступок. Он прямо указывал, что верховная комиссия, “в сущности, есть не что иное, как высшее политическое учреждение, имеющее своею ближайшею целью преследование и искоренение крамолы”. Необходимость такого учреждения Катков объяснял тем, что у нас полиция “до сих пор не была сосредоточена в одной руке и не имеет общей самостоятельной организации”. Современные читатели, вероятно, уже и не представляют себе, что эпоха реформ, перестроившая всю Россию, только одну полицию оставила в самом первобытном состоянии раздробленности не только между различными начальствами, но и между различными ведомствами, не всегда даже находившимися в добром между собою согласии.

Итак, верховная комиссия имела своей задачей собственно и прежде всего цели полицейские, в отношении которых она и не осталась бесплодной, ибо с этого момента действительно ведет начало преобразование полиции на общеевропейских основаниях. Но граф Лорис-Меликов дал своей миссии совершенно иное значение и поставленный во главе правительства, воспользовался этим для того, чтобы совершенно изменить характер внутренней политики.

Вышло это совершенно естественно. Убеждения графа Лорис-Меликова достаточно известны. При многих талантах, энергии и особенно большой хитрости генерал ничуть не обладал тем государственным умом, который, ставя общественного деятеля в нравственную связь с глубокими родниками исторической жизни, делает его независимым от поверхностных течений мелкой “популярности”. В идейном отношении это был средний образованный человек своего времени, либерал и умеренный конституционалист. Такой же мелкий средний либерал А. И. Кошелев [7], хорошо его знавший, постоянно характеризует его как своего единомышленника. Самое знакомство их в этом отношении характеристично.

В 1875 году Кошелев пил воды в Эмсе.

“Выпивши стакан Кесселя, — рассказывает он ⁸⁶, — я прогуливался. Подходит ко мне незнакомый русский, называет себя и говорит:

— Я прочел вашу книжку “Наше положение”, вполне сочувствую вашим взглядам и желаниям и непременно пожелал с вами познакомиться”.

Это и был М. Т. Лорис-Меликов. Они с Кошелевым быстро подружились, вместе гуляли, вместе обедали и так прожили целые три недели. Кошелев читал генералу свою готовившуюся брошюру “Общая земская дума”. “Беседы были столь же интересны, сколько дружественны”, и Лорис-Меликов, по аттестации своего приятеля, смотрел на вещи “как человек современно развитый”.

Известно, что понимает А. И. Кошелев под словами “современно развитый”. Никогда в жизни он не понимал ни одного крупного человека, будь это М. Н. Катков, или Н. Милютин, или князь Черкасский [8]. Даже и И. С. Аксакова [9] он крайне порицает за “нападки на правовой порядок”, себя же совершенно ясно причисляет к *либералам*. “Все мы, разных сортов либералы, — говорит он, — до крайности недовольны” и, с ненавистью браня Каткова, поясняет, что “либералы проповедуют в том

или ином виде предоставление народу, то есть всем гражданам империи, участия в законодательстве и администрации”.

Таким же “современно развитым” человеком был и эмский приятель А. И. Кошелева. В различных заметках своих граф Лорис-Меликов прямо называет “наше бедное отечество” “абсолютно деспотическим государством”, вздыхает о “счастливом будущем”, а политику с 1881 года, после его отставки, негодуяще определяет как “тяжелую эпоху самодурства правительства и холопства подданных” ⁸⁷.

Впрочем, крайнее либеральничанье М. Т. Лорис-Меликова было давно общеизвестно.

VI

Совершенно сообразно “современно развитому” состоянию своих политических понятий граф Лорис-Меликов не постеснялся по-своему употребить дарованные ему Государем полномочия. Немедленно по своем назначении он издал прокламацию, в которой заявлял: “*На поддержку общества* смотрю как на *главную силу*, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни”. То же самое он повторял всем направо и налево. Положение России он понимал в таком смысле, что власть находится в разобщении со страной, отчего происходят все неурядицы, а также и террористическое движение. Кошелев, немедленно отправившийся к “диктатору сердца” в Петербург, свидетельствует, что он “пребывал в тех же убеждениях, как и прежде”. Лорис-Меликов действительно сказал ему прямо, что “главные надежды возлагает на *сближение власти* с населением (?!), на *непосредственное* узвание от него общих нужд и на его содействие усилиям правительства” — точка зрения чисто “современно развитого” либерала, не заключающая ни искры понимания смысла самодержавного строя и действительного положения России. Терроризм тут оказывается последствием якобы разобщения власти с народом. Для подавления терроризма нужно *сблизить* власть с населением *непосредственно*. А *непосредственность* граф Лорис-Меликов видел именно в том, что совершенно отрезывает Государя от народа, ставя между ними посредничество так называемого “представительства”.

Понятно, какой восторг возбудило во всех конституционалистах присутствие их человека на самом верху власти. Он выражал те же идеи и стремления, как и они, также находившие разницу между собою и террористами лишь в способах действия. Архилиберальнейшая газета “Порядок”, основанная тогда г-ном Стасюлевицем, редактором “Вестника

Европы”, прямо объясняет эту точку зрения в полемике против Каткова. Катков обвинял либералов в солидарности с террористами. “Что бы сказали “Московские ведомости” — возражает “Порядок”, — при встрече с *двумя голодными*, из которых один под влиянием голода совершает грабеж, а другой только умоляет о пище?” Можно ли “каждого, кто только заговорил бы о необходимости питания, приравнять к преступникам, покушающимся на чужую собственность? Такое отношение было бы по меньшей мере нелогичным и привело бы только к тому, что *число голодающих и покушающихся на преступления все более увеличивалось бы*”.

Не нужно забывать, что программа террористов (так называемой “Народной воли”) точно так же ставила целью “политический переворот с целью передачи власти народу” и собственно от правительства террористы требовали именно “созыва Учредительного собрания”, как сказано в программе, или “созыва представителей от всего русского народа”, как сказано в их прокламации⁸⁸.

“И те и другие, — совершенно основательно замечал Катков, — стало быть, хотя *одного*, но одни чинят динамитные взрывы, а другие в тех же самых видах протягивают руку за благостыней... И те и другие мучимы голодом и нуждаются в хлебе, а хлеб этот есть *правовой порядок*, иначе — конституция, и этого насущного хлеба требует-де русский народ”⁸⁹.

Граф Лорис-Меликов в своих понятиях о подавлении крамолы так и смотрел, что нужно удовлетворить “голод” скромно просящих “пищи”, и тогда число выходящих “на грабеж” уменьшится или даже они совсем исчезнут. Как “либеральный комитет”, как все конституционалисты, он смешивал *политиканствующую интеллигенцию с населением*. Недовольство политиканствующей интеллигенции он отождествлял с недовольством “населения”. Сближение правительства с политиканствующей интеллигенцией он представлял сближением с населением. Точка зрения столь же ошибочная, сколько, при наших условиях, губельная. Она на всех пунктах диаметрально противоположна идее самодержавия. То, что конституционализм называет “непосредственным” общением Царя с народом, есть именно замена “непосредственного” общения — *посредственным*. Вместо общения с народом верховная власть обрекается на общение с его якобы “представителями”, то есть с тем слоем политиканов, который неизбежно специализируется на функции представительства. Волю и желания этого слоя верховная власть обрекается принимать за волю и желания населения. Раз допущена такая подмена, дальнейшее падение

самодержавия может уже быть высчитано с математической точностью. Раз интеллигенция вместо роли *служилого* класса при Государе захватила бы роль представительства якобы народной воли — дело монархии и народа было бы кончено. Государь может держать в руках своих “служилых” и не допускать их до чрезмерных захватов. Но народ не имеет никаких способов, как мы видим это на примере всей конституционной Европы, Держать в своих руках выбранных им представителей и всегда делается игрушкой их интриг. Политиканствующий слой, в совокупности своих партий, делается владыкой страны, и ослабление власти Монарха, а в идеале и полное ее уничтожение, становится Целью усилий этого слоя, ибо пока есть хоть тень монархии, она остается вечной угрозой его столь для него выгодному господству над страной.

Граф Лорис-Меликов принес с собою на самую вершину государственной власти такое направление уже не одних понятий, а действий, которое клало первые начала перевороту, строило основы для замены самодержавия парламентаризмом. Вопрос о том, насколько ясно понимал граф, что он делает, не имеет в этом случае никакого значения. Можно только с уверенностью сказать, что если он не понимал ясно смысла парламентаризма, то уже окончательно не понимал и идеи монархии. В этом он оставался лишь верен тому типу среднего либерала, каким был.

Заклучая из террористического движения и оппозиции либералов, будто бы в России население недовольно правительством, а из противоречия, в каком находилась самодержавная монархия с конституционными идеями, делая вывод, будто бы власть разобщена с народом, граф Лорис-Меликов соответственно такому либеральному диагнозу поставил и свое лечение русских политических недугов. Он задумал “непосредственно” “сблизить” Царя с народом созданием какой-либо формы представительства. Но для этого нужно было сначала получить согласие Государя, который, при всей мягкости характера и при всей любви к свободе, понимал, однако, свою идею бесконечно глубже своего министра, а потому с крайним отвращением останавливался пред мыслию о конституции. В ожидании, пока можно будет вырвать у Государя какие-нибудь существенные конституционные уступки, графу Лорис-Меликову предстояло как-нибудь “успокоить” общество *фактическим* удовлетворением его, как казалось графу, законных желаний, то есть системой поблажек, уступок, либеральничанья и популярничанья. По этим двум линиям он, призванный Царем для уничтожения крамолы, и повел свою политику. Занятый этим, как казалось ему, “главным” делом, граф гораздо менее сил уделил

исполнению своего прямого долга, то есть наблюдению за безопасностью Государя, что в конце концов не могло остаться без влияния на возможность 1 марта 1881 года.

VII

Ответственность за страшное дело 1 марта, разумеется, лишь косвенно падает на тогдашнего министра внутренних дел, которым был граф Лорис-Меликов с осени 1880 года. Возможность успеха этого преступления обусловлена была рядом роковых случайностей, отчасти даже вне всякого человеческого предвидения. Но то, что было сознательным предметом забот графа Лорис-Меликова, его политика “сближения” власти с народом, — всецело лежит ответственностью на нем. А эту политику нельзя назвать иначе как рядом губительных ошибок, в один год расшатавших Россию, как и в союгу долю не могли бы расшатать ее соединенные усилия всех революционеров и либералов.

Огромное большинство либеральничающих людей у нас и тогда прекрасно понимало, что власть Царя безмерно глубоко вкоренена в душе народа и что сделать переворот насильно у нас невозможно. Они понимали, что если бы Царь *захотел*, то он мог бы искоренять своих “супостатов” даже по примеру Ивана Грозного, и ничего бы с ним нельзя было сделать. Обезопасенный *лично* в какой-нибудь Александровской слободе, он мог бы сделать *все*, и народ поддержал бы его во всем с беспрекословным послушанием и с полным сочувствием. Понимая это очень хорошо и, сверх того, в большинстве только из либерального “баловства” занимаясь оппозицией, наш слой жаждающих “политических вольностей” крамольничал лишь потихоньку, с оглядкой, в меру, терпимую властью. Никакими силами невозможно было вовлечь их в явно безнадежную и серьезно никому не нужную революцию. Для того чтоб они зашевелились, нужно было, чтобы сама *власть* отдалась в их руки, делая их политическую деятельность возможной и безопасной. Это они и получили с назначением графа Лорис-Меликова. Они увидели *своего* человека на верху власти, ближайшим советником Государя. Этот человек объявлял им громогласно, что самодержавие “разобщено с населением”, что власть бессильна справиться с терроризмом без “содействия общества”. В частных беседах, до которых граф был большой охотник, он постоянно только упрашивал всех быть спокойными, не торопиться, уверял, что все будет “улажено” к удовольствию “современно развитых” умов. “Не торопите нас, не будьте слишком взыскательны, — говорил он Кошелеву, — дайте нам время осмотреться, и тогда без вашего (то есть “земского”. — *Л. Т.*) совета и

содействия мы не обойдемся”. Такой же тон, дружески фамильярный, как со своими людьми, усвоил он в отношении печати. Общий смысл разговоров был ясен: дайте мне, дескать, время уговорить Государя, придумать комбинацию, на которую бы он мог согласиться, но, так или иначе, мы найдем средства с ним поладить. В ожидании граф давал фактическую свободу действия всем “мирным” деятелям государственного переворота. Террористов, конечно, преследовали, но на все остальное зажимывали глаза. Власть стала заискивать пред либералами, которых вообразила “населением” России.

Даже меры умные и необходимые, как объединение полиции, производились под либеральным соусом “уничтожения III Отделения”. Даже среди революционеров множество “не столь вредных” разными путями получали прощение и, входя “легальными” в ряды общества, ободряли либералов. Ненавистный либеральному слою граф Д. А. Толстой был уволен и заменен Сабуровым [10], который немедленно отправился в поездку по России, повсюду объясняя, что хотя законы еще не изменены, но фактически можно действовать так, как если б они уже были изменены. Студенты в разных местах получили целую конституцию, с выборами, представителями, “правой” и “левой” печатью. С печатью граф был особливо любезен, начал пересмотр законов о печати с участием ее представителей, а главное — фактически дал ей волю говорить что угодно, только убеждал не злоупотреблять этим слишком. О земцах, которые в это время совсем вообразили себя какими-то “представителями” нации, нечего и говорить. Любезность с ними, уверения, что без их совета и содействия не обойдутся, расточались на все стороны.

Такое положение столь же ободрило все оппозиционные элементы, сколько обескуражило людей, искренно преданных самодержавию. Сама власть становилась во главе “преобразования”. Как, во имя чего люди, чтущие волю Царя, могли ей противодействовать?

VIII

Началось небывалое “оживление”. Органы либеральной печати появляются один за другим. Агитировать и организовываться стало легко. Из упомянутых документов “Общего дела” видно, что съезды, весьма затруднившиеся в 1879 году, теперь, с 1880-го, проводились очень широко. Различные фракции конституционалистов объединились. Так, “либеральная лига”, которая “не отказывала” сообществу “Народной воли” (то есть террористам) в некоторой поддержке денежными взносами и укрывательством, собралась с земским “либеральным комитетом” в

1880 году на общий съезд. На этом съезде была решена “необходимость добиться *центрального народного представительства* при неперменном условии *одной палаты и всеобщего голосования*”. Мечта “либерального комитета” о системе “петиций” впервые находит для себя благоприятную почву. Уверенные в графе Лорис-Меликове, земские конституционалисты стремятся поддержать его усилия, повсюду возбуждая требования “представительства” — или хотя бы видимость таких требований — со стороны земств. Нет, кажется, ни одного вопроса земского хозяйства, к которому бы они не придирались для заявлений о необходимости созыва народных представителей. Политику приплели даже к поднятому тогда вопросу о народном продовольствии.

Так, г-н Нечаев вносит в *продовольственную комиссию* новгородского земства целое рассуждение о правах человека ⁹⁰.

“Правительству, — пишет он, — необходимо выслушать голос народа и дать ему возможность и средства свободно высказаться”. Земству необходимо даровать широкие права и сделать его действительным представителем общества и выразителем его интересов. Далее: необходимы “свобода мысли и слова, немислимые без личной неприкосновенности”... И все это вносится в *продовольственную комиссию*, которая хотя отклонила обсуждение этой записки, однако собрание решило, что и продовольственных мер обсуждать не стоит, ибо решение вопроса “может последовать только на почве общегосударственных мероприятий, относительно которых земство не имеет возможности высказаться при настоящих условиях”.

В самарском земстве комиссия поставила вопрос еще радикальнее:

“Что значит образцовая и идеально справедливая раскладка десятков или сотен тысяч земских сборов перед миллионами государственного налога?” Ясно, что пока земство не допущено к государственным миллионам, не стоит толковать о разумной раскладке местных средств... Не стоит, говорит комиссия, заниматься даже изучением вопросов, пока, “в силу полной разобщенности земских учреждений, их исследования не могут получить *государственного обобщения*, а следовательно, и настоящей силы в глазах правительства”.

В новгородском земском собрании гласный Н. Румянцев для решения вопроса о развитии народного благосостояния потребовал “ходатайствовать перед правительством, чтоб оно признало *неприкосновенность личности*; без этого, — уверяет он, — мы будем бессильны и немы во всяком серьезном вопросе”!

Господа земцы все более начинали играть в политику. В Черниговской губернии устроили чисто парижскую демонстрацию. Как мы говорили, в апреле 1879 года отсюда был выслан административным порядком г-н Петрункевич. В 1880 году его снова *выбирают в гласные*, и 37 человек гласных внесли в собрание предложение “ходатайствовать перед правительством о предоставлении г-ну Петрункевичу возможности исполнять его обязанности гласного”, то есть вернуть из ссылки. “Недоверие, выраженное администрацией Петрункевичу, — говорит между прочим это любопытное заявление, — не разделяется местными жителями”.

В том же черниговском собрании и тогда же (в январе 1881 года) гласный А — Карпинский вносит предложение ходатайствовать вообще об “ограничении действия административной высылки в применении к *общественному представительству*”. Это предложение не было пропущено председателем, но ходатайство о г-не Петрункевиче *принято* собранием...

Господа земцы решительно заводили парламентские порядки. В Чернигове администрации выражено, как мы видели, недоверие; из Твери послали графу Лорис-Меликову адрес, составляющий настоящее “выражение доверия”: “В короткое время ваше сиятельство сумели оправдать и доверие Государя, и многие из надежд общества. Вы внесли прямоту и доброжелательность в отношения между властью и народом. Вы мудро признали законные нужды и желания общества”. Выражая графу свою “искреннюю и глубокую благодарность”, тверское земство заявляло уверенность, “что прискорбное прошлое не воротится и для дорогого нам всем отечества открывается счастливое будущее”.

Впрочем, граф Лорис-Меликов всяких одобрений и поздравлений получил немало, а печать раструбила его на всю Россию спасителем и гением, так что действительно создала ему некоторую популярность, придавая ему роль представителя “общественного мнения” около Государя. Конечно, передовые либеральные органы — “Порядок”, “Страна”, “Голос” — шли дальше графа, как бы тянули его, а граф увещевал печать не “волновать общество несбыточными иллюзиями”. Но все это были лишь оттенки одного направления, и либеральная партия шумно торжествовала, чувствуя себя у власти, и с каждым днем все более отрешалась от здравого смысла, дотоле говорившего ей, как ничтожна ее действительная сила в стране.

С этим оживлением и сплочением либеральной партии, понятно, шло рядом такое же оживление и партии революционной. Террористы не покинули своих царевбийственных замыслов, но воспользовались

общими вольностями для расширения своей деятельности. Из процессов известно, что именно к этой эпохе относятся агитационные поездки Желябова в Кронштадт и старания его с товарищами организовать революционные “подгруппы” среди либеральных офицеров. Что эти усилия не остались бесплодными, достаточно показывают последовавшие процессы лейтенантов Суханова и Штромберга и поручика артиллерии Рогачева, которые все были, по тяжести совершенных преступлений, преданы смертной казни. Об усилении деятельности революционеров среди молодежи достаточно свидетельствуют скоро возникшие беспорядки среди студентов. В цитированном “Календаре “Народной воли”” (1883 года) помещен важный документ “Подготовительная работа партии”. Из этого документа (первоначально секретного) и объяснений к нему видно, что в 1880 году революционеры сочли своевременным выработать план широкой организационной работы, которая покрывала Россию сетью различных “местных” и “специальных” подгрупп, сосредоточенных под властью “исполнительного комитета”. Как видно из примечаний издателей, эти группы уже и существовали. В статье эмигранта П. Лаврова объяснено, что “в 1880 году под руководством исполнительного комитета действовало не менее двенадцати местных групп и несколько специальных”. Общая численность их определяется в 500 человек. Среди молодежи партия действовала посредством “студенческих подгрупп”. В С.-Петербурге с того же злополучного 1880 года революционерами “организована особая *Центральная студенческая группа*, заявившая себя деятельным участием во всех студенческих волнениях”. (Календарь “Народной воли”. С. 134). Как известно, самому Сабурову пришлось стать жертвой грубого и бессмысленного оскорбления на акте С.-Петербургского университета при одном из этих волнений. Рабочая группа в С.-Петербурге в 1880 году, по свидетельству П. Лаврова, также “увеличилась в четыре раза” и сгруппировала “сотни рабочих”. Вообще, силы собирались поспешно. Революционная партия торопилась пользоваться свободой действия для того, чтобы возможно более укрепиться.

Как объясняет инструкция, там же опубликованная, организация готовилась именно к *восстанию*. “Может быть, — говорится в ней, — правительство, не сдаваясь вполне, даст, однако, настолько свободную конституцию, что для партии будет выгоднее *отсрочить* восстание с тем, чтобы, *пользуясь свободой действий*, возможно лучше организовать и укрепиться”. Но в ожидании должно готовиться именно к восстанию, так как “всякие уступки, мелкие или крупные, могут быть только *вынуждены*”. Сверх того, “никаких существенных уступок *может легко не быть и — гораздо вероятнее — не будет*”.

Планы политических убийств при этом не покидались. Напротив, в инструкции намечалась “система террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10-15 человек, столпов современного правительства”. Затем, фантазирует инструкция, пользуясь моментом беспорядка, “заранее собранные боевые силы начинают восстание и пытаются овладеть главнейшими правительственными учреждениями” и т. д.

Во всем этом, конечно, очень много обычной фантастичности заговорщиков, но, во всяком случае, политика оживления населения и “сближения” его с властью, как видим, отразилась очень недурно на делах террористов. Дотоле ограниченную ролью революционных *bravi*, бивших из-за угла, они начинают мечтать о *pronunciamento* и быстро развивают целую сеть групп, в том числе “боевых”, “военных” и “местных”, которые, между прочим, имели задачей “по возможности сходиться с местными либералами и конституционалистами”.

Из этих планов легко видеть, как высоко поднят был дух революционеров. Только этим поднятием их самоуверенности до окончательного безрассудства может быть объяснено преступление 1 марта 1881 года, нарушавшее их собственные соображения о выгоды “отсрочки” насильственных действий для подготовки средств к восстанию.

IX

Итак, с одной стороны, политика графа Лорис-Меликова быстро расшевелила все оппозиционные элементы, всем им внушила самоуверенность и облегчила возможность организации и действия. В то же время господство графа Лорис-Меликова дезорганизовало правительство.

Император Александр II не хотел ограничения самодержавия. Поэтому граф предпринял ряд мер, чтобы всецело овладеть доверием Государя и окружить его сетью личных влияний, благоприятствовавших его плану. Для этого нужно было вытеснить одних, возвысить других, сойтись с теми, кто имел шансы повлиять на Государя. В настоящее время невозможно еще говорить о сложной интриге, которую пришлось вести в этих видах. Но в результате ее наверху правящих сфер возник такой рад недоразумений и разногласий, каких Россия не видывала со смутнейших моментов XVIII века. В этой мутной воде никакое решительное действие было невозможно. М. Н. Катков в своих

энергических статьях 1881 года имел все основания жестоко обвинять эту эпоху.

“Регулирующее действие власти, — говорил он, — которое твердый государственный порядок оказывает на умы, дисциплинируя их, нигде не чувствуется. Люди в разброде и обращаются в стадо... Нас предостерегают от революции, но надо же сказать правду: мы уже в революции, искусственной и поддельной, но тем не менее в революции. Еще несколько месяцев прежнего (то есть лорис-меликовского. — Л. Т.) режима — и крушение было бы неизбежно”⁹¹.

“Обман революционного движения идет не снизу, не изнутри страны. Он свил себе гнездо в преддвериях власти и идет из бюрократических сфер”⁹².

Это очень горячо, очень резко, но по существу выражает, несомненно, истинное положение вещей...

Есть книжка “Alexandre II, Details intimes sur sa vie et sa mort”⁹³ par Victor Laferte. Книжка эта очень партийная и именно посвящена апологии того кружка, который всецело обступил Императора Александра II при графе Лорис-Меликове. Но сведения автора идут из самых компетентных источников.

По рассказам его видно, между прочим, что Император Александр II не был осведомлен с точностью об истинном характере терроризма.

“Александр II, — повествует автор, — знал, что хотя его царствование было плодотворно во всякого рода реформах, революционная партия была недовольна и ожесточенно усиливалась его погубить. Это было показано многими покушениями. В домашних разговорах Император беседовал об этом и громко себя спрашивал: “Но чего же они хотят от меня?” При этих словах лицо Императора становилось озабоченным. Он погружался в размышление и, казалось, искал ключа проблемы, разрешение которой могло бы обезоружить и удовлетворить эту партию”.

Нельзя без глубокой грусти читать такие строки. Увы, Государь искал решения, которого не было и быть не могло. Он, очевидно, не был осведомлен, что против него восставали люди, отрицающие самый принцип, им представляемый. Этих людей было немного, их легко было победить, но удовлетворить их нельзя было ничем, ибо они хотели не тех или иных мер Государя, а самого уничтожения его власти. К несчастью, Государь искал решения проблемы, и это создавало психологическую почву для воздействия на него в более или менее скрытом конституционном смысле.

Не более как через полгода по назначении верховной комиссии она, по представлению графа Лорис-Меликова, была упразднена. В Высочайшем рескрипте на имя графа от 30 августа 1880 года сказано по этому поводу: “*Вы достигли таких успешных результатов*, что оказалось возможным если не вовсе отменить, то значительно смягчить действие принятых чрезвычайных мер”. Таким образом, Государь склонялся уже к убеждению, что политика графа Лорис-Меликова оказалась целесообразной и достигла чего-то важного в смысле уничтожения крамолы. На самом деле ничего подобного не было, и даже было, к сожалению, совершенно наоборот. Но такая точка зрения Государя, понятно, вполне соответствовала уверениям графа Лорис-Меликова, что подавлять крамолу нужно посредством уступок либералам. Хотя граф, несмотря ни на что, не мог добиться у Императора более значительных уступок, однако он уже достиг, по крайней мере, первого шага. Когда Кошелев снова посетил графа, то “узнал от него много интересного”.

“*На созвание земской думы*, по словам графа, он никак не надеялся получить соизволение Государя. Но он имел в виду собрать общую, довольно многочисленную, комиссию из выборных от земств, а где таковые не образованы — из лиц, приглашенных правительством”.

Эти минимальные надежды графа осуществились в феврале 1881 года. В помянутой выше брошюре “Конституция графа Лорис-Меликова” приводится доклад его, из коего видно, что решено было образовать особую комиссию, составленную частью из выборных от земств и городов, частью назначенных Государем, для обсуждения ряда государственных вопросов предварительно внесения их на обсуждение Государственного совета (с. 36-41). Комиссия имела голос совещательный и, как видим, была поставлена ниже Государственного совета. Тем не менее ею все-таки создавался первый шаг ко введению *выборного* представительства в систему законодательных учреждений. В конце февраля мера была окончательно решена. По рассказу Victor'a Laferte, утром 1 марта 1881 года Государь передал графу Лорис-Меликову некоторую бумагу и сказал при этом одному близкому лицу, стоявшему вполне au courant планов и стараний графа: “Я подписал ту бумагу (le papier en question). Надеюсь, что она произведет хорошее впечатление и будет для России новым свидетельством, что я ей даю все, что только возможно”.

Расточая совершенно справедливые проклятия убийцам великодушного Монарха, автор книги “Alexandre II” говорит по этому поводу: “В своем фанатическом ослеплении гнусные царевубийцы забыли,

в бешеном сумасшествии своем, что если б Александр II процарствовал еще несколько лет, то России уже не в чем было бы завидовать государствам наиболее явно (*franchement*) конституционным. И такая трансформация произошла бы без всяких насильственных потрясений, тогда как в других странах Европы эта цивилизаторская реформа стоила рек крови”.

Итак, кружок графа вполне сознавал, что делал лишь первый шаг к цивилизаторской реформе. Точно также “сам граф Лорис-Меликов, — поясняет автор брошюры “Конституция графа Лорис-Меликова”, — не заблуждался насчет недостаточности тех уступок, какие в этом акте правительство делало общественному мнению. *Он не смотрел на предложенную им реформу как на нечто окончательное и видел в ней только первый шаг* ко сближению высшей администрации с представителями от земства” (с. 20).

X

Нетрудно понять, что действительно дальнейшие шаги неизбежно и быстро должны были последовать по созвании этих *выборных* земцев. Они явились бы поголовно из того слоя политиканов, который вел в это время земскую агитацию. Они выставили бы себя представителями “воли народа” и, имея графа Лорис-Меликова около Государя, стали бы фактически *выше* Государственного совета, завоевывая себе значение настоящего парламента. Мы, очевидно, готовились войти в такую полосу внутренней смуты, исход которой, при данных условиях, трудно даже было предсказать.

Но нельзя поистине не удивляться беспечности графа, столь плохо оберегавшего Государя, с жизнью которого он связывал столько планов. Может быть, он не хотел пугать Государя и разочаровывать его во мнении об умиротворяющем действии либеральной политики, боясь, что тогда Государь примет иное направление? Как бы то ни было, обстоятельства, среди которых на заре задуманных реформ совершилось преступление 1 марта, изумительны.

За два месяца пред тем террористы под фальшивыми паспортами мещан Кобозевых наняли погреб на Малой Садовой якобы для производства сырной торговли. В действительности они вели мину под улицу, составлявшую путь обычного проезда Государя по воскресеньям в Манеж. Работа была трудная и произведена очень искусно. Нужно было пробить толстый фундамент огромного дома и вести затем далеко галерею. Для этого к Кобозевым приходили по ночам их товарищи и

работали. Вынутые камни и землю не выносили, а ссыпали за деревянную обшивку стен, завалили ею заднюю комнату и даже набили пустые бочки якобы с сыром. Можно бы и вообще удивляться, как такая сложная работа посреди столицы осталась незамеченной, особенно после того, как уже был раньше подкоп и взрыв в Москве, на Курской дороге. Но беспечность высшей власти еще более поразительна. Victor Laferte сам рассказывает, что “по городу *был слух*, что Малая Садовая минирована”, и ввиду такого слуха одно близкое Государю лицо (но не граф Лорис-Меликов) убедило его не ездить более в Манеж через Малую Садовую.

Забота о Государе не пошла далее этого. Участковая полиция нашла подозрительными именно Кобозевых и сделала о них донесение. Но и это осталось бесплодным. Уважение к правам человека и гражданина дошло уже в Петербурге до того, что вместо обыска, вместо надзора за Кобозевыми приказано было свыше лишь послать техника от санитарного комитета, чтобы “под предлогом сырости” помещения посмотреть, нет ли чего подозрительного. Техник слегка взглянул и ничего не заметил... Он не заглянул даже в заднюю комнату, заваленную кучами земли... Это было за два дня до преступления.

Понятно, что надзор за Кобозевыми и арест их могли бы открыть всех злоумышленников с их бомбами, как они были открыты после 1 марта на Тележной улице и в других местах. Покушение стало бы невозможно. Но граф Лорис-Меликов, видно, очень крепко верил в свою фантазию: будто бы стоит угодить либералам, и террористы сами исчезнут. Его оптимизм был беспределен. За два дня до 1 марта, почти случайно, на квартире поднадзорного Тригоны был арестован сам Желябов, известный полиции как глава террористов и как виновник подготовлявшегося в Александровске взрыва царского поезда. По рассказу Victor'a Laferte, “Желябов отказался отвечать на вопросы прокурора, но прибавил, что, несмотря на его арест, *покушение на жизнь Его Величества будет произведено непременно*”.

Но даже и в такой момент церемонились с Кобозевыми, пока они сами не сбежали с квартиры после 1 марта...

Граф Лорис-Меликов доложил Государю об угрозах Желябова. Это было в субботу. В воскресенье Государь предполагал ехать в Манеж, куда уже три воскресенья не ездил по настояниям вышеупомянутого близкого лица. “Ввиду такой формальной и смелой угрозы (Желябова. — Л. Т.) Лорис-Меликов пригласил Государя не отправляться на парад завтра, но прибавил, что *если бы Государь непременно настаивал* быть на параде, то он ему советует быть осторожным”.

Этот совет, прибавляет Victor Laferte, скорее ободрял Государя ехать, чем убеждал остаться. Собственно, Государь не имел никаких причин настаивать на поездке в Манеж и не настаивал, по словам Victor'a Laferte. Но слова графа, что нужно только “быть осторожным”, заставили Государя “предполагать, что явной опасности не было, тем более что Император получил уверение, что все человечески возможные (humainement possibles) предосторожности были Приняты для охраны его особы на улицах, которые он должен был завтра проезжать по пути в Манеж”. Вообще, свидание с графом Лорис-Меликовым подействовало на Государя успокоительно. Его лицо было столь спокойно, рассказывает тот же автор, что самые близкие люди не догадывались о новости, только что ему сообщенной. Столь же весел и спокоен был он вечером и на следующее утро и только торопился непременно передать графу Лорис-Меликову “le papier en question”, то есть относительно созыва выборных. Не нужно забывать, что все это рассказывает апологет графа, старающийся его “выгородить” и свалить ответственность за роковую небрежность на градоначальника. Из рассказа, однако, совершенно ясно, что граф *успокаивал* Государя. Весьма возможно, что он представлял арест Желябова как ручательство в том, что покушения не будет. Замечательно также, что тревожной новости своей граф Лорис-Меликов *не сообщил* даже тому близкому лицу⁹⁴, которое особенно заботилось о безопасности Государя⁹⁵.

Ясно, что он не хотел поднимать тревоги, которая могла бы изменить взгляд Государя на благодетельность либеральной политики.

Что касается “всех человечески возможных мер предосторожности”, то мы уже видели, каковы они были в отношении мины Кобозевых. Не лучше обстояло дело на Екатерининском канале, где, по свидетельству Victor'a Laferte, не оказалось даже полицейских на постах. Понятно, что если б они были, то не могли бы не заметить приготовлений заговорщиков, которые расставляли целый ряд “метальщиков” бомб на условленные места по совершенно пустынной набережной.

“Не министру же расставлять городских на посты”, — говорит Victor Laferte в оправдание графу. Конечно. Но министр внутренних дел, как начальник полиции, без сомнения, должен был сделать обыск у Кобозевых, да и полицию иметь такую, которая не забывала бы выставлять охрану, особенно в минуту прямой угрозы готовящегося покушения. Министр внутренних дел должен был употребить все усилия, чтоб удержать Государя от ненужных поездок, пока не будет выяснено дело Желябова и Кобозевых. К сожалению, он, очевидно, весь был

поглощен мыслью о будущем процветании преобразованной России и думал больше о подписи Государя на “papier en question”, чем о мерах к его безопасности.

И вот настало роковое воскресенье. Государь поехал в Манеж, но во дворец возвратился уже лишь для того, чтоб испустить последний вздох.

XI

Плоды политики графа Лорис-Меликова сказались немедленно после 1 марта 1881 года. Всего два года тому назад конституционалисты трепетали пред мыслью, что царевичество вызовет страшную “реакцию” и окажется пагубным “для дела свободы” (Кеннан). Они тогда еще понимали, стало быть, какова сила монархии в России. В 1881 году они уже настолько прониклись уверенностью в бессилии правительства, что заговорили языком каких-то победителей.

“Толпы народные, — писал М. Н. Катков, — идут нескончаемую вереницей к месту, ознаменованному мученической смертью русского Царя, павшего от изменнической руки... В толпе перед часовней слышатся слова молитвы и рыдания... А в это самое время поодаль воины либерализма *об одежде его мечут жребий*”⁹⁶.

Действительно, в первых же номерах либеральных газет раздаются клики свободолюбивых рабов, распущенных многотерпеливым хозяином. Не часто приходится читать что-либо столь непристойное даже по тону, как статья “Порядка”.

“Воля Всевышнего совершилась, — развязно толкует благочестивый либерал. — Теперь остается только *смириться* перед несокрушимой волей Провидения и, *не вступая с нею в тщетную борьбу*, посвятить все заботы, чтобы положить прочное основание для будущего. Не о реакции пагубной надо говорить теперь... Государь! Суровые меры стеснения доказали свою непригодность... *Спросите вашу землю в лице изблюбленных людей!*”

Нельзя не сказать, что вышедшая в это же время прокламация террористов без сравнения приличнее этих речей либерала.

Требование представительства высказывается с разных сторон открыто. Для “Голоса” (№ 36) из событий “выяснилась необходимость в устройстве *общественной организации* для служения вместе с правительством на благо столь дорогой нам всем русской земли. Необходимо, — говорит он, — приступить к продолжению остановленных крамолой реформ, призвав к содействию общественные

силы”. “Страна” (№ 36) еще откровеннее. Она прямо объясняет факт 1 марта как проявление *ответственности* за плохую политику. “Почему, — говорит газета, — ответственность за все, что делается на Руси — *за ошибки экономические, меры реакции, за ссылки в Восточную Сибирь*, — должна ложиться лично на одного Вождя русского народа?” Исходя из такой трогательной заботливости, “Страна” говорит: “Надо, чтоб основные черты внутренних политических мер *внушались представителями русской земли* и потому лежали на их ответственности. А личность русского Царя пусть служит впредь только вполне симпатичным *символом нашего национального единства*”.

Тут уже, стало быть, требовали не какого-либо “совещания”, а прямого упразднения самодержавия как силы правящей, приведения Монарха к значению простого “символа”.

Вот какими голосами заговорили пред окровавленным трупом благодущнейшего из царей.

Граф Лорис-Меликов мог легко предвидеть, что такие же речи раздадутся и из лагеря его земских единомышленников. Он, вероятно, ожидал даже более энергических голосов, ибо впоследствии обвинял русских за это время в “холопстве”. Однако и то, что было выражено, весьма достаточно показывает, какую смелость приобрели конституционалисты за годовое господство графа. Я говорю “смелость”, а не “силу”, потому что силы в агитации вовсе не заметно. Из года в год все это одни и те же имена, одни и те же местности. Если бы подсчитать этих “представителей населения”, то, думаю, их набралось бы еще гораздо меньше, нежели террористов. Но, как выразился Катков, “регулирующее действие власти исчезло; люди превращаются в стадо”; их стало легко подбивать на многое, особенно под благовидным предлогом защиты *личности Государя*. Это и был любимый прием либеральной агитации в земстве.

В марте месяце собралось чрезвычайное новгородское земское собрание. Г-н Нечаев, раньше требовавший созыва представителей по поводу продовольственного вопроса, теперь произнес речь, в которой предлагал “умолять Государя выслушать свободный голос русской земли чрез посредство ее истинных представителей”⁹⁷.

Это предложение господин Нечаев весьма красноречиво мотивировал тем, что “общественная мысль поражена беспримерным злодеянием” и “народ жаждет поставить свою грудь для защиты возлюбленного Царя”. К сожалению, собрание стало на эту точку зрения и в соответственном смысле составило свой адрес.

В Таврической губернии деятелем выступил господин Винберг, тоже давно уже известный. Он тоже красно обрисовывал “решительную для государства минуту” и обращался к чувству “долга” собрания, чтобы подбить его подать адрес о созыве представителей:

“Только весь народ, в лице его истинных представителей, в состоянии указать средства спасения России от бедствий, грозящих расшатать ее крепкий организм”. Однако господину Винбергу не удалось “сорвать” конституционный адрес. Гласный Гофман ответил, что “не берется говорить о предметах, на рассуждение о которых избиратели его не уполномочивали”, а гласный Щербань окончательно “провалил” конституционное предложение.

Само собою, не отстали от людей и тверичи с черниговцами. Только в Чернигове почему-то провели адрес на этот раз в дворянстве, и притом несколько позднее. Тверское же земство выразилось лишь обиняком: “Когда беда поражала отечество, *в непосредственном единении* земских людей и верховной власти Русский Царь и народ всегда приобретали могучую, неодолимую силу”. Под такими неопределенностями, конечно, легко было собрать подписи.

Рязанцы А. И. Кошелева в адрес фразу: “Соберите нас вокруг Себя, а мы всегда готовы по Вашему велению делить с Вами и труды, и опасности”.

Несколько иной демонстрацией пришлось удовольствоваться в самарском чрезвычайном земском собрании, открытом 5 марта. Председатель предложил отправить адрес с выражениями соболезнования. Но господа Жданов, Наумов и Нудатов горячо возражали. Господин Наумов объявил: “Слов нет, достойных выразить все, что у нас на душе. Мы не знаем, что нас ждет. К чему пустая формальность? Лучше молчать”. Господин Жданов находил “отправление адреса неудобным из опасения умалить *торжественность минуты* (?)”. Господин Нудатов, вспоминая о прежних адресах, сказал: “Разве мы говорили что-нибудь о тяжести налогов на крестьян, о подавлении труда капиталом, об отсутствии гарантий личной неприкосновенности? Нет! Ну, в таком случае лучше ничего не говорить, а просто молчать”. Но, восставая против адреса, господа Жданов и Нудатов старались побудить собрание ходатайствовать о “*расширении прав народа и участи его, в лице своих представителей, в самоуправлении всей страны*”. Вероятно, они находили, что такое ходатайство не умаляло “торжественности минуты”. Собрание так далеко не пошло, но, как это бывало постоянно, запрашивая побольше, либеральные гласные выторговывали себе меньшую уступку. Конституционное ходатайство отправлено не было, но

зато не было выражено и соболезнования. Вышла во всяком случае демонстрация.

Более действительны оказались старания господина Нудатова в самарском дворянском собрании 8 марта. Наши политиканы обнаружили тут уже значительное умение обращаться с собраниями. Собственно дворянство было настроено вполне монархически и, выразив Государю свои чувства, ходатайствовало даже о разрешении постройки храма. Тогда выступает господин Тенняков. “Все это, — сказал он, — хорошо и вполне свойственно дворянству, верному Престолу и Отечеству. Но необходимо подумать о будущем. Сегодня они убили одного монарха, а завтра станут покушаться на жизнь другого. Необходимо обсудить меры, которые должны быть приняты для предупреждения подобных ужасных событий”. Таким образом, дворянство затрагивалось с самой чувствительной стороны — со стороны личной преданности Государю. Замечание, очевидно, подействовало. Тогда выступает господин Нудатов. Соглашаясь вообще с господином Тенняковым, он возражает ему, что эти необходимые меры не могут быть целесообразно обсуждены в собрании одних дворян. “Эту в высшей степени трудную задачу, — доказывал он, — могут разрешить только *свободно набранные представители всех сословий*”. При беспокойстве дворян о Государе собрание было тронуту и окончательно сдалось, когда со стороны господина Нудатова последовала патетическая сцена верноподданнического отчаяния. “Я уже стар, и на склоне дней моих, — говорил он, — я люблю мою родину и желаю ей счастья и славы. Никто не заподозрит и не скажет, что я революционер. Но ради блага Отечества, ради счастья детей наших говорю вам, что смута, вот уже два года терзающая русскую землю, может быть устроена только общими усилиями всех свободно избранных представителей народа. Только они могут обсудить меры, которые дали бы мир и спокойствие нашей несчастной родине...” Оратор упал в волнении на стул, “слезы душили его”... Собрание было наэлектризовано. “Кому же, как не народу защищать своего Государя”, — произнес граф Толстой. Речь господина Нудатова была покрыта восторженными рукоплесканиями и криками “Верно!”, “Правда!”, и собрание постановило “подать адрес с ходатайством о созыве избранных представителей народа”⁹⁸.

Таким-то образом собрания из чистейшей любви к Царю давали подписи для демонстрации против его власти!

ХII

В то время, когда в стране так смело действовала конституционная агитация, в Петербурге положение было смутно до последней степени.

Событие 1 марта и последовавшие открытия мин на Малой Садовой, на Канале, в динамитной мастерской на Тележной улице, неуловимость тайных типографий, рассеивавших прокламации, — все это достаточно показывало, что полиция графа Лорис-Меликова ничего не знала и не видела. Естественно являлся вопрос: что же еще остается ей неизвестного, какие еще опасности угрожают Государю? Никто бы не мог ответить с уверенностью, в какой мере обеспечена личная безопасность Монарха и преданных ему лиц правительства. Едва ли Государь всегда мог с уверенностью сказать себе, что знает, кто ему друг и кто враг. Правительство дробилось на партии. За все столетие ни один Государь не получал наследства власти в таком беспорядочном состоянии.

Victor Laferte описывает отчаяние графа Лорис-Меликова после смерти Императора Александра II. Однако ни сам Лорис-Меликов, ни его партия не считали своего дела проигранным. Собственно говоря, те интриги, которыми держалась власть графа при покойном Императоре, чрезвычайно компрометировали весь кружок при наступившей перемене. Но все-таки граф Лорис-Меликов не унывал. В его “влияние” верили и другие. В упомянутой лондонской брошюре приводится любопытная записка одного из самых известных министров того времени, который, посылая графу соображения одного лица о созыве представителей, замечал, что это вполне соответствует плану Лорис-Меликова, и выражал надежду, что эти планы граф еще поддержит “всею силой своего авторитета”. Быть может, граф рассчитывал, что его, “представителя общественных требований”, не решатся удалить. Как бы то ни было, он изготовил новому Государю доклад, в котором испрашивалось согласие Государя на созыв *Комиссии*, проектированной накануне 1 марта⁹⁹.

Государь назначил обсуждение вопроса на 8 марта и в этом чрезвычайном совете министров мог вполне убедиться, в чьих руках находятся важнейшие пружины и средства власти.

Об этом историческом дне существует много опубликованных сведений за границей. Между прочим, особенно любопытна брошюра “Черный передел реформ Императора Александра II” (Берлин), ибо, по многим причинам, автора должно считать весьма недурно осведомленным. Впрочем, все сведения в общем совершенно одинаково рисуют обсуждение вопроса. Отбрасывая имена сомнительные, за *опубликование* созыва выборных высказалось девять человек — все из числа министров; *против* говорили только пять человек, из коих большинство даже не были министрами, а участвовали в совете по особому приглашению. Прения были бурные. Лорис-Меликова прямо обвиняли в замысле ограничить самодержавие. Граф вспыхнул и горячо

возразил, что реформы необходимы для спасения монархии. Государь, как всегда непроницаемый и молчаливый, все выслушал, не выразив своего мнения, и, поблагодарив министров за откровенность, отсрочил окончательное решение вопроса.

В этот знаменательный день у нас, несомненно, решился вопрос о том, быть или не быть у нас революции. При требованиях созыва представителей всего народа (требованиях, так смело возбуждаемых повсюду конституционалистами) ясно как день, что, под каким бы видом ни исполнить проект графа Лорис-Меликова, это имело бы результатом созыв некоторого учредительного собрания, составленного из тех, кто о нем хлопотал, то есть из либералов и революционеров. Заявив на всю Россию о бессилии монархии, правительство графа Лорис-Меликова тем прочнее оперлось бы на собрание. Окончательные результаты трудно и предвидеть, но что, во всяком случае, восстанавливать самодержавие пришлось бы среди кровавых смут — это совершенно ясно. Возможно ли допустить мысль, чтобы человек умный и хитрый, как граф Лорис-Меликов, и тут не понимал, что он делает? Он как будто ставил последнюю решительную карту в надежде, что в этот смутный момент она выигрывает, а дальше пойдет “логика событий”, с которой уже трудненько справиться.

Но Россия не осталась без людей, способных понять положение Дел. Вопрос был порешен Государем совершенно иначе. 29 апреля 1881 года вся партия графа была как громом оглушена Манифестом, составленным без ее ведома. Рассказывают, будто граф Лорис-Меликов был так поражен, что воскликнул: “Это измена!..”

И, однако, в Манифесте 29 апреля была выражена только старинная, известная формула русской монархии. “Глас Божий, — сказано в нем, — повелевает Нам стать бодро на дело правления, с упованием на Божественный Промысел, с верою в силу и истину Самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять, для блага народного, от всяких на нее покушений”.

Это царское слово имело громадное значение. Отныне страна знала по крайней мере волю Государя. Становилось невозможным выдавать конституционные стремления за будто бы одобренные им. Это был необходимый первый шаг для того, чтобы в стране стало возможно провести границу между своими и чужими. Царское слово ободрило всех верующих в самодержавие и дало им нравственное право противопоставить свои усилия усилиям врагов монархии. Наконец, Манифест очистил воздух в ближайшей обстановке Государя. После такого заявления граф Лорис-Меликов и его товарищи стали один за

другим подавать в отставку. Государь их не удерживал... Отныне, при всей запутанности дел, по крайней мере правительство делалось его правительством, а не центральным отделением либеральной партии.

Немало, однако, потребовалось времени на то, чтобы расшатанная центральная власть была приведена снова в надлежащий порядок. Не сразу и конституционалисты, избалованные побрякушками, убедились, что Манифест 29 апреля есть не только слово Государя, но и бесповоротно поставленное им *дело*.

XIII

История восстановления правильного действия правительственного механизма выходит из пределов настоящего очерка. Но для уяснения последних отголосков конституционной агитации в эпоху 1881 года необходимо вспомнить, что устроительное дело Государя Императора не могло совершиться сразу. Заявив, что будет править как самодержец, Государь, только что вступивший на престол, должен был, однако, разобраться в частностях множества вопросов, возбужденных как общественными управлениями, так и сенаторской ревизией. Необходимо было выяснить, что здесь выражало действительные нужды народа и что составляло простое оппозиционное критиканство. Первый год правления был поэтому богат “вопросами”, разбиравшимися поспешно и нередко шумно. Эта многочисленность поднятых вопросов возбуждала в либералах надежды, что их дело еще не проиграно окончательно. Хотя, как выражается Кошелев, “Манифест 29 апреля 1881 года и увольнение графа Лорис-Меликова” возбудили в либералах тяжелые чувства “горя, уныния и недоумения”, однако они за предыдущие годы так уверились в бессилии правительства, что не переставали ожидать падения новой системы. “Оптимисты”, как говорит Кошелев, еще в 1883 году оставались при убеждении, “что так администрация долго идти не может и ударит в стену лбом через год и никак не дальше двух лет”.

Поэтому как либеральная печать, так и политики, действовавшие в земстве и столь усилившиеся за 1880 год, продолжали агитировать. Надо, однако, заметить, что события несколько изменили их внутренние отношения. Помощь, оказывавшаяся либеральной *лигой* террористам, была признана земцами недопустимой (Общее дело. № 54). Поэтому более умеренная часть после 1 марта 1881 года отделилась от крайних и образовала особое общество — “Земский союз”. Этим людям было, как сказано в помянутых документах, 30 человек, которые, собравшись на съезде в Харькове, выработали свою программу. Она прямо отрицала *террор*, но требовала *децентрализации* государственного

управления на федеративных началах, а также *центральное народное представительство в смысле полноправного законодательного органа*, ограничивающего и прямо упраздняющего самодержавную власть. Таким образом, расхождение “Союза” и *Лиги* произошло не на программной почве, а только на вопросе об отношении к террористам, и в общей сложности, несмотря на раскол, силы их далеко не уменьшились.

Впоследствии программа “Союза” (сначала бывшая очень тайной)¹⁰⁰ была отчасти опубликована в “Вольном слове”. В ее параграфе ГУ прямо действительно выражено, что *“законодательная власть и контроль над действиями правительства передаются в руки народных представителей, то есть Государственной думы”*. Точные пределы предполагаемого “Союзом” ограничения верховной власти еще не были вполне выяснены. Так, из одного постановления “Союза” “ad referendum” (Вольное слово. № 51) видно, что предметом спора еще оставались следующие пункты: 1) высший надзор Союзной думы над заведением *государственными имуществами*; 2) право Думы ограничивать волю главы государства в деле *распущения Государственной думы*; 3) вопрос о составе Думы в случае *пересмотра основных государственных законов*. По этим пунктам еще предполагались новые обсуждения, а посему лица интересующиеся заранее приглашались к обдумыванию вопросов. Как видим, во всяком случае ограничение монархии предполагалось очень серьезное, так что по некоторым требованиям “главе государства” отказывали даже в правах каждого президента республики. Из других пунктов уже принятой программы заслуживает внимания *“право сопротивления незаконным действиям агентов власти”*...

Отклоняясь в средствах действия от всякого единения с террористами, “Земский союз” решил проводить свою программу: влиянием на правительственных лиц; устной пропагандой в интеллигентной среде; воздействием на общественное мнение путем печати.

Здесь необходимо припомнить другое обстоятельство, относящееся к началу царствования. Полиция, еще до графа Лорис-Меликова заявившая себя крайне неудовлетворительно, была при нем окончательно скомпрометирована в общественном мнении. Патриотическое чувство, глубоко пораженное злодейством 1 марта, возбудило мысль *общественной* охраны Государя Императора. Государь, ввиду общего разочарования в полиции (которая начала *серьезно* реформироваться действительно лишь после увольнения графа Лорис-Меликова), не считал нужным пресекать это выражение заботливости преданных ему

верноподанных, хотя понятно, что в принципе всякие частные общества с такими целями составляют формально нарушение правильного течения государственной жизни. Но в марте 1881 года нельзя было быть слишком требовательным в отношении формального порядка. Вот к этому-то обществу и решили примкнуть некоторые члены “Земского союза” с целью “исподволь проводить идею федеративного конституционализма в высших и даже придворных сферах”. Для устной пропаганды в интеллигентной среде “Земский союз”, находя ее лично для своих членов неудобною вследствие “ультралегального положения”, прибегнул к “известному числу посредников из лиц, принадлежащих к свободным профессиям”. Для обезопасения этих лиц от подозрений полиции “Союз”, по тем же сведениям, не брезговал выдавать их власти за полицейских будто бы агентов. Таким образом, в 1881 году эта группа конституционалистов вступает на путь вполне заговорщической деятельности. Что касается воздействия на общественное мнение путем печати, то “Союз” тут находил затруднения. Отдельные статьи в различных газетах недостаточно выражали его мнения, тем более что с “увольнением графа Лорис-Меликова” затруднилась даже “междустрочная пропаганда”. Поэтому “Союз” решил издавать орган за границей, для чего вступил в соглашение с эмигрантом М. Драгомановым. Эта газета, “Вольное слово”, действительно основанная с прекрасными денежными средствами, сначала скрывала свою принадлежность “Земскому союзу”, и лишь впоследствии, когда существование этого тайного общества стало уже невозможным, сам Драгоманов напечатал, чьим органом была его газета. Вообще, все сведения о “Союзе” стали за границей опубликовываться тогда, когда уже тайна стала бесцельной. В 1883 году все эти фантазии уже рассеялись или, по крайней мере, притаились без “публичных доказательств”, так как правительственные дознания вполне раскрыли замыслы конституционалистов и действиям их был положен конец.

XIV

Возвратимся к 1881 году. Располагая так необычно организованными силами, наши конституционалисты во все время министерства графа Игнатьева отнюдь не считали своего дела проигранным, тем более что у них, как это ни странно, жила надежда на возвращение графа Лорис-Меликова ко власти. Это уже совсем не делает чести их сообразительности, но, как бы то ни было, они сначала действовали очень настойчиво. За отсутствием опубликованных данных я не касаюсь их деятельности *вообще*. Но она, по обыкновению, выразилась

и в разных, более или менее демонстративных заявлениях общественных собраний. Однако именно здесь скорее всего обнаружилась полнейшая беспочвенность всех замыслов ограничения монархии. Несмотря на всю организованность сил, конституционалисты уже далеко не имели больших успехов, ибо многие заявления земских собраний этого времени трудно даже назвать конституционными. Так, например, по поводу созыва *сведущих людей* многие заявляли, что выбор их следует предоставить земствам. Но такое мнение мог выразить всякий, нисколько не стремящийся к конституции. Действительно, созыв *сведущих людей* представлял меру вовсе не из удачных. Если правительству нужны были *эксперты*, то оно должно было вызывать экспертов, а не земцев. Если же правительству нужны были голоса именно *земств*, то, конечно, было бы правильнее предоставить земцам указать своих представителей. Нет ничего удивительного, что в земских собраниях так и рассуждали.

В большинстве случаев такими только заявлениями и пришлось удовольствоваться нашим конституционалистам. Лишь иногда им удавалось вызывать крупные демонстрации. Особенно замечательно по своей дерзости помянутое выше черниговское заявление, посланное в ответ на Манифест 29 апреля. “Веруя безусловно в силу и истину самодержавной власти, — говорят его составители, — мы полагаем, что истина эта сделается осязательнее и очевиднее для всего отечества нашего, когда Ты, Государь, войдешь в непосредственное общение с землей через излюбленных людей ее”. Но в большинстве случаев агитация, бойко начатая, приводила лишь к очень бесцветным результатам. Так, новгородская губернская управа стремилась подбить собрание “с полною искренностью заявить правительству”, что вопрос о содействии общества “может получить правильное решение лишь при участии в его рассмотрении уполномоченных от земских учреждений”. Но собрание не поддержало этих стремлений. В череповецкое уездное собрание была представлена записка Н. Ф. Румянцева, который требовал “созыва выборных от народа в качестве совещательного органа самодержавной власти Государя по вопросам законодательным”. Это тоже оставлено собранием без особых последствий. Вообще, многочисленные заявления собственно *собраниями* (всего 12) сделаны были лишь по поводу созыва сведущих людей, то есть на почве наименее конституционной.

В общей сложности агитация 1881 года, веденная со столь хорошо организованными силами, могла, повторяю, доказать лишь *слабость* конституционной партии в стране. Как видно из предыдущего, наши конституционалисты в различных фракциях своих не брезговали никакими средствами, начиная даже от “некоторой помощи

террористам”, не стеснялись обманывать и правительство, и общество, постоянно распинаясь пред ним, будто бы, требуя представительства, они не посягают на самодержавие, хотя в своей тайной программе вполне определенно ставили себе целью уничтожение самодержавной власти. В большинстве случаев только таким обманом и всякими подвохами успевала эта партия возбуждать видимость антиправительственных демонстраций, облегчаемых тем, что обыкновенно ее же политики заранее захватывали главные должности земского управления. Но не помогли дутому делу никакие интриги. При всей неопределенности политики первого года царствования твердая рука Государя начала уже чувствоваться, и Манифест 29 апреля повсюду вызывал к деятельности монархические силы страны. В своих “Записках” Кошелев горько жалуется на то, что “реакция” проявляется в самом “земстве”. “Особенно больно, — говорит он, — что *молодые* дворяне примыкают не к либеральному направлению”. Описывая, как на ближайших выборах он с компанией был побит “реакционерами”, меланхолически замечает: “Числом голосов мы оказались в меньшинстве, но если бы считать по прожитым годам, то мы были бы в большинстве. Неужели Россия идет назад и молодые более реакционные, чем те, которые жили и действовали во время крепостного права? Грустно!”

Наибольший упадок духа наступил, однако, для конституционалистов собственно с того момента, когда Государь, окончательно убедившись в том, что они такое и какие действительные цели имеет их “непосредственное общение” власти с населением, призвал в мае 1882 года на пост министра внутренних дел графа Д. А. Толстого. Назначение его ударило конституционалистов как обухом по голове. “Что это такое, — в негодовании спрашивает Кошелев, — насмешка над общественным мнением или желание нанести ему оскорбление?” “Назначение графа Толстого, — рассказывает он, — меня ошеломило и дозволяло мне только телесную, а не умственную работу. При перечтении моих “Записок” граф Толстой не выходил у меня из ума. Я бросил чтение и отправился гулять по рощам”. Но ничто не помогало. Тень Толстого его преследовала. “Граф Толстой тут как тут... Он меня давил и прерывал нить моих мыслей и занятий... Во время прогулок граф Толстой особенно мною овладевал; его прошлое и *от него ожидаемое* и катковские торжествующие статьи постоянно меня придавливали”.

Это настроение, более или менее общее всем конституционалистам, почувствовавшим, что их игре пришел *конец*, вполне оправдалось действиями графа Д. А. Толстого. Он недаром скоро получил прозвище “истребителя крамолы”. Уничтожив всякие тайные общества, круто подавив *всякие* нарушения порядка, неуклонно требуя,

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

ГРАЖДАНИН И ПРОЛЕТАРИЙ

Очерк первый

От автора

Получив от книгоиздательства “Верность” предложение дать для его изданий несколько брошюр по социально-экономическим вопросам, я пользуюсь этим приглашением тем охотнее, что оно идет навстречу задаче, мною уже себе поставленной.

Социально-революционное движение протекает у нас не только с ненормальной бурностью, но, по убеждению моему, в чрезвычайном противоречии с действительными интересами рабочего класса. В виду этого значительная часть моей писательской деятельности была за последний год (по преимуществу в газетах “Колокол” и “Московский голос”) посвящена напominанию тех основ общественности и экономики, на которых рабочий класс только и может воздвигать удовлетворение своих нужд.

Наш рабочий класс, по недостатку подготовки, очень легко поддается влияниям со стороны социально-революционного движения, старающегося подорвать эти основы. Рабочие, особенно за последний год, обнаруживают опасную для их дела склонность поддаваться руководству, исходящему не из их среды. Между тем только *самостоятельными усилиями и работой мысли* какого бы то ни было класса совершается правильное развитие его и его программы.

Роль интеллигенции в отношении народа, вообще, должна быть для него не командующей, а только вспомогательной. Она должна не предписывать рабочим той или иной линии поведения, но более всего стремиться пробуждать в них самостоятельную работу мысли, доставляя возможно полное осведомление о данных науки или опыта других стран.

Эту именно цель и ставлю я настоящим социально-политическим очеркам.

При современном развитии производительных сил рабочие обрабатывающей промышленности представляют многочисленный и важный класс общества. Как их собственные нужды, так и их социальные обязанности, а в связи с этим их организация, их надлежащее положение

чтобы течение дел государственных шло *только* правильным порядком, посредством ясных законных учреждений, он сделал невозможными наиболее опасные интриги конституционалистов, прикрывавшиеся якобы заботой о безопасности Государя. Демонстрации тоже стали менее удобны. Попробовали было в Новгороде подать графу конституционное заявление, но он немедленно сменил председателя управы — и все успокоилось. Печать, до крайности распушенная, потребовала мер более энергических, но с полным уничтожением нескольких явно противоправительственных органов; и тут скоро поняли, что с графом Толстым шутить не полагается. Вообще, граф Толстой имел, несомненно, руку тяжелую, которая больно била, когда он считал это нужным. Но это был ум истинно государственный, вполне понимавший, что для возможности дальнейшего развития страны необходимо прежде всего уничтожить всякие попытки государственного переворота, откуда бы они ни шли.

С 1882 года при Государе Императоре Александре III началось полное крушение замыслов как революционных, так и конституционных. Элементы политического разложения начинают проявляться все меньше и меньше. Скоро их единственной заботой стало — лишь бы не быть уничтоженными без остатка, лишь бы сохраниться хоть в зародыше “до более благоприятных условий”...

Нужно надеяться, однако, что этих условий им уже не дождаться вторично. Количество развитых умов все же возрастает у нас к концу века, который и в странах западной культуры разоблачил всю ничтожность парламентаризма. “Замечательно, — говорит англичанин по поводу речи Государя Императора депутатам, — что это возглашение принципа самодержавия не вызвало у нас тех воплей негодования, какими бы, несомненно, было встречено несколько лет назад. Это оттого, что нам *стало уже стыдно за нравственное крушение нашего конституционализма и республиканства*” (“Review of Reviews”). Царская речь является признаком времени не для одних русских. Идеалы прочного внутреннего строя, существенно монархические, восстают в мире на борьбу с началами анархизма, спасая подрываемую им свободу и развитость личности. Не в такую минуту, нужно надеяться, откажемся мы от лучшего наследия своей истории.

в государстве образуют ряд задач, составляющих содержание рабочего вопроса.

Этот ряд задач требует теперь чрезвычайного внимания общества, государственных деятелей и особенно *самих рабочих*. Но в этой крайне сложной области доселе по всему миру достигнуто весьма еще немного, главным образом потому, что в среде самих рабочих было доселе проявлено слишком мало самостоятельного изучения своего положения и его отношений к другим классам общества.

Такая самостоятельная работа проявилась более всего в Англии — созданием наиболее плодотворной в области рабочего вопроса *профессиональной организации*. Однако и то, что достигнуто профессиональным движением, можно считать лишь начальным и частичным решением рабочего вопроса, особенно потому, что в этом движении доселе не затронуто все, что касается государственных отношений рабочего класса.

Главнейшим препятствием к правильному развитию рабочего вопроса явился *социализм*, особенно же в форме «*пролетарской идеи*», которая породила две одинаково неправильные тенденции: анархическую и социал-демократическую. Эти идеи, не созданные рабочим миром, но вложенные в него революционной интеллигенцией, превращают рабочих во врагов общества и государства вместо естественного их положения — быть одной из главных опор общества и государства. Эти идеи толкают рабочих на путь, где они, сами того не желая, неизбежно должны явиться разрушителями культуры, тогда как естественные условия промышленных рабочих слоев должны бы сделать их одними из наиболее могучих деятелей культуры.

В виду всего этого я намечаю для нижеследующих социально-политических очерков те пункты, разъяснение которых особенно необходимо для расчистки пути правильной постановки *рабочего вопроса*. Сообразно с условиями, созданными у нас в настоящее время, в этом отношении необходимо рассмотрение социалистической идеи вообще, особенно же в ее «пролетарской» форме, некоторых способов действия, из нее вытекающих, как всеобщая забастовка, выяснение действительного отношения различных классов в обществе и т. д. В таком порядке я и располагаю очерки, для которых отчасти пользуюсь ранее опубликованными статьями, отчасти ввожу необходимые новые дополнения.

Так как главная цель этой работы состоит в том, чтобы показать необходимость трудной, но единственно полезной для рабочих задачи — *самостоятельной выработки своей программы*, то я, конечно, сочту

долгом принять во внимание все указания читателей, их недоразумения и запросы, которые кто-либо сочтет нужным мне сделать.

Москва, 2 сентября 1906 г.

I

Рабочий как гражданин и пролетарий

Задаваясь вопросом о том, какими путями может быть улучшено положение рабочего класса и каким образом рабочий может, в свою очередь, исполнить лежащий на нем, как на каждом человеке, долг перед вскормившим его обществом и перед человечеством, нам в настоящее время прежде всего приходится поставить себе вопрос: что такое рабочий? Гражданин он или пролетарий? Чем он должен стремиться быть: тем или другим?

Для очень многих, и в том числе для так называемых «сознательных» как из рабочих, так и из интеллигенции, этот вопрос покажется излишним, и они не найдут причин, почему бы пролетарию не быть в то же время и гражданином. В действительности же понятия «гражданин» и «пролетарий» весьма противоположны и ведут к самым противоположным системам действий.

Вся постановка рабочего вопроса зависит от того, чем представляется для нас рабочий. Если он пролетарий и должен быть пролетарием — наша социально-политическая деятельность будет строиться неизбежно применительно к этому. Если же рабочий — гражданин и должен быть им — постановка рабочей программы окажется уже совершенно иной.

В это обстоятельство особенно серьезно должно вдуматься тем, которые называют себя «сознательными». Это очень хорошо, что они стремятся быть сознательными, но необходимо не только называться, а и быть таковыми. А для этого требуется всегда рассматривать социально-политические вопросы не с одной стороны, а со всех, которые они имеют.

Рассматривая же дело со всех сторон, мы неизбежно придем к выводам:

что положение и деятельность гражданина и пролетария диаметрально противоположны;

что рабочий вообще, а русский в особенности, есть гражданин, а не пролетарий;

что рабочий, в интересах своих и общественных, должен стараться быть именно гражданином и действовать как гражданин, употребляя все усилия для того, чтобы не дойти до положения пролетария или выйти из этого положения, если по несчастью в него попал.

В соответствии с этим старания всех людей, сознательно работающих на благо людей и человечества, должны быть направлены к тому, чтобы пролетариат не только не стал господствующим классом, но совершенно исчез и чтобы рабочие сделались материально обеспеченными и политически самостоятельными согражданами людей всех других классов. Это общая задача всех, о которых сказал Лассаль: “Мы все работники, если имеем желание быть полезными человеческому обществу”.

II

Различие гражданина и пролетария

Что такое гражданин? Беден он или богат, влиятелен или невлиятелен, но он есть *член* своего гражданского общества, имеет в нем права и обязанности, нравственно с ним связан, материально заинтересован в его благосостоянии. Гражданин получил свое общество в наследство от отцов, сам в нем живет и действует и бережно передаст его в наследство своим потомкам. Гражданское общество принадлежит ему, также как и он сам принадлежит обществу. Совместно с согражданами он посредством улучшения общества улучшает и свой быт. Он связан обществом в один союз с другими людьми различных занятий, различных классов, которые взаимно дополняют дело друг друга и своим частным делом служат процветанию других людей и общего дела.

Велика и высока идея “гражданина” для “сознательного” члена общества. Люди одного занятия, одной корпорации естественно связаны между собою, и понятно, что они дружески называют один другого “товарищами”. Но идея “товарищества” ниже и уже идеи “гражданства”, которая объединяет членов не только отдельных “товариществ”, но всей нации.

Гражданин выражает в себе союзничество не узкопрофессиональное, но общечеловеческое. Товарищи — братья в своем узком круге. Граждане — братья в широком и разнообразном круге всечеловеческого бытия. Гражданин не есть простой обыватель, он один из тех, которые обязаны благоустроить все общество и государство, поддерживать в них господство справедливости, поддерживать

общественное попечение о всех членах. В гражданине есть частичка “государя”.

Если рабочий чувствует себя гражданином, то он о своих частных интересах или об интересах своего класса будет заботиться путем благоустройства всего общества и государства. Если государство не обращало до того должного внимания на быт или права промышленных рабочих — гражданин приложит усилия повысить в этом отношении действие государства. Если государство не имеет для этого необходимых органов — гражданин постарается их создать. Если общество плохо организовано в тех своих частях, где живет и трудится рабочий, так что труженик остается обделенным или пренебреженным, — гражданин постарается дополнить сети и клетки общественной организации, так чтобы ее попечение и охрана могли охватить собою и рабочих. Во всей этой деятельности своей гражданин, борясь против своекорыстия какого-либо класса, не забывает, однако, общественной солидарности и не думает поправить зло тем, чтобы заменить его другим злом и на место “диктатуры буржуа или феодалов” поставить “диктатуру пролетария”... Нет, гражданин стремится к тому, чтобы никто не был эксплуатируемым, но каждый был обеспечен в своей свободе, достоинстве и праве.

Совсем иное положение пролетария, иной и способ его действий.

Пролетариев в действительности очень немного. Но поскольку они есть, это люди почти вне гражданского общества по недостатку собственности. Собственность есть великое обеспечение права. Собственность, то есть обладание некоторыми самостоятельными средствами к существованию, есть как бы материальное дополнение самой личности человека.

Человек своей деятельностью во внешней природе создает себе некоторые послушные орудия для жизни; эта материальная часть мира, подчиненная человеку, и есть его собственность. Когда у него этого недостает, он делается слаб, он фактически не может пользоваться ни правом, ни свободой. Существование таких обделенных людей — это великий грех общества. Что касается их самих, они, естественно, чувствуют себя обиженными, притесненными, а потому озлоблены, раздражены и легко могут быть превращены во врагов общества.

Социалистическая идея и создала из этой озлобленности целое мирозерцание, целую философию истории и практическую программу деятельности.

Вместо того, чтобы поднять бедного и бесправного, вместо того, чтобы развить общество до способности поддержать обездоленного и дать ему самостоятельность экономическую, политические права и

необходимую для гражданина развитость, “пролетарская идея” решает, что общество — враг пролетария и должно быть просто разрушено. В будущем же обществе должно заложить типические особенности пролетариата, не в том смысле, чтобы все были нищими, а в том, что самостоятельного производства уже не будет ни у кого, а вместо нынешнего хозяина-капиталиста средствами производства будет владеть хозяин-общество.

Я не касаюсь в данную минуту вопроса, осуществима ли эта мечта и что принесет она — благо или гибель. Я обращаю внимание лишь на то, что “пролетарий” в своей политической деятельности, исходя из воззрения на себя как на человека внеобщественного, неизбежно пойдет по направлению, совершенно противоположному, чем “гражданин”.

Гражданин старается улучшать свое общество. Пролетарий не может иметь даже желания улучшать его. Гражданин, борясь против эксплуататоров, старается создать в обществе гармонию интересов, обеспечение жизни и права всех членов. Пролетарий, проклиная общество, заботится только о своих “товарищах”. Он невольно привыкает отдаляться от общечеловеческой идеи и охотно усваивает взгляд, будто бы в истории всегда какой-нибудь класс эксплуатировал остальные. Вследствие этого политическая деятельность пролетария направляется только на сплочение своего класса для борьбы против общества, и в конце концов он начинает хладнокровно обдумывать наилучшие способы разложить и обесилить его, чтобы легче захватить его в свою власть...

Эта деятельность совершенно сходная с действиями неприятельского войска. Она совершенно противоположна деятельности гражданина.

Рабочий, желая быть *сознательным*, принужден выбирать одно из двух: либо звание и деятельность пролетария, либо звание и деятельность гражданина.

III

Рабочий есть гражданин

Что же может выбрать рабочий как сознательный человек, правильно понимающий свой личный и классовый интерес?

Прежде всего, конечно, приходится спросить: что такое рабочий фактически, по своему положению, помимо желаний?

Мы должны вспомнить, что идея пролетариата создана вовсе не рабочим, а революционной интеллигенцией. Положение самого рабочего не подсказывало этой идеи.

Рабочий в Европе даже в самые трудные времена чувствовал себя *трудящимся гражданином* своего общества, которое любил, с которым был связан. Только интеллигентное отвлечение создало идею пролетариата, и несмотря на то, что более полувека прививает ее рабочим, пропагандой устной и печатной, все же огромное большинство рабочих в Англии, Германии, Франции и т. д. до сих пор чувствуют себя гражданами своего отечества.

“Пролетарские идеи, — замечает в одном месте Бернштейн [1], — выставляются как природное свойство ума современного рабочего. Такой взгляд в лучшем случае является метафорой. От Бабефа До Маркса и Лассаля теория социализма имеет только два крупных творческих ума из рабочих: Прудона и Вайтлинга. Первый назван в “Коммунистическом манифесте” *буржуазным* социалистом, а второй может лишь возбуждать любопытство историка. Сен-Симон, Оуэн, Фурье не принадлежали к рабочему классу, как и Маркс и Энгельс”. И до сих пор “рабочий нуждается в известном усилии абстрагирующей мысли, чтобы освоиться с образом мысли тех пролетариев, которых предполагает теория... Он воспринимает этот образ мысли легче, чем члены других классов, но это мировоззрение не вытекает непосредственно из условий его жизни”¹⁰¹.

Итак, в самой Европе рабочему нужно искусственно прививать понятие, будто бы он пролетарий.

Но оставим в стороне европейских рабочих. Для нас ближайший вопрос составляют русские рабочие.

Я знаю бедственные стороны их положения и в своей деятельности, как публицист, много писал об этом. Но при всем том смело обращаюсь к совести и сознанию рабочих с вопросом: неужели они не чувствуют, как много обязаны своему Отечеству, этому самому обществу, в котором мы все живем? Наше Отечество находится в очень печальном состоянии, которое мы все должны стараться улучшить. Но тем не менее разве же родина была мачехой для рабочих? Разве же они безродные, не связанные с ней пролетарии, которым дозволительно считать Россию своим врагом?

Начать с того, что огромное большинство наших рабочих — крестьяне, посадские и т. п. — все собственники, имеющие то надельные земли, то дворовые участки с избами. Какие же это пролетарии? Множество рабочих являются на фабрики и заводы только “на заработки”

и удаляются ежегодно на свои полевые работы. Они живут двойным заработком: от полевого хозяйства и от фабричной работы. Многие рабочие сдают свои надельные земли в аренду, иногда даже весьма выгодную (под большими городами). Какие же это пролетарии? Они могут сказать, что все-таки живут бедно. Но это совершенно другой вопрос. Бедно может жить и разоренный капиталист. Факт же в том, что большинство наших рабочих по своему социальному положению ни в каком случае не пролетарии, а потому не могут улучшить своего положения “пролетарскими” путями. Они могут только навредить себе, становясь на чуждую им пролетарскую почву.

Если и в Европе пролетарская идея привита рабочим интеллигенцией искусственно, то у наших рабочих это, как выражался Бернштейн, чистейшая “идеология”, и притом в высшей степени фантастическая. В России девяносто девять сотых рабочих самые настоящие “граждане”.

Без сомнения, наше гражданство очень плохо организовано, что отражается вообще на всех нас. Но пути улучшения жизни рабочих все-таки “гражданские”, а не “пролетарские”, то есть рабочему в России будет тем лучше, его личное экономическое и правовое положение и его классовая организация будут тем лучше обеспечены, чем лучше будет устроена *вся Россия вообще*, чем сильнее будет развито и укреплено русское общество и государство. Расслабление и подрыв их есть расслабление и подрыв для рабочего дела.

Все действительные интересы зовут рабочих к тому, чтобы улучшать свою долю, улучшая построение русского общества, русской промышленности, русского управления, русских междусловных отношений и т. д. В этой национальной задаче, общей для рабочих со всеми прочими гражданами, конечно, есть свои особенные стороны, которые рабочие должны брать по преимуществу на себя, но даже и в осуществлении их рабочие достигнут тем больше, чем дружнее будут идти об руку с остальными слоями русского населения, как сограждане одного великого государства.

IV

Что может дать “пролетарский режим”?

Социальное положение русского промышленного рабочего класса и его собственные интересы призывают его к тому, чтобы не быть пролетарием, но оставаться в тесном гражданском единении со всей

нацией. Но социалисты, старающиеся привить рабочим “пролетарскую” идею, говорят, будто бы пролетариат ведет к перевороту, благодетельному для всего человечества. С этой точки зрения рабочие, быть может, должны пожертвовать собственным интересом и — хотя они на самом деле не пролетарии — стать добровольно в положение пролетариев, проникнуться чувствами пролетариата.

Нужно ли это, хорошо ли это? Обсудить такой вопрос составляет обязанность рабочего. Бебель [2], когда перед ним становится вопрос: чем оправдать стремление к социалистическому перевороту? — отвечает: “Законным оправданием является *общественное благо*, как это всегда бывало при всякого рода изменениях и преобразованиях”¹⁰².

Посмотрим же, должен ли рабочий, с точки зрения общественного блага, становиться на почву “пролетарской” деятельности и усваивать себе “пролетарское” миросозерцание.

Этот вопрос, очевидно, решается тем, какое общество лучше: то ли, которое создается идеей “человека и гражданина”, или то, которое создается идеей “пролетария”.

Общество, создаваемое идеей “человека и гражданина”, мы знаем. В нем бывали и есть свои слабые стороны, но даже сами социалисты признаются, что без вековой работы этого общества, без великих его созданий в области человеческой культуры немислимо было бы и мечтать о том золотом веке, который они сулят человечеству в социалистическом строе. Значит, наше современное общество, гражданское, выросшее на почве идеи “человеческой”, имеет бесспорные громадные заслуги. Но чего можно ждать от “пролетарского режима”?

Его еще до сих пор не было, и социалистам легко сулить всякие блага в будущем. Но даже и теперь для внимательного ума ясно, что пролетарская идея ничего доброго создать не может. Ясно, что будущее “пролетарское общество” должно отразить в себе типические черты своего устроителя, то есть пролетариата. Феодалы строили общество сообразно тем особенностям, которые характеризовали их самих. Буржуа привносили в построение общества то, что характеризует буржуазию. Так и пролетариат, очевидно, может строить предполагаемое им социалистическое общество только на основании тех типических черт, которые лежат в нем самом. Именно поэтому от него и нельзя ждать добра.

Говоря об этом, я должен напомнить, что совершенно разграничиваю “рабочего” и “пролетария”. Нам предстоит определить не характеристические черты “рабочего”, которые в основе действительно

очень высоки, но особенности именно “пролетария”. *Пролетарий* и *рабочий* — это совершенно различные понятия. Социал-демократия даже и сама разграничивает эти понятия. Она знает, что и крестьянин, и мелкий буржуа принадлежат тоже к работникам. Но не на “работнике” социал-демократия хочет воздвигать будущее общество, а именно на “пролетарии”. Что же такое пролетарий и какие основы может он заложить в “общество будущего”?

Сами социалисты, перечисляя качества пролетариата, отмечают его *привычку к труду, способность к дисциплине, решительность в борьбе*; наконец, Каутский утверждает, что пролетарий отличается “*интеллигентностью*”.

Все эти качества действительно можно видеть в пролетарии. Это человек, ничего не имеющий, кроме своих рук. Охранять ему нечего. Терять нечего. Испокон веков “пролетарий” в виде нищего (*Lumpenproletariat*) или в виде рабочего отличался готовностью к восстанию, причем мало дорожил своей неприглядной жизнью. Рабочий пролетариат присоединяет к этому общему свойству пролетария еще чрезвычайную дисциплинированность, которую приобретает потому, что живет в вечной дисциплине, в особенности на фабрике. Он трудится не самостоятельно, как крестьянин или мелкий кустарь, не сам определяет, что и когда ему нужно сделать, когда работать или отдыхать, что покупать и что продавать, но во всем имеет вечное указание хозяина и мастеров, трудится в твердо установленных рамках.

Таким образом вырабатывается чрезвычайная привычка к дисциплине. Для формирования революционной армии эта способность весьма выгодная. Но для общественной созидательной роли нужна не одна дисциплина, а также способность к почину и самостоятельное рассуждение, каковых качеств, однако, положение пролетария уж совсем не развивает.

В этом отношении пролетарий отличается от других видов работника в очень невыгодную сторону. Крестьянство, например, вырабатывает в себе чрезвычайно крепкое собственное мирозерцание, которое в течение веков не в силах изменить никакие влияния высших классов. Промышленный рабочий, обладающий некоторой самостоятельностью, имеющий собственность, сплоченный в крепкое сословие, точно также вырабатывает свое мирозерцание. Но пролетарий нигде этой способности не проявил.

Каутский хвалит интеллигентность пролетария. Но это похвала двусмысленная. Понятно, что положение всякого рабочего, особенно промышленного, живущего в центрах скопления людей, развивает

способности, порождает смекалку, дает толчок работе ума. Но именно у пролетариев наряду с этим проявилось другое качество, связанное с их положением, — творческое бессилие мысли. Даже то, что называется “пролетарским” мировоззрением, выработано вовсе не самим пролетарием, но усвоено им от интеллигенции. Это такой вид демократии, который в умственном отношении проявил не самостоятельность, как это обычно замечается у других слоев народа, а только подражание и дисциплинированность.

Отсюда его кажущаяся “интеллигентность”, нахватанность в идеях, выдвинутых интеллигенцией, которые он усваивает без критики. Однако для роли класса, призванного устроить “общество будущего”, это вовсе не выгодное качество.

Конечно, есть слои рабочих, по своему положению принадлежащих к пролетариату, которые, однако, проявили социальное творчество. Лучший тому пример — рабочий класс Англии, который создал совершенно своеобразную организацию, во многом научившую даже представителей социальной политической науки. Но английские рабочие именно не хотели быть пролетариями. Их сознание боролось против внушений пролетарского положения. Они упорно хотели быть “гражданами”, стремились приобщиться к собственности и для этого вырабатывали свою рабочую организацию. Каутский, досадуя на английских рабочих за самостоятельность их ума, за их неподатливость социализму, отказывает им в интеллигентности... Однако только в Англии рабочие и проявили истинную интеллигентность, то есть самостоятельную развитость ума, действующего по своему соображению, а не по указке сторонней интеллигенции. Сама рабочая среда уже с начала XIX века создала ряд таких знаменитых деятелей — чистокровных рабочих, как Фрэнсис Плэс (портной), Джон Догерти, с десяти лет работавший на хлопчатобумажной фабрике, Уильям Ньютон, надсмотрщик-механик, Уильям Аллан, с десяти лет работавший на хлопчатобумажной фабрике, а с пятнадцати перешедший учеником на механический завод, Джон Оджер, сын рудокопа, ремеслом башмачник, Александр Макдональд, хотя и выбившийся потом в университет, но сын матроса и в молодости бывший рудокопом, Джон Берне, рабочий-машиностроитель, Том Манн, тоже машиностроитель... Английское рабочее движение, можно сказать, создано самими рабочими, и если они, естественно, принимали помощь интеллигенции, то не поступали ей под команду, а, наоборот, люди верхних слоев, примыкавшие к рабочему движению, сами служили в рабочих обществах по тридцать лет секретарями и т. п. Таким образом, именно в Англии рабочие выдвинули ряд *своих* собственных блестящих деятелей, внушивших английскому

обществу почтение к рабочему классу, а не один страх, возбуждаемый пролетариатом.

Там же, где рабочие развивались “по-пролетарски”, они проявили способность только подчиняться интеллигентским влияниям, но не создали ничего *своего* — ни своих идей, ни своих людей.

Что касается *привычки* к труду, которую Каутский приписывает пролетариату, то и к этому должно внести важную поправку. У рабочего — не пролетария — есть не только привычка к труду, но *любовь* к труду. Чем самостоятельнее рабочий, тем больше у него этой любви к труду, который воплощает его мысль, вкус, идею и в то же время принадлежит ему, составляет как бы частичку его личности, проявившуюся во внешнем мире. Это высочайшее качество рабочего, которое ставит “трудящегося” выше, чем “нетрудящегося”. Но у пролетария оно ослабляется настолько, насколько ненормальное внешнее положение способно извратить натуру человека.

Пролетарий трудится по команде, и продукт труда не принадлежит ему. Способна ли тут развиваться любовь к созданию своего труда?

Пролетарий не имеет собственности. Он привык к представлению и ощущению, что все продукты его труда принадлежат какому-то “хозяину”, какой-то сторонней силе. Он считает его эксплуататором и грабителем, но, собственно, потому, что хозяин не дает ему возможности жить зажиточно. Любовь же *-личному*, независимому труду и к обладанию продуктом своего творчества чужда пролетариату. Она не развивается его положением наемника, ничего не имеющего, привыкшего быть оторванным от самостоятельности в труде и от обладания и распоряжения продуктом его.

Все эти качества очень выгодны для революций, но не дают никаких добрых залогов для устройства нового общества.

Целый ряд других последствий “пролетарского” положения развивает качества, точно так же вовсе непригодные для устройства высокого типа общества. Я не касаюсь проявлений прямого развращения, и сохрани меня Господь осуждать человека за то, что создало в нем его несчастье. Но для того чтобы рабочие правильно выбрали себе путь действия, необходимо не убаюкивать себя баснями да мечтами, не называть идеальным то, в чем самое горькое несчастье человека, а нужно трезво отдать себе отчет в фактах.

Нужно же понять, что положение пролетария (не рабочего вообще, а пролетария) — отсутствие собственности, своего независимого уголка, которым бы можно было распоряжаться по-своему, приспособляя его к

своим вкусам и потребностям, тяжкая невозможность содержать семью, вечная зависимость от внешних распоряжений — все это не может возвышать, а способно только принижать человека. Семья — это великая учительница жизни не только для детей, но и для самих родителей. А какая же семья у пролетария? У него развивается простое сожительство, а вовсе не семья.

У нас в России это зло еще не достигло таких ужасающих размеров и последствий. Но я знаю жизнь рабочих в Париже. Там — сотни тысяч простых сожительств со взаимным обязательством не иметь детей. А положение работницы еще ужаснее. Она и не мать, она и не жена, а временная подруга, прибавляющая этим немножко дохода к своему скудному заработку... Конечно, человек остается человеком. Чистая любовь есть везде! Но в общем семейная жизнь парижского рабочего и работницы наводит самое тяжкое уныние.

И вот социалистическая интеллигенция проповедует пролетариату, что именно на том, в чем ужас его существования, он будто бы построит новое общество и создаст земной рай для человечества! Но какой же рай можно создать на тех качествах, которые развивают положение пролетария?

В обществе нет ничего, что не истекало бы из *личности*. Творческая сила — только в личности. В истории бывали господствующие классы, но они обладали высокими свойствами личности, которые и способствовали прогрессу человечества. Так, феодал нес с собой гордое сознание самостоятельности личности — и связанные с этим идеалы, воплощенные в рыцарстве, высоко подняли людей даже тех классов, которые были угнетаемы. Буржуа нес с собой идею свободы, которую привил и обществу. Что же несет пролетарий? Какие качества личности?

Он готов для боя, потому что ему нечего терять, — но это хорошо только для разрушения. Он дисциплинирован — но это хорошо опять для боя и в крайнем случае для того, чтобы не мешать устройению, которое будут производить другие. Но *сам-то* что он будет строить?

Общество тем выше, чем самостоятельнее создающая его личность. У пролетария этой самостоятельности именно не развивалось. Он привык усваивать свое миросозерцание у социалистической интеллигенции. Ей он предоставил наполнение своей мысли. В труде он тоже привык к тому, что всем заведует хозяин. Из-за отсутствия собственности, подрыва или уничтожения семьи он нигде ничем сам не распоряжался. Социалистическая интеллигенция, правда, создала ему “партию”, где он имеет свой голос. Но разве же это самостоятельность? В

партии он — атом, песчинка среди воли “товарищей”. Привычка быть в партии развивает дисциплину, но не развивает самостоятельности мысли и действия, тем более что пролетарий даже не может *выбирать* себе партии, а не зависящей от него судьбой втиснут всего в одну, из которой ему и уйти некуда.

С такими-то свойствами пролетарий получает якобы “диктатуру” и миссию устроить новое общество!

В этом обществе собственность, основа самостоятельности, совершенно уничтожается. Семья — самый интимный уголок самостоятельности человека — упраздняется. Власть же начальства безмерно усиливается. Прежде пролетарий имел единоличного хозяина — теперь хозяином делается общество, то есть в действительности люди, подчинившие себе мысль пролетария, те самые владыки партий, социалистическая интеллигенция, которой пролетарий еще в “старом строе” подчинил свой разум. Власть этого общества возрастает безмерно. Прежде пролетарий был подчинен людям часть дня — теперь он подчинен вечно. Прежде он самостоятельно распоряжался хоть теми грошами, которые получал от своего эксплуататора, — теперь он ничем не распоряжается самостоятельно. Он не получит и куска хлеба и стакана воды без разрешения “общества”, то есть людей, заведующих обществом...

Правда, пролетарий будет выбирать своих господ, или даже (допустим) все будут попеременно исполнять эту должность. Но это еще не значит быть где-нибудь хоть на секунду самим собой, самостоятельным и действовать *по-своему*.

Пролетарий же, на беду, и без того привык к дисциплине. Это его главное качество.

Ничего, кроме рабского общества, не сулят человечеству и самому пролетарию те свойства, на которых социалисты хотят воздвигнуть будущий строй. И это потому, что сам по себе пролетарий не имеет и не несет с собой никакой формы самостоятельности личности. Его идеи и в “будущем обществе” только подрывают все основы, которыми держится самостоятельность человека.

Бернштейн совершенно верно говорит, что без развития широкой экономической рабочей организации “диктатура пролетариата сведется к диктатуре клубных ораторов”¹⁰³.

Но та экономическая организация, о которой говорит Бернштейн, когда она возникает, уже уничтожает пролетариат, а на его месте создает “организованный класс промышленных рабочих”. Это, таким образом,

два совершенно различных слоя. Отказавшись от пролетарской идеи, сознав в себе “граждан”, рабочие действительно могут приобрести сильное и почетное, а вместе с тем для всех полезное положение в обществе и государстве. На создании своей экономической организации рабочие могут развить и применить к общественному строению все высокие свойства, которые в человеке развивает *труд*. Но не положение пролетария, а *труд* развивает эти свойства.

Промышленные рабочие, для того чтобы их класс своей социально-политической ролью приобрел высокое значение, должны прежде всего отбросить пролетарскую идею, должны, подобно английским, стараться *не быть пролетариями*, выбиться из положения пролетариев всеми средствами, которые дают современное общество, наука и самостоятельная мысль рабочих.

На основах же “пролетарского режима” ничего доброго не могут они создать ни для себя, ни для человечества.

ЗАСЛУГИ И ОШИБКИ СОЦИАЛИЗМА

Очерк второй

I

Вступление

Социалистическая идея, столь распространившаяся в мире, стремится пересоздать весь общественный, экономический и политический строй, на котором развилось и доселе живет человечество, и в этом стремлении угрожает всему миру революциями и переворотами. Начавшись в XIX веке с различных утопических теорий, социализм затем стал приобретать все более практически революционный характер, стараясь сделать своей основой и органом пролетариат. Несомненно, что в своих утопических формах социализм есть не более как бесплотная мечта, а в своих практических пролетарских формах (марксизме и анархизме) способен подвергнуть человеческие общества только тяжким испытаниям и подорвать человеческую культуру. Поэтому критическое отношение к идеям социализма стало настоятельно необходимым. Общество принуждено даже прямо бороться против его захватов. Но наряду с этим мы должны иметь в виду, что в социализме есть не одни ошибки и заблуждения. Он принес с собою не одни опасности и угрозы

культуре, но имеет также свои положительные *заслуги*. Он заключает в себе кое-что такое, что не должно быть забыто человечеством, но сохранено и внесено в устройство общественное.

В общей сложности социалистическая идея стремится к созданию такого общества, которое оказалось бы в действительности несравненно ниже существующего.

Идея *гражданского общества*, которому угрожает социализм, в своих основах безусловно верна. Она есть создание человеческого Разума и социально-политических законов, вытекающих из самой природы человека и общества. Но исторические формы, осуществляющие идею гражданского общества, всегда заключают в себе различного рода недостатки, примесь ошибки разума, примесь воздействия классового эгоизма и т. п. Осуждая эти ошибки, исправляя

погрешности, обуздывая классовый эгоизм, мы этим только развиваем основную идею гражданского общества и укрепляем его силы. В этом отношении даже односторонние протесты социализма имеют свою ценность.

Та историческая форма гражданского общества, которая ныне господствует в цивилизованном мире, есть *общественность буржуазная*. Она своими недостатками и злоупотреблениями создала социализм, который выдвинул много справедливого, как протест против буржуазного общества, и делается гибельной ошибкой лишь с того пункта, на котором превращается в протест против самой идеи гражданского общества вообще.

Критическое отношение, о котором я упомянул, состоит не в сплошном порицании и отрицании, а в том, чтобы понять как слабые и вредные стороны социализма, за которые он должен быть не допущен к господству, так и его справедливые, сильные стороны, которыми он завоевал столько умов и сердец.

Исполнить эту задачу во всей полноте возможно лишь в сочинении, гораздо более обширном, нежели настоящая брошюра. В ней я поэтому должен ограничиться лишь главными, наиболее существенными пунктами, которые способны, при уяснении своем, дать нам сознательное, разумное отношение к социализму.

II

Индивидуализм и коллективизм

Человеческое общество создается взаимообщением личностей. В нем неразрывно связаны поэтому два элемента: *индивидуализм* и *коллективизм*, обособленность личностей и тесная связь их. Неправильности в их сочетании порождают различные болезни общества. Злоупотребления и преувеличения индивидуализма вызывают протесты коллективизма — и наоборот. В увлечении протеста, коллективистская идея является в *коммунистической* форме, а идея индивидуализма — в форме *анархизма*.

Между прочим, должно заметить, что все эти явления не по названию, а по содержанию фактов — вовсе не новые в мире. Коммунизм всегда налагал свою печать на общества, не доросшие до государственности. Протест личного произвола против стеснений государственности тоже не нов. У нас в России так называемые “воровские люди” старых времен были выразителями духа анархизма, хотя и неспособного себя теоретически формулировать. М. Бакунин был прав, связывая свою идею анархии с миром разбойников.

“Со времени основания Московского государства, — говорит он, — никогда не прерывался русский разбой... Разбойник в России — настоящий и единственный революционер... Кто хочет революции народной, тот должен идти в этот мир”¹⁰⁴.

“Мы, — поясняет он, — понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями, и разрушения того, что на том же языке называется общественным порядком... Мы призываем анархию, убежденные в том, что из этой анархии, то есть полного выражения разнузданной народной жизни, должна выйти свобода, равенство, справедливость, новый порядок”¹⁰⁵.

В этих последних призывах выражается, конечно, уже полная бедность мысли. Если бы Бакунин имел сколько-нибудь созидательного разума, то он бы легко заметил, что *новый порядок* у разбойников и “воровских людей” возникает вовсе не тогда, когда у них “разнузданы дурные страсти”, а лишь тогда, когда они начинают устраивать общество на обычных гражданских основах, только по возможности освободив их от злоупотреблений, вызывавших протест личности. Так именно создались наши превосходные *казачьи общины*. Образчик основания гражданской общины всяким сбродом составила в наши дни так

называемая Желтугинская республика (на Амуре), причем беглые каторжане начали с самого беспощадного уничтожения “дурных страстей” и с организации сильнейшей власти с огромными полномочиями¹⁰⁶.

Впрочем, излишне доказывать невозможность анархической идеи, которая имеет исторический и социальный смысл только как *протест* личности против подавления ее свободы. Так, например, анархизм явился бы, конечно, очень полезным и даже спасительным для культуры элементом в случае возникновения “будущего строя” социальной демократии, сделав невозможным последовательное осуществление его отупляющих человечество основ.

Точно так же и наоборот, в эпохи злоупотреблений индивидуализма, подрывающего коллективные интересы, издревле выступала с протестом коммунистическая идея. Первый знаменитый выразитель ее — Платон — жил в эпоху упадка, порожденного злоупотреблениями свободой (в Афинах). Время Томаса Мора [1], автора “Утопии”, было эпохой обезземеливания английского крестьянства своекорыстной хозяйственной системой лордов¹⁰⁷.

Современный социализм также явился под влиянием “буржуазных” злоупотреблений, а злоупотребления буржуазного строя стали возможны и даже неизбежны вследствие ошибочности государственного строя, заложенного французской революцией XVIII века¹⁰⁸.

Это государство лишено было *прямой* связи с социальным строем общества, вследствие чего должно было установить ее посредством *партий*, а это приводит к классовому захвату власти.

В XIX веке захват государственной власти был произведен буржуазией, которая дала ложное направление экономической политике государства, благоприятное для эксплуатации труда капиталом.

Буржуазная идея — во имя свободы личности — установила невмешательство государства в экономические отношения. Это давало чрезмерную силу тому, кто успевал сосредоточить у себя орудия производства, и приводило к подчиненности и угнетению всякого слабого, не успевшего или не умевшего захватить это материальное обеспечение своей свободы и независимости. Огромная масса рабочих пришла в состояние неимущего пролетариата, и протестом против этих злоупотреблений индивидуалистической идеи явилась воскресшая идея коммунизма в разных формах и степенях, создавшая учения Сен-Симона, Оуэна, Фурье, Луи Блана, Леру, Кабе и т. д. Искание же практической

почвы для осуществления социализма породило затем две противоположные формы “пролетарской” идеи: марксизм и анархизм.

Они и ведут теперь штурм против государства, несмотря на то что современное государство стало далеко не то, каким было в начале XIX века, не то, какое вызвало у Лассаля резкий эпитет “будочнического государства”, а уже сделало значительные уступки идее коллективизма.

III

Что есть верно в социализме?

Живучесть социализма зависит именно от того, что в нем является справедливым требованием, предъявленным буржуазно-капиталистическому обществу и государству, а именно:

усиление начала коллективности в слишком индивидуализированном обществе;

усиление общественной поддержки для отдельной личности;

более справедливое и равномерное распределение средств к жизни.

Начнем с последнего пункта. Никогда нищета и безвыходное положение члена общества не могли производить более тяжкого впечатления, чем в современном обществе, и никогда этот факт не мог производить более сильного негодования, потому что он, по средствам современного общества, видимо *устраним*.

Действительно, огромный рост богатств в современном цивилизованном обществе составляет факт бесспорный. Старая гипотеза Мальтуса [3], будто бы рост производительных сил идет в арифметической прогрессии, а размножение населения — в геометрической, совершенно опровергнута статистикой. На родине Мальтуса, в Англии, население возросло за XIX век в 2,5 раза, а общий доход страны возрос в 3,25, ценность же имуществ в 5,5 раз. В Америке, при огромном притоке эмигрантов, население с 1850 по 1880 год возросло на 115%, но ценность имуществ за то же время поднялась на 512%, то есть в пять раз по сравнению с числом жителей.

Позволительно бы, казалось, ожидать, что при таком блестящем состоянии материальных средств общества мы не встретим в нем хоть самой тяжелой нищеты. А между тем она замечается повсюду. В самой Америке, славящейся благосостоянием жителей, имущество более 5 миллионов семейств исчисляется не свыше 1500 долларов на семью, а

еще 5 миллионов семейств имеют имущество всего в 500 долларов на каждое ¹⁰⁹.

В Англии, несмотря на все успехи рабочих союзов, множество людей живут в безысходной нищете. Известные таблицы Буса свидетельствуют, что из 4 209 000 жителей Лондона только 742 000 принадлежат к богатому классу. Рабочие с хорошей платой и прочной работой составляют 2 166 000 населения. Но остальные 1 292 000 погружены в бедность, в том числе 316 000 живут кое-как, изо дня в день в хронической нужде, а 37 000 составляют массу вечно полуголодную.

Было ли в старые времена хуже или лучше? Как бы это ни решать — во всяком случае, положение бедных, каково оно есть, ложится тяжелым укором на такое общество, богатство которого возрастает вдвое и даже впятеро быстрее, чем число его членов. Не хочет это общество или не умеет уничтожить в своей среде нищету — во всяком случае, оно за это подлежит самым справедливым укорам.

Существование значительного числа бедняков особенно поражает и оскорбляет при сопоставлении с неисчислимой роскошью богачей. В Америке исчисляется 4000 человек миллиардеров, которые имеют состояния в 200, 300 и 500 миллионов долларов каждый и получают ежегодно *дохода* по несколько миллионов, иногда до 50 миллионов на одного человека. А тут же рядом живет 5 миллионов семейств, которых все имущество не превышает 500 долларов!

Эта страшная разница в размерах состояний не была бы так оскорбительна, если бы бедные добывали все-таки достаточно средств к жизни. Но у них и этого нет. Еще тяжелее *необеспеченность*. Можно бы было помириться со скромным существованием, если бы не угнетала мысль о завтрашнем дне, а особенно о возможной болезни, о старости, об участи детей. Но каково положение человека, которого заработок если и позволяет жить кое-как, однако не дает никакого обеспечения? Потерял работу — и сразу очутился в положении бродячей уличной собаки, если не в худшем... Перед миллионами людей каждого из современных обществ среди бедности нынешнего дня вечным кошмаром стоит давящая мысль о дне завтрашнем.

Когда социализм указывает современному капиталистическому обществу, хотя бы даже и с преувеличениями, на эту массу ничем не обеспеченной нищеты, нравственное чувство человека не может не отзываться полным сочувствием к этому укору, и положительную заслугу социализма составляет то обстоятельство, что он целое столетие неустанно пробуждал в этом отношении общественную совесть.

Но его заслуга более значительна: он совершенно прав, взывая в этом случае не к простой филантропии, а утверждая, что общество *обязано* принять меры к изменению такого положения.

IV

Личное и национальное участие в производстве

В этом обращении к общественному долгу социализм не создал серьезной научной обстановки своего требования. Напротив, он очень грубо преувеличивает его основания своим общим взглядом, будто бы продукт производства создается целым обществом, коллективностью, а потому составляет общественное достояние.

В такой постановке требование его неправильно. Но, анализируя процесс современного производства, нельзя не признать, что если некоторая доля продукта создается личными усилиями трудящегося, то некоторая доля является только потому, что в производстве участвовала коллективная поддержка всей нации.

Это обстоятельство не разработано обстоятельно научным путем. Но оно ясно для каждого, сколько-нибудь занимавшегося анализом современного производства. Я говорю “современного”, потому что прежде, в эпохи домашнего хозяйства, национальное участие в создании продукта труда было неизмеримо меньше. В те эпохи общественная роль принадлежала семье, роду, общине. Но зато для всех и была ясна обязанность семьи, общины или рода поддерживать своих членов не из простого человеколюбия, а в силу права каждого члена на такую поддержку.

В современном производстве чрезвычайно усилилось аналогичное право каждого члена общества в отношении всего общества и государства.

В настоящих кратких очерках было бы неудобно отвлекаться в подробные доказательства этого. Но мы, несомненно, должны признать, что всякий продукт заключает в себе две нераздельные части: одну произвела трудившаяся личность, другую — вся совокупность нации. Часть продукта, создаваемая усилиями личности, составляет ее неотъемлемую собственность. Но та часть, которая обязана содействию всей коллективности, не может быть рассматриваема иначе как общественная собственность.

Это образует в национальном богатстве некоторый фонд, хотя и не поддающийся точному вычислению, но составляющий достояние всех членов общества, и каждая личность имеет право на некоторое обеспечение из него.

Трудящиеся XIX века чутьем поняли, что есть некоторая доля продукта, на которую они имеют право не как рабочие данной фабрики или мастерской, а как члены общества.

Это совершенно правильное наблюдение оправдывает требование общественного и государственного попечения о нуждах личности. Социалисты раздувают его до абсурда. Но в надлежащей доле требование справедливо, и задача серьезной науки состоит в том, чтобы показать, в какой правильной форме должно сочетать экономические права человека как личности (то есть право *собственности*) и права его как члена общества (то есть право *коллективного пользования*).

Понятно, что при усилении общественного попечения о личности достигалось бы и более равномерное распределение богатства, ибо его неравномерность усиливается до чрезвычайной степени вследствие частного присвоения общественной доли продуктов.

В этом отношении социализм указывает серьезную задачу как науке, так и государственности. Но он не чужд еще одной заслуги:

указания на общественную полезность увеличения доли рабочего в богатстве нации.

В старые времена господствовало мнение, будто бы рабочий трудится тем усерднее, чем хуже его положение. Шульце-Геверниц [5] приводит любопытные образчики споров XVII века в Англии о том, нужно ли улучшать положение трудящегося. Отец политической экономии Уильям Петти доказывал, что хлеб должен быть Дорог, ибо при дешевом хлебе рабочие делаются ленивы. “Если бы Цены на хлеб были ниже, — подтверждал Гайтон, — бедные стали бы меньше работать, ибо и меньшим трудом в состоянии были бы добыть необходимое для пропитания”. Высокие цены на труд, по понятиям того времени, также вредны для рабочего. “Пока вязальщики получали высокую плату, их редко можно было увидеть за работой в понедельник или во вторник, не всегда даже в среду и четверг: они предпочитали проводить эти дни в кабаке, в низменном разгуле”¹¹⁰.

Вот как судили в старину. Эти взгляды нам небезызвестны и в России. Социалисты (“утопического” периода) имеют заслугу наиболее громких протестов против таких взглядов, ставящих в противоречие благо рабочего и силу производства. Практика рабочего движения

совершенно оправдала этот протест, и в настоящее время уже научно признано, что, напротив, именно необеспеченность рабочего, его низкий уровень жизни вредно отражаются на производстве. Принято уже за несомненный факт, что производительность труда усиливается с усилением благосостояния рабочего, так что в этом отношении может оказываться выгодным даже и разумное сокращение рабочего времени

V

Заблуждения социализма

Указанным, однако, и исчерпывается, кажется, то, что в социализме можно признать правильным и полезным взносом в мысль и жизнь человечества. Наряду с этим он внес неисчислимы раздоры, зависть, злобу и стремления, которые если не в состоянии будут разрушить общество, то способны его искалечить. Нельзя притом не заметить, что в своем развитии социализм становился все более и более разрушительным. В первых стадиях своих — во времена “утопические” — социализм был мечтательным, но в его мечтах было много высокого и благородного. Мало-помалу он становился все более грубо материалистичным, все более забывал идею общечеловеческую и проникался идеей классовою, все свои оценки и стремления стал мерить с точки зрения того, выгодно это или невыгодно для пролетариата. Мы, впрочем, посвятим особый очерк тем плодам, которые дала человеческому обществу пролетарская эпоха социализма. Теперь замечу лишь, что это превращение было неизбежно с той минуты, когда социализм (со времен Маркса) слил себя с чистым *материализмом*.

Материализм в жизни человека, сословия или целого общества есть начало смерти. Здоровое развитие людей несовместимо с материализмом, который непременно кончает тем, что убивает все их высокие стремления.

Материалистическое мировоззрение социализма убивало не только религию, но и вообще уважение к личности человека, а без такого уважения нельзя воздвигать благородного общественного здания. Пренебрежительное отношение к личности, отрицание ее первенствующего значения для общественности проявилось фактически в том, что социализм в своих планах будущего отнимает у человека все опоры его самостоятельности.

Общая критика идеалов социализма заняла бы слишком много места, и я и в этом отношении рассмотрю лишь наиболее наглядное проявление его идей, показав на нем или совершенную невозможность идеалов социализма, или хотя бы крайнюю вредоносность их осуществления.

Основной пункт спора между гражданским и социалистическим обществом составляет *личная собственность* и *свободный труд*.

В подкладке этого лежит то или иное отношение к *личности* и *свободе*. Социализм в настоящее время не осмеливается еще и сам открыто отрешиться от уважения к личности и свободе, а потому утверждает, будто бы права личности и свобода нигде не будут так широки, как именно в будущем социалистическом обществе. Нужна известная тонкость философской мысли для того, чтобы видеть совершенную невозможность этих обещаний, но различие между двумя спорящими идеями очень удобно выясняется на наглядных примерах труда и собственности.

VI

Личная собственность и свободный труд

Личную собственность и свободный труд социализм совершенно, категорически отрицает и на место их ставит принцип коллективной собственности и обязательного труда.

Допускает ли социалистическая идея хоть какие-нибудь былиночки частной, личной собственности и свободного личного труда? На словах — иногда, но в действительности — нет. Когда Шеффле [7] выразил мнение, будто бы социализм предоставляет в частную собственность работника созданную им долю продуктов коллективного труда, известный П. Л. Лавров горячо возразил ему, что это неверное понимание духа социализма и учения Маркса. Маркс ясно поправил место своей книги, введшее Шеффле в заблуждение, показав, “что все сказанное им об “индивидуальной собственности” в смысле *отдельного пользования*, доступного всякому индивидууму, не имеет ничего общего с юридической *частной собственностью*”. “Строй будущего общества, — говорит Лавров, — представляется социалистам нашего времени преимущественно таким, где каждый, отдавая все свои силы на общественное дело (в которое его собственное существование и его собственное развитие входят необходимым элементом), получает даром от этого общества все необходимое для своего существования и развития.

Мне кажется, — говорит он, — что самый принцип оплаты работы не может иметь места в будущем обществе... Как оплатить определенный труд работника в общественном строе, где он и без того обязан отдавать на общественное дело все свои силы и где общество, со своей стороны, обязано давать ему все необходимое из общего имущества?... Всякая форма оплаты труда по частям предполагает частную собственность, покупные наслаждения, неравенство долей участия в выгодах общежития... Все это находится в противоречии с основами рабочего социализма”¹¹².

Тот же взгляд развивается и Бебелем.

“Общая экспроприация всех средств производства, — говорит он, — создает для общества новую основу. Все условия жизни и труда для обоих полов — в промышленности, земледелии, торговле, условия воспитания и брака, условия научной, художественной и общественной жизни — коренным образом изменяются... В будущем строе всякое руководство и управление по воле лишь отдельных лиц является окончательно устраненным. Как только *общество становится единственным собственником* всех средств производства, *основным законом* становится *обязательный труд* всех способных к труду. Новое общество будет *требовать* от всякого, чтобы он занялся какой-либо определенной — промышленной, земледельческой или иной полезной — деятельностью, выполнение которой необходимо для удовлетворения существующих потребностей”¹¹³.

Я привожу эти цитаты только для примера. Социалисты не скрывают своего учения. Частная, индивидуальная собственность уничтожается. Единственным собственником делается общество. Что касается того, будет ли потребление “индивидуально”, будет ли человек есть пищу на отдельном приборе или же и это будет производиться “коллективно”, из общего котла или мисок, — это вопрос столь пустой, что о нем не стоит и разговаривать.

Может ли в социалистическом обществе существовать наряду с обязательным также и *свободный труд*, то есть, отбывши обязательную повинность труда, может ли человек остальное свободное время трудиться как ему угодно и над чем угодно? Это допускают такие люди, как Атлантикус¹¹⁴, но он, в сущности, не социалист, так что его мнения не принимаются, например, Каутским [9]. Да что бы ни говорили они, ясно само по себе, что свободного труда в их обществе не может быть. Ведь единственный собственник всех имуществ, всех “вещей”, всех орудий производства есть общество.

Как же возможно трудиться, не имея ни орудий, ни материалов, для труда потребных? Ясно, что *свободно* трудиться в социалистическом обществе нельзя: нужно сначала испросить надлежащее разрешение, испросить отпуска материалов и орудий труда. А заведующие делами общества были бы даже неразумны, если бы раздавали орудия и материалы, не осведомившись, для чего они испрашиваются и стоит ли затрачивать общественные средства на указанный труд. Свободного труда при таких условиях не может быть, если бы даже его обещали социалисты.

VII

Значение собственности

Мыслима ли, однако, свобода личности, а также и энергия производства, без права человека на свободный труд и обладание продуктами своего труда?

В своем “Опыте социалистического катехизиса”¹¹⁵ Жюль Гед не может не признать, что “собственность — желание сделаться собственником — могла быть и еще остается одним из двигателей производства в таком обществе, которое делало и делает собственность неизменным условием благосостояния и независимости”. Но, возражает он, собственность поощряет к труду лишь тех, кто имеет надежду и способы сделаться собственником, то есть меньшинство людей. Да и среди этого меньшинства собственность возбуждает стремление не столько к производству, сколько к эксплуатации других.

Точно так же Жюль Гед признает, что в нынешнем обществе собственность дает обеспечение личности и ее свободе, но замечает, что это опять касается лишь тех немногих, которые достигают обладания собственностью, а в отношении массы других людей институт собственности является вредным для их свободы.

Понятно, насколько софистично такое рассуждение. Прежде всего, вопрос вовсе не в том, много или мало в настоящее время собственников, а в том, *какое значение* имеет для человека собственность. Если полезное, то ясно, что следует не уничтожать собственность, а приложить усилия к тому, чтобы ею обладали все люди. Социалисты же признают пользу собственности для развития человека, но заключают совершенно обратное: так как собственников мало, то нужно уничтожить собственность совсем! Что же это за нелепый оборот мысли! С такой логикой можно пойти и до отрицания просвещения. Действительно,

просвещение дает силу, но просвещенных людей мало, а для не обладающих им оно ничего не может дать; сверх того, просвещенные люди нередко пользуются силой знания для эксплуатации невежд. Следовательно, по логике Жюль Геда, следует совершенно уничтожить просвещение.

Логика социалистов тут явно хромает. Точно так же хромает и их статистика. Можно ли сказать, что собственностью обладают лишь немногие? Это совершенно явная неправда. Богатых людей действительно мало, а бедняков, то есть людей, не имеющих средств для среднего, приличного (по понятиям времени) существования, действительно слишком много в капиталистических обществах. Но это не значит, чтобы даже эти бедняки не обладали никакой собственностью.

Некоторая собственность, то есть личное независимое обладание какими-нибудь “вещами”, имеется почти у всех людей современного общества, за исключением младенцев, умалишенных и прочих неспособных лиц. Можно и должно возражать против распределения собственности, можно требовать, чтобы доля каждого человека была более значительна, — но только совершенная неразвитость ума может не заметить, что собственность даже самых ничтожных размеров имеет все-таки благодетельное значение.

Даже пролетарий, живущий исключительно трудом дня, все-таки имеет в своей собственности хоть те продукты, которые приобретает дневной заработной платой, имеет одежду, кое-какие вещи в своей квартире, имеет и такие вещи, которые могут быть превращены в микроскопический “оборотный капитал”, как, например, часы и т. п. И как ни ничтожны размеры этой собственности, она все-таки дает опору свободе и независимости пролетария пропорционально своей величине. Понятно, что человеку, имеющему собственность на миллион рублей, она обеспечивает независимость в сто тысяч раз сильнее, нежели тому, кто имеет собственность всего на десять рублей. Но даже эти ничтожные десять рублей все-таки не уменьшают независимости человека, безразличны для его независимости, но *обеспечивают* ее, хоть на десять рублей, но все же обеспечивают.

Точно так же право иметь собственность даже и этому несчастному пролетарию открывает надежду на обогащение. Повсюду есть такие примеры¹¹⁶.

Но для людей, вообще, дело вовсе не в том, чтобы выйти непременно в миллионеры. Для личного существования это ничуть и не нужно. Но право собственности открывает всякому человеку пути к достижению приличного существования, а потому увеличивает энергию

его труда, его деятельности вообще. Пути, открывающиеся перед ним, весьма различны, смотря по условиям данного гражданского общества. Можно достигнуть открытия своей мастерской или приобрести недвижимую собственность, иногда можно иметь сбережения в бумагах, иногда — достигнуть коллективных организаций взаимопомощи, как это особенно развито рабочими Англии. Но при всех этих способах человек опирается на *право собственности*, на принадлежность ему добытых им вещей и на право ими распоряжаться по своему усмотрению. Если бы у него не было этого права, то он бы ничего не мог достигнуть. Когда же у него есть право собственности и свободы, то это поощряет энергию, воспитывает независимость и привычку к соображению своих сил и внешних обстоятельств. Поэтому не для одних богачей, но для всех людей право собственности есть основа независимости и энергии деятельности.

VIII

Значение свободного труда

Заменяя личную собственность и свободный труд коллективной собственностью и обязательным трудом, социалисты обещают, что у них всякий получит от общества все ему необходимое. Оговорюсь, что я не отрицаю коллективной собственности: она иногда есть единственная возможная форма собственности, всегда существовала, существует и в современном гражданском обществе. Но вредная сторона социализма состоит не в присутствии коллективной собственности, а в отрицании личной собственности, которая для нормального существования человека и общества должна быть основой всякой собственности. Только незыблемость *личного* права делает прочным право *коллективное*. Сверх того, при уничтожении личной собственности, а стало быть и свободного труда, энергия деятельности людей, а стало быть и производительность труда, должна неизбежно упасть. Поэтому обещание социализма дать все необходимое членам будущего общества в большем количестве, чем при свободе, совершенно неисполнимо.

Мы в России еще хорошо помним времена крепостного труда. Тогда крестьянин точно также непременно “получал необходимое”. С голоду он не мог умереть, и за подобные случаи имение помещика, конечно, было бы взято в опеку. Труд точно так же, как у социалистов, был обязательный. Не только на барщине, но и у себя дома крестьянин не мог не работать. Но производительность крепостного труда была самая

жалкая. С экономической стороны именно это и сделало *неизбежным* падение крепостного права, так как при нем Россия не в состоянии была развивать силы хоть сколько-нибудь удовлетворительно в сравнении со свободным трудом Европы.

Такой знаток экономики крепостной России, как А. И. Кошелев, в своей всеподданнейшей записке о денежных средствах России (в 1855 году) определяет, что с тягла помещик имеет от 15 до 25 рублей дохода, так что общий доход дворянства с 10 миллионов душ (4 миллиона тягл) достигает 80 миллионов рублей¹¹⁷. У нас кричали об эксплуатации крестьян, а между тем эта эксплуатация с 10 миллионов душ не могла доставить более жалкой суммы в 80 миллионов.

Это зависело от малой производительности подневольного труда и необеспеченности права собственности.

Для такой, например, богатой местности, как Воронежская губерния, наблюдатель крепостной эпохи (г-н Малыхин) высчитывал годовой доход крестьянского тягла в 50 рублей. У него высчитаны решительно все источники дохода с полевого и домашнего хозяйства, причем г-н Малыхин имел в виду доказать, что тогда крепостным жилось лучше, чем казенным крестьянам, так что, конечно, не уменьшал цифр¹¹⁸. Но как ни плох наш теперешний труд, а все-таки ныне один рабочий по добывающей (главнейшей земледельческой) промышленности производит в год — в среднем — на 260 рублей¹¹⁹.

Впрочем, за XIX век сами социалисты дали немало новых доказательств слабости труда, не основанного на личной собственности и свободе. Все опыты социалистических общин кончались крушением, а их было сделано очень много Оуэном, Фурье, Луи Бланом и т. д. Ассоциаций по системе Луи Блана было основано до трехсот (не считая жалких “национальных мастерских”, от которых Луи Блан отрекался с самого начала их). Но и те ассоциации, которые основывались убежденными людьми со всем жаром и старанием добиться хороших результатов, разбивались о социалистический принцип *равной платы*. Сохранялись долго лишь те ассоциации, которые восстанавливали права собственности.

Полную неудачу потерпели и опыты фаланстеров Фурье, которых насчитывается более тридцати.

Причины их крушения сводятся к слабости производительности труда и тем беспорядкам, которые вытекают из отрицания личных прав. Североамериканская фаланга (наилучшая из всех) работала так плохо, что могла выдавать своим членам, например, всего по 30 копеек, и

порядочные рабочие уходили из нее, чтобы зарабатывать вдвое и вчетверо больше свободным трудом. В фаланге дошло наконец до того, что и есть стало нечего. “Старый фурьерист рассказывает, что в одно утро членам был предложен только гречневый пирог и вода, в другой раз — ничего, кроме овсянки. Члены не только остались голодны, но были сконфужены таким несоответствием между ожиданиями и их исполнением. Вот на что сошло, — говорит г-н Щеглов, — увеличение произведений в десять раз, которое обещал Фурье своим последователям!”¹²⁰

Опыты Оуэна, лично отличавшегося замечательным организаторским талантом, были тоже не более удачны. Громкой известностью пользуется его цветущий Нью-Ланарк, но в нем именно не было еще ничего социалистического. Это было просто хорошо и гуманно поставленное предприятие, которое лишь доказало, что при обеспечении рабочих хорошей платой и уважении к их правам фабрика может производить больше, чем при системе грубой эксплуатации. Но те опыты Оуэна, где были применены социалистические принципы, все разрушились, обнаруживая общую черту: неспособность к производительности труда.

“Одной из главных причин, ведших к разложению ньюгармонийскую общину, в полном ее составе, были экономические особенности, отнимавшие всякую энергию у членов общины”, — говорит г-н Щеглов. “Было замечено, — рассказывает Рей, — что их ревность и деятельность уменьшались вместе с увеличением числа членов. Чем больше было их число, тем больше они старались свалить друг на друга производительные работы, что наконец привело к дефициту”. Бус поясняет: “Отдельные личности оказывали весьма незначительное сочувствие к общему благосостоянию. Некоторые сделались ленивы и стали бременем для других. Прилежные находили, что они не пожинают плодов своих трудов. Холостые жаловались, что они несут тягости семейной жизни, не пользуясь ее утешениями. Женщины в особенности были недовольны тем, что они обременены работой больше, чем следует на их долю. Неудовольствиям и зависти не было конца”.

Это, конечно, судьба всех социалистических обществ, не только прошлых, но и будущих. Современные социалисты говорят, что неудачи прежних опытов происходили оттого, что это были изолированные общины и что социалистический строй должен быть вводим сразу в огромном масштабе и даже по возможности во всех государствах сразу... Это рассуждение практичное. Если бы некуда было бежать, это предотвратило бы разбегание членов социалистического общества!

Последователям Фурье, Оуэна или Луи Блана легко было при первом же разочаровании уйти в “старый строй”, чтобы жить там на своей воле и зарабатывать вдвое больше. Если же повсеместная “диктатура пролетариата” все захватит в свои руки и принудительно заключит человечество в рамки социалистического строя, то уходить будет некуда...

Однако такая безвыходность положения членов его не спасет социалистическое общество от внутреннего банкротства и нищеты. Да притом такой способ поддержания своего строя не доказывает высоты идеи его. Принудительно люди живут и на каторге, и если с каторги, за строгой системой надзора, не убегают, это не значит, что арестанты очарованы прелестью жизни в кандалах и за принудительным трудом.

IX

Заключение

Итак, в рассуждении о социализме мы для блага общества и государства не должны упускать из виду ничего такого, что составляет справедливый протест против проявляющихся в них недостатков, но никак не можем принять социализм в его основах.

Социализм хочет излечить головную боль, отрубивши голову. Он призывает не к уничтожению недостатков общества, а к уничтожению самого общества, ставя себе фантастические планы, долженствующие якобы осчастливить человечество. Но уничтожение частной собственности и свободного труда могло бы только погубить общество, сделавши труд непроизводительным и отняв у свободы личности самое важное обеспечение.

Нет, не таким путем мы устраним бедствия, на которые указывает социализм. Истинный путь для улучшения нашей общественности и устранения ее недостатков состоит в том, чтобы пользоваться для этого ее же собственными средствами.

Гражданское общество, пережившее в мире тысячелетия при самых разнообразных условиях, доказало свою гибкость и приспособляемость. Будучи основано на действительных законах политической и социальной природы, гражданское общество, искусно реформируемое, может дать людям все, что только возможно по законам природы. А того, что по законам природы невозможно, не может дать людям никто.

Задача разумной реформы современного общества состоит в том, чтобы, отвергнув фантазии социализма, искать средств действия в самих основах гражданского общества.

Такова должна быть также задача и самих рабочих, и их разумных и искренних друзей.

ПЛОДЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ИДЕИ

Очерк третий

I

Выступление всеобщей забастовки

Несмотря на крайнюю молодость, почти новорожденность, пролетарской идеи в России, она обнаружила на фактах целый ряд своих типических сторон. Их легко наблюдать и удобно оценивать. Громче и ярче всего была при этом роль *всеобщей забастовки*, примененной в размерах, превосходящих все примеры ее в Западной Европе.

Пролетарская идея “всеобщей забастовки” присоединилась у нас к интеллигентскому “освободительному движению” и даже была им вызвана и организована. Трудно вычислить, сколько вреда нанесла пролетарская идея в этой форме как политическому преобразованию России, так и рабочему делу. Беспристрастный наблюдатель в сложной картине этого движения не может уловить решительно ничего, поставленного на разумную почву. Оно выдвинуло у нас лишь множество ложных точек зрения, борьбой и кровью прививши их к нашей социальной жизни, так что теперь они, конечно, надолго останутся искажающим ее элементом. Но, с другой стороны, те, которые хотят выработать себе разумные основы общественной деятельности, могут многому научиться из ошибок 1904 — 1905 годов.

В этом движении мы видим прежде всего соединение двух идей: “пролетарской” и “гражданской”, которые внутренне враждебны одна другой. Но такое соединение может создавать не развитие, а только разложение. Конечно, социально-политическое устройство современных цивилизованных стран повсюду представляет борьбу самых противоположных принципов с крайней слабостью какой-либо примиряющей, гармонизирующей идеи, вследствие чего общая картина этого “процесса развития” способна производить скорее впечатление

“процесса разложения”. Японцы в идее о разложении Запада черпают даже надежду на будущее мировое господство Дальнего Востока. Граф Окума прямо высказал это в токийском парламенте. “В европейских Державах, — говорил он, — заметны признаки упадка, и наступающее столетие будет свидетелем разрушения их устройства и распада их владений... Кто же будет их наследниками, как не мы?”¹²¹

Но в европейском мире хотя и допущено одновременное существование противоположных принципов, которое вносит угрозы будущему, однако там по крайней мере понимают эту противоположность и потому могут стараться отыскать примирение внутренних противоречий. У нас же и не помышляют, что, действуя, как говорится, сослепу, можно произвести не реформу, создать не новый строй, а только расплодить чистую анархию.

Эта бессознательность, способная соединять два взаимоисключающих принципа, наложила печать бесплодности на наше революционное движение.

С точки зрения знания и разума французская революция XVIII века тоже совершила немало ошибок. Тем не менее французы, уничтожая свой старый строй, во всяком случае, создали некоторый действительно новый, обладающий своими преимуществами и сильными сторонами. Они могли это сделать потому, что обладали ясной общей идеей устройства, которая давала им в каждом положении ясный план действия, не только разрушительного, но и созидательного. Такой идеей не обладает современная русская революция, и главным образом потому, что в ней соединились воедино западноевропейская политическая государственная идея и отрицающая ее западноевропейская же социалистическая идея.

Французы XVIII века могли созидать камень за камнем свой государственный строй. Мы же, соединяя две взаимоотрицающие идеи, которых ничем не согласовали и не примирили в каком-либо высшем единстве, развиваем только разрушительную силу. Это проявилось и в так называемом “освободительном” движении, и в рабочем движении. По недостаточной сознательности наш рабочий класс допустил поставить удовлетворение своих нужд на почву “пролетарскую”, ошибочную и на Западе, а у нас вдесятеро более ошибочную. Та же слабость сознательности позволила интеллигенции поставить политическую реформу в тесный союз с “пролетарским” движением, которое имеет совершенно иные цели. В результате как наш рабочий вопрос, так и освободительная политическая реформа уперлись в стену анархии.

II

Политическая бесплодность движения

Величайшим свидетельством союза этих двух противоположных идей явились наши “политические забастовки”.

Огромная, решающая роль их в современном “освободительном” движении общеизвестна. Старый строй потрясен именно ими. Когда же Государственная дума пришла в столкновение с министерством и наконец была распущена, опять поднялись толки о восстании, поддержанном всеобщей забастовкой. “Всеобщую забастовку” у нас, таким образом, окончательно приняли как орудие политической борьбы те самые люди, которые говорят о свободе, о ненарушимости права, о владычественной надо всем народной воле... Никто и не догадается подумать, какое глубокое внутреннее противоречие вводится в политический строй, создаваемый средствами, столь резко противными цели.

Если бы признать за факт, что современная Россия недовольна монархией и желает заменить монархический строй республиканским или полуреспубликанским — парламентарным, то, конечно, вполне понятно было бы восстание в целях этого. Но при чем тут “всеобщая забастовка”? Для чего она нужна?

Что такое “всеобщая забастовка” — Россия теперь очень хорошо узнала на практике. Она остановила движение железных дорог, почт, телеграфов, погрузила города во тьму, остановила подвоз съестных припасов, прекратила работу фабрик и заводов, прекратила занятия науками, лишила население всей страны возможности добывать средства к существованию, отняла у больных помощь врачей и аптек и т. д. Это есть всеобщее прекращение всех жизненных функций народа, его замирание, приведение всех граждан в какое-то очумелое состояние. Она создала для всей нации положение внегражданское, бесправное. Личность потеряла права даже на труд, на свободное передвижение, на какое бы то ни было действие, даже на исполнение нравственного долга.

Врач или аптекарь, стыдящийся оставить больного без помощи, подвергался “бойкоту”. Все должны были против воли приставать ко всеобщей забастовке...

Для чего же произведено это жестокое и оскорбительное насилие над народом? Для того, чтобы заставить кого-то дать России свободу и права. Для того, чтобы кто-то признал волю народа владычественной... Но разве сама русская нация и русская личность не давали себе свободы и

не хотели быть владычественными? В таком случае странно и бесполезно принуждать их силой стать свободными! Но деятели освободительного движения и не признают того, чтобы они боролись с самой нацией. Они говорят, что нацию угнетала лишь небольшая горсть тиранов. В таком случае с какой же стати замаривать народ голодом и разорять его за чужие грехи? Если виноваты тираны, то нужно и действовать против тиранов, а не мучить и угнетать еще больше самоё нацию. Абсурдность действия нашей “освободительной” революции так ясна в этом случае, что не требует обрисовки. В довершение всего члены Государственной думы, посаженные на свои кресла забастовками, говорят, что их выдвинула народная революция, и называют себя представителями народа и выразителями его воли!.. Выходит, будто бы воля народа состояла в разорении его и в порабощении совершенно нестерпимому рабству всеобщей забастовки, которая вдобавок практиковалась народом не добровольно, а при помощи принуждения, насилия и угроз смерти.

В событиях 1905 года никакого ясного “разума” нельзя уловить. Но зато когда теперь приходится оценивать завоевания этой вневещной “революции”, мы видим перед собой тоже нечто совершенно неопределимое.

“Старый строй” сделал уступки, которые поразительны по своей беспричинности. Можно сказать, что никогда и нигде на свете движение, подобное нашему “забастовочно-баррикадному”, не вызвало бы ничего, кроме быстрой крутой расправы, в успехе которой не мог сомневаться ни один революционер. У нас — было ли это беспримерное малодушие или пособничество революции в самых высоких сферах? — явились уступки, сделанные шумно, поспешно, на вид даже необычайно широко... Но что в этих уступках прочного?

Исчез ли “старый строй” или может явиться назад при первом порыве энергии? Едва ли кто смело ответит на этот вопрос. Во всяком случае, несомненно, что никакого *нового* строя на место старого не явилось; то, что мы получили, не составляет никакого строя, не имеет никаких основ, ни старых, ни новых, и наши незыблемые свободы держатся, в сущности, только всеобщей смутой, растерянностью и страхом друг перед другом, то есть анархией, а не правом. Но анархия рано или поздно пройдет, и что останется от 1905 года? Дым и чад, как от потухших плошек...

И это именно потому, что для запугивания правительства была выдвинута “всеобщая забастовка”.

Критическое самосознание могло бы легко подсказать освободительному движению, что “политическая забастовка” вовсе не

есть средство “общегражданской свободы”, ибо это есть специфическое оружие “диктатуры пролетариата”.

Но диктатура пролетариата и общегражданская свобода — это две столь различные цели, что даже “старый строй” и парламентский несравненно ближе между собою, нежели то, что имеют в виду строй общегражданский и диктатура пролетариата. Эта последняя есть средство для уничтожения общегражданского строя. Как же освободительное движение хочет создать гражданский строй при помощи политических забастовок? Как оно не хочет понять, что это явления диаметрально противоположные и что, вызывая призрак диктатуры пролетариата, немисливо создать парламентский строй?

Поэтому-то никакого *гражданского* строя не создали у нас за 1905-1906 годы и никогда не создадут, не отказавшись прежде всего и самым решительным образом от политической забастовки как способа создания гражданской свободы.

III

Вред рабочему делу

Если наши всеобщие забастовки спугали политическую реформу и вместо нее дали какое-то неопределенное анархическое положение, то не лучшие последствия они имели и для рабочего дела. Наше рабочее движение, чуть не вчера явившееся на свет, скомпрометировало себя всеобщей забастовкой перед общественным мнением, а в умы самих рабочих всеобщая забастовка внесла только путаницу относительно самой идеи “рабочей” стачки и забастовки.

Выступая с этой резкой критикой, чувствую небесполезным напомнить, что говорит о всеобщей забастовке такой признанный глава французского социализма, как Жорес [2].

Пусть вдумаются в его слова рабочие деятели наших всеобщих забастовок.

“По моему мнению, — говорит Жорес, — для того чтобы всеобщая стачка была полезна, необходимы три условия:

необходимо, чтобы цель, для достижения которой она объявлена, была предметом действительно *глубоких* стремлений рабочего класса;

необходимо, чтобы *общественное мнение* достаточно созрело, чтобы признать законность этой цели;

необходимо, чтобы всеобщая стачка являлась не замаскированным насилием, но осуществлением законного права стачки.

Если пассивная часть общества не была заранее убеждена в справедливости требований рабочих, ее негодование обратится против стачечников. При таких условиях рабочий класс потерпит полное фиаско, так как ничто, даже революционная сила, не может противостоять общественному мнению”.

Производясь при нарушении этих условий, говорит Жорес, всеобщая стачка “сразу вызовет только террор и реакцию”.

Некоторые социалисты, говорит Жорес, “хитрят с рабочими”: они их искусственно заманивают во всеобщую забастовку, надеясь этим путем привести к социальной революции. Вовлечь рабочих в сознательную революционную борьбу трудно, но стачка — дело, им привычное и разрешенное законом, а затем “эта всеобщая классовая стачка непременно перейдет в революционную гражданскую войну”. Загорится гнев при виде страданий, и даже те, которые сначала воздержались, будут охвачены революционным настроением. “Пролетариату не говорят откровенно: беритесь за оружие. Но думают, что всеобщая стачка сама приведет к необходимости взять ружье”. Это, говорит Жорес, есть “прием искусственный”, и доказывает подробно, что он не может привести к цели и что рабочие, даже захвативши фабрики, шахты и т. п., будут все равно побеждены. “Рабочие вступят во владение трупом. Шахты и фабрики мертвы, если остановлен обмен продуктами, остановлено производство... Рабочим, удивленным собственным бессилием при воображаемой победе, ничего не останется, как перейти к разрушению. Разрушение же докажет только некультурность пролетариата...” В конце концов “господствующие классы и даже большая часть населения отметят за свой страх долгими годами реакции”.

“Рабочий мир очутится во власти печальной иллюзии, болезненного *наваждения*, если примет за метод революции ту тактику, которая может явиться только следствием отчаяния”¹²².

Пусть вдумаются в эти слова Жореса деятели нашей всеобщей забастовки. Было ли в ней хоть одно из тех трех условий, когда Жорес допускает в ней смысл?

Она прежде всего была поднята не рабочими, а интеллигентским заговором. Огромнейшее большинство рабочего класса даже не понимало ясно ее цели. Велась забастовка даже не замаскированным, а явным насилием. Общественное мнение ровно ничего в ней не понимало, да и понимать было нечего. Естественно, что в результате “наваждения” не

получилось ничего в смысле положительном. В смысле же отрицательном явилось очень многое.

IV

Забастовки 1904-1905 годов

Наши так называемые забастовки 1904-1905 годов — совсем не те, которые доселе известны в рабочем движении.

У нас под этим названием развилось самое недопустимое анархическое насилие: это опять влияние пролетарской идеи. Этого не могло бы случиться, если бы мы сознавали, какая забастовка допускается правом гражданских народов.

Дозволение стачек и забастовок основано на принципе свободы труда. Подобно тому как один человек может торговаться в цене за свой труд, так и группа людей может не соглашаться на условия хозяина коллективно и объявить забастовку. Но при этом такая группа не имеет никакого права посягать на чужую свободу труда. Оставляя работу сама, она не может принуждать к тому же других, которые хотят работать. Какие бы то ни было насилия над желающими работать недопустимы, и свобода их труда должна быть ограждена всей силой гражданской власти.

Так понимается право стачек и забастовок в культурных странах. Это не есть право нарушения договора и не право насилия над другими людьми. Это есть только право коллективного найма, коллективного договора и коллективного же оставления труда с целью получить лучшие его условия.

Без сомнения, в качестве злоупотребления и в пылу страсти забастовавшие рабочие и в Европе, и в Америке иногда позволяют себе насилия над нежелающими примкнуть к их забастовке. Но это уже беззаконие, и государственная власть немедленно является на помощь тем, кто подвергается насилиям забастовщиков. Да и у самих рабочих уже настолько развилось уважение к личности и свободе и понимание смысла организаций, что они редко увлекаются до насилия, а действуют или увещанием, или, например, мстя отказавшимся от стачки лишением их всяких пособий, в каком бы бедственном положении они потом ни очутились.

Это есть репрессия, но не прямое насилие над людьми, к организации не принадлежащими и никаких обязательств перед ней не бравшими.

Не то видим у нас!

У нас происходят такие явления. Работает фабрика. Рабочие нанимались порознь и между собою не составляли никакого общества, обязавшегося действовать совместно. Они не предъявили никаких требований хозяину, который спокойно принимает заказ с неустойкой, в полной уверенности, что обеспечен рабочими. И вдруг ему неожиданно заявляют, что не будут больше работать, не выждав срока договора и даже не будучи ничем не довольны, а только потому, что на каких-то других фабриках какой-то “стаечный комитет”, неизвестный толком и самим рабочим, приказал объявить “всеобщую забастовку”. Рабочие при этом иногда сами жалуются, что хотели бы работать, но боятся забастовщиков. Да и вправду, если они начнут работать — является толпа, иногда даже приезжая, и начинает громить фабрику или порознь нападает на рабочих и производит над ними насилия...

Подобное явление у нас называют забастовкой только по негражданственности, по непониманию права и свободы, по неуважению к воле самих рабочих. В описанной сцене — вовсе не забастовка, а грубейший разбой и насилие. В цивилизованной стране сами рабочие не позволили бы над собой насилия “комитета”, не получившего их полномочий, сверх того, и гражданской властью насильники были бы немедленно разогнаны и потерпели бы серьезную кару суда. У нас же все это совершается безнаказанно. Это, конечно, составляет серьезную вину властей — административной и судебной, — которые не защищают свободы личности граждан и неприкосновенности их имущества. Но несомненно, что тут виновата также и политическая неразвитость самого народа и общества, вследствие которой над ними можно проделывать что угодно.

Разве невозможен у нас такой случай? Петербургские революционеры, желая произвести смуту в Москве, посылают туда 500 человек, которые, при наших нравах, могут “снять” в Москве десятки фабрик в течение дня — стоит только приедем гурьбой навалиться на одну фабрику, насилиями “снять” с нее рабочих, объявить “забастовку”, затем приказать рабочим идти с собой “снимать” другие фабрики. Мы видели, что рабочие покорно слушаются, и вот вместо 500 окажется уже 1000 насильников. На следующей фабрике та же история и так далее. В день-два только что благополучно работавший город оказывается “забастовавшим”!

Три четверти рабочих, может быть девять десятых, недовольны, плачут по уходящему заработку. Но все подчиняются...

Почему? Отчасти, конечно, по невежеству. Им наговорили, будто бы за границей так совершается “рабочее движение”, будто бы “пролетарии всех стран” должны соединиться... Но еще больше действует пассивность, гипнотическая привычка подчиняться приказу, откуда бы он ни выходил, привычка рабства, непонимание своего права, неуважение к чужому. Вот чем создаются беспричинные забастовки, вследствие которых промышленность становится игрушкой в руках спекуляторов, а рабочие выбрасываются на улицу голодные, постепенно озлобляющиеся и потом, конечно, легко натравливаются на правительство.

Революционеры, как выражается Жорес, “хитрят” с рабочими, то есть попросту обманывают их.

Так дело дошло и до “вооруженных восстаний”, в которых немало людей действовало под давлением такого же насилия и обмана.

Множество разорений и бедствий разлилось таким путем по всей России. Но какова же тут роль рабочих? Разве это роль граждан? В Европе когда-то буржуа, добывая себе конституции, выгоняли рабочих на баррикады, закрывая свои фабрики якобы по невозможности работать “при таком правительстве”... У нас роль рабочих еще более печальна. Они позволяют играть собою группе таинственных заговорщиков и сами “прикрывают” фабрики, отнимая работу у своих же собратьев.

Если бы мы уважали права и свободу — рабочие не позволяли бы ни себе насилий над другими, ни себя превращать в игрушку чужих планов.

Не разорялась бы и промышленность, которую так трудно выращивать и без которой пролетарии и капиталисты одинаково обречены на голодное вымирание. Да и революции если бы и происходили, то лишь при желании большинства, а стало быть, кончались бы быстро, с положительными результатами и без разорения всей страны.

У нас же по привычкам рабского повиновения миллионы людей делают игрушкой планов революции, которой на самом деле хочет какой-нибудь десяток-другой тысяч человек. И вот в результате никакой революции не получается, потому что для нее все-таки нет достаточно силы, но зато происходят бесконечные смуты, кровопролития, насилия, всеобщее взаимное разорение, подрыв труда, а отсюда — нищета, озлобление, грабежи и т. д.

В создании этой анархии забастовки сыграли едва ли не первенствующую роль, запутав правильную постановку рабочего дела и

рабочей организации и обрушившись экономическими бедствиями на самих рабочих и всю страну.

V

Экономические последствия наших забастовок

Разумные забастовки, к которым иногда принуждены прибегать рабочие для улучшения своего экономического положения, могут иметь тяжелые последствия для одного хозяина или группы хозяев, но наши забастовки обрушились своей тяжестью на всю страну, на ее промышленность и, конечно, прежде всего на самую массу рабочих. Для обрисовки хоть части этих бедствий приведу подсчеты, которые были сделаны известным экономистом г-ном Л. Вороновым [3] в его публичной лекции, вышедшей отдельной брошюрой “Ложный путь”.

Удар, нанесенный забастовками всем жителям России, в материальном отношении, говорит он, огромен. Один только пожар бакинских нефтяных промыслов уничтожил разного рода имущества на 40 миллионов рублей, не считая стоимости самой сгоревшей нефти. Очевидно, однако, что промышленники возместят свои убытки, и это падает на потребителей, то есть на весь народ. Цена нефти в разных ее видах поднялась в среднем на 20 копеек с пуда, и, по подсчетам г-на Воронова, излишняя переплата населения по этому случаю составляет по крайней мере 50 миллионов рублей в год. Но это не все. Повышение стоимости нефтяного отопления и прямой его недостаток ненормально усилили спрос на все другие виды топлива — дрова, каменный уголь, торф и т. д. Это имело последствием повышение их стоимости, а в результате — “холодной и голодной деревне приходится напрягать все силы, чтобы оплачивать стоимость бакинского пожара”.

Железнодорожные забастовки обошлись еще тяжелее. Один недобор железнодорожного дохода принес народному хозяйству убытку 60 миллионов. Не считая убытков от уничтоженных зданий и имущества, погибшего и расхищенного во время забастовок, был еще тяжелый удар, нанесенный ими уже прямо сельскому населению. В Германии, по новому торговому договору, были с 16 февраля повышены таможенные пошлины на русский хлеб: со ржи на 11 копеек с пуда, с пшеницы на 15, с овса на 17. Ясно, что при этом нам важно было вывезти в Германию как можно больше хлеба до 16 февраля 1906 года, чтобы не переплачивать немцам таких огромных сумм. Но забастовки железных дорог оказали услугу немцам за счет русского народа. Они остановили подвоз хлебных грузов

как раз в самое важное время — немедленно по сборе урожая... И вот из русской деревни взята своими же русскими людьми дань, которую запоздавшему нашему хлебу пришлось уплатить в германскую казну.

Конечно, рабочие не хотели принести народу этот вред, но легче ли от этого?

Едва ли не большая тяжесть пала на русский народ вследствие того, что страх за безопасность капиталов и имущества вызвал падение всех процентных бумаг и повышение процента при учете и ссуде. Потери от падения курса г-н Воронов уже тогда считал в “сотни миллионов”.

Почтово-телеграфная забастовка, прекратившая доставку векселей, счетов, накладных, остановила не в меньшей степени хозяйственную жизнь России. Таким образом, учреждения, железные дороги, почта, телеграфы, которые с огромными тратами созданы Россией для оживления народной экономики, сделались орудием ее омертвления... Проистекающие отсюда убытки падают, по мнению недальновидных, на богатый класс, но они непременно в конце концов переносятся на всю массу народа. Множество пострадавших фабрик и заводов должны были сокращать производство, рабочие в огромных массах остались без заработка, что продолжается и до сих пор. Товар повсюду повысился в ценах, и переплату за это приходится нести всему народу. Рабочие знают, что даже их повышенная плата не всегда покрывает эту дороговизну товара. Г-н Воронов высчитывает, что на одних только хлопчатобумажных изделиях, ныне ставших предметом первой надобности для крестьянства, русский народ должен был переплатить лишних 50 миллионов рублей.

Вот какую дань наложили на массу народа прошлогодние забастовки. С 1906 года у нас уменьшены, а с 1907 года должны быть совсем уничтожены выкупные платежи. Но, говорит автор, благотворные последствия этой меры совершенно парализуются теми страшными убытками, которые создали для народа смуты и неурядицы. “Смуты и неурядицы ложатся на народ, — говорит он, — более тяжким бременем, чем выкупные платежи, которые составляли в среднем около 90 миллионов в год, тогда как беспорядки конца минувшего года причинили народному хозяйству ущерб на сотни миллионов рублей”.

Такие же убытки для народного благосостояния обозначались и в аграрных беспорядках. Несмотря на краткое время, в течение которого они имели место, убытки за полгода успели составить для народной экономии, по официальным подсчетам, свыше 31 миллиона рублей. И это только по 19 губерниям. Что это может составить в случае дальнейшего развития аграрных беспорядков, показывают губернии, где они

проявились сильнее. В Саратовской губернии убытки вычислены были официально почти в 10 миллионов рублей. Если бы вся Россия проявила ту же напряженность беспорядков, как в Саратовской губернии, это составило бы убыток во всяком случае больше 500.000.000 рублей!..

Чем может быть окуплено все это разорение национального хозяйства?

Наша освободительная интеллигенция придала забастовкам политический смысл. Теперь делают различие между забастовками “экономическими” и “политическими”. Но какое бы имя ни дать забастовке, она не перестает быть явлением экономическим, ибо происходит на экономической почве и имеет экономические последствия, хотя бы и ставила себе политические цели. И вот в этом отношении наши забастовки составляют страшную, роковую ошибку.

Всякая цель должна достигаться средствами, ей соответствующими, а не такими, которые подрывают ее. Применение же забастовок как средства политического действия может лишь подорвать и разрушить цели, которых предполагалось достигнуть. Экономическая тяжесть забастовок столь велика и невыносима, что в результате все население приходит к мысли лучше отказаться от целей, покупаемых всеобщим разорением и обнищанием. Общественное мнение начинает сравнивать, как обеспеченно жилось раньше и какое тяжелое положение наступило потом. В результате является всеобщее отрицание тех целей, которые создали все бедствия, испытываемые обнищавшим народом...

Но как ни велики экономические убытки, принесенные России всеобщей забастовкой, и как ни бесплодна она в политическом смысле, несравненно важнее та гражданская деморализация, которую она внесла, и ряд ложных понятий, которые она заложила в умы рабочих.

В числе последних особенно важно отметить, во-первых, распространение пролетарской идеи и стремление к “диктатуре пролетариата”, во-вторых, подрыв в рабочих всякого понятия о профессиональной этике и, в-третьих, хотя менее ложную, но крайне непрактичную и непродуманную идею о “праве на труд”.

VI

Диктатура пролетариата и политическая забастовка

Прежде чем выяснять смысл “политической” забастовки как средства, пригодного лишь к захвату “диктатуры” пролетариатом, нужно

вспомнить, что не должно смешивать понятие “рабочий” с понятием “пролетарий”.

Хотя, конечно, рабочий может быть пролетарием, и пролетарий может быть рабочим, но по существу эти два понятия и состояния совершенно различны.

Работник, или рабочий, — это человек трудящийся, получающий средства к жизни в труде, в работе. Пролетарий же — это просто человек, не имеющий никакой собственности, никаких средств к существованию, кроме своего труда, если он захочет и может трудиться, но остающийся пролетарием и в том случае, если не трудится, а живет нищенством или даже воровством и т. п. Самое слово “пролетариат”, как известно, произошло из Рима, где оно обозначало свободную чернь, тех людей, которые не были рабами, но ничего не имели и ничем не могли служить благу отечества кроме того, что все-таки рожали детей, откуда и название — “пролетарий”. Слово *proles* значит *произрастание, потомки*. *Proletarii* были бедные обыватели, которые доставляли государству только детей для военной службы.

Слово “пролетарий” применено к понятию “промышленный рабочий” только с тех недавних пор, когда промышленный капитализм стал обращать массу рабочих в ничего не имеющих тружеников. Это отождествление закреплено социалистической интеллигенцией, особенно К. Марксом. Ф. Лассаль, один из крупнейших деятелей социализма, понимал идею “рабочего” в более высоком смысле. Он говорил, что рабочие — “граждане”. Кто гражданин общества и государства? “Мы все граждане, — отвечал Лассаль, — и работники, и мелкий промышленник, и крупный” и т. д. Точно так же — кто такой “работник”? “Мы все работники, — отвечал Лассаль, — если только имеем желание быть каким-нибудь образом полезны человеческому обществу”¹²³.

Соответственно с этим Лассаль не унижал государства, не говорил, что рабочие должны его уничтожить, но рисовал государству высокие идеалы, пренебреженные “полицейским”, “буржуазным” государством.

К сожалению, пролетарская идея повела рабочего по иному направлению. “Пролетарий не имеет отечества”, — заявил манифест коммунистов; и с этой точкой зрения создан клич: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” Не имеющий отечества — не имеет, понятно, и гражданства. Это люди, чуждые обществу, в котором они живут...

Такова глубоко ошибочная точка зрения, которую развивало учение Маркса о классовой борьбе, будто бы составляющей основу истории человеческих обществ. Если отечество есть только нравственно

пустое место, на котором в течение истории один класс попеременно только душит и косет прочие, то, конечно, никакого отечества нет!

Такую вненациональную точку зрения легко мог создать марксизм, которого все крупнейшие деятели — *евреи* родом: Маркс, Энгельс, Каутский. Но как могла укорениться такая антисоциальная идея среди рабочих? Это объясняется небрежением общества и государства к поддержанию социальной справедливости в первые эпохи XIX века, когда под флагом свободы выбросили все экономически слабое из-под необходимой охраны государства. Хотя “буржуазное понимание” государства стало потом заменяться более высокими стремлениями, развившийся слой рабочих-пролетариев остался уже задет разлагающей идеей. Социализм все более пропитывался марксизмом, и соответственно с этим “рабочий” стал все более противопоставляться “гражданину”.

Впрочем, зло не проникло рабочих безнадежно. Английские рабочие были и остаются гражданами и патриотами. Французские рабочие Коммуны гордились тем, что они патриотичнее своих буржуа. У немцев патриотизм тоже силен, и сознание своего германского гражданства борется в рабочих против “пролетарского” отречения от отечества, общества и государства. Но во всяком случае современный социализм старается выработать в понятии “пролетарий” нечто более враждебное обществу, чем даже внешний неприятель.

Только имея в виду все это, можно понять, как могла возникнуть идея политической забастовки как орудия “диктатуры пролетариата”.

Идея политической забастовки — очень новое изобретение, обязанное, кажется, более всего г-ну Каутскому. Первоначально ей симпатизировали только анархисты. У социал-демократов первоначально, по строгому смыслу теории Маркса, предполагалось, что хотя для замены капиталистического строя социалистическим и понадобится революция, но при ней насилие будет иметь самые ограниченные размеры. По теории, предполагалось, что капитализм очень быстро разделит общество на два класса, из которых капиталисты будут представлять ничтожную горсть людей, а вся масса народа будет превращена в пролетариев. Таким образом, народу будет очень легко прогнать ничтожную кучку капиталистов.

Действительный ход политической и промышленной эволюции опроверг эти ожидания.

На самом деле оказалось, что государственная идея стала проникаться сознанием долга государства, заботиться о нуждах и экономической самостоятельности рабочих. Со своей стороны, экономический ход развития, как недавно признано и научно

констатировано социалистом же Бернштейном, не создает ни столь сильной концентрации, ни такого резкого разделения народа на класс богачей и класс пролетариев, как предполагала теория Маркса. Напротив, мелкая и средняя промышленность успешно борются с крупной, в торговле мелкая даже побеждает, в земледелии — мелкое и среднее землевладение и обработка всюду побеждают крупное. Рабочие организации успевают значительно обеспечивать самостоятельность трудящихся и повышать заработную плату. Наконец, значительное число народа становится причастным к обладанию самим капиталом вследствие развития акционерных предприятий, в которых собственниками капитала являются и сами рабочие.

Я не хочу преувеличивать значения того, что на этом пути уже достигнуто социальным прогрессом, но, во всяком случае, все это показало будущему человечеству просвет более отрадный и обнаружило, что социалистическая революция совсем не так близка и неизбежна, как она рисовалась Марксу.

Ничего не имеющий пролетариат не только не распространялся на все трудящееся население, но являлась даже мысль, что пролетариат может совсем исчезнуть. Этот неожиданный ход общественной эволюции выдвинул в социалистическом мире два направления.

Одно, особенно тесно связанное с именем Бернштейна, критикует старые воззрения Марксовой теории, откидывает понятие о социалистической революции и диктатуре пролетариата и надеется на мирное эволюционное развитие сил рабочего класса.

Но с таким воззрением не может мириться укрепившаяся “пролетарская” доктрина, ибо, если “рабочему” открывается перспектива широкого и светлого развития без революции, то “пролетарская” доктрина осуждена на хирение и исчезновение. В истории же направлений никогда ни одна идея не хочет погибать и всегда тем больше обостряет свои выводы, чем больше обнаруживается бессилие ее оснований. Так вышло и с “пролетарской” идеей.

Чем более рабочий становился гражданином своего государства, чем больше о нем начинало заботиться отечество, тем резче приверженцы пролетарской идеи стали проклинать общество и звать к социалистической революции и диктатуре пролетариата. Анархизм стал более влиять на социал-демократов.

Читая их яростные речи, так и кажется, что у этих людей гнездится мучительная мысль, в которой они не хотят сознаться не только другим, но и самим себе. Теперь, пока еще много обездоленных пролетариев, пока рабочие еще так сильно обделены, можно надеяться на переворот. Но

если пропустить время, то социальный прогресс постепенно превратит пролетариев в экономически и политически обеспеченных граждан, и тогда — поздно... Социалистическая идея рухнет!

И вот — являются старания не отступить ни перед какими способами действия, лишь бы произвести социалистическую революцию с “диктатурой пролетариата”. Тут-то и выступает мысль о политической забастовке.

VII

Разжигание противообщественных чувств

Никогда японский патриот, радуясь разрушительному действию снарядов, рвущих в куски русскую армию, не говорил о бедствиях врага с таким фанатическим экстазом, как нынешние социалисты говорят о драгоценных действиях политической забастовки. Приветствуя “русских товарищей”, социалистка г-жа Роланд Гольст так рисует благоденствия забастовки.

“Если бы пролетарии, — говорит она, — попробовали прямое восстание — они потерпели бы страшное поражение. Но политическая забастовка сберегла их силы, разрушив силы врага. После нескольких месяцев почти непрерывного стачечного движения пролетариат все еще сохранил свою бодрость и силу...” А в то же время “путем стачки он сделал невозможными существование и какую бы то ни было профессиональную деятельность, внес в общественную жизнь беспорядок и неустойчивость, доведшие общество до невыносимого состояния. Он понизил доходы государства и навязал ему более высокие расходы. Он дал возможность другим революционным классам увеличить государственную и общественную дезорганизацию путем приостановки их собственной научной и общественной деятельности. Стачка принудила полицию и войско нести непрерывную изнурительную службу... и увеличила шансы их перехода на сторону революции. Стачка — самый важный фактор в общественном кризисе, ибо она все более расшатывает все экономические, социальные и политические устои России и делает неизбежной победу революции”.

Страшно читать этот гимн стачке как губительнице общества!.. Правда, г-жа Роланд Гольст говорит в данном случае о борьбе против “абсолютизма”, но выясняет общие свойства стачки, которая одинаково будет пущена в ход и против демократии, для достижения “господства пролетариев”.

“Из русских событий, — говорит она, — можно заключить, *каким превосходным оружием* является стачка как естественная форма пролетарской революции даже в руках слабого по числу и маловоспитанного пролетариата”¹²⁴.

А что такое “пролетарская революция”, которой служит это “превосходное оружие”? Каутский заявляет откровенно, что “грядущая революция будет совсем не похожа на прежние революции”¹²⁵.

“Одна из особенностей современного положения дел, — говорит он, — заключается в том, что в настоящее время самое упорное сопротивление мы встречаем уже не со стороны правительств. При абсолютизме, против которого были направлены прежние революции, правительство подавляло все. Классовые противоположности не могли развернуться открыто”. “В лагере оппозиции находилась вся совокупность трудящихся классов — не только пролетариат, но и мелкая буржуазия и крестьянство” и даже часть самих капиталистов. “Теперь все изменилось. *Революционные слои появляются, как было при прежних революциях, представителями огромного большинства народа против горсти эксплуататоров* — они являются, в сущности, представителями лишь *одного класса*, против которого стоят не только все эксплуатирующие классы, но и большинство мелких буржуа, и крестьяне, и большая часть интеллигенции”. Короче, весь народ!

Нельзя более цинично сознаться в том, что диктатура пролетариата должна быть насилем меньшинства над большинством, захватом в распоряжение одного класса всего, что создано всем народом — “трудящимся населением” и “интеллигенцией”, всеми теми, о которых говорил Лассаль: “Мы все работники, если только имеем желание быть... полезны человеческому обществу”.

Как монголы не рассуждали о справедливости, а просто захватывали более слабую страну, так теперь на это двигают пролетариат его вожаки.

Маркс думал, что в лице пролетариата целый народ захватит достояние небольшой кучки эксплуататоров. Теперь оказывается обратное: пролетариат должен захватить власть над большинством народа, состоящим из “трудящихся” людей.

Понятно становится, что победа “одного класса” над “большинством народа” не может быть произведена честным восстанием, как было возможно при прежних революциях, которые низвергали господство меньшинства. Теперь в открытой битве пролетариат потерпел бы, по выражению г-жи Роланд Гольст, “страшное поражение”. Поэтому

для победы пролетариата начинают прибегать ко всему, что подрывает процветание государства. Так и Каутский называет благоприятным моментом для социализма “внешнюю войну” и проповедует для захвата власти “политическую забастовку”, способность которой разрушать общество во всех его экономических и социальных устоях столь красноречиво описывает Роланд Гольст... Страшно за человека, который идет на такое извращение мысли и чувства и говорит, что для диктатуры пролетариата требуется нарочно испортить общество, сделать его насильственно никуда не годным, а потом уничтожить за то якобы, что оно никуда не годно!..

Но если такие планы составляют единственное средство для достижения диктатуры пролетариата, то как же к этой безнравственной системе разрушения общества и деморализации людей могут присоединяться те, которые стремятся к государству свободному, построенному на праве, защищающему права и свободу *всех* граждан?

Как могут такие люди поддерживать действия, в которых меньшинство попирает права большинства, преднамеренно разлагает все общественные функции и захватывает общественные средства к жизни и труду для того, чтобы изморить всех граждан, все общество? Неужели же люди, ценящие свободу и право, не понимают, что нельзя основать *свободного строя* на “коллективном преступлении”, на презрении и попрании свободы и права?

Наши рабочие должны сознать, какую язву дозволили они прививать себе во времена “всеобщей забастовки”, и приложить старания, чтобы пресечь ее дальнейшее развращающее действие.

VIII

Забастовки и профессиональная этика

Деморализацию, прививаемую “пролетарской” идеей, можно видеть из глубокого противоречия, в которое политическая забастовка ставит рабочих с *профессиональной этикой*.

Что такое профессиональная этика? Вся жизнь и деятельность человека представляет в себе два элемента: личный интерес и нравственный долг. Нет ни одного нашего действия, в котором бы дозволительно было забывать наш нравственный долг. Приведу наиболее понятный пример. Возьмем профессию медика. Медику, как всякому трудящемуся, нужно питаться и, следовательно, вполне естественно иметь

личные интересы в своей профессии. Но в ней есть также этический элемент, который требует, например, действительно знать свою профессию, внимательно исследовать больного, ни в каком случае не оставлять его без добросовестной помощи, не делать никаких различий между больными, кроме разве того, кто из них наиболее неотложно нуждается в помощи, и т. д.

Когда медик забывает эту этику своей профессии, мы говорим, что он человек безнравственный, не заслуживающий уважения.

Но не у одних врачей есть нравственный профессиональный долг, а решительно у людей всех занятий. И этот этический элемент так важен, что нет такой выгоды, достижение которой способно бы было покрыть вред, проистекающий для человечества от потери трудящимися сознания профессиональной этики.

Трудовая этика восходит в своем источнике к сознанию общечеловеческого братства. Все люди — братья, все члены одного великого целого, все каждой былинкой своей работы служат другим людям. Вот мысль, придающая труду нравственную ценность и делающая звание “работника” высоким и благородным. Как бы ни был скромен его труд — но он нужен людям. Если бы не было этого труда, то кто-то где-то ощутил бы некоторое лишение. И рабочий, даже не зная, кому именно послужит его труд, знает хорошо, что людям вообще он необходим. С этой точки зрения рабочий самого скромного, “чернорабочего” звания чувствует себя по нравственному достоинству равным наиболее искусному деятелю сложного производства, ибо все роды труда необходимы и нельзя людям обойтись без какого бы то ни было.

Всякий трудящийся исполняет, таким образом, долг в общечеловеческой взаимности услуг. Без этого сознания его жизнь лишена важного нравственного элемента. Наоборот — когда он трудится, он чувствует себя честно расплачивающимся за все, что имеет в жизни.

Это сознание общечеловеческого братства в нашем ежедневном труде создает ряд частных правил профессиональной этики. Она требует от нас: хорошо исполнять работу, помнить, что плохо исполненная работа непременно кому-то повредит, может быть, погубит кого-нибудь. Наоборот — добросовестно исполненная работа принесет пользу ряду людей, иного, быть может, спасет от смерти или выручит из опасности. С таким чувством человек начинает любить свою работу. Он старается ее изучить и дойти в ней до совершенства... Все это входит в область профессиональной этики.

Рабочий при этом вправе заботиться о своем интересе. Если он честно трудится на благо других, исполняет свой общечеловеческий долг,

он имеет право на то, чтобы и люди давали ему все необходимое для его блага. Он может и защищать это свое право, если оно нарушается. Отсюда понятны те стачки и забастовки, которые происходят на экономической почве — как способ защиты рабочего от эксплуатации хозяина, как способ повысить справедливую долю рабочего в продукте производства. Но при этом профессиональная этика не позволяет рабочему забывать общественный интерес. Если забастовка обрушивается своими карами уже не на эксплуататора, а вообще на людей — это означает, что рабочий в погоне за своим интересом перешел дозволенную границу и нарушает свой *общественный* долг.

Отсюда видно, что для сохранения нравственной законности забастовок обязательны та рассудительность, знание положения дел и хладнокровие, которые вообще возможны только при организации рабочих. Эта организация нужна не только как средство для победы, но также как средство сохранить обдуманность в средствах борьбы и не допустить в себе забвения интересов прочего, в борьбе не участвующего населения, то есть вообще всех сограждан, всей нации.

Очевидно также, как велика разница между предприятиями, имеющими частный промышленный интерес, и предприятиями *общественно необходимыми*, где профессиональная этика делает уже недозволительной забастовку, а для охраны рабочих требует иных средств общественно-государственного характера, которых рабочие имеют полное право *требовать*.

Если рабочий не хочет уничтожить в себе человека и гражданина, если он хочет, чтобы его забота о своем благе была источником не подрыва, а возрастания блага человеческого общества, — он не может нарушать требований профессиональной этики. При памятовании их его социальная миссия и сама экономическая борьба окажутся высокими и благородными. При забвении же требований нравственности он становится ничем не выше того эксплуататора, на притеснения которого сам жалуется.

Эта профессиональная этика совершенно несогласима с политическими забастовками. В них рабочий требует реформ от правительства, а обрушивается на всю нацию теми лишениями и несчастьями, которые способна создать забастовка. Тут полное несоответствие целей и средств.

Политическое устройство составляет совершенно особую область жизни, не экономическую, а гражданскую. Тут имеются всегда различные мнения, различные партии, которых борьба дозволительна лишь под условием, чтобы ни одна партия не смела делаться насильником всего

общества. Обрушиться на все общество для того, чтобы победить противную партию, — это уже дозвоительно не гражданину. Это есть действия неприятеля, врага всего общества.

А между тем, становясь на такую почву, делаясь врагом общества, политический забастовщик не отказывается ни от чего, доставляемого ему коллективным трудом общества. Он продолжает есть, пить, проживает в квартире и т. д. Сам же он не только не исполняет своей доли работы, но еще хуже: пользуется своей бездеятельностью для насилия над обществом.

Где же тут памятование общечеловеческого братства? Где памятование того, что люди живут взаимными услугами? Огромное большинство всякого общества вовсе и не участвует в борьбе партий. Каким же образом можно себе позволить репрессию против всего общества только потому, что бедствие, нами производимое, задевает между прочим и противную партию? Это можно делать на правах чужеземного неприятеля, выйдя из общества, отказавшись от своего в нем членства. Но политический забастовщик всем, что ему нужно, продолжает пользоваться от общества, а то, что нужно для общества, перестает давать. Большой степени эксплуатации нельзя даже представить себе. И вот на этом-то эксплуататорстве воспитывает рабочего “политическая забастовка”!

Но если даже требуемые забастовщиком реформы полезны для всех, а не для него одного, то какие же реформы, какие внешние перестройки способны вознаградить людей за тот всеобщий страшный вред, который происходит от разложения нравственности при забвении своего долга? Ведь чувство общечеловеческого братства, сознание своего общественного долга — это *величайшая* драгоценность для нашей коллективной жизни. При самых плохих внешних формах государства можно еще жить, пока живо в людях это святое чувство. Но когда оно убито — коллективная жизнь будет адом и при самых совершенных по внешности формах.

Если мы общественно деморализуем людей, уьем в них чувство общечеловеческого братства, то наше общество уже не будет иметь никакой этической скрепы и будет в состоянии жить только при каком-либо страшном деспотизме, который неизбежно и явится в том или ином виде и более всего обрушится, конечно, на самих же рабочих...

IX

О праве на труд

Внося помутнение в нравственный мир рабочего, всеобщая забастовка не менее сильно спутывает понятия рабочего, можно сказать, на всех пунктах, к каким только прикасается пролетарская идея. С ней теряется даже понятие о том, кто такой рабочий и кто — бездельничающий эксплуататор общества. Множество людей, которые трудятся с утра до ночи всю жизнь и создают огромные количества необходимых для человечества ценностей, стали в пролетарском тумане обзывать “буржуями”, “эксплуататорами”, а совершеннейшие бездельники называются “рабочими” только на том основании, что они, нередко по самому ничегонеделанию своему, ничего не имеют.

Это проявилось потом в движении так называемых “безработных”, которые, между прочим, впервые выдвинули у нас, с чужого голоса, *право на труд*.

На этой идее я остановлюсь подробнее в виду ее практической важности для рабочего мира.

В минуту заявления “права на труд” уместно будет русскому обществу задать себе вопрос, насколько оно может быть в настоящее время признано, а самим рабочим — вдуматься, какие последствия может иметь провозглашение такого права.

Нравственная обязанность общества и государства приходит на помощь нуждающемуся признана спокон веков. Это есть принцип христианский. Но христианство указывает лишь нравственную обязанность, а не дает ей юридического значения. Это совершенно разумно, потому что юридическая обязательность непременно требует указания форм исполнения того, что признано обязательным. Формы же эти зависят от множества меняющихся условий развития и построения общества, а потому в разные времена различны. Христианство поэтому и не предрешает форм помощи, а говорит только, что помочь нуждающемуся мы *нравственно обязаны*. Следовательно, каждый нуждающийся имеет *нравственное же* право на помощь ближних.

Но засим перед всеми нами, как гражданами государства, стоит задача уяснить себе, насколько заявление рабочих о *юридическом* их праве на труд приемлемо и выгодно для самих же рабочих.

Право на труд заявляется ими не в том смысле, чтобы рабочим не мешали трудиться, но в том смысле, что общество или государство

обязаны дать работу каждому, кто без нее остался. Возможно ли это и практично ли это?

Тот факт, что из разных видов помощи нуждающимся наилучшую составляет трудовая помощь, то есть доставление возможности работать, — давно признан, в соответствии с чем у нас устраивались разные общественные работы, дома трудолюбия и тому подобное. Но все это делалось в пределах возможности; и, признавая нравственное право нуждающегося требовать себе помощи, не было никогда признаваемо, чтобы он имел право требовать помощи именно в форме работы. Ибо где же ее взять, если ее нет?

Теперь же обществу и государству поставлено требование обязательно доставлять работу тем, кто ее не имеет.

Как известно, такое требование впервые было заявлено во время французской революции 1848 года; причем в удовлетворение его были устроены печально знаменитые “национальные мастерские”, истратившие массу денег на совершенно ненужный “труд”, а в конце концов потерпевшие полный крах. Такое же требование выдвинуто у нас в 1906 году в Петербурге. Несомненно, однако, что нелегко ждать у нас лучших результатов, чем были в Париже, под руководством Луи Блана, искреннего и убежденного социалиста, имевшего высокий авторитет среди рабочих и огромное правительственное влияние.

Дело в том, что “право на труд” логично и осуществимо только в обществе, организованном на социалистических началах. Если вся трудовая организация — фабрики, заводы, земледельческие работы и т. д. — находится, как хотят социалисты, в заведовании государства и его агентов, то общее количество труда в стране и его распределение между рабочими находятся во власти правительства.

При таких условиях возможно себе представить признание человека на труд или, точнее сказать, на то среднее количество продуктов, которое приходится на каждого члена общества. Но такое право неразрывно соединено с *обязанностью* работать, где и сколько прикажет общественная социалистическая власть.

Без этого принудительного труда и в социалистическом обществе невозможно будет признать права на труд.

Но обязанность работать по указаниям властей социалистического общества именно и составляет одну из причин, по которой это общество неизбежно будет представлять некоторое подобие крепостного состояния со всеми последствиями этого, между прочим, и со слабостью продукции (ибо все формы принудительного труда очень мало производят).

Как бы то ни было, к худу или к добру, социалистическое общество способно признать право на труд в виду того, что в нем труд будет уже не свободный, а обязательный. Но как же признать право на труд в современном обществе, которого продукция организована на принципах *свободы труда*?

Этого нельзя даже себе представить.

В современной экономике общее количество национальной работы определяется силой свободного производства, спроса и предложения. Нет такой власти, которая могла бы предписать производить *больше*, чем требуется по спросу. Если государство устроит общественные фабрики и таким образом создаст, например, лишних миллион аршин сукна в такое время, когда обществу не требуется больше того, что производится на частных фабриках, то все это сукно некуда будет девать. Его никто не купит. Следовательно, окажется, что рабочие трудились совершенно бесполезно и дешевле было бы для помощи им прямо выдавать им жалованье, без работы, без прочих бесполезных трат на даром пропавшую шерстяную пряжу, топливо машин и т. д.

С другой стороны, невозможно признать право даже и на такой бесполезный труд, если рабочие не откажутся от прав свободного труда.

По правам свободного труда они, например, в течение целого года, да и раньше, устраивали забастовки то по “экономическим” соображениям, то в целях “политических”. Было ли все это с их стороны разумно или нет — во всяком случае, они имели право свободного труда. По нерасчетливому применению этого права они привели Россию к очень печальным экономическим последствиям, то есть подорвали торговлю, понизили спрос на товары и всем этим уменьшили в стране количество труда, вследствие чего и обнаружилась тяжкая для рабочих безработица.

Но когда им вследствие этого стало тяжело, они потребовали дать им труд. Он был у них, и они сами его подорвали. Если теперь исполнить их требование и дать им работу от государства, то, очевидно, это можно сделать уже во всяком случае не иначе как с условием отказа рабочих от прав свободного труда, то есть от права стачек, забастовок и т. п.

Иначе как же мыслимо обязательно давать им работу и терпеть ее неисполнение, и даже хуже: терпеть подрыв рабочими количества труда в стране посредством разорения промышленности?

Если бы государство приняло на себя обязанность доставлять работу, то оно тем самым получило бы право *принуждать* к работе и уже тем паче пресекать все способное подрывать действие фабрик, как, например, забастовки.

Рабочие должны необходимо понять, что перед ними стоит одно из двух: или отказаться от требования доставлять им работу, или отказаться от прав свободного труда. Сохранить же и права свободного труда, и права труда обязательного — логически и фактически невысказано. Если им кто-нибудь это пообещает в целях партийной агитации или из страха перед бунтом, рабочие должны заранее знать, что обещание не будет исполнено, ибо оно *невозможно*.

Вместо постановки таких невозможных требований рабочим следует вдуматься в те ошибки, которые произвели безработицу. Им должно вспомнить, что наилучшие из рабочих организаций — английские, достигшие столь значительного повышения заработной платы — всегда крайне осторожно относятся к забастовкам, изучая при этом состояние рынка, и решаются на забастовку лишь тогда, когда, по всем соображениям их знающих людей, от этого не будет потрясена промышленность, охрана которой от упадка необходима для трудящихся не менее, чем для самих капиталистов. Рабочие должны из опытов, обошедшихся им столь дорого, понять, что их благосостояние, повышение рабочей платы, уменьшение рабочего дня и т. д. требует с их стороны *знания* условий промышленности, а для этого нужно, чтобы рабочие создали в собственной среде своих развитых и знающих людей, а не поддавались посторонней агитации, сулящей золотые горы, но неспособной в действительности дать им ни гроша прочного заработка.

Не “права на труд”, таким образом, должны требовать рабочие, а озаботиться умелым пользованием способами свободного труда.

Х

Заключение

Если мы окинем общим взглядом все сказанное в предшествующих главах, то увидим, что пролетарская идея, на которой строится современный социализм, за краткий период времени выяснила перед Россией все свои типичнейшие стороны. Одно еще не выразилось с полной широтой: та полная гибель, на которую она осуждает нацию... К счастью, нации гибнут не в два-три года.

Но распространение пролетарской идеи заложило уже в русскую почву обильный посев семян гибели. Мы еще можем очистить почву своего отечества от них, можем начать выращивать здоровые и благотворные семена национальной солидарности и общечеловеческой справедливости, и в этом случае пережитый опыт может оказаться даже

полезным. Но если мы им не сумеем воспользоваться для того, чтобы отвергнуть ошибочную и вредную идею, она останется разлагающим ядом, который непременно кончит тем, что подорвет все живые силы нации.

Ни на ком обязанность вдуматься в плоды пролетарской идеи не лежит сильнее, чем на рабочем классе, так как она именно его выбирает орудием своего роста, развития и торжества. Ни на ком не отразится тяжелее и торжество пролетарской идеи, как на самих же рабочих, потому что господство революционной интеллигенции под флагом диктатуры пролетариата не может подлежать никакому сомнению для человека, знающего развитие человеческих обществ.

Рабочие поэтому явятся ответственными перед историей за все, чего орудием они будут в дальнейшем развитии человеческих обществ. Капиталистический период среди порожденного им добра и зла поставил, между прочим, рабочий класс в такое положение, что от образа действий его зависит в будущем чрезвычайно многое. Как этим воспользуются рабочие — покажут ли себя гражданами, достойными своего положения, или под внушениями пролетарской идеи обнаружат, напротив, что они совсем не граждане, а некоторые посторонние, готовые употребить свою силу на подрыв и уничтожение своего отечества и той нации, которая их породила и дала им средства действия? Вот вопрос, который сто лет стоит перед миром, а теперь встал и перед нами.

Я надеюсь, что буду еще иметь возможность подробнее высказать свою мысль. Теперь же замечу лишь вкратце: сохрани нас Бог, тысячу лет растивший землю Русскую, от того, чтобы наши промышленные рабочие отреклись от солидарности с русской нацией, отделили свои судьбы от ее судеб и признали себя какими-то “чужаками-пролетариями”, у которых будто бы “нет отечества” и которым нет дела до отечества. Это будет их гибелью, сначала нравственной, а потом и политической и экономической. Это будет преступлением перед правдой и перед Матерью-Родиной, преступлением, которое не останется без наказания, ибо оно само накажет рабочих своими последствиями.

Судьба промышленного рабочего класса тесно связана с судьбами нации. Жить и умереть с нацией — вот единственный девиз рабочих, достойных гражданства. С этим девизом они могут стать великой, прогрессивной силой, могут занять почетное место в рядах нации, к благу которой приложат свои усилия. Отрекшись от нации, они могут только сами себя обречь на то или иное рабство в будущем.

Быть гражданами, строить свою организацию согласно условиям своего классового существования, развить права, необходимые для

гражданской жизни, расширять разумно свою долю в продуктах национального производства, способствовать развитию государства для того, чтобы оно все более становилось орудием социальной справедливости, и во всей этой работе оставаться тесно связанными с великим национальным организмом — вот каковы задачи рабочего движения, если оно отбросит пролетарскую идею и станет на почву гражданственности. Этим путем и должны идти рабочие, если хотят осуществлять свое благо на почве блага общечеловеческого, а стало быть, и блага национального.

СОЦИАЛИЗМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ

**ЧИТАНО Л.А.ТИХОМИРОВЫМ 19 И 26 ФЕВРАЛЯ В
ЕПАРХИАЛЬНОМ ДОМЕ**

Чтение первое

I

Задаваясь целью обрисовать воздействие социализма на государственность, я имею в виду собственно нашу эпоху XIX и XX веков, когда появилось и самое слово “социализм”. Коммунизм стар как мир, но в нашу эпоху были особые условия, давшие ему возможность вырасти в грозное общественное движение и оказать разнообразное влияние на общественность и государственность.

Рассматривая это влияние, я должен подвергнуть строгому осуждению многое, с чем были связаны надежды многих благородных умов, но мы увидим в то же время, что их усилия не остались и без благотворных последствий для общества и государства. Но воспользоваться тем, что было доброго в социализме, мы можем лишь постольку, поскольку пойдем его основные ошибки и отрешимся от них.

С внешней стороны моя задача распадается на две части. Во-первых, я постараюсь очертить *общую идею* социализма сравнительно с исторической идеей общественности. Во-вторых, мы взглянем на социализм в проявлениях его как *общественного движения*, стремящегося изменить основы нашей жизни.

Прежде всего должно определить себе, *что такое социализм*. Мой предшественник по кафедре [1] рассматривал его как учение экономическое. Но это экономическое учение есть следствие некоторой более глубокой основы, которую необходимо понять. На первый взгляд задача представляется крайне сложной. Социализм выражался во множестве доктрин, очень между собою различных. Проявившись у Гракха Бабефа в первую революцию в виде насильственного коммунизма, социализм прошел затем эпоху так называемого утопизма, куда относятся учения Сен-Симона, Фурье, Р. Оуэна, Кабе, Леру. Несколько позднее явились более практичные и умеренные системы Луи Блана и Лассаля; с 1847 же года (декабрь) знаменитый “Манифест Коммунистической партии” открывает эпоху “марксизма”, присвоившего себе название “научного социализма”. Это учение Маркса и нераздельного с ним Энгельса залегло в верования социальной демократии. Одновременно же с ним стал развиваться анархизм, представляющий крайнее проявление индивидуалистической идеи, прихотливо сочетавшейся с отрицанием частной собственности.

Во всех этих доктринах можно найти и глубокие мысли, и правильные требования, и уж тем паче справедливые обвинения против слабых сторон современной общественности. Однако для суждения о социализме и его значении мы должны взвесить не эти частности, а самую его сущность, полноту его идеи, ибо он не частностями отличается от исторической общественности и не частных поправок требует от нее, а стремится к полному, целостному перевороту.

Наш соотечественник П. Л. Лавров, представлявший между социалистами довольно редкую умственную силу, определял социализм как движение к “усилению элемента солидарности и кооперации между людьми и к борьбе против эксплуатации человека человеком” (“Государственный элемент в будущем обществе”). С этим никак нельзя согласиться. В словах Лаврова указывается не что такое социализм, а лишь то высокое и благородное, чего и он не был чужд и напоминанием чего некогда принес пользу. Но солидарность (а следовательно, и кооперация) не только возможна между людьми независимыми и свободными, обладающими всеми правами собственности и свободы действия, а, в сущности, иначе и не мыслима. Принудительная солидарность уже не есть солидарность. Особенность социализма и состоит в неверии в свободную солидарность, в мысли, будто бы солидарность и кооперация невозможны иначе как при полном коллективизме, который бы совершенно подавил индивидуализм.

В этом *исключительном коллективизме* вся суть социализма и вместе с тем причина его противоречия с естественными законами человеческой собственности.

Общественность такая, как она возникла и живет в мире, по естественным своим законам, составляет явление, в котором созидающей силой являются два неразрывно связанных фактора: *индивидуализм* и *коллективизм*. Законы общественности создаются, держатся и видоизменяются их совокупным действием. Но в теоретическом представлении мы можем рассматривать их порознь, и они могут при односторонности мысли казаться нам отрицающими друг друга. В практической деятельности мы также можем давать ненормально широкое место одному фактору, суживать действие другого. При этом мы уже не можем ни правильно понять общества, ни правильно его устраивать. Социализм именно и совершает эту ошибку, и притом в высочайшей степени.

Однако это ошибочное учение и ошибочная система созидания появились в XIX веке не без серьезных оснований. Дело в том, что здоровое состояние общественного организма требует правильного сочетания индивидуализма и коллективизма, и при нарушении их должного равновесия происходят более или менее сильные общественные недомогания, способные перейти и в смертельную болезнь, если не явится в свое время должного восстановления равновесия. Такой кризис недомогания Европа переживала в конце XVIII и особенно в начале XIX века. Я не остановлюсь на сложных причинах, это породивших. Во всяком случае, народившийся тогда либерально-буржуазный строй обнаружил резкое отклонение общественности в сторону индивидуализма. В этом либерально-буржуазном государстве внутренняя организация общества не только не возбуждала сознательного внимания, но даже преследовалась. Так, например, ассоциации представлялись явлением антигосударственным. В государстве все было направлено исключительно к охране порядка и свободы, с отречением от обязанности всесторонне пеших о благе граждан и с особенно резким отрицанием всякого государственного вмешательства в экономическую область жизни.

Именно эти особенности строя, бывшего тогда “новым”, и были причиною, по которой социализм мог появиться с такой силой и настойчивостью. Он явился как реакция заброшенного коллективизма против торжествующего индивидуализма. Маятник нарушенного равновесия качнулся в противоположную сторону и вследствие благоприятных для этого причин размахнулся еще гораздо дальше, чем это было сделано индивидуализмом первой революции.

Социализм выступил как движение *одностороннего коллективизма*, и с этим связаны все его особенности, которые по мере развития социализма все более обострились. Таковы: отрицательное или *пренебрежительное отношение к значению личности*, а следовательно, и ко всему, личностью порождаемому. Так отрицается *семья, собственность, религия, групповая самостоятельность*. С пренебрежением к личности и с признанием только коллективности неизбежно было также все более сильное развитие *материализма*. От этого же пренебрежения к личности являлось отрицание исторической общественности и поэтому все более резкая *революционность* социализма.

II

Все эти особенности, доведенные до наибольшей уродливости в марксизме с его теорией экономического материализма, замечаются, однако, уже и в утопическом социализме, несмотря на его относительный идеализм. Фурье, например, хочет строить свой фаланстер на комбинации страстей человека, то есть как будто бы держится на почве человеческой психологии. Однако и он настолько мало сознает всю силу личности в общественных явлениях, что может полагать, будто бы люди до сих пор еще никогда не жили сообразно своей природе и только он, Фурье, открывает им к этому пути. Но что же это была бы за жалкая “природа”, если бы она дождалась явления философа для того, чтобы почувствовать свои законы! Разве сила тяготения ждала Ньютона для того чтобы определить движение небесных тел? Ясно, что сила природы личности совсем плохо сознавалась Фурье.

Что касается до истинного отца социализма, Р. Оуэна, то несамостоятельность личности, ее зависимость от внешних условий составляет уже основной догмат его учения. “Характер человека, — говорит он, — есть следствие его организации при вступлении в жизнь и влияния внешних обстоятельств”. Начало всех зол, обуревающих общество, Оуэн видит в ложном, по его мнению, представлении, что человек мог создать свои собственные качества и что поэтому он должен быть ответственен перед своими ближними. По Оуэну, стоит только изменить внешние условия — и человек начнет роковым образом изменяться. Эта материалистичность, уверенность в “производности” человеческой личности из внешних условий доведена, наконец, до полного завершения в учении Маркса, который принял за аксиому (никогда не доказанную им), будто бы человек и его общественность суть создание условий добывания пищи.

“Способ производства материальной жизни, — говорит он в предисловии к своей “Критике политической экономии”, — обуславливает вообще социальный, политический и духовный процесс жизни. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественным бытием определяется их сознание”. Друг и сотрудник Маркса Ф. Энгельс в знаменитой брошюре “Развитие социализма от утопии к науке” ставит материализм аксиомой человеческого существования и утверждает, что “вся история была историей борьбы классов, которые являются в каждый данный момент *“результатом условий производства и обмена”*”.

“Идеализм (со времени открытия этой истины), — объявляет Энгельс, — изгнан из последнего его убежища — из области истории: понимание истории стало материалистическим, и найден путь для объяснения человеческого *самосознания* условиями человеческого *существования* вместо прежнего объяснения этих условий человеческим *самосознанием*”.

Эта общая точка зрения до такой степени отнимает значение у личности, что для последовательного социал-демократа становится смешно даже говорить о “человеческой природе”.

Известный К. Каутский в предисловии к “Государству будущего” Атлантикуса говорит по этому поводу: “Наши противники выдвигают против социализма тот довод, что он противоречит природе человека. Допустим, что этот довод основателен. Но он ровно ничего еще не говорит против возможности осуществления социализма...” Почему же? Потому что “главной движущей силой общественного развития является не стремление согласовать его с потребностями природы человека, а технический прогресс. *Техника — вот в конечном счете основной фактор, определяющий формы общественного сотрудничества и вместе с тем вообще формы общества*”. Поэтому “раз социализм делается общественно необходимым, то из всех столкновений между ним и человеческой природой он должен будет выходить победителем, а она — побежденной, так как общество всегда оказывается сильнее человеческой природы, то есть индивидуума”.

Таким образом, для последовательного марксиста личность есть совершенное ничтожество. Она не рождает общества, а сама им порождается. Общество же рождается из материальных процессов впитывания органических веществ той гигантской губкой, которая состоит из скоплений человеческого рода, облекающего земной шар. Если это воззрение выразить прямо и смело, то должно сказать, что личности

совсем не существует. Это настоящая философия человеческого ничтожества.

Я сейчас сопоставлю ее с тем, как смотрит на себя историческое человечество, но предварительно должен заметить, что именуемый себя “научным” социализм в действительности никогда не совпадал с научной социологией и государственной наукой XIX века. Социология со времен Конта [2] шла совсем иным путем. Она постепенно все более улавливала в общественных явлениях законы органического характера, причем и психологический элемент получал в ней все более признания. Общество рисуется социологии как некоторый организм, с частями дифференцированными, но в то же время и с их координацией, не с одной “борьбой классов”, но и со взаимным их содействием, причем *основой* общественности признается не какой-либо *внешний*, материальный процесс, а внутренний обмен ощущений, представлений и действий, то есть элемент психологический.

Укажу мнения таких талантливых представителей современной социологии, как Альфред Фулье и А. В. Эспинас [3].

“В социологии, — говорит Фулье, — все держится вокруг одного Центрального понятия — *договорного организма*, осуществляющегося самим *сознанием*, которое он имеет о себе, и деятельным импульсом идеи” (“Современная наука об обществе”). “Общество, — говорит Эспинас, — есть *живое существо*, отличающееся от других (то есть от организмов. — Л. Т.) тем, что оно создается прежде всего *сознанием*. Общество есть *организм идей*” (“Социальная жизнь животных”). Как видим, это очень далеко от “техники производства” как создательницы будто бы общества.

Впрочем, научная несостоятельность всех пунктов доктрины Маркса за последнее десятилетие вынудила чуть ли не единственного талантливого ученика его, Э. Бернштейна, попытаться внести поправки в его учение, поправки, от которых у Маркса, в сущности, не остается, как говорится, живого места.

III

Чем более заканчивал социализм свое мирозерцание и истекающие из него планы общественного устройства, тем глубже становилась пропасть между ним и тем, чем было создано и живет человеческое общество. Сопоставим же их основы и идеалы, причем должно обратить особое внимание на то, каким путем сложились основы и идеалы исторической общественности.

Каково бы ни было начало общества — семья или стадо, во всяком случае слагаемой единицей его является *человек, личность*. Самое скопление людей в общество происходит не так, как груда камней, но производится посредством наших чувств и желаний. Связь между людьми создается их внутренними желаниями и посредством внешних чувств, а не безвольным сращением, как в клеточках растений. Соединение людей в нечто единое, даже и случайная толпа, возможно только при посредстве их чувств и представлений. Итак, без психологических свойств личности невозможно никакое общество, никакой процесс, “производственный” или какой иной, не может без этого собрать и соединить людей.

Но, вступая между собою в общественную связь, все личности уже подчиняются взаимному влиянию, попадают под действие законов *ассоциации, кооперации*.

В этих законах совместного действия многое напоминает явления механические, как, например, действие по линии наименьшего сопротивления, правила сложения силы, их координация и разделение. Под влиянием этого общество складывается в нечто напоминающее организм, с той разницей, что его основная единица — личность — остается всегда существом более или менее свободным, дающим импульсы своего произвола. Общество же в своем давлении на личность также не имеет других способов, как влиять на чувство и сознание и через чувство и сознание. При какой угодно дисциплине орудиями действия общества являются люди, способные иметь произвольные стремления и лишь постольку способные действовать, поскольку могут развивать свою внутреннюю, произвольную силу.

Источник силы общества, таким образом, — исключительно в личности. Чего не развила личность, того и в обществе неоткуда взять. С другой стороны, общество ставит личность в известные рамки, с которыми также невозможно не сообразоваться, ибо они дают ей средства действия. В общей сложности в обществе на всех ступенях его развития, с начала возникновения и до конца веков, пребывают два основных принципа: *индивидуализм и коллективизм*, совершенно неразрывные.

Из их сочетания развиваются те необходимые условия существования общественности, которые мы называем *основами*, так как с нарушением их она разрушается. Сообразно содержанию этих основ у нас в нравственном отношении являются их *идеалы*, а в юридическом отношении — ряд известных *прав*. Соответственно двойственным факторам общественности некоторые основы истекают из природы личности, индивидуальности, некоторые — из природы совместного

действия, коллективности. Отсюда развиваются наши идеалы личности, идеалы общественных условий, а сообразно с этим — ряд прав личности и ряд прав общества.

Личность, в которой рождаются и ум, и чувство, весь психологический материал, имеющийся для созидания общества, должна быть, по идеалу, как можно выше, сильнее, развитее и независимее, а стало быть, обеспечена и в условиях своего творчества. Она не может творить иначе как будучи хозяйкой своего творчества, а следовательно, владея и созданиями его, которые суть не что иное, как частички ее самой, продолжение внутренней силы личности во внешней среде и опорные пункты для дальнейшего приложения ее силы. Отсюда — ряд *прав личности*.

Творчество личности проявляется очень разнообразно. Таковы: мысль, идея, верование, образ в том или ином воплощении, слово и т. д. Все эти проявления личности суть частички ее самой. За их принадлежность себе, то есть за их свободу, личность держится и борется так же, как за свою жизнь. Она предъявляет обществу требование *права* на эту свою *собственность*. Это есть не что иное, как требование права на свою жизнь и ее проявления, и общество всегда признавало его, не могло бы не признать, потому что люди своим протестом, своим бунтом мгновенно уничтожают такую нелепую организацию, которая поставила бы целью их задушение.

Общее право на жизнь и ее проявления, ее создания развивается по мере развития человека. В отдельных проявлениях оно создает *свободу мысли, слова, деятельности, то есть между прочим и труда*.

Отсюда возникает и *право собственности вещной*, материальной.

То, что человек тратой умственных и физических сил своей личности покорил себе во внешней природе, присоединил к себе, есть его *собственность*. Право собственности есть право свободного создания и условие его, ибо без этих своих внешних созданий человек, сколько бы ни жил, сколько бы ни создавал, остается так же слаб, как в первый момент своего действия.

Таким же созданием личности является группировка других людей, и прежде всего *семья*. Смотря по развитости человека (как существа ползуверинового или высококультурного), он вносил неодинаковые качества силы в создание того интимного уголка своей жизни, который называется семьей, он неодинаково его организовывал, но одинаково стоит за незыблемую принадлежность себе этого своего создания, которое поэтому вырастает в одну из *основ* общественности.

Организационная деятельность личности проявляется и не только в форме семьи, но также в различных группах корпоративного характера, которые почему-либо ему нужны. Отсюда является право ассоциаций, обществ и т. д. Все это составляет право личности на создание для себя той или иной обстановки.

Таким образом, личность порождает целый ряд условий, которые в общественности являются *основами* и облекаются *правом*. Все они суть разветвления общего права на жизнь. Необходимые для личности, они столь же необходимы и для общества, ибо оно может состоять не из трупов, не из камней, а только из живых людей. Оно само тем сильнее, чем оживотвореннее его члены. Им же для этого требуется незыблемость указанных основ и прав. Поэтому с самой зари человеческой общественности мы и видим в ней более или менее ясное право собственности, семью и свободу личности (поскольку развита личность данной эпохи) как постоянные *основы общества*.

С другой стороны, элемент коллективности, участвующий в создании общественности, привносит и со своей стороны ряд не менее незыблемых *основ*. Таковы *власть, порядок*, то есть поддержание такого обязательного способа действий, при котором всякий заранее знает, как поступит другой член общества при данных условиях. Далее: *законность*, то есть определенное для всех неизменное обеспечение прав каждого.

Под влиянием той внутренней группировки, которая происходит при соединении однородных общественных слоев, общество всегда представляется многослойным, разбитым на классы, сословия и т. п. Для объединения этих сил, нередко противоположных и способных вступать между собою в борьбу, возникает *государственность*, то есть организованная власть целого над частями. Идея государства состоит в том, чтобы права всех отдельных лиц и групп были одинаково обеспечены и поставлены в гармонию с существованием целого общества. В государстве находит юридическое осуществление то, что в идеале называется *справедливостью* и *гармонией интересов*.

Должно сказать, что гармония интересов есть действительный элемент общественности. Она кроется в самих законах жизни. Состоя из отдельных лиц и групп, общество заключает в своих недрах немало явлений борьбы между ними. Но идея общественности состоит не в этой борьбе, а в той координации сил, посредством которой достигается их гармоническое содействие. Если эта гармония исчезает — общество разрушается борьбой. Условия гармонии, однако, заключаются в самой природе вещей, ибо различие способностей и специализация занятий имеют своим следствием то, что люди и классы дополняют друг друга,

дают один другому то, чего в каждом недостает. Так как от этой гармонии интересов зависит самая возможность общества, то она стала *идеалом* и меркой достоинства учреждений данного государства.

Над всеми этими условиями личного и общественного существования распростерта еще область *религии*, о чем также невозможно не сказать несколько слов, говоря вообще об идеальной стороне человеческого существования.

Социально-философский смысл религии состоит в том, что человек ищет полной гармонии своей жизни в связи с самим источником творческой силы, ощущая, что только при такой связи его жизнь, его творчество могут быть правильны и тверды.

Отсюда — искание связи с Богом. Религия — по смыслу слова — значит “связь”. В различные эпохи своего развития человек не одинаково представлял себе своего Создателя, но искание Его именно в *духовной* области, уверенность в существовании духовного мира и искание с ним связи человек всегда считал источником своей силы. К богам обращаются герои древности, в подвиге и вдохновении видят помощь свыше. И действительно, наивысшую степень смелости и независимости давала человеку именно религия.

Общество, это жилище личности, также издревле ставило свои учреждения под покровительство Божества. Так было в шалашах дикарей. А пятьдесят лет назад величайшая из республик мира, празднуя свой столетний юбилей, в торжественном официальном акте конгресса заявила благодарность американской нации великому Богу, сто лет ее хранившему и ведшему к преуспеванию.

Соединяя нас с Высшим Источником бытия, религия получает особенно важное социальное значение оттого, что ставит перед человечеством требование *высшей правды*, универсальной, которая стоит выше всех интересов человека или общества и служит последней апелляционной инстанцией по вопросу о справедливости их действий и учреждений.

Таков беглый обзор социальных основ. Они, как видите, не изобретены каким-нибудь философом, не созданы законодателем, но вытекли из самой природы зиждательных сил общественности. Они не ждали появления какого-нибудь ученого, чтобы начать действовать, а действовали всегда и изменялись только в смысле прогрессивного развития, по мере развития самого человека. Наша наука только поняла их. Наше право только признало юридически то, что являлось правом по закону природы. Наш идеал только выразил высшую идею явления.

В своей совокупности эти природные основы нравственно и материально объединяют личность и общество и порождают идеал такой личности, которая наиболее пригодна для созидания общества, и идеал такого общества, которое способно вместить даже самую высокую личность, не забывая и самую скромную. Такая гармония личности и общества рождает между ними нравственную близость, из которой вытекает святое чувство *патриотизма*, любви к отечеству, готовности жить для него и умереть за него.

И этот венец общественных чувств также не выдуман философами, не установлен законодателями. Мы можем учиться этому великому чувству уже на самой заре общественности.

Что же сохраняет, что развивает социализм из этих основ и идеалов человеческой истории?

IV

По прямому смыслу своей идеи социализм прямо разрушает все эти основы, на которых мы поднялись до высоты действительно человеческого существования.

П. Лавров возражал против надежд Шеффле на некоторое сохранение их точно так же, как недавно Каутский возражал Атлантикусу.

“Из самой сущности социалистического строя, — говорит Лавров, — следует, что, когда он вполне установится, он не может сохранить в значительной степени семьи, нынешней собственности, нынешнего государства, нынешней религии” (*Шеффле*. Сущность социализма. Примечания Лаврова). Но это сказано очень мягко. В действительности социализм не хочет и не может допустить из них ничего, кроме разве названий.

Некоторые политики социализма изъявляют готовность терпеть на первое время кое-какие остатки частной собственности. Но уже “Манифест Коммунистической партии” заявил прямо: “Коммунисты могут выразить свою теорию словами: *уничтожение частной собственности*”. Сам Лавров справедливо говорит, что, “каковы бы ни были другие приемы социальной революции, одно бесспорно: она должна начаться *немедленным и неуклонным* обращением всякого имущества частного, имущества групп, имущества государственного — в имущество *общее*. Существование рядом, даже временно, социалистического строя и частной собственности представляет самую грозную опасность для нового социалистического строя” (“Государственный элемент в будущем

обществе”). Это совершенно справедливо. В последней книге своей “Новое учение о государстве” А. Менгер [4] точно так же хотя и употребляет слово “собственность” в социализме, но подробно объясняет, что это за “собственность”. Никаких орудий труда по социалистическому “праву” нельзя давать отдельному лицу даже в пользование. Никаких предметов долговременного пользования (как жилищ, например) нельзя давать в частную собственность. Все это принадлежит исключительно государству. Право частной собственности социалистическим правом Менгера допускается лишь на предметы непосредственного потребления, вроде пищи и одежды, да и при этом допускается лишь право *употребления*, но не *распоряжения*. “Право распоряжения собственника (?) по отношению к потребляемым вещам, — говорит этот своеобразный юрист социализма, — должно бы подвергнуться коренному ограничению” в том смысле, чтобы не могло отсюда возникать никаких обязательств между отдельными гражданами (с. 107 и далее).

Таким образом, собственность принадлежит только целому обществу. Отдельным же злополучным гражданам дается лишь право жить на общественный счет. Но это не есть собственность, а нечто совсем иное — “право потребления”. Собственность состоит вовсе не в праве непременно потребления, а именно в *обладании*, в распоряжении по своему свободному усмотрению. Такое право в социализме присваивается исключительно государству.

Как право человека и гражданина, оно совершенно уничтожается, и то обладание вещами, которое составляет право собственности, переходит в разряд государственных регалий, выражаясь нынешней терминологией.

Таким образом, не “нынешняя” собственность, не “буржуазная” уничтожается в социализме, а вообще собственность как институт.

Точно так же уничтожается социализмом не “нынешняя семья”, а вообще семья. Человеческая семья есть *учреждение*, некоторый обязательный союз с правами и обязанностями своих членов в отношении друг друга. Она пережила в истории много различных форм. Но при всех разнообразных формах семья оставалась учреждением, обязательным для своих членов и для всего общества. Такого учреждения у социалистов уже не будет. То, что они обещают сохранить под наименованием семьи, есть простое сожитие мужчины и женщины, причем ничего обязательного в отношении друг друга они не имеют: могут сходить и расходиться свободно, сколько и когда угодно. Никакого общественного значения их союз не имеет и никаких прав перед обществом не получает, да и не может получить, ибо права мыслимы лишь в отношении какого-нибудь обязательного союза. У социалистов можно заключать такой

“союз” каждый день сызнава. Какие же “права” может он иметь? Даже на детей, происшедших в результате сожительства, сами родители не могут иметь прав, потому что обязанность воспитания и право им распоряжаться переходит от родителей к обществу. Единственное вмешательство общества в отношения сожительствующих, какое может явиться при социалистическом строе, может разве состоять в требовании, чтобы они не производили детей больше, чем требуется по соображениям пропитывающего и воспитывающего их общества.

Как бы то ни было, в социалистическом строе семьи совсем нет, а есть *право свободного сожительства*. Это не только не имеет ничего общего с семьей, но даже составляет нечто прямо противоположное.

Относительно религии излишне даже говорить. Достаточно вспомнить общее материалистическое миросозерцание социализма, исключаяющее всякую мысль о Боге. Религия, как определяет К. Маркс, есть “извращенное миросозерцание”; “Она есть фантастическое осуществление человеческой сущности”; “Человек творит религию, а не религия человека” и т. д. Религия в социалистическом обществе может быть допущена разве только в виде личной философии, да и то на правах “суеверия”. Сам Лавров объясняет, что в социалистическом обществе религия должна “атрофироваться”...

Действительно, нетрудно видеть, что социализм должен вести прямую борьбу против религии как живого фактора, обязывающего человека к известному образу жизни и действия. В социалистическом строе жизнь человека не может быть устраиваема по личному усмотрению, но должна быть обязательно сообразована с “техникой производства”, этим истинным социалистическим божеством, творящим людей. Следовательно, нельзя допускать вмешательства “посторонней силы” — Бога, Который требует, чтобы человек жил по Его закону. Более, чем какое-либо основное явление человеческой культуры, религия несовместима с социализмом даже как личное верование. Но ведь всякая религия, сверх того, стремится к объединению верующих в особое сообщество, в Церковь... Этого уж социализм ни в каком случае допустить не может. С его стороны это было бы безумие, так как религиозное сообщество непременно создаст себе свой самостоятельный образ жизни и действий в нарушение социалистического порядка.

Недаром же социализм, даже не достигши господства, уже так страстно борется против христианства повсюду, где с ним встречается.

Что сказать, далее, о *государстве*? Это вопрос, который социализм очень запутывает для общественного понимания. В принципе, на словах социализм вообще говорит, будто бы при его осуществлении

государства не будет, а вместо этого будет какое-то невообразимое самостоятельное сплочение производительных групп, которые самим процессом производства будут построены в некоторую организацию. Легко по пунктам доказать, что это совершенно невозможно и что социализм непременно должен будет создать общегосударственную власть. Но дело в том, что все эти фантазмагии социализм обещает только в отдаленном будущем, как средство же переворота и устройства он усваивает государство, только в совершенно изуродованном виде.

Социализм отрицает *современное* государство, ложно уверяя, будто бы наше государство есть не более как организованное господство одного класса над другим. В отношении нашего государства это совершенная неправда. Именно наше государство по своей идее и целям есть организация общенациональной, внеклассовой власти, которая обязана блюсти над тем, чтобы никто никого не эксплуатировал и чтобы права всех были одинаково охранены. Конечно, такую машину немало эксплуататоров старается захватить под свое влияние, но мы называем это узурпацией, и в общей сложности историческое государство все же исполняло свою цель, и люди его постоянно усовершенствуют именно для того, чтобы оно было наименее доступно каким-нибудь своекорыстным захватам.

Так вот это-то государство социализм, по ложному обвинению против его идеи, хочет уничтожить, но для себя создает то *классовое государство*, которое действительно было бы организованным разбоем, если бы люди в истории создавали его.

Он хочет захватить государственную власть в руки одного класса “пролетариев” и начать устраивать социалистический строй посредством *диктатуры пролетариата*. И уж только пересоздав мир посредством этого классового “пролетарского” государства, социализм обещает совсем его уничтожить...

Может ли он исполнить свое обещание? Этому, конечно, способно поверить только наивное дитя. Социалисты волей-неволей непременно принуждены будут или вечно держать в своих руках государство, или же их строй будет разрушен, как только они будут иметь безумие выпустить власть. Но это предмет, который требовал бы специального рассмотрения, отчасти сделанного мною ранее, в книжке “Демократия либеральная и социальная”. В настоящее же время мне достаточно констатировать, что социализм и в отношении государства, как в отношении семьи и собственности, создает нечто, не имеющее ничего общего с теми основами, на которых само человечество жило и развивалось.

Мы будем говорить ниже о практике социализма. Но уже самой идеей своей он подрывает все высокое, чем живет историческое человечество.

Он отрывает человека от той почвы, на которой он вырос, отрывает его от источников духовной силы, от исторических источников, его породивших. Что такое Бог для человека, проникшегося социалистической идеей? Ничто, плод суеверия. Что такое человечество? Какой-то мох, обрастающий земной шар и выращиваемый влиянием впитывания земных соков. Никакой нравственной связи между нами и таким человечеством нет, ибо оно, по этой бездушной теории, если и создало нас, то не своим разумом, чувством, заботливостью о грядущих поколениях, а так же невольно и бессознательно, как солнце, одинаково равнодушно испускающее лучи на безлюдную и бесплодную луну и на землю, населенную разумными существами. Какое нравственное отношение может быть у нас к Бруту, к Цезарю или древним юристам, выработавшим нормы общечеловеческого права? Никакого. Они все, со своими подвигами и кодексами, были созданием технических условий производства своих эпох... Человеческий элемент исчезает в истории, и нравственная связь между этими тысячелетиями, где столько великих умов и самоотверженных совестей трудились на пользу человечества, исчезает: она не имеет смысла, если нет человека как создателя истории. В таких чувствах и понятиях воспитывает идея социализма своих учеников. Он упраздняет понятие о человечестве как о чем-то разумном, заботящемся о будущем и оставившем великое наследство нам, как прадед правнуку. Тем более он упраздняет понятие об отечестве.

В. С. Соловьев в своих “Трех разговорах” говорит, что у самого безродного человека есть по крайней мере два великих предка: отечество и человечество. Социализм отнимает у нас этих великих предков, отрекается от них, отрекается от их дела и наследия... А между тем только глубокая ложность социалистической идеи порождает такое отщепенство.

Все, что мы знаем в истории, вся наша наука совершенно бесспорно доказывает реальность того, что гласит в душе нашей здоровое чувство: есть и человечество, есть и отечество!

Государственное право и социология свидетельствуют нам, что отечество было и есть преемственный союз поколений, века и тысячелетия существующий развитием одной, наследственно передаваемой идеи общего блага, союз, преемственно занимавшийся развитием общих средств жизни, общей возможно лучшей и справедливой организации, бывший действительно заботливым отцом

нашим, потому что отечество нередко терпело всякие страдания и лишения в сознательных целях блага будущих поколений.

Но социализм все это упраздняет и оклеветывает; “Пролетарии всех стран, соединяйтесь” на развалинах всех отечеств, провозглашает он... Все государства были, по его утверждению, только системой грабежа одних классов другими. Великие предания отечества выставляются социализмом как идеология и поэзия хищников, в ту или иную эпоху заедавших побежденных.

Но если нет отечества, то есть ли у социализма хоть общечеловеческая солидарность? Есть ли общечеловеческое братство? Нет ничего подобного. По его идее, нужно сначала отобрать у хозяина фабрику, тогда, может быть, явятся братство и солидарность. Но ни в истории, ни теперь для социализма нет братства. Есть только враждующие классы. Буржуа брат только для буржуа, метранпаж — для метранпажа, наборщик — для наборщика... Людей нет на свете, есть только профессии...

Можно ли, однако, придумать более явную неправду, когда каждый порядочный человек в своем собственном чувстве прекрасно знает, что он любит *человеческое существо*, а не класс или должность? Кто же, имея малейшее нравственное развитие, не считает своим *братом* порядочного человека чужого класса, даже воюющего против него, более, чем какого-либо отупелого или озверелого члена своего сословия? А между тем социалистическая идея отрицает эти несомненные высочайшие чувства человека и своей пропагандой по мере возможности старается их разрушить.

V

Что же сказать после такого сопоставления общественных идеалов и творчества, с одной стороны, человечества, с другой — той “секты” его, которую составляет социалистическое движение? Для того, кто действительно есть наследник человеческой культуры, ясно как день, что и фактическая правда, и высота, и сила, и благо людей — все находится на стороне общечеловеческой, а не социалистической идеи, и если миру еще не наступает время уничтожиться, то торжество социализма есть химера. Он если и может восторжествовать, то лишь для того, чтобы быстро погибнуть в полном хаосе и рабстве.

Общество, которое нам теоретически рисует социализм, — это тело без души. Из него вынута творческое начало, то, что действительно есть

жиждущая сила, то есть личность, индивидуальность. Действие души он думает заменить действием механизма.

Считая человека рабским созданием внешних условий, социализм не умеет ему посоветовать ничего лучшего, как приспособление к условиям производства, явившимся в наше время. Он полагает, что современное производство превратило общество в гигантский муравейник, где всякий отдельно взятый человек не имеет никакого значения и сам для себя ничего не устраивает, но все совершается по велениям производства. Такое воображаемое состояние социализм предлагает увековечить с той разницей, что вместо единоличного хозяина фабрики явится новый коллективный хозяин — “общество”. Ни человеку, ни группе людей тогда уже нечего будет думать о своем устройстве, не дозволено будет требовать и какого-нибудь самостоятельного устройства. Но толкать людей на путь такой реформы значит деморализовать личность в борьбе с внешними условиями.

Социализм, при своем презрении к личности, думает, будто бы она не может сама ставить себе цели и проводить их к исполнению. Но в действительности в течение всей истории человечество жило и развивалось только тем, что ставило себе цели и их осуществляло. Достаточно и теперь взглянуть вокруг себя. Ежедневно по всем государствам, учреждениям и обществам все законы, постановления, решения властей и собраний направлены и в целом, и в частности только к одному: приспособить внешние условия к требованиям и нуждам людей. Всегда и всюду люди не столько приспособляются к внешним условиям, как стараются их к себе приспособить. И только в этом источник прогресса.

Конечно, человек не всесильное существо. Видя себя в известных условиях природы, дикой или уже видоизмененной условиями техники, он к ним поневоле приспособляется, но при этом всегда привносит в них свою критическую оценку с точки зрения своих удобств и желаний. Он приспособляется к ним только для того, чтобы их приспособить к себе. Приспособляясь к ткацкому станку, человек непрерывно занят мыслью: как бы этот станок получше приспособить к себе? Отсюда все усовершенствования техники, все изобретения, в которых постоянная мысль человека — устроить технику так, чтобы ему было хорошо, выгодно и удобно.

Формы общественного сотрудничества определяются техникой, говорит социализм, но не замечает самого главного: что определяющей силой является сам человек. Приспособляя форму сотрудничества к условиям техники, человек думает, однако, приятно ли, удобна ли ему

форма сотрудничества, в которую пришлось стать, и если она противна его природе, не нравится ему, то он старается переломить условия техники, изобрести на место данных ее условий какие-нибудь иные — *в чем всегда оказывается в конце счета победителем человек, а не техника.*

В истории труда мы действительно постоянно видим, что формы сотрудничества и вообще формы общественности сами давят на технику производства. Так, например, во времена цехов усовершенствованные машины не могли прививаться: рабочие их не допускали и даже силой уничтожали, потому что их введение угрожало разрушить цеховую форму сотрудничества. У нас в настоящее время общинное землевладение страшно давит на всю технику земледелия. В обоих случаях это вредно и для техники, и, однако, она принуждена подчиняться, сообразовываться с общественным строем. Впоследствии, как говорит социализм, машина победила цеховой строй, но почему она могла достичь победы? Только потому, что нашлись человеческие массы, которым она была выгоднее, чем цеховая техника, и притом такие человеческие массы, для общественного строя которых машина была более подходящей.

Действительно, появление капиталистической промышленности стало возможно только тогда, когда в городах образовались значительные скопления сбродных обезземеленных рабочих, не имевших никакого технического образования. В цехи они не могли быть приняты. И вот фабрика, где искусство рабочего заменялось машиной и которая требовала большого количества рабочих как можно менее обеспеченных, чтобы трудиться подешевле, — эта фабрика явилась наиболее подходящей формой сотрудничества для *таких* людей, почему и восторжествовала. Люди, составлявшие огромное большинство, ввели такую форму техники, которая наилучше им соответствовала. Значит, и тут не техника победила людей, а одни люди победили других.

“Но, — скажут социалисты, — в конце счета возобладала капиталистическая техника”. Да, но потому, что она была выгоднее для самих людей, она “нищему пролетариату” дала возможность стать “рабочим пролетариатом”. Сверх того, “конца счету” нет еще, да и не будет, пока жив человек. Человек работает и ныне над приспособлением новых форм техники к своим желаниям. Несмотря на то что социализм своим вредным влиянием отнимает множество сил от этой работы, по всем культурным странам идут старания приспособить новые формы техники к обычным историческим формам общественности. Для этого люди пользуются своими испытанными историческими средствами: личной инициативы, групповой организации и государственной

организации. На этом поприще сделано уже так много, что сам социализм начинает пугаться за свою участь. Особенно много сделано в Англии, где рабочие раньше других откинули социалистические стремления.

В той работе, которую все страны производят для приспособления новых условий производства к вечным формам своей общественности, мы видим, что рабочий разными способами превращается из простого “пролетария”, продавца рабочей силы, в участника производства, видим, что рабочие организуются в профессиональные союзы, входящие в соглашения с предпринимателями, организуют множество кооперативных обществ и т. д., вообще приспособляют новые условия производства к принципу частной собственности. Точно так же рабочие охраняют свою семью, причем им на помощь является государственное законодательство. Вообще, государство за последние пять-шесть десятилетий своей экономической политикой и рабочим законодательством служит живым опровержением возводимых социалистической теорией клевет против него. А между тем роль государства по устройению экономических отношений только началась, и ей еще предстоит широкая будущность.

Дело в том, что, пока промышленность работает так сильно на иностранные рынки, государству трудно регулировать производство по отсутствию международной власти, способной за этим следить. Капитализм и создан главнейшим образом работой на внешние рынки. Но времена иностранного рынка кончатся по мере уравнения промышленного развития всех стран. Уже скоро всем нациям придется подумать об организации промышленности применительно к требованиям своего собственного рынка. Тогда-то государство гораздо легче может войти в задачу разумно сообразовать производство с потреблением. Для этого нет надобности в социализме, а возвращение блудного сына промышленности в отеческий дом еще более воскресит и укрепит ту идею Отечества, которую ныне так неблагодарно и бессердечно старается подорвать социализм в гражданах каждой страны.

Но и помимо деятельности государственных и общественных учреждений сам прогресс изобретений идет на помощь не только крупной промышленности, но и мелкой. Он поддерживает мелкого производителя в борьбе с фабрикой настолько, что предсказание Маркса о сконцентрировании всех рабочих на немногих огромных фабриках совершенно не оправдалось, и мелкое производство дает хлеб большему числу рабочих, чем крупное. Применение электричества к мелким двигателям в этом отношении может произвести такой переворот в технике производства, что крупная фабрика, может быть, должна будет

ограничиться в будущем лишь очень небольшими владениями. А в земледелии открытия по интенсивному хозяйству уже и теперь привели к торжеству мелкого земельного хозяйства над крупным.

В общей сложности конец счета человека с техникой не наступил, да, повторяю, и никогда не наступит. А вся история служит нам ручательством, что и ныне не техника победит природу человека, а человек победит технику и сделает ее такую, как ему лучше, выгоднее, свободнее... То, что человек победоносно пронес через всю историю: независимость и свободу личности с ее созданиями (частной собственностью, семьей, свободной групповой организацией, свободным действием, наконец), внеклассовое государство, — все это останется с человеком будущего, как росло у человека прошлого. Чем более это будет осуществляться, тем легче будет уясняться ложность основной идеи социализма. Он был прав, напомнив существование коллективизма слишком индивидуализированному обществу начала XIX века. Но, выступив с протестом против зла, он начал отрицать добро. Он горячо взялся разбудить людей, но, по ложности своей идеи, стал что дальше, то больше воспитывать таких граждан, которые забывают, что они люди, и делаются способны только погубить общество, а среди его развалин — также и самих себя.

Чтение второе

VI

Я старался выше выяснить, что социалистическая идея *односторонняя*, а потому неизбежно приводит людей к противоречию с действительными законами развития общественности, которые *сложны*. Тем не менее эта односторонняя идея создала огромное общественное движение, длящееся с начала XIX века поныне.

Как могло это случиться? В общественной жизни, однако, не бывает ничего бессмысленного, беспричинного. Появление социалистической односторонности было совершенно естественно вследствие того, что общественность и государственность под влиянием тех идей, которые создали первую французскую революцию, впали в противоположную односторонность: начали развивать односторонне-индивидуалистический принцип свободы, упустив из виду законные требования принципа коллективизма.

Социализм и явился исторической поправкой к этой односторонности, которая сама же подготовила и почву для его действия.

XIX век получил в наследство от своего предшественника ряд условий, давших эту почву:

повсюду явились *дезорганизованные массы населения*, в котором средневековые формы общинности были разрушены без создания какой-либо новой организации;

свобода промышленного действия, поддержанная расширением внешних рынков, множеством изобретений и присутствием дезорганизованного и нуждающегося в заработке населения, создала огромные богатства в руках немногих сильных и удачливых людей;

государство либерального (буржуазного) типа отрешилось от средневековой идеи всесторонне пеших о нуждах населения, а потому не вступалось в какую-нибудь регуляцию промышленных отношений;

в то же время принципы *равенства и свободы* были признаны официально как основа неотъемлемых прав человека.

Действительность представляла, однако, фактически полное нарушение свободы и равенства в населении, пришедшем к состоянию самого крайнего неравенства в средствах к жизни. Укажу на положение Англии, где социалистическое движение раньше других стран приняло массовый характер. В начале XIX века собственно Англия имела 10 миллионов жителей, из которых, как громко кричали революционные прокламации, полмиллиона утопали в роскоши, 4 миллиона жили в крайней нужде, 4 миллиона в нищете и полмиллиона состояли из форменных нищих. Конечно, революционные прокламации всегда погрешают в статистике, но и точные статистические данные отмечают, что в начале XIX века 1 340 000 человек получали пособие от приходов, а к 1820 году это число возросло даже до 2,5 миллиона. Следовательно, около 15 процентов населения были действительно нищими.

Рабочее население Англии тех времен описывается как фактически весьма бесправное в отношении всемогущих хозяев, поддерживаемых судами. Да и юридически права рабочих до чрезвычайности ограничивались воспрещением всяких союзов. В известном исследовании Уэббов приводится множество примеров судебного преследования рабочих Англии за попытки стачек. Во французском законодательстве с первой революции все частные сообщества вообще воспрещались в принципе. Законы против них во Франции были отменены лишь в новейшее время, и с 1825 по 1865 год почти 10 тысяч рабочих по двум тысячам судебных приговоров познакомились с тюрьмой по обвинению в образовании “незаконных коалиций”.

На почве крайней бедности и — слишком часто — прямого притеснения неизбежно должны были возникать революционные движения народных масс, в теории объявленных владыками государства, а на практике сплошь и рядом чувствовавших себя рабами. Но как же было помочь горю, как исправить положение?

Действительная, разумная задача состояла в том, чтобы понять односторонность водворившегося строя и исправить его на тех вечных основах общественности, которые были подорваны чрезмерным развитием индивидуалистического принципа. Но люди не были к этому тогда подготовлены. Ни наука, ни практика не давали ответа на запросы времени. Потребовалось очень много испытаний, проб, работы мысли, прежде чем прямая дорога стала уясняться для людей в этих новых условиях. Вот в этой-то работе, где действовали все направления мысли, имел свое участие и социализм. Выступив против односторонностей индивидуализма, социализм дал развитию общества очень много полезных толчков.

Так, нравственное влияние утопического социализма на европейское общество начала XIX века было, несомненно, облагораживающим. Его внутренняя ошибка в понимании личности не сразу могла принести вредные плоды. А между тем социализм обращался к человеку с высокими требованиями, возбуждал веру в лучшее будущее, не позволял эгоистично закрывать глаза на страдания ближнего. Он в первое время обращался еще к человеку как к высшему существу, не проклинал богатого и знатного только за внешнее их положение, не сомневался в том, что и им не менее, чем бедным или приниженым, свойственно чувство любви к ближнему и стремление к общественному благу. Искание лучшего будущего было основано поэтому не на реках крови и насилиях, а на подъеме лучших сил человека. Мы видим в рядах первых социалистов множество людей действительно высокой нравственности. Русские могут вспомнить, что и наш Достоевский пострадал за увлечение фурьеризмом.

Кроме нравственного влияния, первый социализм имеет ту заслугу, что напомнил важность *экономических условий* и обязанность общества помогать своим членам не с одной полицейской стороны, а в целостном устройстве их жизни. В утопическом же социализме родилось первое стремление к уяснению внутренних законов общественности. Самое слово “социология” явилось впервые у Огюста Конта, ученика Сен-Симона.

Но уже в эти первые фазисы социализма мы постоянно видим, что он служил общественному благу только в тех случаях, когда осуществлял идею общечеловеческую, а не свою специфическую! Так, например,

устройство Оуэном фабрики в Нью-Ланарке обнаружило много полезного для общества, указало, например, пользу повышенного уровня жизни рабочих даже с точки зрения повышения промышленного производства. Но в этом опыте не было еще ничего социалистического, а было лишь применение общих гуманных начал к устройству крупных фабрик.

Во всех же случаях, когда социализм применял коммунистическую идею, его опыты терпели крушение и принесли лишь ту отрицательную пользу, что подтвердили современникам старую, много раз испытанную человечеством истину о несовместимости коммунизма с развитием личности и общества.

Напомню мимоходом, что коммунизм в первобытные эпохи играл гораздо более видную роль и отбрасывался людьми именно по несовместимости своей с прогрессом. В течение истории, помимо социализма, бывало немало опытов возвращения к коммунизму. У нас в России любопытные образчики этого наблюдались в немецких колониях. Известный исследователь Клаус (“Наши колонии”) между прочим рассказывает и о них. Особенно любопытна Радичевская колония, жившая в полном коммунизме, с общим трудом и питанием, и хотя здесь семейным людям отводили отдельные квартиры, но детей с трехлетнего, кажется, возраста воспитывали в общественном пансионе. Эта колония выдержала свой строй лишь до тех пор, пока молодое поколение не стало знакомиться с окружающим бытом немцев и русских. В сравнении с их свободной жизнью радичевцы начали скоро себя чувствовать как в тюрьме, и наконец молодое поколение произвело целую революцию, в результате которой коммунизм был уничтожен и колония усвоила общечеловеческий строй.

Совершенно такие же поучения дали и практические опыты социализма. По системам Оуэна, Фурье, Кабе и т. д. было устроено множество общин с затратой огромных средств, денежных и умственных, и все это неизменно рушилось. Я не стану приводить примеров. Я недавно приводил их в брошюре “Заслуги и ошибки социализма”. Множество их вы можете найти в книге Д. Щеглова “История социальных систем”. Но не могу не вспомнить недавние статьи г-на Тверского [5] в “Вестнике Европы” (ноябрь и декабрь 1906 года) в виду того, что он является отчасти и личным наблюдателем этих опытов. Г-н Тверской, известный своим передовым образом мыслей, уже давно стал гражданином Американских Штатов, где изучил теоретически историю до трехсот социалистических общин в Америке, а некоторые наблюдал и сам. Все они создают совсем незавидную жизнь и в конце концов рушатся.

Более долговечными оказывались те, которые основаны на религиозной почве, и одна из них, коммуна Нойеса, просуществовала пятьдесят лет, пока не умер основатель, после чего распалось и его создание. Но чисто экономические коммуны, говорит г-н Твердой, основанные на социализме и демократическом правлении, оказались абсолютно непрактичными. Причины их разрушения, во-первых, слабость производства, во-вторых — ссоры. В Тополабампо (в Мексике) коммуне были даны такие громадные богатейшие земли, из которых самая плохая частная компания извлекла бы миллионы, но социалистическая коммуна распалась, не прожив и двух лет. Из прежних общин многие также были основаны с огромными затратами, но в конце концов неизменно доходили до нищеты и банкротства. Принудительный труд оказывался непроизводителен, а надежды на всеобщее усердие из высших побуждений исчезают вместе с первым пылом колонистов.

Такой же язвой социалистических коммун являются ссоры. И это понятно. В нашем строе даже бедный человек все же сохраняет уголки жизни, где он независим. В коммуне, при неизбежном обязательном режиме, немыслима независимость даже в пустячных мелочах, и это порождает раздражение и ссоры. Человек жаждет независимости: “Хоть щей горшок, да сам — большой”. Система Фурье старается возможно больше щадить индивидуальность, но при социализме это недостижимо. Один из лучших фаланстеров Фурье, так называемый “Североамериканский”, просуществовавший неслыханно долгое время — целых двенадцать лет, скоро стал представлять картину уныния и апатии жителей. “Умственные интересы, — говорит г-н Тверской, — оказались в загоне. Фурьеризм вводил развлечения в систему, но не помогало и это. Некоторые члены, до поселения в фаланстере отличавшиеся живым, энергичным характером, переродились в узких, односторонних автоматов. Даже и увеселения отправлялись ими как служба, обязательство, а не как потребность живых людей”. Кончилось все это трехгодичными ссорами, уничтожением коммуны и общим разорением.

Те из социалистических общин, которые были долговечнее других, держались непременно чьим-нибудь деспотизмом. Исчезает деспотизм — начинается разложение.

VII

Все это лишь подтвердило исторический опыт человечества о непригодности коммунизма для основания цветущего общества. Но, терпя крушение в чисто социалистических опытах, первый фазис движения принес большую пользу тем, что напомнил людям идею *кооперации*,

которая была заглушена индивидуализмом. В этом отношении много сделали различные опыты, так сказать, смягченного социализма, отчасти у самого Р. Оуэна, отчасти у Луи Блана. Если такие принципы, как равенство платы, оказывались непреложными, то польза соединения усилий людей, сохраняющих свою независимость и собственность, но вступающих в союз, в совместное достижение своих общих целей, — эта идея стала быстро развиваться и нашла самые разнообразные применения. Я не буду упоминать множества ее пропагандистов вроде Шульце Делича, но укажу, что идея кооперации проявилась и в общих рабочих союзах, и в частных обществах, отчасти производительных, но более всего в учреждениях взаимопомощи, потребления и т. п. Эта идея выразилась даже в ассоциации капиталов — в виде акционерных компаний, которые постепенно начали становиться доступными и для самых мелких сбережений, присоединяя таким образом и рабочих к обладанию капиталом в производстве. Она проявилась и в привлечении рабочих к *участию в прибыли* на фабриках. Хотя применение столь развившейся идеи кооперации было совершаемо не социалистами и даже вызывало потом противодействие их, но первоначальный толчок делу этому был дан социалистическим движением.

Точно так же должно признать заслугу социалистического движения в деле организации рабочих, которая стала в XIX веке огромным фактором не только в улучшении быта рабочих, но и вообще всего общественного строя. И понятно, что без деятельного участия самого народа было бы невозможно понять, узнать и совершить то, что улучшает его положение. К этой самодеятельности рабочий народ по всей Европе был привлечен прежде всего социалистическим движением. Социализм давал рабочим ложные цели, но зато привлекал их к действию. Правда, что если у рабочих не хватало самостоятельности, чтобы потом освободиться от руководства социалистической интеллигенции, то их положение становилось, может быть, еще опаснее, чем было прежде. Но там, где рабочие умели стать самостоятельными, они, как в Англии, очень могут поблагодарить своих бывших социалистических учителей, так сказать, приговорительного класса. В этих случаях, начав организованно достигать своих разумных интересов, рабочие оказались полезными деятелями для всего общественного строя и даже для повышения типа промышленного строя.

Действительно, предприниматели сначала улучшали условия работы только в виде уступки. Но потом оказалось, что это ведет ко всеобщей выгоде и что промышленное производство можно поставить на тем более высокую ступень, чем выше личная развитость рабочего и обстановка его жизни.

В этом открытии XIX века, в сущности, нет ничего нового. Рабочий развитый, обученный и имеющий перед собою обеспеченную жизненную карьеру — это есть идея чисто средневековых цехов и корпораций. Но к XIX веку она была выброшена из обихода, и социализм напомнил ее людям, даже сам не сознавая важности этого. Разработана эта мысль была уже не социалистами. На это понадобилась огромная работа мысли научной и практической. Более всего сделали, конечно, сами рабочие своими союзами и борьбой против эксплуатации.

Со своей стороны, политическая экономия уже при Адаме Смите [6] отметила, что рабочие наилучшего качества встречаются там, где заработная плата выше. Окончательно значение высокого уровня жизни рабочих установлено было учеными внепартийными, как Луйо Brentano и Шульце Геверниц, но первые проблески идеи принадлежат Роберту Оуэну. К сожалению, социализм и в том случае стал пренебрежительно отворачиваться от этой идеи, как только она стала приводить к отрицанию надобности в революции.

Таковую же косвенную заслугу социализм имел и в деле пробуждения государственной мысли. Буржуазная идея сузила государственные задачи, превращала государство в простой департамент полиции. Социализм заговорил, что общество обязано пекись о всех нуждах своих членов, и этим пробудил историческое самосознание государства. Революционные движения рабочих еще более усилили значение такого напоминания. И действительно, уже в первой половине XIX века научная государственная мысль и практика государственных деятелей начали уничтожать буржуазно-государственную идею. Социалисты в этой работе уже почти не имеют участия, кроме разве отчасти Луи Блана и Лассаля. Но, раз пробудившись, государственная мысль уже не имела надобности в помощи социалистов для того, чтобы искать и находить достойный себе путь действий.

Все крупнейшие умы, разрабатывавшие государственную науку, как Блунчли, Лоренц Штейн [7] и прочие, совершенно разбивали буржуазную идею государства и начертывали ему широкую роль всестороннего устроителя всенародной жизни. Об руку с ним действовали и экономисты, покинувшие первоначальную “буржуазную почву”. Особенно велико значение идеи Фридриха Листа [8] о том, что богатство нации достигается не количеством “ценностей”, имеющихся у нее, а количеством “производительных сил”, откуда вытекала забота о развитии самих людей, и перед государством ставилась задача устремить свои усилия именно на повышение умственной, нравственной, профессиональной и экономической развитости всей массы населения.

Работа возрожденной государственности принесла уже огромные плоды за XIX век, и можно сказать, что государство конца XIX века резче отличается от государства начала XIX века, чем это последнее от систем XVIII века.

В этой работе науки, государственных людей и всех классов общества социализм, однако, оказался отщепенцем. Он уже не захотел принимать участия в улучшении общества и постепенно стал все больше мешать ему. Тут на практике проявилась ложность основной его идеи. Человечество стало улучшать свою жизнь не посредством уничтожения своего строя, а посредством действительного осуществления всех тех прав личности, которые составляют наш идеал, и посредством приведения государства к действительному исполнению его обязанностей. Человечество не уничтожало собственности, а стремилось к тому, чтобы и рабочий ее получил. Оно не уничтожало капитала, а стремилось к тому, чтобы и человек труда также стал обладателем капитала. Человечество не превращало свое общество в насильственную трудовую казарму, а только поощряло добровольное соединение в союзы и таким образом создавало свободную внутреннюю организацию. А так как вся эта работа пошла успешно и мало-помалу улучшала положение народа, то революция оказывалась ненужной, и вместо этого стала укрепляться идея мирного постепенного развития, эволюции. Социализм же непременно хотел произвести коммунистический насильственный переворот и создать новое общество на принудительном коммунизме. Поэтому он вместо того, чтобы поддержать государство в его новом благородном виде, начинает все более враждовать с ним. Таким образом, социалистическое движение постепенно начало становиться помехой прогрессу.

Общий ход его эволюции предоставлял такую постепенность, что, давши сначала толчок прогрессу, социализм становится все более и более помехой для него.

Сначала выдвинулся утопический социализм, который еще не ставил себе задач насильственной революции. Он только предлагал людям устроиться на новых началах и в доказательство их целесообразности предпринимал множество опытов отдельных общин.

Постепенно обнаруживалось, однако, что люди в целом не хотят или не могут идти по пути такого преобразования своей жизни на коммунистических началах. Социализм начинает тогда обращаться не ко всем людям, а к тем, которые находились в наихудших условиях современного общества, то есть к пролетариату. Он начинает призывать рабочих к насильственному перевороту, первоначально полагая, что этот переворот будет произведен всей массой народа против очень

незначительного числа “эксплуататоров”. И наконец, уже в новейшую фазу своей эволюции решается ставить своей задачей насильственный переворот силами меньшинства против всей остальной нации, доходя таким образом до высшей степени революционности и резко отрывая “социалистов” от остального народа.

VIII

Переход социализма на революционную почву раньше всего произошел в Англии, где, впрочем, социалистическая идея была сравнительно скоро и совсем остановлена. В наиболее же стройную систему она сложилась в марксизме. Я не стану говорить о революционном социализме Франции, потому что он всегда выражал скорее настроение, чем какую-нибудь стройную систему, так что к концу XIX века французы и сами в большей или меньшей степени начали тоже проникаться теорией Маркса, которая дала себе название “научного социализма”. На этой последней мы и должны остановиться как на высшем пункте развития социалистической идеи после времен утопических теорий.

Теорию Маркса нельзя признать действительно научной. Она и не вошла в достояние науки, а к концу века, кажется, ни одно из ее оснований нельзя уже считать выдержавшим критику науки. Но теория Маркса необычайно целесообразна как основа партийной революционной программы. В этом отношении нельзя было создать ничего более стройного во всех частях.

Теория Маркса, во-первых, призывает к социалистическому перевороту не вообще весь народ, а ту часть его, которая наиболее обездолена существующим строем, то есть пролетариат. Этот слой рабочих, если он находится в таком положении, как было в сороковых годах, а отчасти и до сих пор, ничего не может терять от каких бы то ни было переворотов, а может надеяться что-нибудь и выиграть. Поэтому он охотно готов выслушать и усвоить такую теорию, которая говорит в его пользу. Таковой объявила себя теория Маркса.

Понятно, что пролетарий, каковы бы ни были побуждения его личного интереса, не может не уважать истины научной. Теория Маркса именно и говорила ему от имени якобы последнего слова науки. Отнестись критически к этому последнему слову науки было бы, разумеется, очень трудно для наименее образованной части рабочих. И что же эта научная истина возвещала ему? Пролетариат, дотоле чувствовавший себя только униженным и оскорбленным, был объявлен

носителем последнего слова человеческого прогресса. На пролетариате должен был развиваться идеал будущего. То обстоятельство, что пролетариат беден, бессилен, необразован, ничего не значит.

Все делает сам естественный, неотразимый ход производства. Пролетариату нечего даже и предусматривать, как нужно будет устраивать сложное общество. Такая задача могла бы утратить своей непомерной трудностью. Но теория успокаивала рабочего, что ни знания, ни способности (как и вообще личность человека) не имеют тут большого значения. Производство само собою складывается и само же указывает форму сложения общества. Пролетариату достаточно улесться в эти формы, также не рассуждая, как он до тех пор работал на своей фабрике, с той приятной разницей, что он тогда будет не рабом, а господином. Борьба против той страшной силы, которую пролетарий видел в капитализме и в государстве, могла бы утратить и самого мужественного человека. Но теория Маркса успокаивала даже и самых малодушных. Никаких трудностей и опасностей не будет. Процесс концентрации капиталов сам по себе приведет к тому, что в число пролетариев перейдет весь народ, и в лагере капитализма останется лишь ничтожная горсточка людей, которых стоит толкнуть пальцем, чтобы они свалились.

Пролетарий, самый несчастный, униженный и оскорбленный, тем не менее, как человек, носил в сердце любовь к другим людям, к своему обществу, отечеству, нации, государству. Даже в самом капиталисте рабочий не мог не различать честного и доброго человека от действительно бессердечного эксплуататора. Все эти человеческие и общественные чувства мешают развитию безмерной ненависти, которая должна устремить рабочих на бой и разрушение. Учение Маркса заглушает все подобные чувства. От имени науки оно объявляет, что вся история общества есть история борьбы классов, что всегда один класс был грабителем другого. Описание “первоначального накопления” капитала не щадит у Маркса никаких красок для изображения этого грабежа. Никакая революционная прокламация не могла бы одностороннее и сильнее разжигать классовую ненависть. Наука Маркса внушала рабочему, что в этой хищнической борьбе он может и сам не стесняться в средствах. Что касается отечества, то оно совсем не существует там, где всем властвует борьба классов, и чувство патриотизма само собою становится бессмыслицей.

Такое представление человеческого общества и человеческих отношений могло бы очень легко подрываться у пролетария более близким знакомством с действительной наукой. Но ему решительно заявляли, что нет науки, кроме учения Маркса. Все прочее — не более как

буржуазные выдумки. Везде они только обманывают пролетария. Борьба классов переносится Марксом и в ту область, где о ней оскорбительно даже и слышать тому, кто сколько-нибудь знаком сам со святым преклонением перед *истиной*, которое одно создает науку и которое всегда было у честных умов, не преклоняющихся ни перед какой борьбой или соблазнами. Но это разделение науки на социалистическую и буржуазную было в высшей степени целесообразно с партийной точки зрения. Оно закрепощало рабочего умственно перед партией, делало его глухим ко всякому возражению, ко всякой попытке раскрыть ему глаза на объективную истину.

Рабочего, наконец, могло охлаждать в отношении партии то соображение, что какой бы рай ни предстоял в будущем, а не мешает позаботиться и о настоящем, слишком уже тяжком. Теория Маркса отвлекала и от такого соблазна постепенных улучшений обещанием, что социалистический переворот произойдет очень скоро. Терпеть не долго. Процесс концентрации капиталов идет гигантскими шагами. Впоследствии, когда доверие рабочего класса начало истощаться, руководители социальной демократии начали прямо предсказывать сроки социального переворота. Энгельс предвещал его на 1898 год, Бебель обещал и раньше, говоря в 1891 году, что небольшое из присутствующих в собрании не увидят собственными глазами исполнения его пророчества.

В общем, таким образом, теория Маркса всесторонне приспособлена к тому, чтобы привлечь рабочих к организации революционного переворота и удержать их в своих руках. Это учение и льстит рабочим, и успокаивает их, и ободряет, и предохраняет от влияния голоса справедливости, гуманности, любви к родине, и, наконец, замыкает завербованных в круг, изолированный от всяких влияний, способных возбудить в них критическую работу ума.

В гражданском отношении, понятно, трудно бы было создать что-либо более деморализующее. Если можно говорить о заслугах социально-демократической партии в Германии, то разве только в том отношении, что она все-таки соорганизовала воедино очень большие массы рабочих. Число социал-демократов, вносящих плату в кассу партии, составляет 400 000 человек, которые имеют влияние на целый миллион рабочих. Но социальная демократия, захватывая рабочих к себе, мешала образованию чисто рабочих союзов, так что хотя идея профессиональной организации (гирш-дункеровские общества) возникла в Германии одновременно с социализмом, однако же все вместе взятые организации профессиональные (гирш-дункеровские, христианского социализма и разные отдельные союзы) поныне насчитывают едва ли больше двухсот

тысяч. А между тем в массах народа, собираемого под знаменем социальной демократии, развивается лишь полное отщепенство от остального немецкого народа.

Если социал-демократическая партия не могла совершенно противиться стремлениям рабочих к улучшениям своей жизни и устраивала разные союзы, то делала это собственно в целях проникновения в рабочую среду для пропаганды и агитации. В парламенте же она ясно доказала, что не только не стремится к улучшению быта рабочих, но даже старается не допустить законов, к этому ведущих. При последних выборах в рейхстаге (1907 г.) противники социальной демократии составили любопытный подсчет того, что делала эта партия в парламенте с 1880 по 1906 год. Он помещен в журнале “Zukunft” (за февраль). Называя себя рабочей партией, социал-демократы в рейхстаге подавали голоса против всех налогов, которые переносили тяжесть обложения с рабочих классов на богатых. В 1881, 1885, 1894, 1900 и 1906 годах социалистические депутаты систематически отвергали *налоги на биржу* и их увеличение. В 1900 и 1902 годах они голосовали против пошлин на иностранные *дорогие вина*, в 1902 году — против пошлин на *предметы роскоши*, в 1904-м — против налога на автомобилистов. Законы для какого бы то ни было обеспечения рабочих социал-демократия старалась не допустить в рейхстаге. Так, в 1880 году партия голосовала против закона, преследующего *ростовщиков*, а в 1896-м — против закона о злоупотреблениях закладчиков. В 1883 году партия голосовала против *страхования рабочих на случай болезни*, в 1884-м — против *страхования от несчастных случаев*, в 1885-м — против *обеспечения инвалидов и старых рабочих*; в 1891-м — против закона о мерах к *безопасности рабочих* во время их труда, в 1903-м — против *улучшения касс для больных рабочих*. Социальная демократия вотировала и против законов, вносящих в промышленные отношения больше порядка: в 1890 году — против *ремесленных судов*, в 1905-м — против *коммерческих судов*. С начала до конца она, таким образом, старалась не допустить никаких улучшений жизни рабочих, очевидно, для того, чтобы держать их в более революционном настроении. В сотнях тысячах организуемых ею рабочих она создавала только массу, отрицающуюся от национальной жизни, проклинающую государство и общество и живущую одной мечтой: разрушить общество и захватить его наследие.

В первое время социальная демократия по крайней мере не вводила в свою программу насилия пролетариата над всей нацией. Теория гласила, что весь народ превратился в пролетариев и насилие потребует лишь в отношении ничтожной горсти эксплуататоров. Но время шло, предсказание не осуществлялось, и являлась даже мысль, что

пролетариат уменьшается. И тут-то антиобщественная идея дала все свои плоды, и партия решилась пустить в ход насилие над всем народом. Об этом печальнейшем фазисе социализма я сейчас скажу. Но предварительно бросим взгляд на Англию, где общий ход движения принял совершенно иной оборот.

IX

Английские рабочие раньше других вступили на революционный путь для защиты своих интересов, тогда еще и не зная социализма. Они защищали чисто трудовые интересы, образуя для этого союзы, привычка к которым была у них сильна и в старые времена. При этом они были настолько полны веры в общенациональную справедливость, что обращались за поддержкой и к королю, и к парламенту. Но никто не оказывал им помощи, и они для защиты от явных притеснений и незаконий капиталистов стали переходить на путь революционный.

К этому-то революционному движению и примкнул социализм в лице самого Р. Оуэна, который от неудачных опытов коммунистических общин решил перейти к целостному революционному перевороту во всей нации сразу.

Его пропаганда вложила в рабочее движение общую идею. В 1833 году на конгрессе своих единомышленников в Лондоне Оуэн Уже объяснил, что имеются в виду “великие перемены, которые ниспадут на общество внезапно, как тать в ночи. Имеется в виду возникновение таких национальных учреждений, которые бы соединили все трудящиеся классы в одну великую организацию так, чтобы каждая ветвь знала, что происходит в других ветвях, чтобы прекратилась всякая индивидуальная конкуренция и чтобы все фабрики велись национальными компаниями. Все отрасли труда должны образовать ассоциации лож с таким числом членов, которое достаточно для ведения дела, и все лица, принадлежащие к данной отрасли труда, должны стать ее членами”.

На этот призыв к общему социалистическому перевороту рабочие сначала отозвались в огромных массах. В 1834 году “Великий консолидированный национальный рабочий союз” имел по меньшей мере 500 000 членов (цифры Уэббов). Не чуждаясь взаимопомощи членов, он имел в виду общий переворот, и с тех пор мы начинаем видеть в Англии те приемы борьбы, которые отсталая Европа пробует лишь теперь. Так, “Великий национальный рабочий союз” задумал применить по всей стране гигантскую всеобщую забастовку, на поддержание которой из карманов рабочих сыпались последние шиллинги. Но ничего из этого не

вышло, и после четырехмесячной борьбы забастовка кончилась полным поражением рабочих, которые принуждены были стать на работу, ничего не добившись. Тридцатые и сороковые годы были вообще революционным временем английских рабочих, которые пробовали ставить и политические требования (особенно в так называемом “чартизме” — Рабочая хартия). При этом происходили и возмущения, и убийства, и казни, и Лондон погружался во тьму забастовщиками (Вестминстерские кварталы). Все это англичане проделали на восемьдесят лет раньше нас. В 1848 году против стотысячной массы рабочих, двинувшихся в Лондон, был выставлен сам герцог Веллингтон.

Однако практичные англичане очень скоро воспользовались печальным опытом, и во всех классах народа явилось стремление разобраться в происходящей неурядице. Возникает усиленная разработка политической экономии, с которой стараются систематически знакомить и рабочий класс. Правительство первое в Европе дает рабочим право организации и само начинает меры к урегулированию условий труда. Среди самих же рабочих возникает стремление к самостоятельной практичной самопомощи.

Сороковые годы, которые были началом революционных увлечений для континентальных стран, для английских рабочих сделались *началом совершеннолетия*. Они выходят из-под руководства какой-либо посторонней интеллигенции и начинают жить как *самостоятельный рабочий класс*. Они начинают вести не социалистическую, а чисто свою, рабочую организацию, отбрасывают социалистические цели и начинают вырабатывать цели сами для себя. Выступают на сцену действия сами рабочие массы, и их движение принимает характер “профессиональный”.

Множество замечательных вождей выдвинули рабочие на этом пути, где им приходилось так много бороться.

Для своих знаменитых стачек они выработали строго обдуманную тактику. Но еще более замечательны выработанные ими системы соглашений с предпринимателями, в чем иногда много помогали и сами предприниматели, как известный Мунделла [9]. Образование множества обществ и союзов, чисто рабочих, с чисто рабочими целями: для повышения платы, для регулирования времени и условий труда, для соглашений с предпринимателями, для экономической взаимопомощи — вот, в общем, содержание того великого движения, которое называется тред-юнионистским. Это движение, принеся неисчислимую пользу рабочим, в то же время обогатило человеческую общественность множеством новых остроумных комбинаций жизни, дало даже новые

исходные точки зрения науке и было главным пробным полем, установившим научно ту истину, что “высокий уровень жизни” рабочего есть источник повышения национального производства.

Я не могу останавливаться на подробностях этой картины истинного прогресса общества и лишь вкратце замечу, что английские рабочие в своей организованной части, охватывающей около двух миллионов человек, то есть не менее пяти-шести миллионов населения, вообще достигли огромного улучшения своей жизни. Когда мы просматриваем бюджеты рабочей семьи (например, у Шульце Геверница), мы находим в ежедневном употреблении то, что у нас составляет достояние только верхних классов общества: пшеничный хлеб, овсяную муку, рис, картофель, чай, сахар, молоко, кофе, яйца, масло, сыр, говядину, баранину, свинину, овощи, пикули, маринованные фрукты, пиво, табак и т. д. Все это значит в постоянном употреблении. В бюджет рабочего входит расход на газеты, на клуб, на летние поездки для семьи и т. д. Общим требованием рабочего сделалось и то, чтобы его заработная плата давала возможность ежегодных сбережений.

Продолжительность рабочего дня в Англии разнообразна. В эпоху своего социализма рабочие тоже требовали восьмичасового дня, но потом нашли более выгодным предоставить дело свободному соглашению, в котором самостоятельность рабочих обеспечивается их могущественными организациями. Таким образом, в Англии и теперь местами работают и по 12 часов, местами и по 8, а в среднем около 9. Но что касается заработной платы — она систематически растет. Стараясь при этом не подрывать фабрик, рабочие во многих союзах выработали и приняли систему “подвижных шкал”, по которой хозяева обязаны увеличивать плату при хорошем ходе дел, при плохом же рабочие обязаны брать меньшую. Но общая сумма заработка очень выросла. В 1860 году английские рабочие получили 3.900.000.000 рублей заработка, а в 1895 году почти вдвое больше — 6.900.000.000 рублей. Это возрастание идет по всем производствам. Так, с 1846 по 1895 год у каменотесов недельный заработок поднялся с 10 рублей до 19, у надсмотрщиков за машинами — с 7 до 17 и т. д. Но, кроме возрастания доходов рабочих, созданные ими организации взаимопомощи на всевозможные случаи — болезнь, безработность и т. д. — чрезвычайно упрочивают положение лиц рабочего класса.

Огромное развитие кооперативных обществ — потребительных — приносит новое уменьшение расхода и возрастание дохода. В 1897 году рабочие потребительные общества Англии имели 1 468 000 членов, то есть приносили пользу не менее пяти миллионам населения. Они

обладали капиталом более 200 миллионов рублей, доставляли продуктов на 500 с лишним миллионов и при этом давали им еще свыше 60 миллионов чистой прибыли. Несомненно также, что рабочие приобщаются и к обладанию капиталом, ибо доход с тех мелких капиталов, которые не подлежат оплате налогом, возрос в английском населении с 1860 по 1895 год с 640 миллионов рублей до 1 миллиарда 300 миллионов.

Конечно, в английском рабочем мире еще много нищеты, и все, интересующиеся участью рабочих, жалуются на это, говоря, например, что четверть рабочего населения находится на уровне, с которого начинается нищета. Должно, однако, заметить, что понятие о нищете относительно. В Англии требуют, чтобы рабочий обладал достаточными средствами для “приличной жизни”. С этой точки зрения все зарабатывающие менее двадцати шиллингов в неделю (то есть 10 рублей) засчитываются в бедняки. Но действительно безбедное существование возможно в Англии не только при пяти рублях в неделю, но даже при трех-четыре. Это видно из того, что рабочие союзы выдают своим безработным членам обыкновенно по 5 рублей (10 шиллингов) в неделю, а для забастовщиков, не принадлежащих к союзу, даже только по 3 рубля в неделю (по 6 шиллингов). Значит, очень бедно можно жить и на 3 рубля, а следовательно, те, которые получают по 10 рублей, с нашей точки зрения далеко не могут считаться на границе нищеты. Впрочем, мы имеем объективные указания на улучшение положения рабочих. По исследованиям Гумфриса, средняя продолжительность жизни мужчины возросла за последние 40 лет на два года, а женщины — на три с половиной года. Количество бедных, получающих пособие, составлявшее в 1820 году почти 20% населения и еще в 1849 году равное 6,3% населения, понизилось к 1896 году до 2,5%. Ясно, что рабочие организации улучшили положение не только своих собственных членов, но всего низшего класса. Сэр Роберт Джиффен [10], величайший знаток рабочей статистики в Англии, в то же время очень сердечно думающий о благе рабочих, заявляет: “Несомненно, что *положение народной массы бесконечно лучше, чем 50 лет назад*, что видно из большей продолжительности жизни, увеличения потребления жизненных средств, из лучшего образования, из большей свободы от преступлений, из увеличения сбережений. Этому не противоречит тот факт, что существует еще зло, остающееся не устраненным, существуют подонки общества”.

Такие результаты, достигнутые английскими рабочими посредством профессиональных организаций, по-видимому, совсем подорвали среди них социалистическую идею. У англичан есть социалисты по личным, отвлеченным убеждениям, но *в рабочей партии*

не дают места социалистическим программам. Социал-демократизм сделал сильный натиск на английских рабочих в середине 80-х годов, когда Эвелинг [11] (близкий Марксу человек) основал в Лондоне газету “Коммонвилл” и пытался создать социал-демократическую фракцию. Ему тогда много помогло присоединение Джона Бернса, только что вошедшего в славу рабочего вождя, которого и я имел случай видеть. Но социал-демократы в Англии не могли собрать много сторонников. Вот с тех пор прошло двадцать лет, и на последнем рабочем конгрессе в Белфасте попытка внести социалистическую программу потерпела полное поражение, отвергнутая 950 000 голосов против 98 000. Можно думать, что для английского рабочего социализм составляет уже пережитый фазис развития и заменился сознанием, что благо всех и каждого достигается не уничтожением исторических основ общественности, а разумным их приспособлением к условиям каждого данного времени.

X

Совсем не то происходит на континенте.

Сам по себе ход экономическо-государственного развития, несмотря на то что социализм отвлекал огромное количество сил общества и народа от творческой социальной работы и вечными угрозами революции заставлял государство тратить множество сил и средств на охрану вечно угрожаемого и непрерывно нарушаемого общественного спокойствия, — несмотря на это благоприятное условие, ход развития общественности стал все более обнаруживать неверность теории социального демократизма. Предсказываемое Марксом и Энгельсом превращение всего народа в пролетариев не осуществлялось. Число собственников не уменьшалось, а возрастало, концентрация капиталов в производстве шла довольно туго, мелкое производство обнаруживало большую способность выживать и бороться за существование с крупным.

Приведу некоторые данные по этому предмету.

В области земледелия в Бельгии количество земель в среднем крестьянском хозяйстве *утроилось*, крупное же землевладение *уменьшилось*. Во Франции мелкое землевладение также увеличилось. В Англии, где собственно землевладение еще со времен Вильгельма Завоевателя попало в руки 60 000 человек, у крестьян в собственности немного земель, но обработка ее развивается в виде мелких хозяйств, на которые приходится 66% всей земли, тогда как на крупные хозяйства — всего 2,5% земли. Капиталистическое хозяйство не обнаруживает способности одолеть крестьянина, напротив, число гигантских хозяйств

уменьшается. В Германии точно так же крестьянское хозяйство захватывает все большее количество земли, увеличившись за последние 15 лет на 30%. Крупное же хозяйство сокращается. “Не подлежит сомнению, — говорит Берн-Штейн, — что во всей Западной Европе и в Восточной Америке — всюду растет мелкое и среднее хозяйство и понижается крупное и исполинское”.

Та же устойчивость мелкого и среднего производства проявилась и в обрабатывающей промышленности.

В Германии крупная промышленность к 1895 году не могла собрать на фабриках более 1/2 всех рабочих. В 1895 году из 10,5 миллиона рабочих Германии крупная промышленность занимала лишь 3,25 миллиона. Средней же величины заведения — 2,5 миллиона, мелкие (ниже пяти человек) — 4,5 миллиона. Да сверх того имелось 1,25 миллиона ремесленников. Притом число рабочих на мелком и среднем производстве прямо возрастает. На мелком (до пяти человек) в 1882 году было 2.400.000 рабочих, а в 1895 году 3.056.000 человек. В предприятиях до десяти рабочих было 500.000 человек, а стало 830.000.

Концентрация рабочих и повсюду подвигается плохо. Во Франции на одного хозяина теперь приходится в среднем всего три рабочих, в Австрии — по четыре рабочих.

Распределение собственности также становится правильнее. В Саксонии в 1870 году почти 80% населения получало менее 800 марок в год, а в 1894 году меньше 800 марок получало лишь 64% населения, тогда как число зажиточных возросло с 20% до 36%. В Пруссии число населения возросло *вдвое*, а число зажиточных в *семь раз*. Вообще, ряд данных показывает, что существующий строй постепенно улучшает положение народа и что количество пролетариата относительно уменьшается.

Казалось бы, такая тенденция естественного хода вещей должна была побудить социалистов оставить ложную теорию и присоединить свои усилия к тому, чтобы еще более увеличить и ускорить ход возрастания народного благосостояния. Но социальная демократия, совершенно наоборот, тут-то и начинает торопиться произвести социалистический переворот.

При этом уже откровенно заявляется, что социальная демократия должна будет бороться *против всей нации* и, так сказать, намерена завоевать ее, соответственно с чем располагаются и средства действия.

“Одна из особенностей современного положения, — говорит Каутский, являющийся теперь официальным публицистом партии, —

заключается в том, что в настоящее время мы (социал-демократическая партия) встречаем наиболее упорное сопротивление *не со стороны правительства*”. “В прежних революциях принимала участие вся нация, объектом же нападения было только правительство”. Теперь все изменилось. “Революционные слои не являются, как было при прежних революциях, представителями огромного большинства народа против горсти эксплуататоров, а являются, в сущности, представителями лишь одного класса, против которого стоят не только все эксплуатирующие классы, но и большинство мелких буржуа, и крестьяне, и большая часть интеллигенции”, короче: *весь народ* (“Социальный переворот”).

“Особенность” эта так важна, что при некотором уважении к человеческому праву те люди, которые сами сознаются, что против них вся нация, были бы обязаны отказаться от революции, которая в таких обстоятельствах является противонародным преступлением.

Но социал-демократическая публицистика заботится лишь о том, чтобы доказать своей партии возможность захвата власти даже и при этом условии. Каутский указывает, что социал-демократы лучше организованы, тогда как остальные слои народа раздроблены, указывает, что у социал-демократов больше мужества и решительности, чем у других, и что, сверх того, для произведения переворота они могут воспользоваться “благоприятными обстоятельствами”. Таким благоприятным обстоятельством выставляется, например, внешняя война, когда правительство, обремененное тяжелой защитой от неприятеля, оказывается слабым для отражения внутренних врагов. Другим условием указывается *всеобщая забастовка*. Я упоминал, что эта идея являлась в порыве раздражения и у английских рабочих в то время, когда они еще находились под влиянием социализма. Но здравый смысл и общественное чувство скоро показали англичанам, что, борясь такими средствами, они могут только погубить общество и с ним самих себя. У современных же социал-демократов и через семьдесят лет может восхваляться и рекомендоваться подобный способ борьбы. Так, по поводу русских забастовок г-жа Роланд Гольст по рекомендации Каутского написала целый трактат о всеобщей забастовке. При этом она говорит: “Путем всеобщей забастовки русские пролетарии разрушили силы врагов. Путем стачки они сделали невозможным существование и какую бы то ни было деятельность, внесли в общественную жизнь беспорядок и неустойчивость, доведшие общество до невыносимого состояния, понизили доходы государства и навязали ему новые расходы, заставили войска и полицию нести изнурительную службу и т. д.” (“Всеобщая стачка и социал-демократия”).

Такая пропаганда, поощряющая человека хвалиться количеством страданий, причиненных им как отдельным лицам, так и всему обществу, составляет пропаганду истинного человеконенавистничества и разрушает всякую тень общественной нравственности. Дошедши до такого состояния, социалистическая идея превращается в нечто неслыханно реакционное, отодвигающее человечество к самым варварским временам. При достигнутой степени культурного развития мы не признаем голого права силы даже в международных отношениях, не можем признать правоты монголов, например, только из-за того, что они были сильнее раздробленной междуусобиями России. Социальная же демократия рекомендует миллиону рабочих сплотиться так искусно, чтобы оказаться сильнее всей нации и потом подчинить ее силой своему режиму. Мы считаем недопустимой измену тому обществу, в котором приняли права гражданства. Социальная демократия рекомендует напасть на свою страну во время внешней войны, то есть когда обязанность гражданина состоит в том, чтобы, забыв внутренние споры, стать дружно за общий интерес нации. Но, становясь на такую почву, социалистическая доктрина разрушает не только современное общество, а делает невозможным какую бы то ни было общественность. Она разрушает самую способность людей жить в обществе и созидать общество.

Для человека, не ослепленного страстью, ясно, что, воспитывая в людях полное презрение к праву других и даже к праву национальному, нельзя из таких лиц создать нового общества. Характер и привычки, сложившиеся на таких понятиях и на дикой борьбе, поправшей ногами все принципы, не могут не передаваться всем окружающим, а уж тем более укрепляются у самих социалистов. Если бы они и успели победить и захватить в свои руки современное государство, то они будут проявлять в новом обществе те же качества, которые воспитала в них социал-демократия. Привыкши к презрению права личного и общечеловеческого, они неизбежно будут также коварно изменять и социалистическому обществу, если в нем что-либо им не понравится, будут позволять себе такие же насилия над новым обществом. Такие люди всякое общество, старое или новое, превратят в арену взаимных коварных нападений, взаимного разрушения и междуусобиц. Свобода и благосостояние возможны только среди людей, которые проникнуты уважением к общему праву и во взаимной борьбе не позволяют себе доходить до его нарушения.

Это всецело относится и к идее всеобщей забастовки. Стачка, забастовка вполне понятны как орудие частной борьбы между двумя враждующими частными силами: рабочими и предпринимателями. Но *всеобщая забастовка* обращает частную или классовую борьбу против

всего общества. Это уже составляет попрание общественного права, и толкать рабочих на такой путь — значит развивать в них чувства эксплуататоров.

Во всеобщей стачке воспитывается такой эгоизм, какой редок даже среди самых типичных эксплуататоров.

Здесь человек, во-первых, приучается хладнокровно причинять страдания всем окружающим, без всякого внимания даже к тому, враги ли они ему. Нужно вспомнить, какими страшными бедствиями и лишениями всеобщая забастовка падает на всех на причастных борьбе, не повинных ни в какой эксплуатации, не говоря уже о стариках, больных, детях и т. д.

История передает как пример благородного человеколюбия поступок короля Генриха IV [12], который доставлял хлеб в Париж, осажденный им во время гражданской войны. Вот какие люди и какие чувства способны созидать общество! Уничтожить же в своем сердце всякую искру человечности — это значит губить общество.

Подрывая общую нравственность в человеке, идея всеобщей забастовки, вообще забастовки предприятий общественно необходимых, подрывает, сверх того, в рабочем человеке главное его украшение: трудовую нравственность, профессиональную этику. Трудящийся человек именно этим чувством выше нетрудящегося. Трудовая этика говорит нам, что мы своей работой не только получаем сами средства к жизни, но распространяем благо на всех людей, служим человечеству, являемся в труде своим общественными деятелями. Этим чувством свят наш труд. Он есть наша нравственная обязанность перед человечеством, он есть наша помощь не только известным, но и неизвестным, всем человеческим существам. Но какие противоположные чувства прививает нам идея всеобщей забастовки! Репортер “Русского голоса” (3 марта, № 51) рассказывал уличную сцену из забастовки городских трамваев. Забастовка кончилась, но появились агитаторы, горько упрекавшие своих товарищей в измене. Те отмалчивались или говорили: “У меня вон семеро; все просят есть... Вот и бастуй...”

Этот бедный человек помнит, что у него семеро детей. Из-за их голодного писка он прекратил забастовку. Но как же ни он, ни агитаторы, упрекающие его, не потрудятся вспомнить, что тысячи семейств, у которых тоже дети есть просят, поставлены в самое тяжкое положение отсутствием конок и трамваев? Как же рабочему или другому служащему вовремя попасть на работу? А он из-за опозданий иной раз может и совсем потерять место. Дети же и у него пищат, есть просят. Но ни о чем подобном этот кондуктор не думает. Он думает или о прибавке

жалованья, или о том, чтобы вовсе не потерять жалованья, а как это отражается на судьбе других людей - ему все равно. В таком человеке уже подорвана трудовая этика. Он уже не имеет самого высокого чувства работника.

А что сказать, когда рабочие, поставленные на водопроводе, начинают грозить пресечением воды для жителей? Ведь это хуже измены на войне.

Если бы мы превратились в людей, забывших трудовую нравственность, то между нами возможна была бы только взаимная эксплуатация, грызня и резня. С такими людьми нечего и толковать о каком-нибудь лучшем строе жизни. Чувством профессиональной этики наша общественность держится, может быть, более, чем каким другим, потому что в труде своем человек является общественным деятелем не раз в год, не только на каких-нибудь выборах, а ежедневно и ежечасно. И вот это-то сознание общественного значения нашего труда, сознание того, что он имеет своей задачей не замаривание, а постоянное оживотворение всего окружающего, заставляют забывать новейшие социалисты.

Ставя своим идеалом коммунизм, они сами заставляют людей забывать, что наш труд не есть только наше частное или партийное дело, но общественное и общечеловеческое. Говоря об обобществлении всех отношений, они разрешают насилие над обществом. Говоря о трудовом обществе, они уничтожают трудовую этику.

Но, вырабатывая таких людей, которые утрачивают уважение к другим людям, к обществу, к человеческому праву, что же можно создать? Если люди уже ни на кого не в состоянии будут положиться, если, например, при самом социалистическом строе хранители общественных складов устроят забастовку в раздаче продуктов или в доставлении фабрикам электрической силы, какое же возможно общество? Тут, после долгой резни, все могут лишь прийти к заключению, что невозможно жить иначе, как создав какой-нибудь страшный центральный деспотизм, который грозным принуждением, карой и вечным надзором за всеми и каждым заменил бы действие погибшей в людях нравственности, гуманности и сознания своего общественного долга.

Когда вспоминаешь первые фазисы социализма в начале XIX века, вспоминаешь эти горячие обличения эксплуатации и бесчеловечия, горячие призывы к человеческой солидарности и сравниваешь эти прежние речи с нынешними воззваниями к борьбе против всего общества, во имя своей партийной программы, с забвением всех человеческих чувств, с призывом морить не только врагов, а всех, кто попадется,

голодом и жаждой — то нельзя не видеть страшного регресса. Идея, призывавшая к обновлению мира, превратилась в идею, возвращающую его к самым первобытным временам дикости, когда человек еще не умел сознать брата в другом человеке. Именно это и приводит теперь многих в ужас перед социализмом как перед носителем гибели общественности, а стало быть, и всей культуры.

Я должен, однако же, сказать, что когда какое-либо учение или общественное движение доходит до таких отчаянных средств действия, то это показывает не возрастание его силы, а внутреннее сознание, что дни его сочтены. Сила всегда великодушна, и то учение, которое ее имеет, не станет себя компрометировать бесчеловечием или изменой. Новейшая тактика социализма явилась, я полагаю, только оттого, что он уже видит свое ослабление, видит, что человечество уже нашло пути к обновлению без него и начинает все более переходить на эти пути.

Едва ли поэтому можно сомневаться, что как ни грозны по приносимым бедствиям движения современного социализма, они выражают не усиление, а упадок социалистической идеи. По всей вероятности, рабочие Европейского континента теперь переживают тот период, который переживали англичане в 40-х годах прошлого века, и, по всей вероятности, придут к тем же заключениям и решениям, которыми революционное социалистическое движение закончилось тогда у английских рабочих: то есть к решимости бороться за свои интересы не путем разрушения общества, не путем переворота, а путем систематического улучшения существующего строя, путем действительного осуществления в нем вечных основ общественности.

XI

Если период вражды и революций действительно завершится наконец новой эрой солидарности, то что же может сказать история будущего, подводя итоги социализму XIX и XX веков? Мне кажется, что эти итоги полезного и вредного, принесенного им к нашей общественности и государственности, могут быть сведены к следующим пунктам:

Социализм с начала XIX века *будил человеческую мысль и совесть* обличением несомненных несправедливостей и неурядиц современной жизни. Он напоминал современному человеку, что у нас пребывают в омертвлении наши собственные идеалы. Все это способствовало оживлению общественной работы по оздоровлению строя нашей жизни.

Социализм обратил внимание современников на огромное значение *экономических условий*. Это способствовало появлению стремления понять их и регулировать сообразно нуждам современного человека и общества.

Социализм много сделал для *организации рабочего класса*. Там, где рабочие не были достаточно активны для того, чтобы при этой организации освободиться от ферулы социалистической интеллигенции, они, пожалуй, тоже попадали в зависимость и вредную, и опасную. Но там, где рабочая организация становилась самостоятельной, не непременно “социалистической”, а “рабочей”, она была источником не только своего, а всеобщего блага.

Социализм, хотя и посредством крайних теоретических преувеличений, обратил внимание современников на необходимость *усиления коллективного начала* в обществе, которое было чрезмерно индивидуализировано.

Социализм был причиной, напомнившей *государству* буржуазного строя его социально-экономические обязанности. Хотя большинство социалистов мечтало о разрушении государства, однако были среди них и такие люди, как Луи Блан и Лассаль, ставившие государству высокие цели.

При этом даже и самый призыв к революции, сделанный социализмом, имел свои полезные стороны, так как *опасностью угрозы* заставил подумать о справедливости даже тех, которых совесть и разум не были достаточно чутки к добровольному исполнению требований справедливости.

Таковы полезные для общества и государства последствия социалистического движения XIX и XX веков. Но, переходя к пассиву 'социализма, должно сказать, что он к каждой капле своего меда подливал слишком много дегтю.

Он заставляет человека забывать свою высокую природу. Он отрицает личность как начало самостоятельное и творческое. Этим он ведет и к действительному принижению личности, которая не может развиваться у человека, уверовавшего в ее ничтожество и полную зависимость от внешних условий.

Социализм уничтожает общечеловеческую нравственность и воспитывает вместо нее классовое товарищество, для которого всякий чужой уже не брат. Достигнутое долгим и трудным историческим процессом чувство общечеловеческого братства социализм подрывает и

этим низводит человека на те первобытные ступени этики, где он не умел еще различить себе подобного вне своего кружка или стада.

Так воспитывая личность, социализм отнимает у нее же самой способность к независимости, вырабатывает человека, рабствующего перед кружком. Такая личность уже не постоит за правду, хотя бы и против всего мира. Этим и для общества вырабатывается плохой гражданин, “куртизан” перед царем или народом, а не смелый стоятель за правду и благо.

Социализм совершенно не признает никакого человеческого права, ни личного, ни народного. У него одна мерка: выгода или невыгода для партии. Он решается насильственно завоевать общество, его не желающее, и заставить людей жить так, как он сам укажет. Не то право, которое люди сами вырабатывают для себя, а свое мнение считает он решителем чужих судеб. В этом презрении к чужому праву социализм доходит до отнятия у людей свободы действий, имущества, созданного даже трудом, даже детей у родителей. Такое полное презрение к праву других людей мы знаем лишь в истории завоеваний самых свирепых варваров. В истории же внутренних гражданских отношений мы даже и не знаем примеров такого насилия над согражданами и такой готовности на измену нации. Этим социализм, даже еще и не господствующий, вносит постоянную язву развращения в наше общество и государство.

Для построения будущего общества социализм прибегает к коммунизму, который за всю историю человечества постоянно доказывал свою несовместимость с производительностью труда и в многочисленных опытах самого социализма всегда приходил к банкротству общин.

Такое предприятие свое, явно осужденное на банкротство по растрате скопленных человечеством капиталов, социализм хочет привести в исполнение насильственно, не останавливаясь ни перед какими средствами. Этим он вынуждает и наше общество отвлекаться от улучшения своего строя и удовлетворения народных нужд на защиту свою от заговоров, измен и революций со стороны социализма, тратя средства, время и силы государства на вечное бодрствование на страже. Этим у нашего общества и государства отнимается непроизводительно огромное количество силы и средств.

Таков пассив социализма, постепенно все более и более превышающий его актив.

ХII

В таком положении, какое он принял в конце концов, он является прямым врагом существующей общественности и государственности. Он ставит прямо одно из двух: или он уничтожит историческое общество, или оно должно его уничтожить. В чем могут быть средства для защиты исторических основ общественности?

Само собою, на прямое вооруженное нападение государство отвечает такой же силой. Оно для того и получает силу, чтобы защищать безопасность и неприкосновенность общества. Но применением силы не решается вопрос. Задача общественности и государственности состоит не в одном том, чтобы уметь победить в бою возмущившуюся часть сограждан, а в достижении того, чтобы такого возмущения совсем не происходило. А для этого, очевидно, нужно, чтобы всем было хорошо жить, так чтобы граждане и не доходили до преступной мысли разрушать свое общество, но любили бы его и сами старались его поддерживать.

Как же достигнуть этого? Я, конечно, не могу теперь развивать подробной программы улучшений. Скажу лишь вкратце, что для этого нужно иметь, во-первых, *правильные цели*, во-вторых, *правильные средства*.

Правильные цели состоят не в уничтожении свободы и прав личности, а в том, чтобы права и собственность принадлежали каждому члену общества, и не в теории только, а в действительности. Для достижения этого нужно действие всех сил, какие существуют в человеческой общественности.

Общественность — явление сложное. Тут действует и отдельная личность, и частные группы, ассоциации и т. п., и классовая организация, и общенациональная государственная организация. Если мы хотим чего-нибудь достигнуть, мы должны пустить в действие все эти силы, не уничтожая и не подрывая ни одной. В этом и состоят правильные средства действия.

Нужно, чтобы энергично действовала личность, а потому требуется сохранить все ее права, не связывая ее по рукам и ногам, как думает сделать социализм.

Нужно, чтобы действовали *общественные организации*. Их самостоятельность совершенно необходима, ибо нельзя помочь тем людям, которые сами о себе не заботятся. Поэтому нам нужно развитие вообще внутренней народной организации, а в частности рабочих организаций, не для войны, не для революций, не для того, чтобы создать себе какого-нибудь социалистического повелителя, а для того, чтобы

самостоятельно улучшать свою жизнь во всякое время и на каждом месте и во всех отношениях, какие оказываются нужными. Без такой самостоятельности народных организаций невозможно ни умственное развитие народа, ни его благосостояние, ни установка каких-либо разумных мер к помощи ему сверху.

Нужно, сверх того, действие государства. Но для того чтобы государство могло исполнять свою обязанность, мы должны не подрывать его, не приводить к бессилию, а заботиться, напротив, о поддержании его авторитета и силы. Само собою разумеется, что для действия государства нужна широкая ознакомленность его о народных нуждах и том, что в уме народа, по практике его самостоятельности, назревает как необходимое в государственных мероприятиях.

Если подвести итог этим средствам действия, то можно сказать, что нам требуется не переворот, не разрушение, а, напротив, только *оживление* нашей общественности.

Когда люди твердо вступят на этот путь, это будет окончанием той революции, которую мир пережил в XVIII и XIX веках, сначала впадши в формы одностороннего индивидуализма, а потом — в формы столь же одностороннего социализма. Это было бы началом действительно *новой эры*, новой не в смысле создания новых, небывалых основ общественности, а в смысле сознательного применения вечных законов общественности к нашим современным условиям.

Индивидуализм и коллективизм имеют одинаково законное место в нашей жизни и без всеобщего вреда не могут подрывать друг друга. Истинный девиз общественного развития составляют не индивидуализм, выдвинутый буржуазией, и не коллективизм, выдвинутый социалистами, а *солидарность*, в которой неразрывно и дружно соединяются и свобода личности, и объединение человеческих усилий. Когда люди поймут это, они поймут, что истинный путь к общественному благу составляет не революция, а мирное развитие — *эволюция*.

Кто же должен понять это, кто должен совершать ту прогрессивную работу, общие основы которой указаны сейчас? Это дело всех нас, не одной власти, не только отдельных лиц, но всего народа. Задача заключается не в том, чтобы поручить кому-нибудь себя облагодетельствовать, а в том, чтобы все старались улучшать жизнь свою собственную и всех окружающих. Когда во всей массе народа явится стремление к такой разумной самостоятельности, уважающей и свои, и чужие права и повсюду приводящей всех к исполнению своего долга, тогда только возможна твердая и разумная социальная политика со стороны государства. И вот по мере того как мы будем выходить на этот

путь, социализм постепенно, сам собою заглохнет, побежденный не одной материальной силой, а силой нравственной, силой правды исторической общественности.

КОММЕНТАРИИ

Критика демократии

Впервые брошюра была опубликована в Париже в 1888 году. В нашем сборнике работа Л. А. Тихомирова публикуется по второму, переработанному самим автором изданию 1895 года.

1. Киселев Павел Дмитриевич (1788-1872) — граф, русский государственный и военный деятель. В 1837-1856 министр государственных имуществ. Провел реформу управления государственными крестьянами.
2. Лопатин Герман Александрович (1845-1918) — русский социалист-революционер. В 1870 году был избран в Генеральный Совет I Интернационала. В 1887-1905 сидел в Шлиссельбургской крепости за революционную деятельность.
3. Кювье Жорж (1769-1832) — французский естествоиспытатель. Специалист в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных. Автор “теории катастроф”.
4. Лавров Петр Лаврович (1823-1900) — русский революционер, идеолог народничества, публицист.
5. Милютин Николай Алексеевич (1818-1872) — русский государственный деятель. Активный участник крестьянской реформы 1861 года. Будучи статс-секретарем по делам Царства Польского, стал автором Положения 19 февраля 1864 года о крестьянской реформе в Польше.
6. Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809-1881) — граф, русский государственный деятель. В 1847-1861 — генерал-губернатор Восточной Сибири. За заключение с Китаем Айгунского договора в 1858 году получил титул графа Амурского.
7. Катков Михаил Никифорович (1818-1887) — знаменитый русский публицист, издатель и критик. С 1856 — редактор “Русского вестника”, а с 1863 — еще и “Московских ведомостей”.
8. Гладстон Уильям Юарт (1809-1898) — английский государственный деятель, либерал. Неоднократно был министром финансов в разных кабинетах. В 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892-1894 возглавлял кабинет министров.
9. Тэн Ипполит (1828-1893) — французский историк, философ, теоретик искусства и литературы. С 1864 профессор эстетики и истории искусства в Школе изящных искусств в Париже. Основные работы: “Философия искусства” (1865), “История английской литературы” (Т. 1-4, 1863-1864) и “Происхождение современной Франции” (Т. 1-5, 1876-1894).
10. Пастер Луи (1822-1895) — французский ученый, выдающийся микробиолог.
11. Успенский Глеб Иванович (1843-1902) — русский писатель, очеркист. Главной темой его творчества было крестьянство.
12. Рони Жозеф Анри Старший (наст. имя Жозеф Анри Бёкс) (1856-1940) — французский писатель. Л. А. Тихомиров имеет в виду романы, написанные им вместе с младшим братом: “Nell Horn, membre de l’Armee du Salut” (1886) и “Le bilateral” (1887), повествующие о жизни парижских социалистов. Л. А. Тихомиров был знаком с Рони лично и переводил его романы.
13. Руссо Жан Жак (1712-1778) — французский вольнодумец, писатель. Основное сочинение — “Об общественном договоре, или Принципы политического права” (1762).
14. Нума Помпилий — по римскому преданию, царь Древнего Рима конца VIII — начала VII века до Р. Х.

Начала и концы. Либералы и террористы

Брошюра была напечатана в Москве в 1890 году.

1. Желябов Андрей Иванович (1850-1881) — русский революционер-народник. Судим по процессу 193-х (1877-1878), оправдан. Один из организаторов партии “Народная воля”. Организатор ряда террористических актов. Арестован 27 февраля 1881 года, казнен 3 апреля.
2. Имеется в виду книга Циммермана Ф. А. “Мир до сотворения человека. Общепринятое изложение первобытного состояния нашей планеты. Описание разных периодов развития земной коры, ее

- растительности и заселения до новейших времен” (Изд. 2-е. Ростов-на-Дону, 1865).
3. Писарев Дмитрий Иванович (1840-1868) — социальный демократ, русский публицист и литературный критик, ведущий сотрудник журнала “Русское слово”, а затем “Отечественных записок”.
 4. Толстой Дмитрий Андреевич (1823-1889) — граф, русский государственный консервативный деятель, историк. В 1865-1880 обер-прокурор Св. Синода, в 1866-1880 министр народного просвещения, с 1882 министр внутренних дел.
 5. Блан Луи (1811-1882) — французский социалист, писатель. Активный деятель революции 1848 года.
 6. Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — один из крупнейших идеологов анархизма. С 1840 года жил за границей, участник революции 1848 года. В 1851 году выдан русскому правительству. В 1857 году, после покаянной “Исповеди”, тюремное заключение заменено ссылкой в Сибирь. В 1861 году бежал за границу, создал анархический “Альянс интернациональных братьев”. Вел борьбу против марксистов в I Интернационале.
 7. Кропоткин Петр Алексеевич (1842-1921) — один из крупнейших идеологов анархизма, географ и геолог. В 1874 арестован, в 1876 бежал за границу. В 1917 вернулся в Россию. Автор книг “Анархия, ее философия, ее идеал” (1896) и “Великая французская революция. 1789-1793” (1909).
 8. Костомаров Николай Иванович (1817-1885) — историк, этнограф, писатель и критик. Профессор Киевского, а затем С.-Петербургского университетов. Его труды изданы в собрании сочинений (Т. 1-21. СПб., 1903-1906).
 9. Соколов Николай Васильевич (1832-1889) — русский революционер, нигилист. Сотрудник журнала “Русское слово” в 1860-х годах. В 1867 сослан сначала в Архангельск, а затем в Астраханскую губернию, откуда в 1872 году бежал за границу.
 10. Верморель Огюст Жан Мари (1841-1871) — французский публицист. Смертельно ранен во время Парижской коммуны. Лев Тихомиров имеет в виду книгу Вермореля “Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях как 1848-го, так и последующих лет” (СПб., 1870).
 11. Имеется в виду книга Луи Блана “История Второй Великой французской революции” (Т. 1. СПб., 1871).
 12. Имеется в виду книга Н. Флеровского “Положение рабочего класса в России. Наблюдения и исследования” (СПб., 1869). Н. Флеровский (наст. имя Берви Василий Васильевич) (1829-1918) — русский экономист, социалист по убеждениям.
 13. Нечаев Сергей Геннадьевич (1847-1882) — русский революционер. В 1869 году создал тайную организацию “Народная расправа”. Убил студента И. И. Иванова. Арестован в 1872 году, приговор — 20 лет каторги; умер в Петропавловской крепости.
 14. Надсон Семен Яковлевич (1862-1887) — русский поэт.
 15. Ткачев Петр Никитич (1844-1885) — русский революционер, один из идеологов народничества. С 1873 года в эмиграции.
 16. Стефанович Яков Васильевич (1853-1915) — русский революционер-народник. Составив подложный царский манифест, хотел поднять крестьянское восстание. В 1882 году арестован и приговорен к 8 годам каторжных работ, с 1890 жил на поселении в Якутии. В 1905 году вернулся в Черниговскую губернию к себе на родину.
 17. Любимов Николай Алексеевич (1830-1897) — русский ученый-физик, публицист и историк. Профессор Московского университета в 1865-1882. Автор книг “История физики. Опыт изучения логики открытий в их истории” (Т.1-3, СПб., 1892-1896) и “Крушение монархии во Франции” (М., 1893).
 18. Трепов Федор Федорович (1812-1889) — русский государственный деятель. С 1873 по 1878 — с.-петербургский градоначальник. Ранен в 1877 году террористкой В. Засулич.
 19. Засулич Вера Ивановна (1851-1919) — русская революционерка. С 1868 народница; с 1879 член “Черного передела”; в 1883 одна из организаторов группы “Освобождение труда”. Затем одна из лидеров меньшевиков.
 20. Драгоманов Михаил Петрович (1841-1895) — один из идеологов украинского сепаратизма, историк и публицист. С 1876 года в эмиграции.
 21. Руже де Лиль Клод Жозеф (1760-1836) — французский офицер, поэт и композитор, автор гимна Франции “Марсельеза” (1792).

Демократия либеральная и социальная

Книга издана в Москве в 1896 году. Состоит из трех отдельных работ. “Социальные миражи современности” были напечатаны в журнале “Русское обозрение” в июльской книжке 1891 года. “Панама и

парламентаризм” ~ в “Московских ведомостях”: (1892, № 351, 354, 359 и 1893, № 9 и 12). “Коммунизм и партикуляризм” под названием “Новейшие заявления коммунизма и партикуляризма” — в “Русском обозрении” в июньском номере за 1892 год.

1. Блюнчли Иоганн Каспар (1808-1881) — швейцарский юрист, специалист по государственному и международному праву. Развивал идеи органической школы права. В 1833-1848 — профессор Цюрихского университета. В 1848-1861 — профессор Мюнхенского университета, а в 1861-1881 — профессор Гейдельбергского университета. Автор книг “Современное международное право цивилизованных народов” (1868) и “Общее государственное право”.
2. Кондорсе Жан Антуан де (1743-1794) — маркиз, французский философ-вольнодумец. Покончил с собой в тюрьме. Автор “Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума” (1794).
3. Констан Бенжамен (1767-1830) — французский политический деятель, публицист, писатель. Автор “Курса конституционной политики” (Т. 1-4, 1816 — 1820).
4. Рошфор Анри (1830-1913) — французский политический деятель и публицист. Выступал против Второй империи. В дальнейшем буланжист и критик Дрейфуса.
5. Флоке Шарль Томас (1828-1896) — французский политический деятель. В 1888-1889 возглавлял кабинет министров, будучи в нем министром внутренних дел.
6. Буланже Жорж Эрнест Жан Мария (1837-1891) — французский государственный и военный деятель, генерал. Участник экспедиции в Африке, войн в Италии, Индокитае и франко-прусской войны. В 1886 году был недолгое время военным министром в кабинете Фрейсине. Кончил жизнь самоубийством.
7. Брайс Джеймс (1838 — после 1911) — английский политический деятель, историк и адвокат. Профессор гражданского права в Оксфорде в 1870 — 1893 годах. Входил в кабинеты Гладстона и Розбери в 1880-1890-х годах.
8. Менений Агриппа (конец VI — начало V в. до Р. Х.) — римский патриций. Считается, что он однажды смог уговорить ушедших на Священную гору плебеев вернуться, сравнив государство с телом, в котором желудок (патриции) и руки (плебеи) не могут жить друг без друга.
9. Ламенне Фелисите Робер де (1782-1854) — французский публицист и религиозный философ, проповедовавший христианский социализм.

Автор книг “Опыт о безразличии в вопросах религии” (Т. 1-4, 1817-1823) и “Наброски философии” (Т. 1-4, 1840-1846).

10. Лафарг Поль (1842-1911) — французский революционер, марксист.
11. Ликург — легендарный спартанский законодатель (IX-VIII вв. до Р. Х.), которому греческие авторы приписывают создание институтов спартанского общественного и государственного устройства.
12. Лассаль Фердинанд (1825-1864) — немецкий социалист. Противник марксизма.
13. Прудон Пьер Жозеф (1809-1865) — французский публицист, один из основоположников анархизма. Автор книг “Что такое собственность?” и “Система экономических противоречий, или Философия нищеты” (Т. 1-2, 1846).
14. Фольмар Георг Генрих (1850-1922) — германский социал-демократ.
15. Ковалевский Максим Максимович (1851-1916) — русский историк, юрист и социолог. В 1878-1887 — профессор Московского университета. В 1887 — 1905 — в эмиграции. В 1905-1916 профессор С.-Петербургского университета. Автор книг “Происхождение современной демократии” (Т. 1-4, 1895 — 1897) и “Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства” (Т. 1-3, 1898-1903).
16. “Панама” — афера правления “Всеобщей компании меж океанского канала”, образовавшейся в 1879 году. Компания подкупала государственных должностных лиц Франции. К моменту краха компании, в 1888 году, акции приобрело около 800 тысяч человек. В 1892 году выяснилось, что, желая скрыть реальное положение дел в компании, были подкуплены премьер-министры Рувье и Флоке, множество министров, сенаторов, депутатов, редакторов газет и более мелких людей.
17. Рувье Морис (1842-1911) — французский политический деятель. В 1881-1892 годах занимал различные министерские посты. В 1887, 1905-1906 — премьер-министр.
18. Клемансо Жорж (1841-1929) — французский политический деятель. В 1906 — министр внутренних дел. В 1906-1909 — председатель совета министров.
19. Греви Жюль (1807-1891) — французский политический деятель. В 1879 и 1885 годах избирался президентом республики. С 1887 из-за афер его зятя, Г. Вильсона, вышел в отставку.

20. Гамбетта Леон Мишель (1838-1882) — французский политический деятель. В 1881-1882 — премьер-министр и министр иностранных дел.
 21. Дерулед Поль (1846 — ?) — французский государственный и военный деятель. Участник франко-прусской войны 1870-1871 и подавления Парижской коммуны. Требовал реванша над Германией. Создал в 1882 году “Лигу патриотов”. Активный буланжист.
 22. Луи Филипп (1773-1850) — французский король в 1830-1848.
 23. Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) (1808-1873) — французский император в 1852-1870. Племянник императора Наполеона I.
 24. Фрейсине Шарль Луи де Сольс (1828-1923) — французский политический деятель, инженер. В 1879-1880, 1882, 1886, 1890-1892 — председатель совета министров.
 25. Шанзи Антуан Ежен Альфред (1823-1883) — французский военный деятель, генерал. Участник войн в Алжире, Италии, похода в Сирию. Славу приобрел во франко-прусской войне, командуя Луарской армией.
 26. Рейнах Жак — парижский еврейский банкир. Через посредство его банка велись аферы панамского дела. Отравился в 1892 году вследствие разоблачений.
 27. Ферри Жюль (1832-1893) — французский политический деятель. В 1880-1881 и 1883-1885 — глава кабинета министров.
 28. Ле-Плэ Фредерик (1806-1882) — французский социолог. Профессор металлургии в парижской политехнической школе. Посетив Россию 8 раз, издал в 1839-1840 годах книгу “Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée”, где утверждает, что нигде нет большей связи семейной и государственной организации, чем в России.
 29. Вильгельм (Завоеватель (1027-1087) — английский король с 1066, из нормандских герцогов.
 30. Людовик XIV (1638-1715) — французский король в 1643 -1715, из династии Бурбонов.
 31. Фридрих II Великий (1712-1786) — прусский король в 1740-1786, из Династии Гогенцоллернов.
1. Фурье Франсуа Мари Шарль (1772-1837) — французский социалист. Автор книг “Трактат о домоводческо-земледельческой ассоциации” (Т. 1-2, 1822) и “Новый хозяйственный социетарный мир” (1829).
 2. Кабе Этьенн (1788-1856) — французский коммунист, публицист. Автор романа “Путешествие в Икарию” (1840).
 3. Бабёф Гракх (наст. имя Ноэль Франсуа) (1760-1797) — французский революционер. Возглавил в 1796 году организацию “Тайная повстанческая директория”. Арестован и казнен.
 4. Сен-Симон Клод Анри де Рувруа (1760-1825) — граф, французский философ-вольнодумец.
 5. Леру Пьер (1797-1871) — французский социалист-утопист. Автор книг “Опыт о равенстве” (1838) и “О человечестве, его принципах и его будущем” (Т. 1-2, 1840).
 6. Оуэн Роберт (1771-1858) — английский социалист. Автор книг “Новый взгляд на общество, или Опыты о формировании характера” (1812-1813) и “Книга нового нравственного мира” (1836-1844).
 7. Нордау Макс (наст. имя Макс Зидфельд) (1849-1923) — немецкий публицист и писатель.
 8. Реклю Жан Жак Элизе (1830-1905) — французский политический деятель, один из идеологов анархизма, географ. Автор книги “Человек и Земля” (1876-1894).
 9. Гартман Лев Николаевич (1850-1908) — русский революционер. Участвовал в подготовке покушения на царя Александра II. С 1879 в эмиграции.
 10. Фулье Альфред (1838-1912) — французский философ, националист. Профессор философии. Автор книг “Критика новейших систем морали” (1883) и “История философии” (1875).
 11. Леонтьев Константин Николаевич (1831-1891) — русский политический мыслитель, публицист и писатель. Основные работы собраны в сборнике “Восток, Россия и славянство” (М., 1885-1886).
 12. Мирабо Оноре Габриель Рикети (1749-1791) — граф, революционер, оратор.
 13. Св. Феофан (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815-1894) — епископ Владимирский и Суздальский, ушедший в 1866 году в затвор в Вышенскую пустынь. Знаменитый богослов.

Борьба века

Брошюра издана в 1895 году.

Конституционалисты в эпоху 1881 года

Работа опубликована в 1895 году и выдержала три издания.

1. Кеннан Джордж (1845-1924) — американский писатель. В 1885-1886 годах посетил Сибирь и написал о сибирской ссылке книгу “Сибирь и система ссылки” (1891).
2. Гордеенко Егор Степанович (1812-1897) — русский либеральный деятель. Профессор Харьковского университета. Автор книги “Харьковское городское самоуправление”.
3. Петрункевич Иван Ильич (1843-1928) — русский либеральный деятель. Основатель и председатель “Союза освобождения” (1904). Председатель ЦК партии кадетов в 1909-1915. С 1919 в эмиграции. Автор книги “Из записок общественного деятеля” (1934).
4. Мезенцев Николай Владимирович (1827-1878) — князь, русский государственный деятель. Шеф жандармов с 1876. Убит революционерами.
5. Кропоткин Дмитрий Николаевич (1836-1879) — русский государственный деятель. Харьковский генерал-губернатор. Убит революционерами.
6. Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825-1888) — граф, русский государственный и военный деятель, генерал. В 1880-1881 министр внутренних дел.
7. Кошелев Александр Иванович (1806-1883) — русский публицист. Входил в славянофильский кружок. Автор “Записок” (1884).
8. Черкасский Владимир Александрович (1824-1878) — князь, русский государственный деятель. Близок к славянофилам. Активный участник крестьянской реформы в России и в Царстве Польском.
9. Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) — русский публицист и поэт. Славянофил. Редактор журнала “Русская беседа”, газет “День”, “Москва” и “Русь”.
10. Сабуров Андрей Александрович (1838-1916?) — русский государственный деятель. В 1880-1881 министр народного просвещения.

Социально-политические очерки

Три очерка о социализме, написанные Л. А. Тихомировым специально для московского издательства “Верность” протоиерея Иоанна Восторгова в 1906 году.

Очерк I. Гражданин и пролетарий

1. Бернштейн Эдуард (1850-1932) — один из лидеров германской социал-демократии. Ревизионист марксизма. Автор книги “Предпосылки социализма и задачи социал-демократии” (1899-1902).
2. Бебель Фердинанд Август (1840-1913) — немецкий социал-демократ, писатель.

Очерк II. Заслуги и ошибки социализма

1. Мор Томас (1478-1535) — английский государственный деятель, писатель. В 1529-1532 — канцлер Англии. Как католик выступил против зарождавшегося англиканства, за что был казнен. Автор книги “Утопия” (1516).
2. Щеглов Дмитрий (?-1902) — русский историк социально-политической мысли.
3. Мальтус Томас Роберт (1766-1834) — английский священник, экономист. Профессор современной истории и политической экономии в колледже Ост-Индийской компании. Автор книги “Опыт о законе народонаселения” (1798).
4. Озеров Иван Христофорович (1869 — после 1917) — русский экономист. Профессор Московского университета с 1909 года.
5. Шульце-Гевеверниц Герхард фон (1864-1943) — немецкий экономист. Профессор политической экономии в Фрейбургском университете.
6. Brentano Луйо (1844-1931) — немецкий экономист. Представитель школы катедер-социализма.
7. Шеффле Альберт Эберхард Фридрих (1831-1903) — немецкий экономист-социалист. Автор книги “Строение и жизнь социального тела” (Т. 1-4, 1875-1878).
8. Под псевдонимом Атлантикус писал Баллод Карл (1864-1931) — немецкий экономист. С 1905 профессор Берлинского университета, с 1919 — профессор Рижского университета.
9. Каутский Карл (1854-1938) — один из лидеров германской социал-демократии. Автор книги “Материалистическое понимание истории” (Т. 1-2, 1927).

Очерк III. Плоды пролетарской идеи

1. Гессе-Вартег Эрнст фон (1851-?) — австрийский путешественник, писатель.
2. Жорес Жан (1859-1914) — французский социалист. Убит французским шовинистом.

3. Воронов Леонид — русский экономист. Сотрудник журнала “Русское обозрение” и газеты “Московские ведомости”.

Социализм в государственном и общественном отношении

Работа опубликована в Москве в 1907 году.

1. Предшественником по кафедре, скорее всего, был Введенский Алексей Иванович (1861-1913) — профессор философии Московской Духовной академии, доктор богословия. Его публичная лекция называлась “Социализм как нравственная и теоретическая задача”.
2. Конт Огюст (1798-1857) — французский философ и социолог, основатель позитивизма. Автор книг “Курс позитивной философии” (Т. 1-6, 1830 — 1842) и “Система позитивной политики, или Трактат по социологии, устанавливающий религию человечества” (Т. 1-4, 1851-1854).
3. Эспинас Альфред Виктор (1844-1922) — французский профессор. Автор книги “История политико-экономических доктрин”.
4. Менгер Антон (1841-1921) — австрийский юрист, социалист. Профессор гражданского судопроизводства Венского университета.
5. Тверской П. А. — литературный псевдоним переселившегося в США в 70-х годах XIX века тверского помещика П. А. Дементьева, автора книги “Очерки Северо-Американских Соединенных Штатов” (1895).
6. Смит Адам (1723-1790)-английский экономист, философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии.
7. Штейн Лоренц фон (1815-1890) — немецкий юрист, государствовед. В 1846-1851 профессор Кильского университета, в 1855-1885 профессор Венского университета. Автор знаменитого труда “Die Verwaltungslehre” (“Учение об управлении”) (Т. 1-7, Штутгарт, 1865-1868).
8. Лист Фридрих (1789-1846) — немецкий экономист. Идеолог немецкого протекционизма. Автор книги “Nationale System der politischen Oekonomie” (“Национальная система политической экономии”) (1841).
9. Мунделла Антоний Джон (1825-1897) — английский государственный деятель. В 1880-1885 — министр народного просвещения. Затем министр в правительствах Гладстона в 1886 и 1892-1894.

10. Джиффен Роберт (1837 -1910) — английский экономист, публицист, статистик. В 1892-1897 — генеральный контролер.
11. Эвелинг Эдуард (1851-1898) — английский социалист. Был женат на дочери К. Маркса Элеоноре Маркс.
12. Генрих IV (1553-1610) — французский король с 1589. Основатель династии Бурбонов.

Составитель серии М.Б. СМОЛИН

Тихомиров Л. А.

Критика демократии / Вступ. статья и комментарии М. Б. Смолина. Оформление М. Ю. Зайцева. — М.: Москва, 1997. — 672 с. — (Пути русского имперского сознания).

ISBN 5-89097-008-9

Демократия, принеся столько крови и всевозможных потрясений христианскому миру, с момента своего появления в новое время, в XVIII веке, требует объяснения своего феномена.

Лев Тихомиров, столь долго замалчиваемый, а в период новой русской смуты конца XX века все более привлекающий к себе и к своим работам внимание читающей русской публики, много писал о демократии, предупреждая о ее разрушительных свойствах. Хорошо изучив революционную ее часть в период своего участия в народовольческом движении и будучи в эмиграции во Франции многолетним наблюдателем власти либеральной демократии. Лев Тихомиров был убежден, что, кроме демократии, “нет ни одной формы правления, в которой воздействие народных желаний на текущие дела было бы так безнадежно пресечено”.

© Редакция журнала “Москва”, 1997

© М. Б. Смолин. Составление, вступительная статья, комментарии, 1997

© М. Ю. Зайцев. Оформление. 1997

Текст подготовлен для публикации в сети Интернет Православным сетевым братством “Русское небо”
(© RUS-SKY, 1999)

<http://rus-sky.com>

webmaster@rus-sky.com

¹ Руссо в своем известном трактате об общественном договоре исходил не столько из примеров древних классических демократий, сколько из примера английского права, созданного на основе феодального. “Великая хартия свобод”, о которой так много говорят как о предшественнице всех европейских конституций, давала политическую свободу отнюдь не народу. Будучи дана в 1215 году английским королем Иоанном Безземельным своим баронам, то есть своим феодальным вассалам, она никакого отношения к “народным свободам” не имела. Бароны лишь получили право знать, на что идет их вассальная дань королю, вытребовав себе некие контрольные функции.

² Фроленко М. Ф. Собрание сочинений. М., 1932. Т. 2. С. 48. Аптекман признавал, что в 1879 году “звезда Тихомирова, как идеолога революции, поднималась все выше и выше, его весьма охотно слушали, читали, преклонялись пред ним” (Черный передел. С. 63). Вера Фигнер говорила о нем: “Лев Тихомиров — наш признанный идейный представитель, теоретик и лучший писатель” (Запечатленный труд. Т. I. С. 243). Из большевистских лидеров такого же мнения придерживался Зиновьев, считая Л. А. Тихомирова самым блестящим деятелем “Народной воли” и лучшим писателем этой организации (История РКП. М., 1923. С. 37).

³ Из письма Л. А. Тихомирова от 7 августа 1888 года товарищу министра внутренних дел В. К. Плеве.

⁴ В Париже, у издателя Albert Savine, тогдашнего собственника “Nouvelle Librairie Parisienne”, брошюрой “Pourquoi je ne suis plus revolutionnaire” (на русском языке).

⁵ Печатая эти страницы, редакция “Московских ведомостей” поместила следующее примечание: “Объяснение г-на Тихомирова, опубликованное за границей в 1888 году, осталось в свое время совершенно неизвестным русской читающей публике. Между тем оно в *настоящее время*, после того перелома, который русская общественная мысль пережила за незабвенное царствование Императора Александра Александровича, едва ли не более своевременно, чем было в 1888 году. Ввиду этого редакция “Московских ведомостей” предложила г-ну Тихомирову ознакомить читателей с высказанными им тогда соображениями”. Воспользовавшись этим приглашением, я дал публикуемые объяснения для номеров 217, 224, 231 и 238 “Московских ведомостей” текущего, 1895 года.

⁶ О которых я говорю в книге

⁷ Меня упрекали в том, будто бы я покинул *их* “партию”, тогда как я, собственно, в “партии” *того времени* и не состоял сколько-нибудь обязательно.

⁸ Тогда именно пытались ее воскресить, почему особенно и сердились на меня за мое открытое отречение от всяких революций. (Примечание 1895 года.)

⁹ Эти строки писаны в ответ на упрек эмигрантов, что я изменяю “старым товарищам”, их “могилам”.

¹⁰ Собственно, погибла лишь вторая половина (10 страниц), где заключалась “нецензурность”.

¹¹ Я все-таки должен напомнить П. Лаврову [4], как, впрочем, и всем моим оппонентам, что под словом “революция” понимается вовсе не только насильственный переворот, на котором фиксировано их воображение, но и нечто совершенно иное, а именно процесс изменения типа данного явления, хотя бы изменение совершилось и вполне мирно. В таком, научном смысле слова говорят, например: христианство совершило путем мирной эволюции величайшую в мире революцию. Мой революционизм именно и отыскивал эту эволюцию, этот исторический процесс изменения типа, чтобы действовать сообразно с ней. Тогда как у П. Лаврова, как и у его товарищей, стремления сводятся не к отысканию этого типа, не к усилению процесса его развития, а к революционным способам или путям действия, то есть к драке, к бунту, к разрушению. Они, конечно, очень охотно оправдываются тем, что будто бы, не разрушив того или иного, нельзя действовать. Это ошибка, и очень не рекомендуемая совершающих ее. Я спрошу: эволюция, на которой они основывают изменение типа, совершается ли в стране или нет? Если да и если они ее схватили — значит, можно действовать, можно очевидно делать то, что даже и без вас делается в стране. Если же эволюции такого рода нет — тогда нечего и толковать о революции. Так выходит при попытке придать слову “революция” серьезный социологический смысл. (Примечание 1888 года.)

¹² То есть протеста эмигрантов против меня.

¹³ Террористы ссылались на то, что “ничего нельзя сделать”. (Примечание 1895 года.)

¹⁴ Упрекая меня за подрыв их “авторитетов”, эмигранты патетически восклицали:

Нужны нам великие могилы,

Если нет величия в живых...

Последнее признание по крайней мере откровенно! (Примечание 1895 года.)

¹⁵ Подлинные выражения подстрекателей.

¹⁶ Авторы протеста вспоминают мою фразу о том, что “революционная мысль всегда реальна”. Если б они вникали в смысл слов, не удовлетворяясь звуком, то без труда увидели бы, что “революция”, о которой говорил я и которая тянется с сотворения мира, есть именно, по их бунтовской терминологии, “эволюция”, а не “революция” и ничего общего с их “революционными способами действия” не имеет. Моя нелюбезность к “близоруким гелертерам” не есть, конечно, аргумент и только показывает, как я старался тогда спасти слово *революция*, как мне не хотелось с ним расстаться. (Примечание 1888 года.)

¹⁷ Ко всему надо относиться серьезно и без трагедии (*фр.*)

¹⁸ Говорится о 1888 годе.

¹⁹ Это именно возражение, сделанное мне эмигрантами. (Примечание 1895 года.)

²⁰ Это выражение неточное и не соответствует тому, что я хотел сказать в 1888 году. *Всякое* собрание людей, взятых из разных слоев населения, обнаруживает мнения и желания народа, но именно в форме парламентарной это делается *наймете*. Парламентаризм как система управления убивает и то полезное, что могло бы дать как система совещания. (Примечание 1895 года.)

²¹ Должен оговориться, что теперь, лучше изучив публицистическую деятельность Каткова, я стал гораздо более высокого мнения о социальном творчестве его ума. Он *понимал* удивительно много, но его практическое чутье давало ему возможность понимать также, что в современной ему России многого не сделаешь. Он и делал лишь *главное* в данную минуту, с верой в будущее, которое доделает остальное. (Примечание 1895 года.)

²² И в этом я был несправедлив к Каткову. Но не переделываю отзыва 1888 года, ограничиваясь лишь оговоркой, что в то время не мог знать многого в *деятельности* Каткова, отчего не оценивал в должной мере и его великих заслуг. (Примечание 1895 года.)

²³ Зло полуобразования заключается не в малом количестве сведений (у крестьянина их еще меньше), а в манере их усваивать слегка и с чужих слов, в привычке удовлетворяться полужнанием и т. д., вообще в плохой дисциплине ума.

²⁴ Увы! Тщетная надежда, по-видимому... (Примечание 1895 года.)

²⁵ Я это и теперь повторяю, хотя лучше прежнего знаю, как много наших патентованных “ученых” пользуются “свободой” только для хлестких публицистических статей. Но не могу также не прибавить, что свобода научного исследования у нас стесняется главным образом не цензурой, а чрезвычайно деспотическим “общественным мнением” либерального слоя, лишенного даже искры уважения к работе мысли человеческой, венчающего лаврами всякое искажение науки, если оно партийно выгодно, и, наоборот — тяжело давящего на всякое слово, выходящее из рамок партийной “истины”. На *это* рабское состояние наших профессоров иной раз жаль и совестно смотреть. *Эти* помехи властно устранить только само общественное мнение. (*Примечание 1895 года.*)

²⁶ Как известно, на этот путь и вступило правительство. Замечательна неразвитость наших “либералов”, ставших ему поперек дороги именно в этой важнейшей реформе. (*Примечание 1895 года.*)

²⁷ Создатели трудностей (*фр.*).

²⁸ Понятно, что я подразумевал под “прогрессивной партией” не наших банальных либералов, а тот слой людей “развития”, которых появления еще только ожидал. За последние годы они, в то время едва заметные, стали гораздо более многочисленны, и тем более значения получают в моих глазах вышеизложенные соображения. (*Примечание 1895 года.*)

²⁹ Напечатано в “Московских ведомостях”, № 74, 76 за 1889 год.

³⁰ Предатель (*фр.*).

³¹ Кто говорит “предатель” — говорит “полицейский” (*фр.*).

³² Маленькие бумажки (*фр.*).

³³ Депутаты или представители (*фр.*).

³⁴ Свободное вето (*лат.*).

³⁵ Вестник “Народной воли”. Т. V. С. 64.

³⁶ Пришел, увидел, победил (*лат.*).

³⁷ Я, конечно, знаю, что социализм, так называемый *научный*, на котором строится социал-демократия, совершенно признает историческую необходимость и совершенно лишен религиозного характера. Но у нас “социал-демократизм был всегда ничтожно слаб. По моему мнению, он и в Европе при первых успехах своих стучится пред *анархизмом*. Социал-демократизм — такой же компромисс, как и буржуазный либерализм.

Поэтому и у нас научный социализм наиболее распространен в слоях политически чисто либеральных, а наши социал-демократы — единственные революционеры, *искренне* готовые помогать конституционалистам без задней мысли перехватить у них власть. Обе стороны одинаково думают только о желудке и размежевались полюбовно: одним ближайшее настоящее, другим — будущее. И обе ошибутся в расчете, потому что на самом деле у человека не один желудок, а есть также душа, которая не может не заговорить.

³⁸ Стуком, конечно. Каждая буква означает известную краткую комбинацией ударов. Приучившись, можно разговаривать очень быстро, быстрее, чем, например, писать. Мы так вели целые споры. Некоторые стуки так удобны, что их от нас переняли даже сторожа.

³⁹ Крайнее преступление (*фр.*).

⁴⁰ Повторяю, что свое учение о нравственности Лавров излагал в легальной, цензурной литературе, еще даже будучи “нашим почтенным”, “нашим известным” и т. п.

⁴¹ “La France libre” (“Свободная Франция”).

⁴² Кондорсе Ж. *Progres de l'esprit humain* (Прогресс человеческого разума). Вступл.

⁴³ Кондорсе Ж. Указ. соч.

⁴⁴ Армия разума, армия всегда священная, которая заставляет ради прогресса маршрутировать человечество! (*фр.*)

⁴⁵ Руссо Ж.-Ж. *Du contrat social* (Об общественном договоре). Кн. 2, гл. 3.

⁴⁶ Руссо Ж.-Ж. Указ. соч.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Пусть падет Франция, чтобы жил принцип (*фр.*).

⁴⁹ Конституция 5 Фруктидора III года. *Manuel republicain*. Paris, an 7.

⁵⁰ “Les assamblees parlantes” (“Совещательные собрания”)

⁵¹ суверен, который царствует, но не управляет (*фр.*).

⁵² Брайс Д. Американская Республика (русский перевод). М., 1889. Ч. II. С. 267.

⁵³ Там же. С. 327.

⁵⁴ Это все от канальи (*фр.*).

⁵⁵ Грязное дело (*фр.*).

⁵⁶ “Задачи социализма”.

⁵⁷ Известный alter ego (второе “я”) К. Маркса, его друг и популяризатор.

⁵⁸ Энгельс Ф. Socialisme utopique et Socialisme Scientifique. Фр. пер. П. Лафарга [10]. С. 21.

⁵⁹ Там же. С. 10.

⁶⁰ Энгельс Ф. Развитие научного социализма. Русский женеvский перевод. С. 43.

⁶¹ Там же. С. 44.

⁶² Кровавая пора (*фр.*)

⁶³ О котором стали часто говорить газеты.

⁶⁴ Достаточно вспомнить Маликова, Фрея (Геинца) и графа Л. Толстого.

⁶⁵ Compte rendu du proces de Lion. Geneve: Imprimerie Jurassienne, 1883.

⁶⁶ Я цитирую на память; этот процесс происходил в Париже в мою бытность там, но не помню точно года. Кажется, в 1886-м.

⁶⁷ Это мое право — удовлетворять мои страсти так, как я это могу (*фр.*)

⁶⁸ Анархисты отбросили “буржуазное” слово “citoyen” и называют друг друга “compagnons”.

⁶⁹ L'autonomie individuelle. 1887. № 5.

⁷⁰ Проповедь гр. Л. Толстого и отношение к ней со стороны слушателей дали новый пример тому.

⁷¹ “Isolirte socialistische Staat” (“Изолированное социалистическое государство”). Эта работа напечатана в органе партии, сам Фольмар — один из крупнейших вождей социальной демократии; помянутая статья его встретила возражения в социалистическом мире, но собственно в том отношении, что “изолированного” социалистического государства нельзя создать при современных условиях, а необходим переворот одновременно в ряде стран.

⁷² Социальное уничтожение (*фр.*).

⁷³ Обе речи и последовавшие возражения референтов см.: La Science Sociale. Т. XIII, кн. бит. XIV, кн. 1.

⁷⁴ Я не вхожу в оценку этих положений с точки зрения исторической достоверности. Историческая мотивировка учения К. Маркса — вообще *сплошная подтасовка* и натяжка фактов, полная произвола чисто адвокатского. Лафарг только повторяет слова учителя. Впрочем, главная вина в этом случае падает не на К. Маркса, а на то легкомыслие, с которым ученые исследователи первобытных учреждений пользуются так называемым “сравнительно-историческим методом”. Этот в основе плодотворный метод нынче превратился в какой-то метод “отыскивания аналогий” с полным невниманием к *действительному* изучению развития учреждений и с заранее предрешенным итогом “исследования”. Настоящее прокрустово ложе социального знания.

⁷⁵ Исторически все это совершенно вздорные слова. Рабство повсюду пало в результате повышения *личности* и расширения понятия о личности. Христианство подорвало древнее рабство безо всяких изменений в способах производства; последние же следы рабства в наших обществах составляло рабство *негров*, расы наименее развитой и труднее всего подходившей под наши понятия о личности.

⁷⁶ Совершенно наоборот.

⁷⁷ По ложности самого метода, так как он принял в своих вычислениях во внимание только *наследование* (то есть элемент, иногда наиболее слабый в факте распределения земли).

⁷⁸ В первоначальных очерках она печаталась отдельными фельетонами в “Московских ведомостях” осенью 1894 г.

⁷⁹ Эти недостатки и усилились оттого, что лучшие люди перестали понимать лучшие основы строя и вместо их укрепления начали разрушать их.

⁸⁰ Последнее сочинение гр. Л. Н. Толстого. Харьков, 1894. С. 5.

⁸¹ L'anahie passive.

⁸² Идеиное отношение нашего либерализма к революции я раньше подробно рассматривал в брошюре “Начала и концы”. М.: Университетская типография, 1890.

⁸³ В кн.: Мнения земских собраний о современном положении России. Берлин, 1883.

⁸⁴ Там же. (“Правительственный вестник”. — *Ред.*)

⁸⁵ Дальнейшие подробности по Кеннану.

⁸⁶ Записки А. И. Кошелева. Берлин, 1881. Издание г-жи Кошелевой.

⁸⁷ Конституция графа Лорис-Меликова, 1893. Неизвестный автор, большой либерал, цитирует много любопытных документов, в копиях оставленных графом Лорис-Меликовым.

⁸⁸ См.: Календарь “Народной воли”.

⁸⁹ Московские ведомости. 1881. № 104.

⁹⁰ Мнения земских собраний о современном положении России. Берлин, 1883.

⁹¹ Московские ведомости. 1881. № 139.

⁹² Московские ведомости. 1881. № 104.

⁹³ “Александр II, интимные подробности жизни и смерти”

⁹⁴ Молчание Лорис-Меликова тем страннее, что это лицо ему очень близкое, вполне единомышленное и даже служившее главной опорой его влияния.

⁹⁵ По всей вероятности, намек на военного министра.

⁹⁶ Московские ведомости. 1881. № 72.

⁹⁷ Мнения земских собраний о современном положении России. Берлин, 1883. С. 41.

⁹⁸ Мнения земских собраний о современном положении России. Берлин, 1883. С.36-41.

⁹⁹ Конституция графа Лорис-Меликова. Этот доклад отличается замечательно запутанной формой.

¹⁰⁰ Она была отлитографирована всего в десяти экземплярах.

¹⁰¹ Бернштейн Э. Реалистический и идеологический момент в социализме. Одесса, 1906.

¹⁰² Бебель А. Социализация общества. Киев, 1905.

¹⁰³ Бернштейн Э. Социальные проблемы (заключение).

¹⁰⁴ Бакунин М. Постановка революционного вопроса.

¹⁰⁵ Бакунин М. Программа и предмет революционной организации интернациональных братьев.

¹⁰⁶ “С первых дней утверждения правления, — рассказывает летописец Желтуги, — многим, думавшим, что с ним можно шутить, пришлось плохо. Первые две недели могли бы по справедливости

назваться временем страшной порки. Секли ежедневно и за воровство, и за мужеложство и т. д. — словом, секли с утра до ночи за всякий проступок, и только после такого воздействия со стороны старшин на любителей чужой собственности и сильных ощущений они несколько уgomонились. Весть о строгом наказании за каждый проступок разнеслась по Амурской, Забайкальской и Иркутской областям, и торговое сословие стало появляться на прииски”. За убийство на Желтуге казнили смертью, для чего на базарной площади была воздвигнута виселица. (См.: Ядринцев. Сибирский сборник. Амурская Калифорния, 1886.)

¹⁰⁷ Это совпадение коммунистических мечтаний с эпохами злоупотреблений индивидуализма хорошо отмечено г-ном Щегловым [2] в его “Истории социальных систем”.

¹⁰⁸ См. мою “Монархическую государственность”. М., 1905 (часть IV, главы об отношениях государства к социальному строю).

¹⁰⁹ Проф. Озеров Ив. [4] Итоги экономического развития XIX века. (Доллар составляет почти 2 рубля.)

¹¹⁰ Фон Шульце-Гевеверниц Г. Крупное производство.

¹¹¹ См.: Брентано Луйо [6]. “Об отношениях заработной платы и рабочего времени к производительности труда”, а также вышеупомянутый труд фон Шульце-Гевеверница.

¹¹² Шеффле А. Сущность социализма. Примечания П. Л. Лаврова. СПб., 1906.

¹¹³ Бебель А. Социализация общества.

¹¹⁴ Атлантикус [8]. Государство будущего. Производство и потребление в социальном государстве. СПб., 1906.

¹¹⁵ Guesde J. Essai du Catechisme socialiste. Гл. 6.

¹¹⁶ Основатель известной обойной фабрики в Москве Кротов пришел из деревни с 50 копейками в кармане. Через тридцать лет он был богачом, хозяином фабрики. Известный южный богач, основатель табачной фабрики Асмоловых, был погонщиком лошадей у прасолов, завезенный в Ростов, на чужбину, и здесь по болезни брошенный без всяких средств. Он начал набивать папиросы и продавать их на улице. С этого нищенски пролетарского начала возникла впоследствии миллионная фабрика, которую он оставил детям. Такие примеры вспомнит всякий из своего личного наблюдения.

¹¹⁷ Записки Александра Ивановича Кошелева. Приложение I. Берлин, 1884.

¹¹⁸ Малыхин. Город Нижнедевицк. — Воронежский сборник, 1861.

¹¹⁹ См. мою брошюру “Земля и фабрика”. М., 1899.

¹²⁰ Щеглов Д. История социальных систем от древности до наших дней. Т. 2 (Шарль Фурье). СПб., 1889.

¹²¹ Фон Гессе-Вартег Эрнест [1]. Япония и японцы.

¹²² Жорес Ж. Всеобщая стачка и революция.

¹²³ Лассаль Ф. Программа работников.

¹²⁴ Гольст Р. Всеобщая стачка и социал-демократия.

¹²⁵ Каутский К. Социальный переворот... СПб., 1905.